

# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 4 | 2014







Белый день в Чжоучжуане | 60 × 79



Утренний мостик. Китай | 60 × 79

*Сергей Форостовский*

# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 4 | 2014

---

## В номере

.....

### ДиН ПАМЯТЬ

Валентин Курбатов

- 3 Нечаянное воспоминание,  
или Дневник одной старой поездки

Светлана Ермолаева

- 9 «...И Астафьева светлый лик...»

### ДиН ВЕЧЕ

Ирина Дубровская

- 19 Русский как иностранный

Юрий Беликов, Александр Марчук

- 21 Во сне я буду разговаривать по-русски

Елена Литинская

- 29 Украинка Леся

Александра Ковалевич

- 33 Памяти Вадима Негатунова

Михаил Фомичёв

- 36 Славянск

- 37 Ожог

### ДиН СТИХИ

Ирина Дубровская

- 28 От Киевской Софии к Новгородской

Виктор Теплицкий

- 35 Одолевая дали

Максим Лаврентьев

- 115 Из книги «Ветхие сюжеты»

Галина Илюхина

- 131 Тридцать третий трамвай

Ефим Бершин

- 133 Пушкинская площадь

Гоша Спектор

- 135 Обратный отсчёт

Ирина Валерина

- 167 Такое время

Вера Зубарева

- 182 Вселенная дождя

Сергей Тенятников

- 184 Крики камней

Евгений Лесин

- 186 Догадал тебя чёрт...

Тамара Сафарова

- 193 По прихоти забывшейся весны

### МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Марина Саввиных

- 41 Пробуждение Феникса,  
или Чеченские письма  
русской путешественницы

### ДиН ЮБИЛЕЙ

Армен Зурабов

- 58 Вечная жизнь

### ДиН ПРОЗА

Владимир Крупин

- 72 Лодка надежды

**ДиН РОМАН**

Михаил Тарковский

79 Распилыш

**ДиН ЛИТ***Дни и ночи Литературного  
института им. А. М. Горького*

Василий Киляков

113 Вкус охоты

Алексей Антонов

116 Ганзон

Олег Будин

118 Русское де жа вю

Михаил Манасян

119 Мирзо

**ДиН ПАРОДИЯ**

Евгений Минин

123 Слезайте с ветки!

130 От Кушки до Курил

187 Душа в разладе и разброде

190 Что пьют лириканы с критиканом?

194 Высшая элита

**ДиН ПОЛЕМИКА**

Александр Бобров

124 Антибродский

**ДиН ПОВЕСТЬ**

Мария Бушуева

138 Юлия и Щетинкин

**БИБЛИОТЕКА  
СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА**

Сергей Кузнечихин

168 Белый и пушистый туман

Евгений Эдин

177 Уроки вокала

**ДиН ДЕБЮТ**

Алёна Вольф

188 Непогода

**КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ**

Михаил Юдсон

191 Благие берега

Евгений Мамонтов

192 Парад уродов

196 **ДиН АВТОРЫ**

Валентин Курбатов

## Нечаянное воспоминание,

или Дневник одной старой поездки

Преимущество старости в том, что всегда можешь найти среди Бог знает как исподволь накапливающихся за жизнь бумаг что-то позабытое. Юность и зрелость щедры. Пишешь, едешь, запоминаешь. Складываешь свой «седьмой сундук, сундук ещё не полный». И легко забываешь о его содержимом. А однажды вдруг наткнёшься на пожелтевшие листы, перечитаешь и улыбнёшься. Оказывается, ты помнил их, но помнил, как помнит юность, привередничая и отбирая «что получше», а остальное считая «сором», случайностью жизни, даже удивляясь: зачем ты это записал? чего тут было запоминать? Часть записей, которые казались информативны и значительны, я потом напечатал. И думал, что там уже больше ничего и нет. Но, оказывается, жизнь умнее и «экономнее» нас. Она нетороплива и дожидается дня, когда сумеет доказать нам, что ничего «проходного», «попутного», «случайного» в жизни нет. Что это только наша душевная или духовная неготовность не даёт раскрыться нашему зрению, а сама-то жизнь продиктовала всё с твёрдой ясностью и чистотой. И там всякая запятая на месте.

Я нашёл этот дневник в старом блокноте, и перечитал его, и был рад ему, как нечаянному свиданию. Прошло двадцать семь лет. И какие это были годы! Слово тучей понакрылось русское небо. А нам светит всё тот же немеркнущий день...

Я прилетел в Красноярск накануне и ещё прийти в себя не успел, как уже надо было собираться на юг края, на реку Амыл, потому что Виктор Петрович давно договорился о такой поездке и справедливо не намерен был менять свои планы из-за моего приезда. И теперь мне ничего не хочется менять в дневнике, не хочется вносить туда расчёты прозаической игры, сюжета. Не хочется притворяться обстоятельнее, чем был. Тогда записи были мгновенны, как любительские фотографии. И пусть уж они такими и останутся, потому что память легко соврёт и сыграет в правду и глубину — опыт-то какой-никакой есть, и тренировка тоже. Уж на простой-то пейзаж и приблизительную правду сил хватит. И сейчас бы, конечно, и смотрел иначе, и думал серьёзнее, и был приметливее. А только задним умом сильнее не будешь.

17 июня 1983 года

Выехали рано и в дождь. Марья Семёновна радовалась, что дождик к добру. Виктор Петрович, глядя на ещё закрытые ставни Покровки, посмеивался: — Вот, товарищ Курбатов, сейчас мы едем по району, где спящие сейчас трудящиеся избрали любимым депутатом товарища Астафьева Вэ Пэ, тысяча девятьсот двадцать четвёртого года рождения, беспартийного, образование шесть классов, несудимого, почему и спят так спокойно.

За дивногогорской плотиною дождь перестал, и Виктор Петрович радостно тыкал пальцем за окно машины на всякий марьин корень или красоднев, гордясь их вызывающей нелесной красотой, словно сам их тут все посадил. Ветреницы долгоногие, невиданные клонились под тяжестью невестно-белых лепестков.

— Мама-покойница любила этот цветок. И теперь вот во мне только и осталось от неё, что ветреница да её песня, которую я поминал в «Последнем поклоне»... А красоту-то ты видишь, товарищ Курбатов? Понял, поди, что у нас это называется «Швейцарией»? Теперь ведь везде как вода и красиво — так Швейцария. Поэты...

А до Хакасии доехали и просто с сухим пыльным ветром. Худые свиньи по дворам сразу убеждали, что живут сами по себе и не тревожат хозяев просьбами о пропитании. Лошади паслись по степи в лиловых ирисовых полях, как на декадентской картинке. Курганы дышали древним покоем. Было хорошо глядеть на всё это, такое новое, и иногда хотелось тоже ткнуть пальцем и восхититься, но я не мог оторваться от беседы, где среди обычной дорожной необязательности, продиктованной тем, что за окном или что попадается по дороге, вдруг могли вспыхнуть дорожные детали. Ведь я, увы, ехал не «сам по себе», а с командировкой «Дружбы народов» в кармане, и от меня ждали не пейзажных зарисовок, а обстоятельной беседы, и желательно — о войне. И я, конечно, как умел, всё старался ускорить события, подтолкнуть Виктора Петровича в нужную сторону. Но подтолкну-ка его — у него-то командировки нет. Он живёт предчувствием рыбалки, радуется отдыху, дороге, и я теперь уже никак не вспомню, почему

необходимые мне сокровища всё-таки оказались в моём дневнике.

— Я написал «Арию Каварадосси» за одну ночь. Пошёл среди ночи на кухню заварочки попить и так, в трусах, и просидел за столом до утра, едва поспевая за собой. Силы были. Сейчас вот тоже писал рассказ. Всё вроде продумал. А вот застопило, и всё. Хоть бросай. А материал живой — чувствую, не пускает. Но и вперёд нейдёт. Пошёл в наш березничек в Академгородке, походил, подумал, а потом и спрашиваю себя: а уж не роман ли это? И всё сразу пошло! Я вообще теперь думаю, что рассказ — жанр романский. Из него не сделаешь повести, а роман часто внутри сидит.

Я помалкиваю, а сам вспоминаю его рассказ «Ясным ли днём». Ведь подлинно — целая жизнь. Роман.

Приехали в село Каратуз. Кто-то тотчас и расшифровал: «Чёрная соль». И гостиница уже с именем цели нашего путешествия — «Амыл». И на стене первыми среди обязательного гостиничного набора услуг чьей-то иронической рукой вписано: «Клопы».

Вечером председатель райисполкома принимает Виктора Петровича в сельском кафе «Казачье»: малосольный хариус, жареный ленок с молодыми побегами папоротника (село поставляет их в Японию вместо грибов в обмен на товары), крупные сибирские пельмени, чай со здешним травным мёдом, густой, как туман. Председатель не забывает похвалиться, полагая, что Виктор Петрович при случае может «вставить в книжку»:

— Селу двести пятьдесят лет, а асфальт только с моего времени — скоро десять лет. И круговую дорогу я тут провёл, чтобы в селе не пылили. Телебашню вот в сто тысяч построил, выкроил из местной экономии.

Секретарь райкома тоже радуется Виктору Петровичу и отводит душу, рассказывая, что давно в руководстве и хорошо помнит, как гноили здешние замечательные арбузы — маленькие, с тонкой кожей, которые хорошо было солить, потому что госпоставки присылали молдавские арбузы — толстокожие и безвкусные — и надо было запахивать свои, чтобы продать чужие. А на будущий год уже своих-то и не садили. И в Шушенском, рядом, тоже перестали ими заниматься. Виктор Петрович тотчас подхватывает, что он тоже помнит, как плавили здешние арбузы в Красноярск по Енисею на плотках и они с ребятами плавали кланяться. И мужикам было не жалко. Они бросали ребятам арбузы, и те толкали их перед собой «кумполом» к берегу и там, отпыхавшись, раскалывали о камни и ели. И оба наперегонки поругивают советское хозяйство с этими его госпоставками, которые свели не одни арбузы и великолепные здешние яблоки, но даже помидоры. И тут же неожиданно для собеседника Виктор Петрович зло говорит:

— Ваш-то лысый знал, куда в ссылку ехать, — арбузы, яблоки. Рай!

Секретарь сначала не может понять, о ком это он. Потом понимает и медленно бледнеет и оглядывается на председателя райисполкома, но тот «не слышал». И секретарь успокаивается. А уж там Виктор Петрович, войдя во вкус беседы, пошёл сыпать свои заволаживающие истории. И тут только слушай:

— Тут от вас недалеко, малость поужнее, живёт мой друг Пётр Герасимович Николаенко, который вытаскивал меня, раненого, с поля боя. Вот был здоров. Когда он вернулся с фронта и узнал, что пока он там бился с врагом, местный председатель бился по ночам с бабами и тиранил их поставками и займами, он вытаскивал этого председателя из постели и пустил по деревне нагишом, чтобы бабы посмотрели на него днём. А когда парторг начал ему в правлении читать наставление с цитатами из Маркса, мой Петро Герасимович сгорая и его пустил с окна правления, так что они (вдвоём с Марксом-то) высадили раму и пали под окно с громом и битым стекольным звоном. А уж чего они там со своим Марксом кричали, Петро Герасимович не слушал, потому что уронил кручинную голову на пудовые свои кулаки и заплакал от несправедливости жизни. А когда собрался до хаты, зазвонил телефон. Петро, как бывший связист, автоматически снял трубку: «Чого тобі?» А оттуда: «Председателя». — «А його нема. Я його пустив по селу голяком». — «Тогда парторга». — «А я их з Марксом покидав в ви́кно». — «А ты кто же такой?» — «Да Николаенко, Петро Герасимович, з фронту вернувся, а вони тут, суки». — «А я, — говорит трубка, — секретарь райкома такой-то, тоже с фронту вернувся. Раз ты там всех в окно покидал, то ты и будеш председателем». И Петро потом всегда говорил: «А шо я мог зробити? Я ж партейный. Ты-то, — говорит, — как-то на фронте вывернувся, а я не мог. Так доси и маюсь. И на що мені було брати той телехвон?»

Вечером в гостинице Марья Семёновна смешно передразнивает Виктора Петровича, как он, «выставив пузо», похаживает перед ней и говорит, интригуя: «А я название рассказу придумал». И не говорит какое. При этом Марья Семёновна и сама выставляет живот и тоже прохаживается, как якобы прохаживался Виктор Петрович, что необыкновенно смешно. «А название-то — «Стукач с хвостиком», которое одно только прочтут — и рассказу конец, даже до первой строки не дойдёт!»

## 18 июня

Выехали из села, когда над рекой ещё лежал туман, но даль уже была чистая и впереди синели Саяны с плешинами снега в распадах на северных склонах. Незаметно доехали до села Кужебар («Соболь есть»), откуда уже должны были пойти на лодках.

Виктор Петрович оглядывался как-то во все стороны сразу и не мог нарадоваться:

— Вот это Сибирь! Вот она, матушка! А я уж думал—её нет! Не-ет, коммунисты ещё не всю извели. Тут мужик ещё держится. Гляди, какие заплоты, резьба, стайки какие, палисадники. Чистота, богатство. А цветы-то, цветы у баб на окнах! Красота! Вон тот, гляди, жёлтый—чистый Китай, до него тут недалеко. Сбежал цветок от товарища Мао. А колоды-то как хороши. Тут мужики шпангоуты на лодки гнут. Или вон, погляди, печь в землянке, где полозья на сани и дуги заворачивают,—где бы щепочка где. Одни только вон «Борисы Николаичи» хрюкают, как больные,—тяжело себя носить. А этот-то, этот, гляди, залез на подругу свою. А почё—забыл, задумался. Про социализм соображат.

Купили на всю рыбалку двадцать «маленьких» и десяток буханок хлеба. А уж хлеб, хлеб! Прямо из сельской пекарни. Не отними—весь умнёшь. Зашли перед дорогой к отцу одного из наших вожатых по реке. Глухой, но ещё шустрый—и сразу хвалится, что ещё кидает с таким же глухим и старым товарищем сетчатки на реке. Виктор Петрович вышел, смеётся:

— Ох, поглядел бы я, как они вдвоём ночью браконьерят. Боятся, орут друг на друга, оглядываются, больше, поди, в штаны, чем в мешок, накладывают, но всё-таки—на реке, хозяева всё-таки, мужики при деле.

В красном углу—Никола строгого и редкого письма, никак не меньше чем трёхвековой давности. Хозяйка с порога спрашивает:

— В Господа-то веруете?—и перед дорогой благословляет.

Отплыли вместо одиннадцати, как намеревались, в полвторого. Виктор Петрович спокоен:

— Ничё, я так и думал, когда мне про одиннадцать сказали, что к часу можно ждать. Мужики ведь ещё поувёртываться должны: может, других пошлют, может, мы сами раздумаем—всегда может что-нибудь случиться.

Шли хорошо, ходко. На двух лодках, потому что было нас для одной лодки многовато: кужебарские мужики Алёша с Кешей (Иннокентием, конечно, но его, наверно, звали так только раз, в день крещения) да из Иркутска Михаил из писательской конторы. Скалы—как на Чусовой. Это мы сразу с чусовлянкой Марией Семёновной отметили. Виктор Петрович сунулся вычерпывать воду, оскользнулся—бултых. Измочился—и всё, что стар стал и неловок. А тут и наш Кеша после бессонной ночи и стаканчика на повороте—туда же. И тоже хоть выжимай. Кажется, это неожиданно приободрило Виктора Петровича, и он стал глядеть веселее. А река всё в гору и в гору! Так и видно, что вся будто ступеньками идёт—перекат на перекате. Тридцатисильный мотор

тянет с надсадным криком. Лодка почти стоит, и гул—как на Тереке («Терек воет, дик и злобен...»). Горы впереди всё выше, снег на них всё чаще. Плавивший нашу лодку (здесь не возят, а плывят) Кеша, между прочим, обронил на развилке:

— Вот пойдём левой матёрой—там начнётся настоящая дурь.

— Чем-чем пойдём?—переспросил я, вспоминая ещё так недавно прочитанное распутинское «Прощание с Матёрой».

—левой матёрой. А чё?

А я уж и сам догадался, что «матёра» здесь—стержневое течение, «борозда» реки. И сразу увидел и название распутинской повести шире. Не просто с ещё одной деревней прощание, а со стержнем её, с основным, живым течением.

Как и обещал Кеша, дальше пошло ещё сложнее. Скоро лодку пришлось тащить бечевою, потому что на шесте нечего было и думать вытянуть. Мотор царапал дно, да мы уж и сломали два винта о камни, когда прыгали через предыдущие перекаты. Именно прыгали: сначала надо было навалиться на корму, поднять нос повыше, а потом разом броситься в нос, чтобы поднять мотор. И лодка, крича от усилия, ползла дальше. И вот—в бурлачеств. Так и дотянули до места назначения—ключа Горячего. С пасекой и зимовьем. Кеша долго матерился, увидев на двери зимовья замок:

— Никогда такого не было, чтобы в тайге запирали дверь. Вдруг человек идёт, устал, вдруг я промок...—и спокойно курочит замок топором.

А уж там пошло. И печь разошлась. И костёр обрадованно затрещал, и «маленькие» наши оказались очень к месту. А там и звёзды повысыпали поглядеть, что за люди. И уже радостно было вспоминать день, и перекаты, и как кувыркались в воду Кеша и Виктор Петрович.

— Мы когда к Днепру подошли, тоже, оказалось, никто «плавать не умеет». «Разучились» все. А мне уж разучиться было нельзя. В любую бумагу погляди—на Енисее вырос: кто поверит? А река голая, как стекло. Всё, немец, паразит, прибрал до щепочки. Нет, думаю, рыбачили же хохлы на чём-нибудь, не с берега же с удочкой—не ребятишки. Должны быть какие-то плавсредства попрятаны. И нашёл—затопленную дубовую колоду в старице. Связь переправил. А на реку оборачиваться боязно. Светло, как днём, хоть переправлялись в самую середину ночи. И наглушило нашего брата, как рыбы. Плывёт солдатик-покойничек—отмаялся. Умели плавать, не умели, притворялись, храбрились—все одинаковы, и все здесь, потому что так уж эта война была придумана, что и обстоятельный мужик не держался. А какой-то падла-политрук придумал плавсредство в виде плащпалатки, набитой сеном. Сам, курва, на таком сене не поплывёт. Вот и несёт покойничков. Из двадцати пяти тысяч закрепилось на берегу три

тыщи восемьсот. Зарылись в откос, как стрижи. А поворачиваются солдатики на родной берег — а там музыка, бля... Кино! Прислушались: «Цирк» показывают с Орловой. Гуляют политруки! Победу празднуют — плацдарм они захватили!

Виктора Петровича положили на нары. Сами поместились на полу, на плащпалатке (жалко, без политрукова сена), перетягивали её друг у друга всю ночь, зябли, ворочались без конца, били комаров. Ночь была долгая.

### 19 ИЮНЯ

С утра Виктор Петрович наладил мне удочку, а сам ушёл с мужиками на какую-то Мамриту. Я взял одного хариуса, на радостях оборвал леску и отправился делать осокоревый «чувсовской» поплавок, как в детстве. Однако когда «профессионалы» вернулись, у Кеша тоже было штук шесть, да четыре-пять у Виктора Петровича. И весь улов. Уха, однако, была богатая, редкостная.

Говорят, видели козла косули. И отправили меня на лабаз покараулить. Скоро меня, однако, заели комары, да и лабаз показался слаб и низковат: вдруг медведь — вон глушь какая! — даст лапой — и нет никакого лабаза. Слез — и домой. Кеша только вздохнул:

— Нет, Валентин, вы не таёжник.

Да уж. Однако я всё-таки собрался дойти с ружьём на высящуюся невдалеке горку. Кеша сказал, что про медведя я думаю правильно и что их тут хватает:

— Попадётся — лучше не стреляйте. И не бегайте. Стойте. Он уйдёт. Бобра стреляйте в голову, лося под лопатку, козла тоже. И не заблудитесь.

Я ухмыльнулся. Где тут блудить-то — гора сразу за пасекой. Однако карабкался, держа ружьё наготове, и уже на самой вершине папоротник вдруг зашумел, метнулся. Ну, думаю, всё. Ружьё туда. А оттуда наши две собаки — Дик и Боб, соскучившиеся без дела. И не поверившие Кеше, что я не таёжник, — как же, с ружьём мужик.

В обе стороны до горизонта уходили Саяны в снегах. Амыл коленями и локтями выглядывал из тайги тут и там. Соринкой прошла лодка с нашими вожатыми, отправившими походить немного с сетью, раз удочка не утешает. Пасека лежала как на ладони. Полюбовался, и хватит. Пора домой.

Спустился и увяз в папоротниках выше роста, туго перевитых другими травами — внизу и не видно, что за травы, что за помершие деревья, там и тут лежавшие поперёк пути. Скоро уж и устал пробивать эти травы, стал чаще спотыкаться и падать. Душно стало в нагретых травах высотой до небес. Два раза залез в какое-то болото. Боб удрал куда-то. Дик шаг в шаг тащился за мной, и сколько я ни кричал ему: «Домой!» — надеясь увязаться за ним, он плёлся следом. То обнаруживался просвет, и я кидался к нему, то деревья

сходились стеной, и надо было обходить их. И уже начиналось то остервенение, когда готов махнуть рукой и сознаться, что заблудился, но остановился, долго слушал, услышал реку и с облегчением пошёл к ней напролом. Вышел много выше пасеки. И когда к сумеркам дошёл до неё, сразу услышал выстрел с лабаза. Потом ещё один. Михаил ушёл туда после меня. Вдруг, думаю, медведь всё-таки надумал прийти? Пули в ствол, собак с собой — и туда. Слышу, сопит Михаил. Тащит козу на плечах. Дик с Бобом осатанели, кинулись лизать рану, подпрыгивая. Пришлось пинать обоих, чтобы отогнать. А тут ещё дождик начал сеять.

До часу ночи снимали шкуру, разделывали. Свет фонарика метался, оглядывались на каждый взлай Боба в темноту. Виктор Петрович уже спал. Мишка всё приговаривал:

— Жалко козочку.

— Хватит, — говорю ему.

— Да я что? Действительно жалко.

Гляжу, уже вспарывает вымя, и молоко под дождём показалось особенно белым на грязных досках двери от сарая, которую мы положили на козлы. Утром Кеша спрашивает у Мишки:

— Коза?

— Коза!

— Ну, завтра ребята её станут кричать. Ничего, покричат маленько. Шкуру выброшь. Гляди, как бы Боб голову не вытащил.

Спали плохо. Ночью, вернее, уже к свету, вернулись опять ходившие с сетями Кеша с Алёшей. Поймали хорошо. Показали ленка, которого Виктор Петрович всегда так ярко описывал. Действительно, хорош: в красных пятнах по бокам — чистый петух! Так ночь незаметно перешла в утро.

### 20 ИЮНЯ

Всё утро шёл дождь. Виктор Петрович, узнав, что убили козу, поворачал:

— Ну, молодцы, молодцы, — но как-то не сердито.

Видно, тут так и надо. Тайга как тайга, тут законы свои. Застрекотал вертолёт. А мы и позабыли, что выборы, что не только Виктора Петровича выбирают, но и самому ему надо выбирать «беспартийного, несудимого» (других бы не стал). Вертолёт покрутился-покрутился, ища место посадки, не нашёл и улетел. Остались мы без избирательного права. Но всё равно хватило по рюмочке за депутата краевого Совета Виктора Петровича Астафьева и за его избирателей, а потом за Марию Семёновну и Виктора Петровича как за блок коммунистов и беспартийных, потому что «Маня у меня в партии с рождения и мою идеологическую чистоту блюдёт». Потом он начнёт собираться на рыбалку и, выбирая очередную мушку, хвалится:

— Ещё чувсовская. У меня всё лучшее — чувсовское, начиная с жены.



Ну а тут по случаю праздника началась у кужебарских мужиков стрельба по котелкам и бутылкам.

— Ох, не люблю я эту чалдонскую пальбу. Как выпьют, так пошёл полоскать — того гляди убьют.

И ушёл рыбачить. А мы поехали всласть и «По диким степям Забайкалья», и «По Дону гуляет», и Кеша всё удивлялся, откуда я знаю их «сибирские» песни. Потом думали снова податься на реку, но дождик не переставал, и Алёша пошёл спать, а Мишка с Кешей потащились на лабазы под молитву Виктора Петровича, «чтобы обошлось без выстрела». Вернулись затемно и действительно без выстрела. Долго сидели у костра, вспоминая все виды рыбалок и все реки страны. И как-то опять оказались на днепровском плацдарме:

— Маршáлы (всегда он ставил ударение так), они уж напридумают чё-нибудь вроде нашего отвлекающего порыва... Не люблю я их, курв, больше, чем немцев. Те — враги, там всё понятно. А эти как могли нам в глаза глядеть? Как мы там ночью жрали сырую рыбу. Сколько её плыло вместе с солдатами — воды не видать. Мучались потом поносом. И крысы по плащ-палатке — шурх, шурх. И чувствуют, падлы, лапами тепло — сразу на другого, и там, слышишь, жрут, визжат, пьянеют от мертвечины. Я потом у Ремарка «На Западном фронте...» прочитал о крысах и сразу вспомнил.

## 21 ИЮНЯ

Утром простились с Алёшей и Мишей — отправили в Кужебар, а сами подались вверх по Амылу. Река уже пошла между гор, высоких чистых кедров. Пасеки стали одна за другой выходить к откосам. Царственный покой и вечность осязательно стояли по берегам. И уж какие тут разговоры о войне? Но я именно тут вспомнил мысль польского рано умершего поэта Эдварда Стахуры из его дневника, что убить нельзя только безоружного человека. Мысль была старая, христианская, но каждый раз почему-то поражающая и враждебная здравому смыслу агрессивной, не любящей такие мысли истории. Виктор Петрович долго не думал:

— Может, в высшем-то смысле и так, да только человечество давно остервенилось и этому высшему смыслу дороги не даст. В Туркмении мне рассказывали, что археологи выкопали государство высокого расцвета, не ведавшее оружия и насилия, довольствовавшееся земледелием и плодами культуры. Так татары не просто их на нет свели, а вырезали с каким-то особенным озлоблением. Вооружённый человек — это совсем другой человек. Они с безоружным почти разного вида, и в согласии им не жить. Жалко хорошую мысль Стахуры, а только свету ей не видать.

Забрались повыше, а потом стали потихоньку спускаться от переката к перекату. Рыбалка пошла получше. Виктор Петрович оживился, повеселел.

Поплавливал потихоньку, но тема, видно, застряла, и он её не забывал:

— Ты всё меня пытаешься убедить, что понимание войны меняется в сознании. Меняется, да не совсем. Зайди вон в магазин, где инвалиды получают свои пайки. Изувеченные люди сидят, коротают очередь, вспоминают. И редко кто по-хорошему. И мораль, в общем, одна: хрен с ними, с пайками — могли и вовсе не давать, только бы войны не было. И не себя, а детей своих жалеют. А тут последний раз прихожу — является такой подтянутый, бойкий, не спрашивает, кто последний, а пускается в выяснения, кто первоочередник, а кто, значит, во вторую очередь. Смотрю, мужик кривой, вроде меня, морда калеченая, уже задёргался: «Тут все первоочередники, комиссар!» Тот с ходу: «Что такое? Вы кто такой? Почему комиссар?» — «Видно птицу по полёту». Так что вот у этих первоочередников ничего не меняется.

Вернулись на «свою» пасеку, а там уже хозяин, которого все эти дни не было, Валера — фиксатый, блатной, горластый:

— А меня не колышет, кто вы такие. Я перевидал фразеров. Я вот сегодня путём, и вчера, и позавчера был путём (попил, значит, всласть). Ладно, будем мужиками!

Потом мы парились, купались после парилки в ключевой воде, и он, порассмотрев и кое-что сообразив, уже юлил хвостом перед Виктором Петровичем:

— Я тебя читал, папаша. Твою книгу — как она называется? У нас есть. Там браконьер один осетра поймал и чуть не утонул. Видал — знаю. Я и Черкасова читал. Я тебя полюбил. Будем мужиками! Хочешь шапку из соболей или бобров? Чё хохшь? Я тут хозяин. Я бью этой падлы за зиму скоко хочу. Приезжаю на «Буране» по реке и месяц сажу из всех стволов. У меня тут военком кореш, и прокурор кореш, и секретарь кореш. Все в Валериных шапках ходят, мой мёд жрут и моё мясо. Как приедут ко мне, как начнём садить по бутылкам — патроны коробками летят. Всё путём! Надо быть мужиками. Я «Калашникова» не люблю. Это не оружие. И карабины эти... У меня оружие получше. Я тебе одну пулю покажу. Умный — догадаешься (и вращал перед глазами пулю «дум-дум», глядел на неё, как на свечечку, горя глазами, и ласкал её). Ух ты, красавица моя. А? Погляди-ка — зверь, а не пуля! Это я люблю: как марала саданул — он у меня весь на эту пулю навернулся. Поедем к Ваське! Я, бля, ночью по реке пройду куда хочешь — вверх и вниз. Мы — чекисты, у нас закалка старая. Я тебе не говорил? Я был начальником погранзаставы, потом заведовал здесь больницей (на хер мне эта застава, я зубы научился ставить). Но я люблю попить путём. А пришла там одна сука — Аллочка. И я ушёл. Мне тут лафа, я тут хозяин. Я тут всех... Я тут могу два

плана дать — один в колхоз, другой продам. И всё путём! Поехали к Ваське! У него есть. И брага есть. Я ведь вчера на вертолёте с мужиками посылал вам красного и браги. Хер, говорю, с ними. Они говно — начальники, а меня это не... Я — мужик не жадный, пускай выпьют. А они, видно, суки, сами выжрали — вот к вам и не сели.

Мы так и уснули под его бормотанье и мат...

## 22 ИЮНЯ

Ушли с утра, пока Валера, который всё-таки уехал к Ваське «продолжить», не вернулся. Не хотелось нам его видеть. Комар разошёлся — ни удочку взять, ни вёсла. Солнце жарит, вода сверкает. Хариус прыгает за мушкой, но не берёт. Балует. Толкнёт — и в сторону. «Поправлялись» после Валеры. Виктор Петрович только открыть успел, передал мне, а я и уронил в перекал: говорю же, комары как звери — только отбивайся. А она, матушка, последняя. Ну, думаю, всё. Убьёт. Виктор Петрович хмыкнул, но внутри тоже похолодел. А выдернул я её полную, сверкающую, и оказалось, что только долил малость, а не пролил. Родная река — понимает, что к чему.

...Вечером прощались с Кужебаром. Кеша наяничал на баяне. Алёша всё пытался спеть культурного Баснера, а Виктор Петрович, смеясь, перекрывал «Дикими степями» и нет-нет просил Кешу сыграть «по заявкам» трудящихся композитора Будашкина «Ой, тайга, тайга густая!».

Я ушёл в село — поглядеть на дорожку: когда ещё судьба занесёт? И занесёт ли? И не мог нарадоваться покойному вечеру, закату, теплу. Какой-то Колька долго кочевряжился на тракторной тележке, пугая кур и собак, виляя по деревенской улице, пока не ухнул в канаву и, к радости баб, не перевернулся вместе с тележкой. Бабы весело кричали товаркам вдоль улицы: «Нюрка, Фенька, Любка, иди погляди, как Колька сверху жопой

лежит!» И всё это тоже отчего-то было мирной частью вечера и дышало покоем.

Кладбище стояло высоко на чистом холме и было тоже домашнее и приветное, как сам вечер. Всё село на виду, отроги Саяны, родной Амыл. И спокойно думалось, что, наверное, хорошо умереть здесь, и быть утешенным долгим тёплым вечером, зелёной беседой берёз под чуть заметным ветерком, и лежать под толстым лиственным старообрядческим крестом в два метра, на котором вырезаны стамеской местного столяра простые буквы: «Здесь раб Божий Николай, Тимофей, Пётр...» Как на переключке в день Страшного суда, где все правы и встают перед Господним взглядом для теперь уже подлинно вечной жизни в небесном своём Кужебаре над небесным Амылом.

В избе душно. Крик не уговоняется. Трёхсотлетний Никола глядит из угла укоризненно и смиренно. Старики маются. А Виктор Петрович под горьким взглядом Марьи Семёновны, которая знает, как он будет страдать завтра, радостно смотрит, как поляки колотят кого-то в футбол весело и погромно. Наконец, устаёт и он. Тяжёлый сон в настырных мухах не приносит облегчения и...

## 23 ИЮНЯ

Мы оставляем село, реку, дорогих Алёшу и Кешу и под ворчанье медленно оттаивающей Марьи Семёновны катим опять через Хакасию, мимо худых свиней и лошадей в ирисовых полях к родной Бирюсе, дивногорской «Швейцарии», уже в ночи мелькнувшей Овсянке, в которой так хотелось остаться, — домой, в порядок работ, припасённых для меня чтений, в обычный строй командировочных забот до отъезда.

А этот счастливый сон — навсегда позади. Во всяком случае, мой нечаянно нашедшийся дневник на этом смолкает.

Светлана Ермолаева

## «...И Астафьева светлый лик...»

### Вместо вступления

М. С. Горбачёв пришёл к власти в 1985 году, а в 1986 году читателей буквально захлестнул поток произведений известных и неизвестных русских писателей, опубликованных в московских журналах, а затем вышедших отдельными книгами, не издаваемых в брежневские времена, написанных, как тогда говорилось, «в стол». Вышли «Печальный детектив» В. Астафьева и «Пожар» В. Распутина—писателей, к прозе которых у меня давно тянулась душа. Достаточно упомянуть «Царь-рыбу» Астафьева и «Прощание с Матёрой» Распутина. Немного раньше вышел трёхтомник В. Шукшина, тоже почитаемого мной.

Многие произведения для меня лично стали откровением. Особенно потряс меня «Печальный детектив». Я будто воочию увидела мою бедную родину, родину моего отца и моей матери—Сибирь, входящую тогда ещё в состав РСФСР. Я не могла читать залпом, я читала медленно, меня душили слёзы, и так же медленно душа наполнялась болью и состраданием.

Я дочитала до конца, и чаша страдания переполнилась, и все свои чувства я излила в письме к Виктору Петровичу Астафьеву. Это был вопль души сочувствующей, сопереживающей и понимающей; каково было писать такое, если читать без слёз невозможно. Виктор Петрович ответил мне. Я была потрясена ещё раз, читала и перечитывала его письмо на листочке в крупную клетку. Мне не верилось, что недосыгаемый, как мне казалось, человек написал мне.

Возникла редкая переписка, в основном поздравления с праздниками.

Тем не менее, я ощущала явственно, как благодаря В. П. во мне появилась и стала крепнуть любовь к родине и неодолимая тяга побывать там, посетить город Красноярск, где у меня до сих пор живут родственники по отцу, побывать в Академгородке, где проживал мой любимый писатель, увидеть могучий Енисей, реку моего детства и юности.

### День первый

И вот в мае 1987 года, незадолго до Дня Победы, я полетела из Алма-Аты в Красноярск.

### На родину

На родину мой путь,  
в сибирские леса,  
там суетная муть  
исчезнет в полчаса.  
И сердце звонкой птахой  
рванётся из груди.  
Вдруг выйдет россомаха,  
в глаза мне поглядит.  
Как бабочки трепещут!  
Как тишина звенит!..  
И голос птицы вещей  
пророчит счастья дни.

Самолёт приземлился в аэропорту, примерно в пятидесяти километрах от города; я села в обычный рейсовый автобус, курсирующий по маршруту аэропорт—Красноярск и обратно. Этой дорогой я почти не ездила в детстве и юности, у отца был автомобиль «Волга». Ехала, смотрела по сторонам и видела убожество и заброшенность придорожных деревень. И начала мысленно писать, так сказать, летопись своего пребывания на родине в стихах. Я тогда уже считала себя поэтом, издала две книжки.

### Деревня под Красноярском

Перекошенный забор  
Под облезшей краской.  
Старый пёс глядит в упор,  
будто волк—с опаской.  
Вроде как сто лет назад.  
Но темны окошки,  
и насквозь проходит взгляд  
одичавшей кошки.  
Коровёнка на лугу  
травку щиплет хмуро.  
Где хозяйка-то? Ау-у!  
Да не бойся, дура!  
Гулко ставни—хлоп да хлоп,  
прожужжала муха.  
Кто-то в доме—топ да топ,  
выползла старуха,  
щурясь сослепу во двор—  
во дворе-то пусто.  
Старый пёс глядит в упор,  
мудр, как Заратустра.

На автовокзале записала стихотворение в записную книжку, пересела в автобус до Академгородка, где жила моя подруга юности по городу Енисейску (я там закончила среднюю школу) Галина Павловна Кузьмина.

Возможно, в сегодняшние дни, в 2004 году, Красноярск стал настоящей столицей Сибирского края, а в мае 1987 года он предстал в моих глазах провинцией, заштатным уездным городишком. Помнился он мне всегда главным городом Сибири, как Москва и Ленинград были главными городами России.

Академгородок—это берёзовая роща с редкими пятиэтажками среди берёз на крутом берегу некогда могучего Енисея. Я знала его могучим, когда плавала по нему на теплоходе с портового города Дудинки. Мы добирались туда на электричке из Норильска, где наша семья жила с 1954 по 1963 год. В течение семи лет я отдыхала, а вернее, отбывала повинность каждое лето в пионерлагере «Таёжный». Он располагался на берегу Енисея возле деревни Атаманово недалеко от Красноярска. Тогда второклассницей, а в последний раз—семиклассницей, я видела Енисей безбрежным, да он и был великой сибирской рекой, Енисей-бабушка, с множеством опасных для теплоходов мест—порогов.

Погода была тёплая, солнечная, я шла, счастливая, по тропинке меж берёз и сочиняла стихотворение.

#### *Академгородок. Берёзовая роща*

Белоствольные берёзы,  
я вас мыслью обниму.  
Посмотрю на вас сквозь слёзы,  
в душу намертво приму.  
Посижу на пне немножко,  
поднимусь—и снова в путь.  
На молоденькой берёзке  
сел скворчишко отдохнуть.  
Поднимают в небо кроны  
высоченные стволы.  
Ослепительно зелёны,  
ослепительно белы!..

Берёзы в роще не такие, как в Алма-Ате в горах. Они тонкоствольные, высоченные, а белые стволы блестят, будто отполированные.

#### *День второй*

После десяти утра позвонила Виктору Петровичу из автомата (у подруги не было телефона). Он сразу пригласил в гости к обеду. Я привезла с собой самые большие яблоки, какие смогла найти, некогда прославленного по всему Союзу алма-атинского апорта, взяла их с собой в качестве подарка и направилась к дому, где проживал В. П. Поднялась на четвёртый этаж, позвонила, открыл мужчина

средних лет с собакой. Оказалось, я ошиблась домом. У меня руки дрожали, ноги подкашивались и голова явно не соображала, вот и прошла мимо его дома. Снова поднялась на четвёртый этаж—на этот раз в его дом. На мой робкий звонок открыл дверь сам хозяин—Виктор Петрович Астафьев. Господи Боже мой, я как глянула, так и обмерла: как он похож внешне на моего отца, умершего в мае 1983 года в Алма-Ате. Я прерывающимся от неожиданности голосом поздоровалась и переступила порог. Мои руки очутились в его тёплых мягких ладонях. Лицо зрелого, много повидавшего и ещё больше пережившего человека, конечно же, было в морщинах, ему в этом году первого мая исполнилось шестьдесят три года, но я не видела морщин, не различала черт, я не могу описать его до сих пор, а тогда тем более. Волнение переполняло меня, и я видела нечто сияющее радушием и добротой и в то же время обыкновенное человеческое лицо русского человека.

Кухня—это гостиная встреч и расставаний. Виктор Петрович повёл меня в кухню, где к обеду был накрыт стол с нехитрой снедью. Он познакомил меня со своей женой и «подругой дней суровых» (они встретились на войне и до сих пор вместе) Марьей Семёновной Корякиной (она писательница). Мы сели за стол: они рядышком, я напротив. Марья Семёновна была сдержанна, глядела на меня недоверчиво, если не сказать сурово, в основном молчала. Возле неё стоял телефон, который постоянно звонил и по местной линии, и по межгороду. Поздравляли их с наступающим Днём Победы как участников войны, а В. П. ещё и с прошедшим днём рождения (я была у них в гостях пятого мая). Телефонные звонки действовали на меня успокаивающе, и я почувствовала себя свободнее. Ещё В. П. вёл себя так, будто мы давние знакомцы и не впервые встречаемся. Его манеру общения можно было назвать доверительной, в отличие от М. С. Всё-таки мы были с В. П. знакомы по письмам. — Что пить-то будешь? Вы, поэтессы, больше шампанское уважаете... Мы вот с Марьей Семёновной по чуть-чуть коньячку выпьем... А ты как?—он лукаво улыбался.

— Я бы водки выпила,—рубанула я, совершенно, по-видимому, обнаглел от радужного приёма.

— Вот теперь узнаю землячку, по-нашему это, не жалую фифочек... А то я уж решил, что ты совсем оказаешься там, в своей Алма-Ате.

Он легко поднялся из-за стола, достал из холодильника запотевшую бутылку водки, в ней было граммов двести.

— Тебе как—по чуть-чуть или по-русски?—улыбаясь, спросил он.

— По полной,—ответила я.

В. П. рассмеялся, а М. С. улыбнулась краешком губ.



Выпили, закусили, и застольная беседа потекла, прерываемая телефонными звонками. В. П. в основном спрашивал, а я отвечала. М. С. порозовела, подобрела и тоже изредка вступала в разговор. Хозяин и хозяйка не спешили от меня отделаться, возможно, им было интересно послушать о Казахстане, об Алма-Ате, о казахах, о декабрьских событиях 1986 года, так сказать, из первых уст, хотя и не участника, но всё же очевидца. Я рассказала, что видела, что слышала, что знала сама, а также то, что рассказывали люди, оказавшиеся в гуще событий или случайно ставшие очевидцами.

— А у нас сообщали, что в Алма-Ате была резня: казахи убивали русских. А ты говоришь, что все, и казахи, и русские, выступили против Колбина, назначенного Москвой.

— Значит, вас ввели в заблуждение. Если бы назначили генсеком казахстанца любой национальности, мне кажется, ничего бы не было. Вот назначили же Кубашева (я у него работала секретарём в Совмине КазССР), и все успокоились: хотя он и не семи пядей во лбу, но свой и казах. Конечно, какая-то провокация в этих событиях была, кто-то был начинщиком, но я, честно говоря, далека от политики.

И это было правдой, и всё, что я говорила тогда, в 1987 году, В. П., было моим личным мнением, мнением обывателя, хотя и поэта, далёкого от политики, да и общественной жизни тоже. У меня в то время было трое детей, мать в возрасте, я сама была вдова, было творчество, была работа редактором в издательстве «Жазушы» («Писатель»).

...Потом мы сидели в зале перед телевизором, где показывали телефильм по автобиографической повести В. П. «Где-то гремит война», если я не ошибаюсь в названии, конечно,—больше десяти лет прошло всё же.

Сидели, смотрели, изредка перебрасывались фразами.

— Вы правда знали Николая Рубцова? — спросила я.

— Да вот Марья Семёновна написала о нём недавно в апрельском номере «Енисея», жили мы почти рядом в Вологде, дружили. Купи, если попадётся, у нас нет, к сожалению,—сказал В. П.

— Марья Семёновна, а какой он был? — спросила я, обращаясь к М. С.

— В двух словах не скажешь. Жалели мы его. То хороший, весёлый, добрый, песни поёт на стихи свои, никто так больше не пел его стихи; то озлобленный, если сильно пьяный, грубый, обидеть может, не замечая. Неприкаянный, в общем, как все Богом отмеченные поэты...—печально поведала М. С.

—...Яблоки привезла красивые, конечно, но у нас такое добро и на рынке есть, лучше бы чёрной редьки прихватила...—говорил В. П.

Я терялась, не зная, шутит он или вправду в Красноярске чёрной редьки нет. Сказал В. П.

несколько слов и о моей небольшой поэтической книжечке «Мозаика», которую я высылала ему раньше, до приезда.

— Твои стихи напомнили мне Ахматову, что-то есть общее, такие же короткие и ёмкие. Её стихи я читал, судьба у неё тяжёлая, не женская. А сейчас я и не читаю стихи вовсе, работать надо, задумок много, успеть бы...

На стене, возле которой стоял телевизор, висел большой портрет А. А. Ахматовой, написанный маслом.

— Художник знакомый подарил, написал по моей просьбе и подарил. Уважаю я её за мужество,—серьёзно сказал В. П., поймав мой долгий взгляд на портрет.

...Потом были его кабинет с огромным количеством книг, рукописей, большим письменным столом, пишущей машинкой, на которой печатала его супружница, как он называл М. С., и приглашение навестить к нему в Овсянку.

— Там моё главное место работы, там я родился, там крестили, там и пишется лучше, всё родное кругом, сама природа помогает...

*Отступление.* Не ручаюсь за точность слов и фраз В. П. Астафьева, но смысл был таков и содержание разговоров не выдуманно, но речь В. П. невозможно передать достоверно, настолько она проста и образна, чисто астафьевская речь.

### День третий

Во второй половине дня мы с Галиной сели в автобус и поехали в Овсянку. Это была одна из придорожных деревень, каких много под Красноярском. Но, в отличие от самой первой мною виденной по дороге из аэропорта, эта не выглядела заброшенной—наоборот, вполне живой и живой, даже кое-где крепкие особнячки попадались. Мы шли на ориентир, указанный В. П.,—высокая сосна возле калитки—и наблюдали обычную деревенскую жизнь. В воздухе курились ранние дымки от затопленных печей; даром что последний месяц весны, вечерами и ночами было прохладно. Брехали собаки, грелись на заваляшках в лучах неяркого солнца солидные коты и тяжёлые кошки сибирской породы, мелькали тут и там люди, занятые хозяйственными делами. Сидели на лавочках древние деды и бабки. Мы шли, не спрашивая дорогу, увидев издали сосну Астафьева. Его дом стоял в конце деревни, но не на самом берегу Енисея.

Подшли к калитке. Низкий забор, редкие деревца. Астафьев находился в огороде. Мы стояли и смотрели на него. Он разогнулся, положил какой-то предмет на землю и направился к калитке. Открыв её, посторонился.

— Хорошо, что приехали. Когда не работаю, то скливо одному. Нужда заставила приехать, а так

зря не езжу. Да вы заходите, заходите. Я сейчас, только руки помою.

Рукомойник был прямо во дворе, и через минуту Виктор Петрович провёл нас в дом через просторные сени. Дом—это крохотная кухня с русской печью посередине, справа от входа—рукомойник, слева—дверной проём в комнату, прямо—ещё проём, в крохотную спальню. Ничего городского, всё по-деревенски просто. Так, наверное, жили в этом доме родители Виктора Петровича, а может, дед и бабка. О том, что хозяин дома—человек необыкновенный, говорило огромное количество книг, стоявших на грубых струганых стеллажах—от пола до потолка, расположенных один над другим вдоль одной из стен комнаты.

— Это всё дарёные книги, с автографами. Есть известные по всему миру авторы, есть вообще никому не известные, я различий не делаю, для меня рангов нет, одно признаю—талант.

Я вознамерилась было достать с полки книжку Н. Рубцова, уже руку протянула, но В. П. остановил меня со словами:

— Ты зачем сюда приехала? Книжки смотреть или с живым писателем общаться?

— Ой, простите, Виктор Петрович! Конечно, с вами общаться,—пристыжённо проговорила я.

— То-то. Ну, вы прогуляйтесь, если хотите, а мне надо печку затопить да ужин готовить.

— Мы поможем, Виктор Петрович,—в один голос заявили мы.

— Ну уж нет. Пока сам управляюсь, без помощников, картошку уже приготовил, сейчас почищу—и в чугунок на печь. Говорить во время работы не люблю. Вот сядем вечером, тогда и говорить будем... Идите, идите, тесно здесь...

Мы спустились к Енисею. Я ещё, как приехала, так близко к нему не подходила. Смотрела только с крутого берега Академгородка. Я разулась и вошла в реку своего детства и юности. Вода была прозрачная, не ледяная, как в горной речке Алмаатинке. Дно Енисея было усеяно мелкими гладкими камешками—галькой. Я побродила вдоль берега, нахлынули воспоминания. Всплыла в памяти деревня Коркино, где однажды я прожила сентябрь месяц двенадцатилетней пятиклассницей и даже ходила в деревенскую школу, носила воду на коромысле из Енисея. Родители отдыхали в бархатный сезон в Сочи, мы тогда жили в Норильске. Я даже всплакнула.

— Ты чего?—спросила Галя.

— Детство вспомнила.

— Нашла время. Пошли, я замёрзла, а у В. П. дым уже изрядный валит, печь разгорелась, картошку хоть почистим...

Печь пылала вовсю, вода в чугушке булькала вовсю, вкусно пахло картошкой. На кухне было тепло от печи, а ещё больше—от радушной

приветливости хозяина. Он весь был такой домашний, уютный, сама доброта, так и сыпал своими только ему присущими словечками, поговорками. Эх, диктофон бы мне тогда!

Впоследствии в разговоре выяснилось, что В. П. не жалуется журналистов, а журналисток ещё больше.

— Жалко, диктофона нет, записывать бы каждое ваше слово,—посоветовала я.

— Да я бы тебя на порог не пустил!—вполне серьёзно сказал В. П.

— Почему?—искренне удивилась я.

— А потому. Вроде всё записывают на диктофон, слово в слово, а потом читаешь—и неловко за себя становится, так всё перевернут. Ради красного словца не пожалеют и отца. Избегаю я их. Они больше личной жизнью интересуются, а не моими тяжкими думами.

...В. П. сноровисто накрывал на стол, часто выходил в сени, где у него хранились припасы, так и не разрешив нам помогать. Вскоре стол был изобилён деревенской едой: салтыце розовое, огурчики, помидорчики, грибочки солёные,—а также дарами леса и реки. Были рыба солёная, репа варёная и другая вкуснятина. Я привезла с собой из Алматы литровую бутылку водки «Золотое кольцо», пряча её за поясом джинсов под свитером от досмотра в аэропорту. Тогда, по воле Горбачёва, были километровые очереди за спиртным. Тут-то, в Овсянке, я и выставила её, родимую, на уставленный закусками стол. Хозяин одобрительно посмотрел на меня и сказал, хитро улыбнувшись: — А ещё поэтесса... Это мы, мужики-прозаики, к водке привычны. Я её «змеей горькой» величаю. У меня чеканчик-то в доме всегда найдётся, но и твоя лишняя не будет! Племянш должен зайти, а он уж не оставит её выдыхаться.

Выпили мы по первой, как водится, за встречу, закусили, и потекла застольная беседа, как рядышком, в нескольких метрах от гостеприимного дома, текла, с лёгкими всплесками перекатывая камешки, река Енисей.

—...Обмелел Енисей-батюшка, сильно обмелел, довели цари природы, загубили такую мощь, загубили своим лесословом, топляки кругом, нырнёт какой-нибудь смельчак с лодки—и не вынырнет: головой о бревно утопленное—и нет его. Природа людей питает, а не они её. Вот люди обмелели тоже, оттого и пьют сильно, будто душу водкой заливают.

Мы слушали, затаив дыхание, стараясь запомнить каждое слово. Исходила сытным парком картошка, а нам ни пить, ни есть не хотелось—только слушать и запоминать. Услышу ли такие мудрые, такие сокровенные речи ещё когда-нибудь? Нет, не услышу. Мы задавали вопросы, что-то сами рассказывали. Но кто мы такие? Поэтому я пишу только то, что рассказывал Астафьев.

—...Представляете, весь город Распутина знает, а какие-то нелюди в собственном его подъезде шапку с него сняли, да ещё избили до бессознания. Что это? Откуда бессмысленная жестокость эта? Я ведь в своём «Печальном детективе» и сотой доли не написал того, что сам видел, слышал, знал... Сердце бы разорвалось. А нашлись критики, заверещали: грязь, похабщина, очернительство, не весь народ такой! Я, что ль, говорю, что весь? Есть ещё хуже, есть убийцы лютые. Хороших людей много. А как иначе? Жизнь бы кончилась, если бы только бандиты одни были.

—...Помню, в войну переправлялись мы на плотках через реку, а воды и не видать, кругом трупы наших... мы их вёслами отодвигаем и продвигаемся вперёд... а где воду видать, так она красная от крови... Вот такая она, война...

—...Отвоевал — да работать да учиться, женился на войне, много вёрст вместе с супружницей моей Марьей прошагали, боевая она была в молодости, да и потом грех жаловаться, — опора, одним словом, всегда была, верная и надёжная.

—...На Высшие литературные курсы поступил в Москве. Предлагали остаться жить в столице. Да не лежала у меня душа к москвичам. Высокомерные они, кастовые какие-то. Вот в Египте, читал где-то, каста жрецов была, так они только друг с другом общались, друг друга уважали и любили, остальные для них низшие существа были, как бы не существовали вовсе. Так и мы, те, что с периферии, для москвичей низшей кастой были. Вроде допущены к журналам, к издательствам, приближены, обласканы даже слегка, а всё не ровня, всё на задворках, хотя и таланта у некоторых периферийщиков побольше, тот же Вася Шукшин покойный, Валя Распутин, дай Бог ему здравствовать подоле! Чтобы унижить, деревенщиков, деревенскую прозу придумали, умники! А мы человеческую прозу писали. Очень и очень умеют и любят столичные крикуны — московские писатели — внушить, что ты сир, отстал и вообще с суконным рылом в калашный ряд пробрался...

—...А Высоцкого взять? Ведь он же свой, московский с головы до пят! Ан нет! Чем-то он не угодил касте, в которой Евтушенко да Вознесенский заправляли всей русской поэзией, они решали, поэт или не поэт. Не пустили его в журналы. Бездарей пускали, а мощного русского поэта не пустили. Завидовали его народной славе, его разносторонним талантам, вот и не пущали. А он переживал, сердце надрывал опять же водкой. Там, в Москве, всё время ухо надо держать востро, нос по ветру, а хвост поджатым. Не по мне раболепство, вот и не остался. Нисколько не жалею. Здесь, на родине, спину гнуть не приходится. Много ли нам с Марьей на старости лет надо?

Было ощущение, что В.П. расслабился, так как вёл себя просто и обыденно. Может, надоело ему чинопочитание, а может, он вообще такой от природы; мы с Галей вели себя свободно, без преклонения, но соблюдали дистанцию, помня, кто он и кто мы. А он озорничал, не чурался крепких русских словечек (войну прошёл!), и вообще жизнь не сильно-то баловала, как он сам признавался. Словечки те были к месту и звучали так славно, вроде и не матерные, что любо-дорого было слушать его простонародную речь. И потому пишу я просто о человеке, о писателе без меня напишут.

Поздно вечером явился племян В.П., распаренный после баньки, слегка поддатый,пил аккуратно, ел мало, держался почтительно, и с нами тоже, а к В.П. относился вообще трепетно. Хорошо сидели, в тепле и благодати: исходили от хозяина волны наполненной щедростью и добротой широкой русской души. Да и хмель основательно кружил головы. — Виктор Петрович, можно, я вас обниму? — вдруг ляпнула я растроганно.

Он поднялся из-за стола, я тоже, шагнула к нему и не обняла, а припала к его тёплой и мягкой груди (мой отец четыре года как лежал в сырой земле, в далёкой от родины Алма-Ате). Слёзы потекли непроизвольно и обильно.

— Ну, ну, чего ты мне рубашку мочишь? — в его голосе тоже чувствовалась растроганность.

Он взял меня за плечи, посмотрел в заплаканное лицо и неожиданно крепко поцеловал в губы.

Потом мы гурьбой высыпали на улицу и спустились к Енисею. Деревня ещё не спала, светились редкие огоньки в окнах, слышались голоса, лениво перебрёхивались собаки, доносились ещё какие-то непонятные нам, городским, звуки. Я, конечно, полезла в речку купаться прямо в платке, дура пьяная. Но, похоже, В.П. меня не осудил — наоборот, приговаривал весело и ласково:

— Вот-вот, прими омовение в нашем Енисеюшке, не бойся, не простудишься, вода в нём добрая...

Были и смех, и шутки-прибаутки, были ещё тосты за здоровье. Племян давно ушёл, а время перевалило за полночь. Не рассчитывали мы ночевать, но пришлось. Постелил нам В.П. на полу в горнице, ближе к тёплому боку печи, завалил нас тёплыми одеялами и сам улёгся в спаленке. Ох и сладко спалось в доме доброго хозяина!

Разбудил нас В.П. утречком, а уже и печка топится, и завтрак на столе: глазунья на сале шкворчала прямо на чугунной сковородке. Мы быстрёхонько вскочили, оделись, умылись, сбегали до ветру в огород и, чистые, свежие после сладкого сна, уселись за стол. А В.П. знай улыбается всеми своими морщинками и хлопочет:

— Вот тебе, Света, и молочко ледяное с погрёба, как вчера заказывала. Племян раненько принёс. Он хоть и пьющий, а долг понимает и обещание всегда исполняет.

— Спасибо сердечное, Виктор Петрович. Так меня и родня бы не приняла. Вас, наверное, все любят, и врагов нет.

— Не все любят, и враги есть. Я ведь человек, могу в сердцах и обидеть. Часто правду в глаза говорю, а она ведь пуще бьёт, чем если ударишь кого. Не прощают некоторые, зло таят да за глаза, за глаза отомстить норовят. Да Бог с ними, не для того живу, чтобы самому обиды копить и душу на злые поступки расходовать.

Увидев, как я уминала хлеб деревенской выпечки, запивая его ледяным молоком (снова вспомнилось мне детство, деревня Коркино, сестра отца—тётя Лиза), В. П. отрезал полкаравая, завернул в чистое полотенчко и отдал мне со словами:

— Это тебе, Света, хлебушко ржаной, дар земли нашей сибирской. Ешь на здоровье! Ну, с Богом, гостюшки мои дорогие! Увидимся ещё, когда уезжать будешь. Книжки вам обеим принесу. А я домой уже готов, сейчас товарищ за мной приедет. Вы в Дивногорск, говорите?

— Да,—ответила Галя.—У меня там сестра родная с семьёй живёт.

Мы ушли, а В. П. стоял возле калитки, подняв ладонь козырьком над глазами: занималось праздничное солнце. Было девятое мая. Он был с нами такой шкодный, как мальчишка, слов не хватает выразить, какой он был тогда в Овсянке. Пожалуй, лучшее слово—родной.

#### *Овсянка, отчий дом Астафьева*

Герань на окошке  
и низкий забор.  
Ни пса и ни кошки,  
лишь чистенький двор.

Хозяин в работе—  
большой огород,  
и он-то в почёте  
у лучшей из од.

Подходит к калитке  
в рубашке цветной.  
А в воздухе зыбком  
так пахнет весной!

Вот, нас привечая,  
стоит у крыльца.  
Улыбка—лучами  
сияет с лица.

А вечером—ужин,  
чеканчик налит.  
Сидим и не тужим,  
беседа бурлит.

А утром—прощанье,  
и в горле комок.  
Писать обещаю—  
хоть несколько строк.

Стоит у калитки,  
вчера озорной,  
хозяин с улыбкой...  
— Прощайте, родной!

#### *День четвёртый (без Астафьева)*

Мы шли с Галиной по Дивногорску, а из динамика в центре дивного города, выстроенного больше двадцати лет назад, с чистым, не загазованным воздухом, продуваемом с Енисея, городе без производств, городе будущего, как его задумывали когда-то молодые романтики-строители, гремел голос моего любимого поэта-гражданина, певца с единственным в мире голосом Владимира Высоцкого: «На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают...», «От границы мы землю толкали назад...». И ещё... весь его военный цикл—песня за песней. И снова—слёзы в горле. Щедра моя родина на впечатления.

#### *Девятое мая. Дивногорск*

Ступаю, иду по земле родной  
в праздник Девятого мая.  
Сорок два года справляем страной—  
от стара до самого мала.

Ступаю—и в уши голос бьёт,  
слова—на разрыв аорты.  
Это Володя Высоцкий поёт—  
на карте границы стёрты.

Ступаю—и сосен могучих бор  
стоит вокруг без движения.  
Всё тише гитарных струн перебор,  
вот музыка стихла и пенье.

Вот эхо умолкло в сосновом бору,  
и ветер подул с Енисея...  
Все смертны, и я когда-то умру,  
но зёрнышко правды посею.

У Галиной сестры отметили праздник медовой брагой, домашними соленьями и борщом по-сибирски с редькой. Ближе к вечеру сели на катер «Ракета», и, рассекая воду, он ринулся против течения к Красноярску. Я смотрела во все глаза на природу по обоим берегам Енисея и не могла наглядеться. В Алма-Ате в горах—и красота, и величие, а здесь—неввысокие холмы, покрытые лесом, ни особой красоты, ни тем более величия. Но за душу так берёт эта неброская пригожесть, что непонятное волнение теснит грудь. Родное, родное всё, детство моё, юность моя! Вот и подруга юности рядышком. Счастливая, перенасыщенная озоном и впечатлениями, я закрыла глаза и заснула на плече у Галки.

#### *День пятый (перед отъездом)*

Галя ушла на работу, а я поехала в Красноярск за вином на прощальный ужин. Через день я



возвращалась в Алма-Ату. Билеты были куплены в оба конца. Ехала на автобусе по городу и удивлялась: кругом только русские лица. Не то что в Алма-Ате — сплошной интернационал. Подумала, что людям одной национальности уживаться всё же легче. Но, оказывается, я была не совсем права. Стояла в очереди за спиртным и слышала ссоры, перепалки, и даже лёгкие потасовки возникали. Но здесь виновата была, конечно, социальная причина: унижение всех и каждого в отдельности. Как писал В. Астафьев в «Зрячем посохе»: «Мелкое, но постоянное унижение не просто мучает и терзает душу человека, оно приводит к чувству самоуничижения, малозначности своей».

Город за двадцать лет почти не изменился: те же деревянные домишки, каменные особняки. Кое-где подновлены фасады зданий, а так — ничего выдающегося. Перестройка только набирала темпы, и до появления русских капиталистов было ещё далеко. Побывала я на рынке: цены высокие, выбор небольшой, народу мало. Купила домой гостинцы: банку брусники в сахаре, кедровых шишек и кое-что по мелочи. В Алма-Ате намного больше и овощей, и фруктов, и рынки многолюдные. Ходила по родным когда-то улицам и чувствовала себя сиротливо и неуютно. Родственников даже искать не стала, адресов у меня не было, связи были утеряны после смерти отца. Стоит ли их восстанавливать? Вряд ли я когда вернусь сюда. Не было никого, кто был бы мне близок в детстве и юности. Близки оказались Астафьев и Галя. Отстояла две очереди, в одной купила водки, в другой — вина. Понаблюдала за красноярцами и приезжими. Почти все лица недобрые, настороженные, подозрительные, так и зыркают по сторонам, чтобы кто без очереди не пролез. Обидно и стыдно за униженных людей, доведённых едва не до скотского состояния оскорбляющим человеческое достоинство прохиндейским указом.

Грустно было на душе, когда возвращалась из города в Академгородок. Но вошла в рощу, прислонилась к берёзе — и полегчало. Не всё так плохо, если душа живая: и печалится, и болит, и страдает, но и радуется тоже, и восторгается природой и хорошими людьми. Ради встреч с Астафьевым стоило приехать на родину! Больше мне здесь никто не дорог, кроме Енисей-батюшки, пусть и обмелевшего, пусть и загаженного ныне, но могучего и широкого по-прежнему в памяти.

### День шестой (предотъездный)

С утра я собрала свой немудрёный багаж на завтра, погуляли мы с Галей по берёзовой роще напоследок, постояли на крутом берегу, с которого Енисей выглядел не рекой, а речкой. Погода была тёплая, солнечная. Галя говорила, что редко у них такое начало мая солнечное, тёплое и тихое. Я пошутила,

что, наверное, в честь приезда блудной дочери. Хотелось бы думать так, конечно, но я не страдала манией величия. Тем не менее, погода все шесть дней моего пребывания стояла изумительная, и природа сияла во всей своей набравшей соки красе. Берёзы тихо шелестели листьями, чирикали на разные лады птички, слышались людские голоса и собачий лай. В Академгородке оказалось много любителей собак.

Вспомнила, что рассказывал В. П. У него, оказывается, тоже была собака (не помню какой породы), но кто-то отравил её, и с тех пор больше он не заводил собак, хотя и любил их с детства, и всегда они были с ним — на охоте и на рыбалке, он ведь был знатным охотником и рыбаком. После грустного рассказа он тогда даже побрызжал немножко насчёт нынешних хозяев собак: — Весь берег засрала, прости Господи!

А о том, что его кобеля убили, высказался так: — Валю Распутина едва за шапку не убили, а у меня любимого пса отравили... Кому-то мы поперёк дороги стоим, неуютны вроде...

После обеда пришёл к нам в Галину квартиру В. П., принёс несколько своих книг, как и обещал. Мы собрались угостить его обедом, немного выпить на прощанье, но В. П. категорически отказался, объяснив, что вечером у него журналист из Красноярска и будет серьёзное интервью.

— Как, вы прямо сейчас и уйдёте? — в панике спросила я.

— Два часа у меня в запасе есть, чайку можно попить...

Два часа мы с Галкой буквально помирали от смеха. Да что там смеха — мы ржали, как два жеребца женского рода. В. П. рассказывал о своих родственниках, о том, как он ездил проводить их в Игарку. Я была в этом деревянном, будто игрушечном, городке на берегу Енисея, между Дудинкой и Красноярском, где вместо тротуаров были деревянные настилы.

В нём явно не был реализован актёрский талант. В. П. не рассказывал, нет, — он разыгрывал действо на наших глазах, театр для двух зрителей. Всех своих родичей, в основном не самых близких, он изображал в лицах: с присущими им говорком, мимикой, жестами, манерой двигаться и так далее. Мы с Галей видели перед собой не Виктора Петровича Астафьева, маститого писателя, лауреата многих премий, — перед нами чередой проходили люди пьющие, люди несчастные, люди безалаберные, люди хорошие в большинстве своём... Одним словом, был никогда прежде не виданный нами театр одного актёра. Куда там Ираклию Андроникову! Даже Аркадий Райкин вроде потускнел в моих глазах.

Астафьев не надевал ни масок, ни усов, ни борода, ни разных одежек на нём не было. Он просто сидел на стуле, иногда легко вскакивал, показывая

какое-нибудь уж очень смешное телодвижение изображаемого родича, и мы покатывались со смеху. Ни до, ни после я не смеялась так светло, взалёб и до слёз, как на этом уморительном спектакле. Как изошряются нынешние сатирики, поливая грязью и выставляя полуграмотными дураками и правительство (правда, бывшее), и Госдуму, и нас с вами, а смеха нет. Здорового, искреннего, от души, до спазм в желудке смеха нет. В лучшем случае я улыбаюсь на остроумную реплику. Так, как я хохотала тогда, уверена, больше хохотать не буду. Время не то, возраст не тот, да и Астафьева уже нет на белом свете. Могу вспоминать только его, рассказывающего и показывающего, и себя — хохочущую до изнеможения. Такой получился у нас прощальный вечер. Перед его уходом уже я крепко поцеловала его в губы.

— Прощайте, Виктор Петрович! Спасибо за праздник общения с вами. Буду молиться за ваше здоровье и буду помнить вас...

— До свиданья, Света. Может, ещё увидимся. Пиши, не теряйся, землячка!..

И он ушёл. «Опустела без тебя земля...» — вдруг зазвучало в душе. Я, конечно, от избытка чувств наполнила до бесчувствия и порыдала, стоя на балконе и глядя на берёзы. Звёзды роились в небе, воздух пах берёзами и хвоей. Стояла ночная тишина, и я была наедине со Вселенной. Галка уже спала, утомлённая двухчасовым хохотом и вином. А я не могла уснуть, и так не хотелось уезжать, но меня ждали мать и дети в Алма-Ате. У детей родиной был Казахстан, Алма-Ата.

#### *Прощание с родиной*

Уезжаю, а часть души  
остаётся среди берёз —  
светлой бабочкой в них кружить.  
Затуманился путь — от слёз.  
Я запомню особый миг  
кровной связи со всем, что здесь...  
и Астафьева светлый лик  
в осиянной дали небес.  
Уезжаю, а сердце жжёт:  
разрываю с родиной нить.  
На чужбине никто не ждёт,  
и мне некого там любить.

#### **День седьмой (отъезд)**

Уезжала я в слезах и в стихах. Галя проводила меня до автобуса, ей нужно было идти на работу. В. П. я не стала звонить, чтобы не выглядеть навязчивой, тем более что В. П. считал навязчивость одной из самых отвратительных черт в характере человека («Зрячий посох»). Его лицо, его светлый лик (образ) всё равно был в моём мысленном взоре, и я увозила его с собой без ведома хозяина. Я ехала в автобусе в аэропорт и ничего не видела от слёз. Думала лишь о том, что теперь покидаю родину

уже навсегда. Мать, сын и две дочери, могилы отца и мужа, отца моих детей, — в Алма-Ате. Как бросить живых и мёртвых? Болезненно сжималась душа, и будто отрывались от неё крохотные клочки и повисали на заборах деревень вдоль дороги до аэропорта. Нет, я ещё приеду к Енисею и Астафьеву. Я люблю родину свою — Сибирь, и она живёт и будет жить в моей памяти, будет жить до моей кончины.

#### *Тихая звезда*

Тихая звезда над землёй сияла  
и роняла свет на родину мою.  
Я не знаю, жить мне много или мало,  
о тебе я, родина славная, спою.

#### **Послесловие**

По возвращении в Алма-Ату я написала В. П. Астафьеву письмо, но не отправила, посчитала нескромным, что ли. Мы изредка переписывались, но жизнь моя круто изменилась, и переписка оборвалась. Потом я снова написала, выслала В. П. свою новую книжку стихов, и переписка возобновилась. В. П. присылал мне рукопись своего нового романа о войне, я прочитала, робко кое-что поправила — я ведь работала три года редактором в крупном издательстве в Алма-Ате. Потом снова переписка оборвалась, и в 2001 году я услышала о его кончине. Отца родного я так не оплакивала, царствие ему небесное, как я рыдала по Астафьеву. Я ощущала себя так, будто осиротела вторично. Глупые осудят, умные поймут, что я отдаю долг — человеческий и гражданский, написав правду и только правду о встречах с Виктором Петровичем Астафьевым, о том, что он говорил и рассказывал. «Пока жив — не пиши, знаю, что захочешь. Умру — можешь писать, Бог тебе будет судья, а не я», — сказал он мне на прощанье. Пусть будет Бог мне судья, если я солгала.

#### **Неотправленное письмо**

«Есть ли для меня в мире более человек, каким я увидела, полюбила и приняла в душу вас — роднее отца родного? Люди, уезжая в далёкие края, очень далёкие, берут с собой горсть родной земли. Я брала со своей родины, Сибири, на память ваш образ — образ отца земли русской. Таких исконно русских — и по внешности, и по душевной щедрости, и по особой хитринке в ласковой улыбке, и по мягкому рукопожатию больших, не писательских, а хлебопашеских рук, будто (странное ощущение!) не вы держали мои руки в своих, а я держала тёплый, с пылу с жару, хлеб, испечённый в русской печи, — много ли?»

С первой встречи в вашей квартире в Академгородке мне стал не нужен город, в котором я жила периодически в детстве и юности и впервые приехала в зрелом возрасте, вы стали живым

воплощением сибирского края, его историей, его сердцем, его душой, его совестью. Вся Сибирь предстала в вашем лице, в ваших произведениях, в ваших живых, от живого лица, рассказах. Но вы уделите мне, как своей землячке, лишь несколько часов за три дня встреч. И я всё же увидела и одряхлевший город детства и юности Красноярск, и «пьяные» очереди после 2-х часов дня, и родные, родные до боли русские лица. Мне, приехавшей из Казахстана, из Алма-Аты, стало даже не по себе. Я не была на родине более двадцати лет и, наверное, действительно «оказалась», как заметили вы, Виктор Петрович. А ещё, помните, вы при прощании сказали: «Вижу, как тебе хочется написать о наших встречах. Но—не пиши, обижусь. Помру, тогда с тебя лишь Господь Бог спросит». Я обещала».

*P. S.* Позволяю себе опубликовать письма Астафьева В. П. в рукописном виде, ничего не поправляя и не изменяя. У нас не было интимных, дружеских, может, частично деловые были, но больше—чисто человеческие отношения. У меня нет корысти опубликовать свои воспоминания—даже и не воспоминания, а долг памяти. Я считаю, что обязана поделиться с людьми, любящими В. П. как писателя и человека, даже такими крохами общения с удивительной личностью, поделиться этой радостью общения. Мне хочется надеяться, что я написала светлый образ человека—Виктора Петровича Астафьева, большего я не хотела.

#### *Письмо первое*

«30 сентября 1990 г. Красноярск.

Дорогая Светлана, спасибо за книжку. Хорошая, хотя и с налётом трагичности, книга. И хорошо, что напомнила о себе. Мне всё равно надо было бы тебя искать. Есть нужда. Рабочая. Я заканчиваю книгу (первую) романа, где у меня присутствуют казахи, и порой не только присутствуют, но и говорят, молятся, плачут; все их слова, плачи и прочее я пока вписал условно. Не знаешь ли ты доброго, непредубеждённого казаха-литератора, который помог бы мне привести в Божий вид казахские обращения и речи? Ребята они у меня симпатичные, но, как и все мы были в ту пору в запасном полку, забитые и несчастные. Может, ты можешь мне помочь? Кажется, ты знаешь казахский язык? Где-то весной я, с более или менее готовой рукописью, мог бы прилететь в Алма-Ату, если будем живы все и не загнёмся за зиму.

*Кланяюсь, желаю доброго здоровья—  
Виктор Петрович.*

#### *Письмо второе*

«Дорогая Светлана!

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Моё затянулось, очень всё же много того,

что мешает ныне жить и работать, мелочи давят главное. Работа над первой частью романа ещё не закончена, но рукопись уже читабельна. Я посылаю её тебе всю, чтобы ты увидела, какую ношу я взвалил на себя, а муж твой откроет для себя новость, что все наши армейские беды и гадости начались не сейчас.

У меня одна просьба—надолго рукопись не задерживать, и хотя я знаю, как вам и нам всем живётся суетно и трудно, всё же малость загружу вас:

1. Все речения, разговоры казахов перевести на казахский язык, но в русской транскрипции, а можно так и эдак.
2. Два-три расхожих казахских имени, что-то вроде нашего Ивана, и одно редкое, степное, которое бы говорило о принадлежности к древнему высокому роду.
3. Одно-два расхожих восклицания, что-то вроде нашего присловья, и обязательно одно-два ругательства, но не стервозных, не пошлых, а «домашних», повседневных. Хорошо бы какую-нибудь примитивную песню или напев, когда поют, чистя картошку, «для себя», думая о доме, о родных, о своём кишлаке (надо—ауле), о степи, о горах.

Вот и всё. Заранее благодарю. Желаю доброго здоровья и хорошей жизни вообще, с мужем в частности, ибо в наше дикое время сходиться на жительство могут или безответственные дураки, или уж действительно добрые, уставшие от одиночества люди.

*Храни вас Бог! Виктор Петрович.*

*13 мая 1991 г. Красноярск.*

#### *Письмо третье*

«7 июля 1991 г., с. Овсянка.

Дорогая Светлана!

Спасибо тебе и за книги, и за помощь с рукописью. Господь чем-нибудь поможет и тебе за твою доброту, хотя к добрым-то и честным людям Он последнее время как раз и не очень ласков.

Осенью я продолжу работу над романом, а пока сижу всё ещё в деревне, и поскольку у нас каждый день льёт дождь, довольно прохладно, ничего не осталось мне делать, как сесть за стол и завершить «Последний поклон». Написал две заключительные главы и с печалью закончил работу, которая продолжалась почти тридцать лет и доставляла мне такое удовольствие, какового не доставляла ни одна книга моя.

Скажи и мужу своему спасибо за письмо. Спорить нам не о чем, поскольку главного предмета, о чём могли бы мы спорить, не было и нет, т. е. армии как таковой у нас не было и нет. Есть загнанная в казармы толпа рабов, пользующаяся, кстати,

уставом, писанном ещё для рабской армии Рима, и с тех пор на нём лишь корочки менялись. Всей дальнейшей работой в романе я как раз и покажу, как армия рабов воевала по-рабски, трупами заваливая врага и кровью заливая поля, отданные бездарным командованием тоже рабского свойства: почти четыре миллиона пленных в один год никакая армия не выдержит, а рабы могут всё, они скот бессловесный, и скот этот воспитывается сперва казарменной системой, а уж и доводится окончательно, на колени ставится в самой казарме. Дедовщина так называемая нужна нашим дармоёдам-генералам, как когда-то в лагерях блатная рвань нужна была, чтобы, ничего не делая и даже свои полторы извилины не утруждая, можно было управлять ордой рабов, одетых в военную форму.

Ну ладно, ещё раз спасибо! В Алма-Ату пока пути нет, а вот в Барнаул на шукшинско-соболевские чтения поеду. Толя Соболев — не путай с мудаком Леонидом Соболевым! — был моим приятелем, да и фронтового друга, живущего на Алтае, надо навестить. Будешь вдруг в Сибири — позвони 25-49-84, а казахи будут действовать у меня и во второй книге, так что все твои советы не раз пригодятся.

*Кланяюсь — Виктор Петрович.*

*Приписка: «А возможно, и придётся мне поехать в Казахстан. Кто знает. В. П.».*

#### *Письмо четвёртое*

*«Дорогая Светлана!*

Письмо твоё получил и ко времени подходящему. Я как раз сдал на машинку вторую книгу романа и пробую разделаться с текущими делами. К сожалению, я ничего тебе делового написать не могу. Наше так называемое краевое издательство протянуло ноги. Там не нашлось человека делать дело, и вот, сохранив почти полностью штат хлебников, они сидят на случайных подачках или каких-либо грошах, вырванных на подвернувшихся изданиях; по-моему, уже и помещение своё сдают в аренду. Я давно там не был, не знаю,

что они делают, но вопят: «Погибаем!» Слышу это то по радио, то по телеку, то в газетах их вижу. Что касается других то возникающих, то куда-то бесследно исчезающих издательств, я с ними не связан. Два последних года были полностью отданы работе над романом. Заканчиваю вторую книгу на пределе сил и возможностей.

Издательство «Протеск» напечатало мою «Царь-рыбу» целиком, наконец-то. По этому случаю я съездил к ним, выпили водки, посидели, погутарили. Они ещё держатся, издавая ходовую литературу, но у них нет полиграф. базы («Царь-рыбу» печатали в Иркутске), и расходы на издания и налоги несут они всепоглощающие, и как дальше существовать будут — и сами, кажется, смутно себе представляют. Но пока они есть, существуют, и ты можешь с ними связаться по адресу: 66 00 06, ул. Копылова, 66, ред.-изд. центр. «Протеск», тел. директора: 43-73-15, Виктор Николаевич Манякин. Это всё, что я могу сделать. Деловых связей у меня ни с кем нет. Мои книги издаются во многих городах, но идёт это дело стихийно, по предложению самих издательств.

Жизнь в нашем городе и крае, как и везде, трудна и напряжённа, цены растут, предприятия замирают, растёт преступность и безработица, и впереди я не вижу просвета. Но позавчера я встретился с человеком, который буквально убеждает от оголтелых казахов из Чимкента и баял, что у нас хотя бы дышать легче. Скоро в Казахстане, благодаря усилиям лукавого и коварного Назарбаева, образуется рабовладельческое государство, где рабами останутся не способные уехать и за себя постоять русские, уже позволившие переименовать Павлодар и признать Семиречье исконно казахской землёй, а не казачьей русской вольницей. Павел Васильев в гробу перевернулся, небось, он ведь оттуда, из казаков, родом. Галю вижу редко. Недавно она мне налима приволокла, брат из Ярцева привёз ей рыбы, она и поделилась со мной. Хороший человек Галя, да вот в личной-то жизни тоже невезучая.

Ну, кланяюсь, желаю, чтоб полегче тебе жилось.

*5 февраля 1994 г. Виктор Петрович.*



Ирина Дубровская

## Русский как иностранный

2006–2007

«Господь до тех пор хранит душу твою, пока ты хранишь язык свой». Эти слова Антония Великого, напечатанные на небольшом бумажном листке, можно увидеть в стенах одесской Свято-Троицкой церкви. Как напоминание о главном. Как предупреждение об опасности — уже наступившей, уже свершившейся. Хочется добавить «почти», потому что страшно, невозможно потерять последнюю надежду, хоть бы оснований для неё вовсе и не было. И впрямь, есть ли ещё, остались ли основания надеяться, что русская часть Украины или хотя бы её культурное ядро сохранит свою языковую, а с нею и культурную же, и, если хотите, нравственную идентичность? Не растворится ли окончательно в мутном потоке новоявленной «рідной мови», большей частью состоящей из наскоро состряпанных галицийскими поварами неологизмов, на ходу скрещённых с привычной, затёртой в быту, обезображенной грубым сленгом и невежеством носителей, но всё же единственно родной русской речью?

Спору нет, среда — мощный подавляющий и формирующий фактор. Противостоять ей всегда трудно, но — всегда необходимо. Если, конечно, желаем сохранить «свою территорию» в пору её бездарной, но навязчивой оккупации. Если стремимся защитить свой внутренний «заповедник» от беспардонных посягательств извне. Родной язык — главная составляющая и основной раритет этого заповедника. Ведь он — средство не только общения, но и соотнесения себя с той системой ценностей, которые уже проросли в плоть и кровь и стали фундаментом как отдельной личности, так и целого социального слоя. Если фундамент подмыт — не устоять дому. А наш фундамент — прямая угроза нашему существованию. Под ногами у нас вязкая, гнилая почва, которая вот-вот окажется гиблой топью, и тогда уже не выбраться, не спастись.

Пока пророссийски настроенные активисты более или менее искренне толкут воду в ступе и будоражат умы разного рода акциями, вроде «Я говорю по-русски!», и прочими протестами местного значения — фундамент продолжает разжижаться. Пока спешащие в Европу либералы высокомерно рассуждают об изъянах российской

демократии и с плохо скрываемой досадой ищут ответ на свой иезуитский вопрос: как поскорее да половчее откреститься от России, не отказываясь при этом от её великой культуры (ведь своей-то, равноценной, нет!), а главное, от собственной к ней причастности? — пока совершается этот омерзительный торг с самими собой, их родина, уже преданная ими, погружается во тьму настоящего духовного рабства. Именно так. Ведь если не спохватимся, не отстоим своё, родное, заповедное — язык свой, — станем рабами. Потому что язык — это и есть родина, это и есть свобода, это и есть человеческое в человекообразном.

И пускай доморожденные демократы, лицемерно пожимая плечами, с подачи своих американских наставников заявляют, что языковая проблема надуманна, что нам же, дескать, никто не запрещает говорить по-русски. Их доводы, рассчитанные на подопытных идиотов, едва ли могут убедить думающих людей. Ведь запрещать-то совсем не обязательно. Это, в конце концов, было бы слишком грубой, не по-европейски авторитарной мерой. Нет, у наших «толерантных» и «политкорректных» деятелей есть куда более цивилизованные, «гуманные» методы. И, увы, куда более эффективные. Они всего-навсего подменяют факты и понятия и расставляют акценты так, что русский язык, а вместе с ним и те, для кого он не по форме, а по сути является родным, постепенно вытесняются, отчуждаются от привычной среды, получив в ней нелепый и унижительный статус национального меньшинства.

Однако же в этом отчасти виноваты мы сами. Не при нашем ли равнодушном соучастии произошла преступная подмена? Не мы ли, поддавшись в какой-то момент всё путающему и разрушающему «ветру перемен», допустили гнусное уравнивание родного языка с языками нацменьшинств или, хуже того, предпочли вовсе не заметить его, дабы не усложнять себе жизнь? Так на кого же нам пенять?

Пора, наконец, понять главное. Пока мы внутренне допускаем компромисс и добровольно-принудительно участвуем в этом абсурдном и оскорбительном проекте под названием «Независимая Украина», мы вполне достойны того, что

имеем, и всякие внешние действия, половинчатые по существу, ничего изменить не могут. Становится всё более очевидным: пока малодушно пытаемся усидеть на двух стульях и, прикинувшись дурачками, фальшиво подпеваем «оранжевым» запевалям о том, как это прекрасно и престижно — знать несколько языков, все акции, все протесты, все ратования за второй государственный язык — тщетны. Ибо все компромиссы преступны и все полумеры бессмысленны, когда речь идёт о спасении души.

В самом деле, отдаём ли мы себе отчёт в том, чем грозит нам дальнейшее развитие данного проекта? Понимаем ли, что Украина как узко национальное государство обречена на глубокую духовную и культурную провинциальность, замешанную к тому же на непомерных европейских амбициях? Что её обособленная среда, периферийная по своей природе, неизбежно формирует местечковое сознание и соответствующий ему национальный тип — тип недалёкого хуторянина, с гетманским апломбом утверждающего, что его хутор — это центр Европы? Хотим ли мы этого? Мы, воспитанные на культуре, уникальной по своей глубине, масштабности, парадоксальности, сможем допустить, чтобы наши дети стали узколобыми хуторянами и навек увязли в своём «самостийном» болоте? Но как не допустить, как противостоять прокрустову ложу тотальной украинизации? Ответ один: неуклонно сохранять свой язык. Не только его верхний, вербальный слой, но и глубинную, ментальную основу, душу его — нашу русскую душу.

Похоже, нам надо запастись немалым терпением. Ведь пока не преодолены злосчастная гордыня и порождённая ею мания «незалежности», как эпидемия, охватившая всю Мало- и Новороссию, — до тех пор мы будем только терять и разрушаться. И русский язык по-прежнему будет предательски называться «иностраннным», а русская литература — «зарубежной». И мы снова и снова будем вынуждены скрепя сердце наблюдать за унижением и поруганием своих святынь. И будут плодиться поколения втиснутых в дырку между стульями оболваненных «манкуртов», не знающих никаких

других стандартов, кроме двойных, и никакого другого языка, кроме местечкового суржика. Ибо мы на ложном пути, и ничего, кроме лжи, на нём быть не может.

Перемены возможны лишь в том случае, когда Малороссия, освободившись от ложных комплексов, с гордостью назовёт себя своим настоящим и единственным именем — Малой Россией — и понесёт его с должным достоинством и уважением. Тогда сами собой раздвинутся навязанные нам рамки искусственно созданного государства, и мы обретём, наконец, истинную независимость — независимость от продажных гетманов и их вероломных западных покровителей. Вопреки отсутствию каких бы то ни было видимых предпосылок оздоровления, здравый смысл всё-таки подсказывает, что ложь рано или поздно будет побеждена и изнасилованная мерзавцем природа, пересилив его злую волю, выпрямится в свой полный рост. И тут уж поезд истории неизбежно двинется в противоположном направлении. Но этот судьбоносный поворот ещё надо выстрадать и подготовить. Каждому — наедине с собой, на своей территории, в своём заповеднике. С чётким пониманием неразрывности души своей и своего языка. С твёрдым осознанием того, то Господь спасает лишь тех, кто спасает Его в себе.

И, может быть, ещё произойдёт чудо, не ожидаемое никем. Хочется верить, что именно русская Украина — та, что у края России, — содрогнувшись, опомнившись — ведь край, дальше только обрыв, гибель, — спасёт, сбережёт свой язык, как берегут питающий родник в безводной пустыне, осознав, что он — единственный источник жизни. Приняв его как основу основ, без которой искажено прошлое, темно настоящее и перечёркнуто будущее. И тогда нам удастся то, что не удаётся самим великороссам, законным и неоспоримым преемникам своего бесценного достояния. Мы сохраним русский язык с трепетной заботой о его чистоте и невредимости — как залог собственной невредимости и чистоты имени, запятнанного нынче ложью и предательством. Как неперемное условие спасения души, а стало быть, и самой жизни. Ведь никто не дорожит ею так, как тот, у кого её отнимают...

Юрий Беликов, Александр Марчук

## Во сне я буду разговаривать по-русски

Март 2014

Сначала я познакомился с ним как с литературным героем в романе (да простится мне неотменимая тавтология!) Романа Юшкова «Делеция-12», который читал ещё в рукописи, ныне воплощённом типографски. Юшков — один из устроителей «Русских встреч» в Перми. Кто на них только не побывал! От Александра Проханова до Валентина Курбатова, от Станислава Куняева до Михаила Ремизова, от Леонида Бородина до Елены Чудиновой, от Михаила Делягина до Константина Душенова... Кто ни имя, то цокот подковы. Материализующийся фантом конницы Дмитрия Донского.

Как я выяснил позднее, за материализацией этого фантома в некотором роде стоял человек, волею судьбы оказавшийся сначала на Западной Украине, а впоследствии — в романе Юшкова. И зовут его Александр Марчук. Я пригляделся: в целом оригинал походил на своё литературное воплощение.

«Делеция» — самоуничтожение. В романе это самоуничтожение титульной нации — русских. О чём в юшковском творении и говорит тот самый Марчук — неординарный спорщик. Бывший пермяк, в своё время окончивший географический факультет здешнего госуниверситета, потомок раскулаченных украинских крестьян, Марчук принялся в дальнейшем передвигаться в пространстве в поисках исторических корней и лучшей доли. Так Александр стал жителем Западной Украины, где сейчас строит дом.

В его речи часто мелькают эти слова — как главные: «дом», «семья», «нация». «Национализм, — не преминёт обронить он, — это инстинкт самосохранения нации». Потому что, «имея нацию, не быть националистом, это то же самое, что иметь семью и не быть семьянином». Кто бы спорил.

В послемайдановские дни Марчук вновь очутился в Перми — под крышей своего друга-романиста, на мировоззрение которого он повлиял. Они опять возобновили так и не оконченный в романе спор славян. Мой собеседник думает по-русски. Однако может «размовлять» — говорить по-украински. Это двоеение, некий дуализм присутствовали и в нашем разговоре: вы заметите, как Марчук становится то русским, то украинцем.

Диалог с Александром пришёлся на март нынешнего года. То есть ещё до возвращения Крыма в Россию. До огненно-удушающего ужаса в одесском Доме профсоюзов. До бесчинств киевских карателей на юго-востоке Украины. До усиливающегося потока беженцев. Прошло не просто время. Мне, как и многим другим, кажется, что закончилась одна и наступила совершенно другая эпоха. Ощущение, что все мы, во всяком случае, жители Украины и России, пойманы в ловушку какого-то иного временного периода. Помните эпитафию на могиле малороссийского философа Григория Сковороды? «Мир ловил меня, но не поймал». Сковороду — наверное. А нас поймал. Так или иначе. Всех.

Я и достаточно широкий круг моих знакомых начали ловить себя на доселе невозможной мысли, что, в свою очередь, ряд наших друзей и знакомых, у которых украинские корни, стали смотреть на своих русских братушек едва ли не исподлобья. Мало того, одна пермская семья, год назад отдавшая свою дочь замуж за украинского хлопца, поделилась со мной не просто недоумённой обеспокоенностью, а болью, граничащей с ужасом.

Их милое двадцатилетнее русское чадо, уехавшее вслед за мужем на Украину (конечно же, не на юго-восток), в своих электронных сообщениях родителям ничтоже сумняшеся принялось именовать вчерашних соплеменников, включая и родителей тоже, не иначе как «колорадами». Потрясённые, отец с матерью кричат о зомбировании, о применении каких-то бессердечных технологий...

Увы, многое из того, о чём говорил Александр Марчук, сбылось и, как это ни прискорбно, ещё будет сбываться. Но есть и несбывшееся. Например, русские люди украинского юго-востока учат русских «материковой России» всем своим мужественно-жертвенным примером стоять насмерть за право говорить на природном русском языке и жить на земле предков не коленопреклонённо. Учат пока «за шеломянем еси», то бишь за холмом. Значит, русские пассивны лишь до поры до времени.

— Александр, когда мы все пребывали в советском интернациональном поле, то вряд ли были

озабочены делением на национальные квартиры, тем более — разделением по этому признаку. Но однажды мы этим озаботились. И получилось, что, казалось бы, неделимые — русские и украинцы — делятся. И ещё как! Вон она, та самая «Делеция», если взять только звучание этого понятия. Не буду говорить сейчас о сходстве, но чем, на ваш взгляд, русские и украинцы принципиально различаются — исторически, политически, ментально?

— Вы сказали: «Мы все пребывали...» Мы не все пребывали. Если вы подразумеваете русских, русские — да. Остальные народы не пребывали. Украинцы были националистами всегда. Под ними я понимаю, конечно, настоящих украинцев — жителей польской окраины. «Украина» с польского и переводится как окраина. А большинство русских в том интернациональном поле, к сожалению, пребывают и сейчас. Отсюда — многие проблемы России, и именно из-за этого у меня за неё болит душа...

Что касается Украины, то нужно понимать: она состоит минимум из двух частей — очень разных и во многом противоположных. Юго-восток и центр-запад — это первое деление. В свою очередь, центр-запад тоже жёстко и довольно-таки противоречиво делится на центр и запад. Запад тоже неоднороден. Верно: название «Украина» встречалось и в шестнадцатом столетии. Но в качестве просто окраины. Если взять и посмотреть какие-либо китайские свидетельства, там тоже есть своя «окраина». И Польша тоже имела право иметь окраину...

— Существует легенда, что когда викинги достигли нынешних пермских пределов, они в ужасе восклицали: «Берм!» — что означало «край света», «окраина». Отсюда — Пермь. Если исходить из этих параметров, то пермяки тоже украинцы...

— По норвежской или шведской версии... Вообще, украинцы на мировой карте появляются где-то в конце девятнадцатого века. Любопытный факт: до тысяча девятьсот двадцать второго года на Украине не было ни одного географического названия с корнем «укр». Кроме тех, которые придуманы при советской власти: город Украинка под Киевом, Новоукраинск и так далее. В то же время во Львовской области на границе с Польшей стоит древний город Рава-Русская. Заметьте: Русская! Не украинская. Отчего она там — Русская — на польской границе с поляками? При их-то ненависти к москалям? В Закарпатье только я знаю шесть или семь сёл, в названия которых входит слово «русское». Русская Поляна, Русская Мокра, Русская Кучава, есть даже Русские Геевцы — что совсем уж по-европейски. Откуда эти названия? Сёла древние. Украинцы сами не отрицают: они были русинами. Потом стали украинцами, украинцами

Поэтому тут начинается ошибка, когда мы принимаем сегодняшних жителей Украины за более-менее единое целое.

— Но вы географ. А если взглянуть на этнический состав Украины с этих позиций?

— Проведите на карте линию от Тирасполя до Харькова: всё, что на юго-востоке, это Новороссия. Это русские. Это то же самое, что Кубань и Ростов-на-Дону. Здесь точно так же ёкают и шокают. От Хмельницкого до Полтавы, включая Киев, — Малороссия. Малороссы имеют историческое право называться украинцами. Большинство из них, особенно в сёлах, говорит по-украински. Там тоже есть разные диалекты: ближе к Харькову — почти русский, ближе к Львову — почти польский (с характерным шипением). Что касается менталитета малороссов, то он, скорее, ближе к русскому, но с некоторым отличием. Известно, что малороссы (надо отдать им должное) — более трудолюбивые, чем русские, более хитроватые, более крестьянские по мироощущению, даже если они живут в третьем поколении в городе.

Ситуация в целом такая: в крупных городах Украины говорят по-русски, как, например, в Малороссии, а в маленьких городах и сёлах — по-украински. Собственно же Украина — это Галиция (Ивано-Франковск — Тернополь — Львов). Далее — Волинь. Это Волинско-Ровенское направление с частью Тернопольской области и примкнувшими к ним Закарпатьем и Буковиной. Самые сведущие и сознательные, сердце, мозг, мозжечок, предстательная железа всего украинизма — галичане, которых поддерживает Волинь. И это повелось со времён Галицко-Волынского княжества. Того самого, которое не было под Ордой, в отличие от других. И, видимо, ещё с тех древних времён галичане чувствовали и осознавали себя обособленными. Когда-то они, как и все мы, называли себя русичами, но, видимо, это какие-то другие русичи — люди с иным мировосприятием.

— Чем же оно характеризуется?

— Если западных украинцев сравнивать с русскими, то нужно сказать, что они — нация или народ, а русские, наверное, не народ. Что-то иное. Национализма у русских нет генетически. Он прививается очень плохо. Стараниями Романа Юшкова, меня и ещё каких-то людей доброй воли, приезжающих в Пермь на «Русские встречи». Но я боюсь, что национализм в России не приживётся...

— Тогда, следуя вашей логике, может быть, подлинными русскими надо считать галичан?

— Они так и считают. Они же не называют русскими москалей. Официально — россияне. Но вообще-то — москали. А галичане себя считают самими русскими. Москали же, по их мнению,

у них украли имя—Русь, а теперешняя Москва—это смешение финно-угров с татарами.

— Вы сказали, что галичане не воспринимают русских как собственно русских. И в этом есть какая-то горькая правда, потому что когда в Крыму, Харькове, Донецке или Луганске многотысячные митинги скандировали «Россия, Россия!», «Россия, помоги!», то, как ни парадоксально, Россия видится не здесь, в её нынешних границах, а там—за кордоном, за холмом, если вспомнить известное восклицание из «Слова о полку Игореве»...

— Абсолютно с вами согласен. Именно—там. Более того, русские набираются этого национализма, живя среди чужих. Да, за кордоном, за холмом, на окраинах, может быть, и выковываются Русь и русское сознание. Но там и обида зреет: «Россия нам не помогает!» По крайней мере, так было. И это некоторых подвигло уйти в украинизм. Вообще, для юго-восточной Украины трагедия—тысяча девятьсот девяносто первый год.

Но при отделении от России Украина, включая юго-восток, материально стала жить в два с половиной раза хуже. До перестройки она жила лучше России. А потом—резкий спад уровня жизни. При этом мову ещё навязывала. Кошмар! Представляете положение русскоязычных жителей? Ты стал жить беднее, и тебе ещё навязывают чужой язык. И ты не вышел на улицу требовать? Вот она, русская пассивность!..

— Я недавно заглянул в книгу известного российского телеведущего Владимира Соловьёва, которая называется (заметьте!) «Мы—русские. С нами Бог!». В ней он, словно в пику вам, утверждает, что русские—это нация, мало того—«вселенский бульон», а украинцы—в лучшем случае нация формирующаяся. Согласны ли вы с такой точкой зрения?

— Только с оговоркой: русские—нация не формирующаяся и не сформированная. Украинцы—нация формирующаяся, находящаяся в начале своего пути. Это не значит, что они какие-то недоделанные. Наоборот—у них огромный потенциал. И для России это серьёзная проблема. Как недавно родившийся ребёнок. Он будет только крепнуть и расти. К сожалению, дедушка не будет расти и крепнуть. Он начнёт стареть, у него появятся болячки, ему ничего не остаётся, как жить в памперсах. А внук скоро их снимет. Да, украинцы не такая растущая нация, как, допустим, албанцы. У них меньше пассионарности...

— А у русских? Если отталкиваться от этой самой пассионарности по Гумилёву, это этнос в стадии надлома?

— Как все белые народы. Украинцы—по каким-то признакам тоже в стадии надлома. У них низкая

рождаемость. Но... Надлом надлому—рознь. У каждого—своя высота. У украинцев эта высота намного выше, чем у русских. Нам бы их надлом—и было бы замечательно! Тогда бы мы были нацией.

— Вы сейчас позиционируете себя как русский?

— Сейчас—да. Я—в России. И я—за правду. Западная Украина хочет сегодня сохранить чисто русские земли. Но я считаю, что для Украины—это зло. Я сам живу на Западной Украине. На нас очень сильно влияют жители юго-востока. Например, не дают провести многие законы в парламенте. Их постоянно тянет в социализм, в монархизм, в «заботу» о других. Они не дают нам жить так, как бы мы хотели. Я—человек правых взглядов. Хотя никакой не капиталист. Практически сельский житель.

Так вот, я хотел бы, чтобы каждый заботился о себе сам. Не надо нам вашей заботы. Не лезьте к нам! Фактически на Западной Украине так и живут. Это—к вопросу о менталитете. Скажем, там низовая коррупция растворена в крови. Там, если ты не поблагодарил врача, это нехорошо, некрасиво. Это как будто не поздоровался. Тебя, конечно, никто не заставит, но сделать бесплатную операцию—это в принципе нереально. Бывали случаи, когда не оказывали медицинскую помощь и люди умирали. Отец не заплатил за сына: мол, «деньги дома, я завтра привезу!»—врач не сделал операцию. Ребёнок умер. Отец задушил врача. И теперь сидит. На Западной Украине покупаются должности...

— Но это плохо или хорошо?

— Конечно, плохо. Не хватает работы. Но хорошо то, как люди решают эту проблему. Люди инициативные, не ждущие никаких благ. Конечно, они против коррупции. Любого останови на улице—скажут: «Нас эта коррупция достала!» Но спроси его: «На своём месте ты перестанешь брать?» Нет, не перестанет. «Давать перестанешь?» Нет, не перестанет. Там не выискивают: дескать, мне положено по такой-то группе инвалидности столько-то! А если не выдали, это плохо. Там нельзя прийти к жене и начать объяснять: дорогая, денег нет, потому что в стране такая ситуация, потому что президент о нас не заботится,—как я слышал в России не раз.

Для украинца такой ход мыслей смешон, унижен. Ты на это не имеешь морального права. Ты должен заботиться о семье. Что хочешь, то и делай. В Закарпатье есть целые районы, где люди живут только благодаря зарубежным заработкам.

— Укаждой нации существует своё кривое зеркало, в котором, плохо это или хорошо, отражаются нации другие. В этом смысле иногда есть резон

*в это кривое зеркало глянуть. Допустим, если речь об украинцах, то какие ассоциации мгновенно всплывают?*

— «Хитрые, подлые, продажные!..»

— «...Полиции, бандеровцы, предатели». А украинские товары, от боев до лекарств,—либо это подделка, либо низшего качества...

— Сюда смело можно прибавить ещё и кондитерские изделия!

— А как русские выглядят в кривом зеркале украинцев?

— Что у русских—рабская психология, они строятся по свистку, выполняют команды, им постоянно нужен начальник, а с ними, с простыми русскими, толковать бесполезно—нужно говорить с их хозяином. Когда я жил на Кубани, в русском селе, но в Адыгее, и у меня было сорок гектаров, и, казалось бы, всё хорошо, но жить-то ведь невозможно! Народ злой и завистливый. У русских больше чёрной зависти. Я вынужден был уехать по ряду причин: никто там не строится, село неперспективное, так что жить там—не в радость. А строить дом—это же как ребёнка родить. А рожать его среди злых и завистливых?.. И я уехал обратно на Украину.

Сейчас земли нет. Нам не даёт её тот самый юго-восток в лице своих депутатов—они не разрешают свободную продажу земли в сельском хозяйстве. Здесь она продаётся, а там нет. Вот, пожалуйста: не будет юго-востока—мы примем закон, будем жить нормально с частной собственностью на всё и вся. Юго-восток—это тормоз в развитии Западной Украины.

Что касается кривого зеркала, то собирательный образ русских для западных украинцев—это герои сериала «Реальные пацаны». Наивные, глупые, с которыми тяжело, у которых простота хуже воровства. Недотёпы. У них постоянно что-то не получается. Если забор, то не поправлен, не покрашен. Не исключаю, что в России смотрят на них любя. А украинцы говорят: «Смотрите, какие дебилы! Если к нам придёт эта Россия—это же ужас какой-то!»

Украинцы боятся, как грозовой тучи, большой России—бесформенной, наднациональной, этого киселя, который как сон, как обморок... Помните, Илью Муромца сковали по рукам и ногам какие-то запредельные силы? Вот это страшит украинцев. Что обезличенный Молох их раздавит.

Что любят русские? Строй. С какой теплотой они отзываются об армии! Западные украинцы, напротив, вспоминают о ней как о тюрьме, как о вырванных из жизни страницах. У них идеал—моё, отдельное, я тут хозяин. А у русских—мы все вместе, делаем какое-то большое дело, у нас

хороший царь, отличный батяня-комбат, и мы как один, похожие друг на друга, идём в ногу.

— Но согласитесь: то, что вы с таким антипафосом перечислили, для кого-то—образцово-показательные моменты...

— Для большинства русских. Многие этого даже не осознают, но в подсознании держат. Вы заметили, в России фильмы в основном о дружбе, о братстве? «Бригада»—отличный, кстати, фильм, культовый.

— Ну да. Оттуда вышел ваш Сашко Билый, он же боевик Александр Музычко, который потрясал в кабинетах автоматом, хватал за галстук ровенского прокурора...

— Говорят, что Сашко Билый родился в Пермском крае. А Дмитрий Ярош, возглавляющий «Правый сектор», родился в Восточной Украине—в Днепродзержинске. Я думаю, хитрые западнцы поставили их просто-напросто на эти роли потому, что кому-то надо же будет отвечать за трупы. Вы же знаете, что революция пожирает своих детей? Майдановцы ещё будут друг с другом разбираться. Так в своё время с Ремом расправился Гитлер. Так и эти двое—Ярош и Сашко—плохо кончат. Рано или поздно им снесут головы «свои же»... (Предсказание Марчука частично уже сбылось: Сашко Билый был убит «своими» же.—Ю. Б.)

Так вот, возвращаясь к «реальным пацанам»—русским и украинским. У тебя неудача? Иди отсюда! Рядом с нормальными мужиками тебе не место. Тебя в следующий раз не позовут. Зависть на Западной Украине—белая. Человек где-то заработал? К нему все ходят, спрашивают: «Как ты? Где? Возьми с собой в бригаду. Давай так: заработаю—десять процентов тебе...»

У западных украинцев консолидация выше. Нужно собраться по какому-либо поводу—отправляют из каждого села делегатов: кто-то денег даст, кто-то едой поможет. Таким образом, Майдан полон.

— По-моему, на Майдане «смешались в кучу кони, люди»: националисты, фашисты, бандеровцы...

— Майдан—действительно сборная солянка. Но основную скрипку играли, конечно, националисты...

— Сейчас вы употребляете это понятие в положительном контексте?

— Как хотите. Мне кажется, они объективно националисты. Просто русским это не нравится. Они борются с национализмом внутри себя. А украинцам это нравится. Ты едешь в метро—тебе говорят: «Украине—слава!» Написано везде: «Думай по-украински!» Это было ещё до Майдана. Здесь, в России, слово «русский», по сути, под запретом. Нельзя создать русскую партию. Самоедство

какое-то! Они не уважают русских из-за этого. Если же говорить о составляющей Майдана, то, кроме националистов, это футбольные фанаты, криминалитет и немножко приезжих авантюристов чёрт-те откуда: какого-то англоязычного подстрелили, кто-то из Турции, несколько человек из России, какого-то армянина убили в первые дни, кто-то из Белоруссии приехал... Кстати, часть людей в этих сотнях—рускоязычная. Это или футбольные фанаты, или те, кто хотел за что-то поквитаться, как они говорят, «с погаными ментами». Каждый играет свою игру.

Вот строят люди собор. Идут трое рабочих. Одного спросили: «Что ты делаешь?»—«Собор строю». Второй: «Деньги зарабатываю для семьи». Третий: «Камень тащу этот проклятый!» То есть в целом они делают общее дело, но по-разному его оценивают. Так и на Майдане. Говорят, что там всё за деньги. Может, кто-то и за деньги—боевики, «Правый сектор», спец, которых натаскивали на Западе. И они там есть. Сам видел: обученные люди. Но масса народа вливалась в Майдан по велению души. У меня родственники туда приходили совершенно бесплатно. Дальше я с ними потерял связь. Студентов, кстати, на первом этапе было много. В основном студенты. Целыми вузами. В общем, если ещё раз вернуться к разности менталитетов, то так ведут себя украинцы. Что у русских?

Помню, как, живя на Кубани, я был вхож в «Союз славян Адыгеи». Они сегодня зарегистрировались, дали информацию в теленовостях, им отвели маленькую комнату, денег у них нет, обратились за помощью. Наутро к ним—очередь. Вы думаете, с помощью? Нет. Пришли просить помощи к ним. Кого-то обидели в колхозе, кому-то что-то не дали, кого-то ущемили. Вот это отношение к жизни: мне должны, о нас не заботятся. По поговорке: они делают вид, что платят, мы делаем вид, что работаем. Вопрос: кто они? Почему постоянно этот пассивно-страдательный залог? Или, например, дороговизна. Растут цены на мясо. Займись выращиванием скота. Разбогатеешь. Нет, над нами, русскими, то и дело довлеет какое-то обезличенное обстоятельство, и мы ему противопоставим как некоему абсолютному злу. То есть хотели как лучше, а получилось как всегда. Черномырдин произнёс эту фразу, не подумав, но получилось гениально. Не Пушкин наше всё, а Черномырдин!

— *Если оттолкнуться от поговорок, то вы наверняка подмечали: как только собирается застолье, русские всегда готовы размякнуть до украинских песен. «Ты ж мене пидманула, ты мене пидвела...» Или: «Дивлюсь я на нэбо та й думку гадаю...» Однако любят ли украинцы русские песни?*

— Что-то я не слышал, чтоб они там пели русские песни. Не могу припомнить даже случая. Свои

поют. Впрочем, русская попса занимает на Украине очень хорошие позиции.

— *Но и украинская—в России?*

— Вы имеете в виду Верку Сердючку? Сердючка на Украине абсолютно отрицательный персонаж. Считается, что она портит украинский имидж. Потому что Украина—это не Верка Сердючка.

Когда человек прибыл в Москву из Жмеринки и поёт на русском, он в лучшем случае—хохол. Кстати, хохол—это звучит гордо. Я вообще хочу ввести термин: хохол—это русский со знаком качества. Трудолюбивый, хитроватый, толковый, который своего не упустит. Правда, на Западной Украине у слова «хохол»—отрицательный оттенок: это обрусевший украинец. Запроданец, забывший свою мову и перешедший к русским.

— *Мне кажется, когда мы говорим о том, что та или иная нация в полном смысле этого слова состоялась, справедливо оценить состояние языка, который, в свою очередь, находит преломление в литературе. Есть великая русская литература. Согласитесь, нет великой украинской литературы. Есть отдельные её яркие представители: Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка, Василь Стус, Лина Костенко, Иван Драч. Или нынче вот—Игорь Павлюк. Гоголь, как ни пытается кто-то причислить его к пантеону украинских письменников, был и остаётся великим русским писателем...*

— Новая украинская власть от Гоголя отмежёвывается...

— *Звучит сильно. Прямо-таки по-гоголевски!*

— Кстати, во всём творчестве Гоголя, насколько я знаю, нет ни одного упоминания об Украине—везде Малороссия. И, конечно же, он русский писатель. Но я сейчас сижу и пытаюсь с вами как украинец с русским спорить: если для вас признак нации—литература, то для нас это этнически чистая территория!

Я боюсь, что у албанцев вообще нет ни одного писателя. Они красиво забрали Косово, отымели Сербию с особым цинизмом, используя Запад в качестве, извините, презерватива. Вот это—нация! А для русских—это литература.

Лично для меня, если толпы таджиков наизусть выучат Пушкина, они на фиг не нужны! По мне было бы лучше, чтобы русские, пусть из них будет половина неграмотных, как в девятнадцатом веке, рожали бы по восемь детей. И заселяли бы и Сибирь, и Среднюю Азию, и Кавказ, и так далее. Вот тогда они были бы похожи на нацию! А для вас это литература.

Это разве признак нации? У вас некоторые бомжи в России Достоевского цитируют. Вы сейчас спросите у лидеров украинской экспансии, у того



же Яроша: знают ли они что-то из литературы? Я, например, не уверен.

— А я уверен, потому что Ярош — филолог. А по вашей логике, русский, цитирующий Пушкина, человек со знаком минус?

— Это — потом. Это дело сто десятое. Это — как выпить! Сдал экзамен — сейчас можешь Пушкина прочитать и расслабиться. Я считаю, что отсюда — ваши беды. Ты детей родил? Дом построил? Сад посадил? У соседа межу откупил? Да, русская культура в целом сильнее, экспансивней, её перспективы лучше, нежели у украинской, как, собственно, русский язык перспективней, чем украинский. Я вообще думаю: выживет ли украинский язык? Потому что украинцев мало. То, что они публикуют, не читают даже они сами. Это вообще народ в своей массе малочитающий. Издавать книги на украинском без дотаций невозможно — их не покупают в достаточном количестве. Сельская Украина — она вообще не читает. В городской Украине читает только украиноязычная прослойка. Поэтому перспективы украинского языка туманны. Они правильно о нём заботятся. Боятся. Он действительно может исчезнуть.

— А запрет русского языка Верховной Радой во время майдановского угара вы восприняли со знаком плюс?

— Нет. Тут я не могу быть объективным. Даже не пытаюсь. По той причине, что мне русский нравится больше. Я живу на Западной Украине и много лет говорю по-русски. Но это не Галиция. Там, где я живу, тот же скопидомский менталитет, но, в отличие от Галиции, можно говорить по-русски. Это не является дурным тоном. Полгорода говорит по-русски. Там много молдаван и румын, и когда они общаются не друг с другом, то предпочитают русский. Там за это не бьют в морду.

— Получается, вы по менталитету — русский?

— По менталитету я — абсолютный хохол. Или — русскоязычный украинец. Но если вдуматься, вообще, я западенец по менталитету.

— Разве хохол и западенец — синонимы?

— В данном случае — нет. Скажу так: я по менталитету тот, конечно, человек, поэтому мне там хорошо. Единственно, чем отличаюсь, — я русскоязычный. Ну бывает вот такое — вивисекция: пришили голову одного животного к телу другого. Я разговляю — понимаю украинский на сто процентов, говорю — немного напрягать надо мозги, то есть украинский из меня не льётся. Иными словами, если во сне я буду разговаривать сам с собой, это будет по-русски. Он мне родной.

Вообще, я считаю, что русский язык лучше. Он правда хороший. И ты понимаешь это только тогда,

когда сталкиваешься с другим языком. Есть такие уподобления: английский язык — это язык точной механики, русский — язык философии, украинский — это язык села. Оно примерно так и есть.

— Когда русский человек слышит мову...

— Это кажется исковерканным русским, смешным... А русский язык смешным не кажется.

— Хотя некоторые слова в украинском очень красивы! Например, «ялынка». Разве не красиво? В отличие от русского «ёлка». Или, скажем, вот как звучит по-украински начальная строчка стихотворения украинского классика Василя Стуса: «Гойдається вечора зламана вить». В подстрочном переводе это «Качается вечера надломленная ветвь». Сразу что-то утрачивается. Во-первых, ритм, во-вторых звук. Попробуй переведи в полном соответствии. Говорю это как человек, пытавшийся заниматься переводами Стуса на русский...

— Согласен. Но у русских другая проблема: язык останется — русских не будет. Меня, например, в отличие от Кургияна и Дугина, совершенно не устраивает великая Россия без русских. Это будет катастрофа. Когда, не дай Бог, Россия превратится в мусульманский имарат, как сейчас, знаете, в Дагестане многие народы общаются между собой по-русски. Это будет не что иное, как русскоязычный, но антирусский имарат.

— Представим на минуту: вас избрали президентом Украины. Какие бы безотлагательные действия вы предприняли — политические, законодательские, гуманитарные, практические? Дабы был покой...

— Я думал, вы скажете: «Дабы сохранить территорию, помирить восток и запад...» Чтоб сохранить покой? Я бы делал так: формально бы говорил правильные вещи — «о сохранении территориальной целостности, признании суверенитета Украины» и так далее. А на деле приложил бы все усилия для того, чтобы на юго-востоке Украины сформировались-таки свои элиты — такие же, как в Крыму (Аксёнов, Константинов, Чалый), которые бы противопоставили себя центру-западу, и либо отделить от Украины эти области прямо сейчас и окончательно (пусть присоединятся к России или станут независимыми), либо сделать федерализацию — может быть, как первый шаг к разделу Украины. Было бы лучше и тем, и другим. Потому что это как супруги, которые объективно мешают жить друг другу. Единственный выход — развод. Но при этом нужно уступать, даже территориально.

— А экономически как это скажется на западенцах? Ведь Донбасс их кормит, как они сами утврждают...

— Донбасс таки кормит, но он потребляет больше всего газа, покупаемого в России.

— *Чем же будет тогда существовать та же Галиция?*

— Это абсолютно не имеет для них значения. В Галиции все живут заработками за рубежом—от Португалии до Камчатки. Дело не в этом. Их не волнуют экономические проблемы. Им нужна нация. На что мы будем жить, это не ваше дело. Отпустите! Для них свобода важнее. Вот сейчас я на Украине строю дом. При этом я не зарабатываю на Украине—я зарабатываю в России. И когда меня спрашивают: «Как ты будешь жить?»—я говорю: «Ребята, ваше, что ли, дело?!» Не будет на родине работы—поеду за границу. Я здесь, в Перми, один из всех, кто жил в университетской общаге, чистил дворы, хотя у нас была относительно обеспеченная семья, а я был единственным ребёнком. Но подрабатывал и грузчиком, и не только. Потому что знал: мне нужно копить деньги, чтобы уехать на Украину.

— *То есть ваше передвижение в пространстве—это попытка вернуться к самому себе?*

— Я туда съездил и понял, что это моё. Я и сейчас это чувствую. Да, в Перми говорят на моём языке, но люди немного другие. Как евреи живут среди нас уже в нескольких поколениях? Говорят по-русски. Кроме русского, никакого языка не знают. За столом могут с нами выпить. Появилась возможность после перестройки—они, в основном, все выехали.

Оказывается, им плохо с нами, а мы этого даже не понимали. Кто остался—те злятся: Новодворская желчью исходит или тот же Венедиктов. Чего им плохо-то? Вы же русскоязычные! А вот нет! Объясните, что в них такого? А не объяснишь ни фиги. Что-то им здесь не так. И выросли вместе, и учились, и одной жизнью жили. Но вот—не такие. И женятся чаще по национальному признаку, потому что рыбак рыбака видит издалека. Им хорошо друг с другом, а с нами как-то не очень. Другой менталитет.

И я жил так—в общежитии, там было много людей именно из сельской местности, где, казалось бы, душа народа, но я ещё раз подчеркнуто увидел, что я—другой, нездешний...

Вообще-то Украина—это вызов России. Границы современной Украины—это оскорбление России. Можно Калининград отдать—это действительно Кёнигсберг, стоит только глянуть на архитектуру. Там люди все—приезжие во втором-третьем поколении, потому что там раньше жили немцы. Но смириться, как русские в душе смирились, что у них, по сути, отняли их русские города и земли,—это ж какими надо быть отрёпанными от собственной нации?! Не говоря

уже о не столь ярких моментах: целину распахали, космодром построили—сейчас платим за аренду Казахстану. Да вся Украина смеётся! В том числе и над тем, как платите дань Чечне. Вместо того, чтобы поступить, как с индейцами в Америке. Вы вытащили из небытия национальные кадры, научили их читать-писать и сейчас им же платите дань! Это точно так же, как если бы сейчас белые американцы платили дань индейцам...

— *На то мы и русские, чтобы не быть американцами.*

— Чтобы так унижаться? Стелиться? Это же мазохизм. Так что России не нужна стабильная Украина—идёт конкуренция. Украина—это вообще антирусский проект. Слово «украинцы», видимо, выдуманно, конечно же, спецслужбами Австрии при поддержке Ватикана. Не Польши именно, а Австрии, потому что украинцы бьются и с поляками. Например, президент Квасьневский отменил своё время визит во Львов, потому что Львов на памятнике польским погибшим не разрешил написать: «Героически погибшим...»—они были захватчиками.

Приезжал Ющенко, после чего Госсовет пообещал, что Львов не получит дотаций, но львовский горсовет с этим не согласился: мол, не нужны нам ваши дотации, сдохнем с голоду, но «героически погибших» не напишем. И не написали. И Квасьневский отменил визит. Понимаете? То есть людей не купишь за деньги. Там нет вертели власти. Там—народ. Всё! И ничего ты с ним не сделаешь.

— *А нет ли в ваших утверждениях противоречий? Сначала вы говорили, что там всё можно купить за деньги, а иначе не бывает. Теперь—что не купишь.*

— Да, они покупают за деньги, но они не продаются. Есть проститутка, а есть тот, кто её покупает. В этом разница. Они управляют своей жизнью. Купить—это одно, продаться—другое. А юго-восток продан. Им говорили в девяносто первом: «Отойдём от России. Москали наше сало сожрали. Будете жить лучше». И русские, жившие и живущие на юго-востоке, по сути, предали свой народ! И сейчас они за это расплачиваются.

Вы помните, как русские голосовали в Эстонии за её независимость? Выходили на митинги: «Будем европейской страной!» Сейчас они—«негры». У них написано: «Не гражданин». Поэтому чем хуже на Украине, тем лучше в России. Чем хуже в России, тем лучше Украине, её идее. Потому что украинство—это не русскость. По большому счёту, Украина—это анти-Россия. Такая вот у них национальная идея.

Поэтому, когда вы хотите дружить, вы с ними не подружитесь. Дружить можно только в сторону

русификации. Так же, как западные украинцы могут дружить с восточными, только украинизируя их.

Мы—объективные соперники. Тут не надо выяснять, кто плохой, кто хороший.

В общем, как в известном стихотворении Николая Рубцова «Вечернее происшествие». Про то, как ему в сумеречную пору встретилась в глуши лошадь: «Мы были две живых души, но неспособных к разговору». И далее:

Мы были разных два лица,  
Хотя имели по два глаза.  
Мы жутко так, не до конца,  
Переглянулись по два раза.

А концовка-то какая! В духе нашего диалога с Александром Марчуком: «Что лучше разным существам в местах тревожных—не встречаться!» Это при том, что с незапамятных пор лошадь всегда была другом и помощником человека, а человек

всегда заботился о лошади. Кто здесь кто, где Украина, а где Россия—решайте сами.

Правда, вспоминается и другой сюжет, изложенный устами казачьего поэта времён Гражданской Николая Туроверова:

Уходили мы из Крыма  
Среди дыма и огня,  
Я с кормы всё время мимо  
В своего стрелял коня.  
А он плыл, изнемогая,  
За высокою кормой,  
Всё не веря, всё не зная,  
Что прощается со мной...

Есть ещё и третье прочтение—в фильме «Служили два товарища». Когда конь изо всех сил плывёт за кормой уходящего из Крыма парохода. На корме—человек в образе белого офицера, роль которого проживает Владимир Высоцкий. Выстрел в висок. Человек падает за борт навстречу плывущему коню...

ДиН стихи

Ирина Дубровская

## От Киевской Софии к Новгородской

### В Одессе

1.

Ни любовью, ни молитвой, ни строкой  
Не очистить милый город, не сберечь.  
Сорняками вдоль дороги городской  
Разрослась обезображенная речь.  
Разнеслась вокруг зловонная чума,  
И никак уже её не выгнать прочь.  
Нынче дома я, а в доме нынче—тьма,  
Беспросветная украинская ночь.

2.

Снова рядом жить с дикой речью,  
С властью лжи, с торжеством порока,—  
С новоявленной этой Сечью,  
Что по сердцу сечёт жестоко.  
Рассекает его до смерти,  
Оккупантом глядит с порога...  
Снова в муке жить, ибо сердце  
Не приемлет чужого бога.

### Две Софии

Чтоб не устать нам верить и бороться,  
Чтоб был высок и праведен наш шаг,  
От Киевской Софии к Новгородской  
В свой крестный ход пускается душа.

Под шум дерев, что золотом оделись,  
Под тихую сентябрьскую грусть  
Идёт она, страдая и надеясь,  
Собрав в себе разорванную Русь.

В дни страстные, раздорные, лихие,  
Иного дня не в силах больше ждать,  
Летит она, чтоб Киевской Софии  
От Новгородской весточку прислать.

Елена Литинская

## Украинка Леся

Март 2014

«Блямс!» — звякнул мобильник. Пришло сообщение: «Здравствуй, Таня! Поздравляю тебя с 8-м Марта! Желаю здоровья, успехов, счастья! Почему ты не приходишь делать income tax? Нашла себе нового бухгалтера? Предательница! Звони. Леся».

Ну вот, уже и предательницей назвала! Мы не виделись около года и по телефону не разговаривали с осени. Леся была по профессии бухгалтером и несколько лет подряд делала мой income tax return. К тому же мы подружились, вернее, стали приятельницами и в прошлом часто болтали по телефону обо всём и ни о чём, задавая друг другу традиционно общие вопросы: как дела, как семья, как здоровье, — и удовлетворяясь столь же традиционно стандартными ответами: спасибо, всё ОК. Даже пару раз ездили вместе в торговый центр «Kings Plaza» на шопинг. Обе любили модно одеваться и таким образом улучшали себе настроение. Шопинг — магический женский антидепрессант.

Одно обстоятельство всё же нас сильно разделяло: Лесина истовая религиозность. Её постоянные разговоры о Боге, о грехах человеческих, о спасении, поездки по монастырям и святым местам и восторженные рассказы о чудесных исцелениях и явлениях. Я всё это выслушивала из вежливости и по дружбе, не перебивала, но мне от подобных разговоров становилось скучно. Аж до зевоты. Нет, я не безбожница, но не терплю фанатизма в любом его проявлении. Да и сколько можно?! Леся понимала, что ей «не обратить меня на путь истинный», и наше дружеское общение постепенно сходило на нет, но деловой контакт остался. Правда, меня не покидало ощущение какой-то недосказанности, незавершённости в отношениях.

В этом году я никак не могла собрать воедино нужные финансовые бумаги, и поход к Лесе откладывался. Может быть, подсознательно я понимала, что в связи с последними событиями на Украине наш разговор непременно скатится к политике и будет тяжёлым, даже болезненным. И тут вдруг Леся сама заявила о себе. Надо бы ей перезвонить. Представляю, что у неё там на душе творится! Леся ведь из Западной Украины, откуда-то из-под Львова. Но как мы будем общаться в теперешней обстановке? Моё видение ситуации на Украине

было далеко не однозначным. И вообще, я не люблю впутываться в противоречивые беседы, в никуда не ведущие споры, когда меня хотят втянуть в политические диспуты, фигурально взяв за горло и привлечь на свою сторону. Не буду звонить. И всё. Ничем хорошим наш разговор не закончится. Найду себе другого бухгалтера или сама как-нибудь справлюсь. «Чего мудрить-то?» — как говаривал мой любимый учитель математики Григорий Иванович. Разберусь.

Да, но не ответить на поздравление — просто невежливо. Неприлично, в конце концов! Леся всегда ко мне хорошо относилась, да и я к ней тоже. Не заслуживает она моего молчания. Придётся переступить через «не могу» и позвонить. Просто по-человечески поговорить. От меня не убудет. И я нажала кнопку «Call back». Леся откликнулась сразу. — Здравствуй Таня! Рада тебя слышать. Как дела? — Лесин голос звучал приглушённо, с некоторой долей настороженности, суховато. Не было в нём прежней бьющей через край доброй энергии и искреннего расположения.

— Спасибо! У меня всё по-старому. Работа, семья, литература. Давно мы с тобой не говорили. Как ты? Понимаю, что тебе нелегко в связи с ситуацией на Украине.

Ну вот! Я сама начала о политике. Не хотела ведь. Но что было делать? Как-то нужно ломать лёд. — Да, тяжело нам теперь приходится. Мы с Петром уже три месяца вкалываем семь дней в неделю. Я на двух работах, он тоже. Плюс горячее время income tax-ов. Надо заработать побольше денег и послать детям на Украину. Там сейчас полный развал экономики. Работы нет, цены на товары и коммунальные услуги запредельные. И просвета не видно.

— Подожди! Дочка твоя вроде замужем за преуспевающим бизнесменом.

— О чём ты говоришь! Он разорился и пьёт по чёрному. Доча моя с ним хочет разводиться.

— А твой сын, кажется, успешный зубной врач. У него своя практика. Помню, ты рассказывала, что это он в прошлый твой приезд сделал тебе голливудскую улыбку. Или я что-то путаю, и твоя улыбка — работа местных дантистов?

— Мой сын — дантист от Бога! Но он не мог оставаться в стороне от святой битвы: закрыл офис и поехал на Майдан.

Я опешила. Мы помолчали. Надо было что-то говорить, как-то реагировать.

— Твой сын был на Майдане? Он пострадал? — спросила я, заикаясь.

— Физически он, слава Богу, не пострадал, но духовно... прямо раздавлен. Вернулся домой, потерял сон, руки трясутся, работать не может. Да и мало сейчас охотников до голливудских улыбок, когда души искалечены. Как бы души залечить!

Да, Леся была верна себе: любила лексику духовной литературы, часто вставляя слова «дух», «душа», «святой»...

— Да, дела-а! — протянула я.

Наш телефонный разговор явно зашёл в тупик. Разводить с Лесей дискуссию о Майдане было крайне неразумно. Да ни к чему бы и не привела эта дискуссия, кроме взаимного непонимания и раздражения. Я искала выход из создавшейся ситуации. Предложила:

— Надо бы как-то встретиться, поговорить... Никакого нового бухгалтера я себе не нашла. Соберу бумаги и приеду. Время поджидает. Осталось чуть больше месяца.

— Давай приезжай. Поговорим. Хотя особо рассуждать нечего. Надо убить дьявола. Вот и весь сказ! — отрезала Леся.

Я хотела спросить, кто же этот дьявол, которого надо непременно убить, но вовремя прикусила язык. Точка зрения Леси на обличье дьявола в современном мире не вызывала сомнения.

— Знаешь что, давай повременим с убийством, тем более что дьявол может принимать многоликое обличье. На Майдане и без того кровь пролилась. Очень надеюсь, что всё как-нибудь утрясётся мирным путём. Я позвоню тебе через пару дней. Хорошо?

— Звони, — согласилась она. — И финансовые бумаги принеси, — не забыла о бизнесе Леся.

— Ок! Может, и других клиентов приведу. Ведь тебе нужны деньги, — неожиданно для себя сказала я.

— Спасибо за поддержку! Только знай: нет мира с дьяволом! — торжественно произнесла Леся, как будто с амвона вещала.

Да, ошарашила меня Леся своей фанатичной непримиримостью и злобой к тем, кто не с ними. А прежде была такая мягкая, отзывчивая, источала доброту и терпение. Истинный образец христианского смирения. Часто повторяла заветы любви к ближнему и врагам своим. Ведь произнёс же Христос: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт, подлежит суду».

Я не могла предположить, что мы окажемся так далеки друг от друга. Нет, конечно, не по разные стороны баррикад, ибо я старалась понять обе

стороны, но всё же, как бывшая россиянка, тяготела к России. После нашего телефонного разговора я быстро собрала необходимые документы и снова позвонила Лесе. Очень уж не хотелось мне искать другого бухгалтера или возиться с бумагами самой. — Привет, Леся! Когда будем делать мой income tax?

— Приходи завтра к шести вечера. Я тебе быстро всё сделаю, и будем чай пить. Обещаю испечь яблочный штрудель с изюмом. Такая вкуснятина! Петро его обожает.

— Ок! Завтра в шесть. Только прошу тебя! Давай не будем говорить о политике, — попросила я Лесю.

— Ладно! Достала меня уже эта политика. Никаких сил нет! На работе я уже со всеми переругалась. Мой босс — бывший москвич...

На следующий день я села в машину и, решительно «отряхнув» сомнения «со своих плеч», поехала к Лесе. Дверь мне открыл муж Леси Петро. Вид у него был усталый. Постарел человек, поблёл.

— Здравствуйте, проходите, садитесь. Леся сейчас пока занята. Она вас позовёт.

«Какой официальный тон! Раньше он не так со мной разговаривал», — подумала я и спросила: — Петро, ты что, меня не узнаёшь? Я — Таня, Лесина подруга.

— Почему не узнаю? Я вас узнал. Для нас все клиенты одинаковы. И подруги, и не подруги. Вот вешалка, давайте я повешу ваше пальто. Подождите здесь! — и ушёл к себе в спальню.

Я промолчала, достала из сумки smart phone и стала проверять накопившуюся за день почту. Из гостинной, которая служила Лесе также домашним офисом, доносились приглушённые голоса — Лесин и какой-то женщины. Разговор шёл по-украински. Если медленно говорят, я понимаю почти всё. Если быстро, тоже могу кое-что разобрать. Женщины говорили очень быстро, тараторили. Единственную фразу, которую сказала Леся, мне всё же удалось различить: «Закінчимося. Вже москаль чекає мені».

«Москалька чекає. Это кто же москалька? Я, что ли? Ну, Леся, ты даёшь! Совсем спятила!» — подумала я с раздражением. Меня охватило дурное предчувствие. Может, встать и тихонько уйти?

Пока я размышляла, обидеться мне или нет, дверь гостинной отворилась. В коридор вышла женщина средних лет, бледная, с опухшими покрасневшими глазами, вся в чёрном. Из-под платка выбивались седые пряди волос. Женщина бросила быстрый взгляд в мою сторону, не удостоила меня даже кивком головы, сняла с вешалки своё пальто и быстрым шагом вышла из квартиры.

— Здравствуй, Танечка! Проходи! — деланно ласково сказала Леся, и её приятное округлое лицо с большими тёмно-кариыми глазами ещё больше

расплылось в улыбке, образовав две кокетливые ямочки.

— Привет!—бросила я коротко и прошла в гостиную.

Я ещё не решила, как мне реагировать на «москальку», но подбородок мой дрожал от обиды и несправедливости, и я без вступительных слов и церемоний вежливости села за стол, достала свои бумаги и вручила их Лесе.

— Что случилось, Танечка? Ты какая-то не своя.

— А я и есть не своя. Я же, как ты изволила только что выразиться, москалька, то есть чужая. Думаешь, я не понимаю по-украински? Я всё слышала.

— Ну так шо? Так ты ж з Москвы. Це ж правда,—пожала плечами Леся, взяла мои бумаги и села к компьютеру.

Она нервничала и стала вставлять в разговор украинские слова. Её руки дрожали.

— Не выкручивайся. Я знаю презрительно-уничижительное значение этого слова.

— Шо ты знаешь, московская интеллигентка? То, шо вам в школе и в газетах долбила в голову советская власть?

Леся отложила мои бумаги в сторону и посмотрела на меня с явным вызовом. Тормоза перестали работать, её улыбка скукожилась в маленький злой рот с мелкими морщинками над верхней губой. Леся сразу постарела лет на десять и изрядно подурнела.

— Какую чушь ты несёшь! Я уже больше тридцати лет как уехала из Москвы. Я была беженкой. Ты прекрасно знаешь, как относилась к евреям советская власть при Брежневе. Я не москалька, я русская американка еврейского происхождения. Очнись, Леся!—пыхла я.

— Может, ты и права. Я немного погорячилась. Только ты всё равно ничего не знаешь!

— А нельзя ли поконкретнее? Чего это я такого не знаю? Объясни, просвети меня, дуру тёмную,—кипела я, ёрничая.

Я почувствовала себя безумно неуютно и энергетически незащищённо в знакомой Лесяной гостиной, в которой мне прежде бывало спокойно и комфортно. Не понимая, что здесь переменилось, я стала бродить взглядом по комнате, рассматривая мебель, иконы и фотографии. И тут мой взгляд неожиданно наткнулся на украшенный свежими розами портрет Степана Бандеры, который подействовал на меня как красный цвет на быка. Я взглянула на Лесю и тихо, но очень чётко произнесла:

— А ты, оказывается, бандеровка, Леся? Я-то думала, что ты христианка, а ты портрет нациста и душегуба в гостиной повесила, да ещё розами украсила.

— Никакой он не душегуб и не нацист! Да, он в молодости был идейным террористом, как и ваша Вера Засулич, которую вы героиней считали.

За свои взгляды он отсидел, и выпустили его по амнистии. Он хотел создать национальное украинское государство, и немцы его за это в лагерь отправили. Разве это преступление—идея создания независимой Украины? А потом его ваши кагэбэшники отравили. Да шо вам, москалям, до нашей Украины! Мы, украинцы, для вас всегда были малороссы, меньшие братья, хохлы дурноватые, люди второго сорта.

— А кто были мы, евреи, для вас, украинцев-бандеровцев? Жиды проклятые, люди третьего сорта, вообще не люди, а скот!

— Не путай фашистов с бандеровцами. Бандеровцы были националисты. Они выступали против тех евреев, которые работали на советскую власть. А эта ваша советская власть в тридцать девятом году моего деда-священника в Сибири сгноила, бабушку вдовой с малыми детьми оставила. Восточную Украину ваша советская власть голодом морила. Они шли к нам на запад, и мы их подкармливали.

— Ну что ты упёрлась, как баран?! Ваша советская власть, ваша советская власть! Никакая она не моя была, эта власть. Мамину тётю в тридцать седьмом году эта власть посадила и расстреляла как японскую шпионку. Меня, еврейку, в университет не хотели принимать, папу—в аспирантуру. У нашей семьи свои счёты с советской властью. Только эта власть уже двадцать пять лет как кончилась. А вы всё с ней воюете, остановиться не можете. Тоже мне крестоносцы!

— Ха-ха-ха! Это только кажется, что советская власть кончилась. Ничего не изменилось. Путин—дьявол и бывший кагэбэшник. А кагэбэшников бывших не бывает. Он хочет захватить всю юго-восточную Украину, а нас, западнцев, заморить голодом и поставить на колени. Только Европа и Америка этого не допустят. Ты видела женщину в трауре, которая от меня вышла? Так вот, её сын погиб на Майдане от руки беркутовского снайпера. И мой сын чуть не погиб. Его Бог спас, потому что я день и ночь молилась. Потому что со мной Христос!

— Во-первых, не поминай Господа всуе, христианка Леся! Во-вторых, это неправда. Мы не знаем, кто были эти снайперы. Ничего пока не доказано. Всё ваша бандеровская пропаганда!

Мы с Лесей не заметили, как перешли на крик. Мы вскочили со стульев и встали друг против друга, руки в боки, как крылья у взъерошенных бойцовых петухов, готовых к бою. И тут в комнату влетел Петро:

— Вы шо, бабы, охренели совсем? Белены объелись? Орёте на весь дом. Щас ведром воды окачу! Дождётесь у меня! Уже соседи звонили в дверь, хотят полицию звать. Только этого нам и не хватало! Закройте рты, немедленно успокойтесь и займитесь лучше бизнесом. Income tax ведь так и не сделали, наверное.

Слова Петра сразу как-то охладили мой пыл. Стыдно мне стало и неловко. Что это я так распалилась в чужом доме? Какое мне дело до Степана Бандеры? Некоторые до сих пор украшают стены портретом Сталина. И я не собираюсь их переубеждать.

Я вспомнила бледное лицо женщины, у которой на Майдане погиб сын. Неудивительно, что она не хотела замечать моего присутствия. Ведь я же для неё — москалька, которая, по её мнению, хоть и косвенно, но всё равно причастна к гибели её сына. — Прости меня, Петро, и ты, Леся! Не знаю, что на меня нашло. Нервы совсем никуда. По телевизору по разным каналам — целыми днями разная пропаганда. Мы здесь действительно мало что знаем. — Мы всё здесь прекрасно знаем, каждый день по скайпу с детьми разговариваем! Только шо я разошлась, как неразумная? Господи, помилуй и вразуми! — Леся повернулась к иконе Спасителя и перекрестилась. — Ну шо я напала на тебя, Таня, как на врага? Не сердись на меня. Ты уж точно тут ни при чём. Петро, будь ласка, поставь чайник и накрой на стол, пока мы тут с income tax-ом разбираться будем, — уже спокойнее сказала Леся.

Петро пошёл на кухню ставить чайник. Мы с Лесей ещё посидели молча несколько минут, думая о своём, выравнивая дыхание, постепенно переводя на штиль бурное внутреннее волнение. А потом решили сменить гнев на милость, как будто нас магически развернуло на сто восемьдесят градусов, и занялись бумагами. Леся задавала мне вопросы, вводила информацию в компьютер, я отвечала и следила за тем, чтобы она, в её возбуждённом состоянии, не наделала ошибок. А в это время два

мужских лица молча взирали на нас со стен Лесиной гостиной. Степан Бандера — пронзительным воинствующим взглядом. И Иисус Христос — спокойным взглядом смиренного страдания. Казалось, каждый стремился донести до нашего сознания свой призыв. Сегодня победило смирение. Кто знает, чьей победой обернётся день завтрашний?

Закончив дела, мы пошли на кухню, где нас ждал накрытый Петром стол с разными вкусностями Лесиного изготовления: вареники с вишнями и яблочный штрудель с изюмом. Штрудель оказался действительно необыкновенно нежным, в меру сладким и ещё тёплым. Леся сверху полила его для пущей воздушности взбитыми сливками.

О политике мы больше не говорили. Как приятно было горечь так и не разрешённого спора заесть сладким!

Я расплатилась с Лесей за работу. Она поблагодарила меня.

— Ну что, теперь до следующей зимы? — улыбнулась своими ямочками Леся.

— Зачем же так долго ждать? Можно и раньше встретиться, — неуверенно предложила я.

— И правда, Таня. Скоро Пасха. Приходи к нам. Я такие вкусные куличи испеку — пальчики оближешь.

— Спасибо, постараюсь прийти. Созвонимся. Да?

— Да, конечно... Только всё равно — запомни: нет мира с дьяволом!

Я ничего не сказала в ответ, опустила глаза, развернулась и пошла прочь к своей машине. Ветер подталкивал меня в спину. Шёл мокрый снег. Я накинула капюшон. Весна в этом году в наши края не спешила.



Александра Ковалевич

## Памяти Вадима Негатуrowa

Май 2014

Больно и страшно видеть то, что происходит сейчас на Украине. Трагично и тяжело понимать, что ничем реальным не могу помочь братскому народу, среди которого много у меня друзей, дальних родственников и просто хороших знакомых. Поэтому захотела я хоть чуточку поддержать славян Украины — так, как умею, и нынешняя статья моя — об одесском поэте Вадиме Негатуrowe, принявшем мученическую смерть на костре фашиствующей инквизиции в мае 2014 года в Одессе.

Вадим Негатуrow — мудрый, искренний, тонко чувствующий окружающий мир поэт с хорошим, по-одесски своеобразным чувством юмора, бесконечно преданный православию, нашей общей истории и, как любой одессит, преданно любящий свой родной город:

Моя Одесса — не столица! Это — принцип!!!  
Но трижды поц, кто назовёт её провинцией!  
И как сказал мой друг, что жил полдня в Париже:  
«Одесса — пуп земли! Париж гораздо ниже...»

Моей Одессе рано возраст свой итожить.  
Она — юна, ну а на вид — ещё моложе!  
Её история так ярко-самобитна,  
Что даже Риму с Колизеями завидно.

Быть может, кто-то, в проявление интереса,  
Дополнит то, что я сказал вам за Одессу.  
Та я ж не стану возражать ему ни разу! —  
Моя Одесса, ты, как жизнь, многообразна!

В других стихах звучит горечь от царящего на современной Украине произвола, бездумно принимающего и возводящего в законы чуждые славянской природе ценности, попирающего православие, ставящего в красный угол киты с зелёными купюрами, предающего свою историю:

Безразличия плесень сырая  
повсеместна в умах и сердцах...  
Схожий адрес у всех: «хата с краю», —  
и у тех, кто в хрущёвках, сараях,  
и у тех, кто в коттеджах, дворцах...

Чёрной завистью лица землисты...  
В бегстве глаз — вороватый невроз...  
Липкой алчностью руки нечисты  
у вахтёров, сержантов, министров,  
у вождей и гламурных стервоз...

Перекручены факты истории...  
Узаконен церковный раскол...  
Нет державы.  
Есть блок территорий,  
где паны в истребительном споре  
местечковый творят произвол...

Вся страна отдана в окормление  
талмудеющим ростовщикам...  
Нет народа.

Полно населения,  
продающего с остервенением  
честь и тело, Святыню и Храм,

продающего волю казачью  
за бумажный масонский лоскут,  
предубойную сытность свинячьей,  
водку, дурь, мишуру «от Версаче»,  
лживый мир голливудских причуд...

Есть закон — но не даст он защиты...  
Есть маршрут — но блудливы шаги...  
Из бандитов создали элиту,  
казаки превратились в бандитов,  
а фигляры теперё — казаки...

Украина! Гниют в прозябании  
твой Талант и Удача твоё...  
Подались в холуи да путаны —  
ублажать ожиревшие страны —  
твои дочери и сыновья...

Украина... проклятые годы...  
скверна в душах... на совести грязь...  
Что, Отчизна, с тобой происходит?!  
...Мы не дети тебе, мы — отродье,  
коль живём, с твоей болью мирясь...

Думаю, не случайно это стихотворение Негатуrowa, которое я привела здесь полностью, названо было автором «Ukraine forever» («Украина навек») именно на английском: поэт словно указал, к чему способно привести некогда цветущий свободный

край узаконенное на государственном уровне преклонение перед англоязычным Западом. Негатунов скорбит здесь о том, что огромное количество его сограждан не смогло найти себе доли в родной стране, вдруг превращённой из ласковой любящей матери в ненавидящую мачеху. Гуманитарная катастрофа началась на Украине не сейчас, а гораздо раньше, потому что за годы «незалежности» почти пятая часть трудоспособного населения страны была вынуждена покинуть её.

Вадим Негатунов — автор многоплановый, он мог быть и жёстко-социальным, как в стихотворениях гражданской тематики, и шутивно-озорным, как в стихотворении «В вине — три истины», и ярко-афористичным, как в зарифмованных фабулах одесситов «Замечочки по поводу и без оного», и глубоко-лиричным, как в стихотворении «Кровь на льду», но в любом произведении поэта чувствуется глубина...

Огромный пласт в творчестве поэта занимает историческая тема, в стихотворениях Негатунова всегда тесно переплетённая с современностью, с размышлением о месте триединого русского, украинского и белорусского народа в современном мире, где действиями продажных правителей мы стали разделены границами. Поэт не мыслит будущего без возрождения этого единства, как, впрочем, без него не существовало и побед прошлого.

Русь Святая! Шагая сквозь пламень веков,  
не искала ты в пламени броды,  
сил своих не щадя, побеждала врагов  
и спасала другие народы.

Светом Правды, что дарит нам Бог в небеси,  
возрождалась славянская сила,  
укреплялись в единстве три части Руси —  
Беларусь, Украина, Россия...

(«Марш Куликова поля», 2014)

Российская слава и величие у Негатунова очень часто звучат в унисон с православием, в его стихах — нестигаемая вера в то, что великую Россию хранил, хранит и будет хранить Бог:

Вновь миром правит зло, вновь бесам «несть числа»,  
Вновь свиньями Святое попирается...  
Но только зазвонят в церквах колокола —  
Вся нечисть на планете содрогается...  
У колокольных нот — божественный клавиш  
И русское звучание державное.  
Звонят колокола — и слушает весь мир  
Святые перезвоны православные!

Зря временным победам радуется ад —  
Ещё настанет в битве час решающий!  
...А колокольный звон — торжественный набат,  
Нас под Хоругвь Христову созывающий...

(«Колокольный звон», 2010)

Негатунов, при всей своей многоплановости, свободе владения техникой стихосложения, свободе выбора тем, имеет, мне думается, в своём творчестве одну крепкую связующую нить, даже не нить, а Путь, и Путь этот выражен в его творчестве православием. Надо сказать, что стихотворений, содержащих некий диалог с Небесами, зачастую похожих на молитвы, у поэта больше, чем стихотворений другой направленности.

Когда войной на мирный край обрушит  
Свирепый хан безжалостную рать —  
Дай, Боже, право в руки взять оружие,  
Благослови врагу противостать.

Дай, Господи, возможность причаститься  
В преддверии загробного пути,  
А коль в бою внезапно смерть случится —  
Помилуй и заранее прости...  
(«Мужская молитва», 2010)

...Ведь даже став свободным от всего,  
Ты от Творца свободным быть не сможешь!  
Но можешь стать сотрудником Его,  
Его солдатом; Человеком Божьим...

И это — зрелый максимум свобод,  
Доступный человеческому роду.  
Раб «внутренний» сам по себе умрёт,  
Не выдержав Божественной Свободы.

Не главное — убить в себе раба,  
Но главное — родить себя свободным!  
Свободным быть — нелёгкая судьба,  
Труд тяжкий под водительством Господним...

Думаю, читатели не станут возражать, если я выскажу здесь гипотезу, что любой поэт — в некоторой степени провидец, поскольку это не раз подтверждала история. Не исключение здесь и Вадим Негатунов, который в одном из своих последних стихотворений предсказал собственную судьбу:

Как субъективны часто  
истина и ложь!  
Как часто путаем мы  
сырость и росу!  
Я видел дьявольский огонь  
в глазах святош,  
В глазах у грешных  
видел Ангелов слезу...

И я поэтому  
не вправе обсуждать  
Мораль поэтов и их  
плотские грехи:  
Грешны поэты!  
Но к ним сходит Благодать,  
Чтоб трансформироваться  
в песни и стихи...

Поэт стихами осуждён  
или спасён —  
Он в Мир несёт соблазны  
или чудеса...

Стихи — дрова костра,  
где будет он сожжён,  
Иль космотопливо  
для взлёта в Небеса...

Вадим Негатуров перестал петь на земле, он поёт теперь — для Бога. Вечная ему память.

Литературное Красноярье ./. ДиН стихи

## Виктор Теплицкий Одолевая дали

### Поэт

Через сплетенье сплетен,  
одолевая дали,  
для каждой стрелы приметен,  
с глаголом дамасской стали,  
с тревогой во ржи над бездной,  
ступая босыми ногами,  
к славе бредёт бесполезной,  
укутавшись облаками.



А я молчал и был доволен.

И убегали облака,  
и догоняли их река  
легко-легко текла строка  
из глубины,  
из далека  
я слышал шелест ветерка —  
он убаюкивал слегка,  
казалось:  
канут все века,  
моря покроет слой песка  
шар голубой сойдёт с витка  
и лишь останется строка,  
что притекла издалека...

И я молчал и был спокоен.



Рвётся голубь в глубину  
неба голубого.  
Кто-то тянет тетиву  
остропёрую стрелу  
отпускает снова.



Осенний Енисей несёт листву сухую,  
как зверь лесной на сторбленной спине.  
Он ловит небеса, да только всё впустую —  
они вернутся только по весне.

Они уйдут, оставив снежный саван,  
сухую горечь сорванных цветов,  
холодный ветер, льнущий к мёртвым травам  
и солнце вялое над крышами домов.

Осенний зверь свинцовой трётся кожей  
о берега, одетые в гранит;  
всё, что поймает — удержать не сможет,  
всё, что упустит — тенью сохранит.



Сойти с ума осенним днём,  
отдавшись ветровым порывам,  
пусть сердце схвачено огнём  
листвы опавшей и надрывом

звучит в пространстве нота «си»,  
и кажется невыносимо  
печаль сентябрьскую нести  
в самом себе, и будто мимо

скользнув глазами по домам,  
трамваям, площадям, витринам,  
старинным городским часам,  
вдруг перед всполохом рябиным

безумный взгляд остановить,  
как будто что-то вспоминая,  
найти оборванную нить  
с полотнищ ветрового рая.

Михаил Фомичёв

## Славянск

Июнь 2014

Я помню город ещё живым. Были открыты магазины, по улицам гуляли нарядные люди, нечасто мелькали дорогие машины и нарядные женщины, дети волочили за собой плюшевых медведей, рассекали на великах, в самом дорогом ресторане «Прага» гуляли пацанскую свадьбу, гремел аккордами девяностых приглашённый певец, пышнотелые горожанки отплясывали на высоких каблуках.

О грядущих переменах напоминали только кучки беспрестанно спорящих на политические мотивы пожилых людей у памятника Ильичу да мешки с песком, заслонившие вход в горисполком; иногда в этих мешках появлялись и исчезали хорошо вооружённые люди в балаклавах, и их молчаливая озабоченность контрастировала с общей царящей провинциальной расслабухой.

Испокон веков Славянск был торговым городом, здесь проходило несколько торговых путей, и знаменит он был местным рынком, который и привёл к основанию города.

Люди в Славянске особенные, говорящие распевно-певучим южнорусским говором, добротные, жизнелюбивые, привязанные к быту и семейному укладу.

Мне сдаётся, их непросто раскатать на агрессию и хоть какую-то межнациональную ненависть, воспетую в современных западенских областях.

Их отрешённость и пофигизм иной раз бросаются в глаза. Например, по городу «укропы» долбят «Градом», мы со Стенькой прячемся в подворотне, из которой просматриваются центральная площадь и раскинувшийся за нею парк. В парке на заднем плане подряд вздымаются два взрыва, куча осколков, веток, камней, листьев и дыма взлетает столбом в воздух, до них метров двести, а на переднем краю площади в эту картину апокалипсиса въезжает, крутя педали трёхколесного велика, девица лет пяти, с белым бантом, в красном платице в горошек, сзади медитативно за ручку входит семейная пара размеренным шагом. Как будто два ролика из разных фильмов бездарный монтажёр наложил друг на друга, перепутав коробки с названиями.

Или в очумевшей от плотного огня из всего существующего оружия Семёновке я, застрявший в блиндаже у перекрёстка, выглядываю из окопа, отряхнувшись от комьев земли, поднятой грохнувшимся в полуметре от блиндажа снарядом, выпущенным «Тюльпаном», первое, что вижу, — чувака на спортивном велике, аккуратно объезжающего воронки и оборванные провода; по нему уже явно нацелился «укропский» танк, принципиально уничтожающий любые проявления шевеления в наблюдаемой зоне, для этих парней не существует деления людей на мирных, военных, медиков, шофёров-дальнобойщиков, они методично уничтожают всё попавшееся в прицел с ухмылкой геймера.

Женщина средних лет выходит на балкон с мобильной отнять рыскающие вокруг снаряды и горящие разбитые соседние здания; её следующим снарядом вместе с ещё двумя внизу и двумя сверху этажами размазывает по стенам собственной квартиры.

И после всего этого ада её соседка, обращаясь в камеру к мировой «общественности», всего лишь просит, чтоб её просто оставили в покое, чтобы убрались «укропы», прекратили бессмысленный и абсурдный обстрел.

Шаг за шагом отсюда вытекает жизнь. Первым перестало работать электричество, перебитое «укропскими» вояками, потом водопровод, отключённый ими же где-то далеко за горизонтом, сейчас на подходе затопление канализационными отходами, уже бьющими через край, без возможности откачки очистных.

Уезжают сильные, крепкие люди, бросают жильё, с сумкой через плечо, на набитых автобусах, сквозь мерзость и унижение «укропских» блокпостов, едут к родственникам, друзьям, а кто и просто «в никуда». Отчаяние и ветер хозяйствуют на опустевших улицах, отдельные потерянные старики выстраиваются в многочасовые очереди за питьевой водой и хлебом.

Особенный город умирает, как брошенное тяжелораненое животное, с лужей крови под брюхом, малянистыми глазами заглядывает к вам в душу с немой вопросом: «Ну как, тебе нравится моя смерть?»

# Ожог

Об Украине и для Украины

## Ольга Корзова



Живое проявляется на срезе.  
Пугает боль, но если б не излом,  
Душа, наверно, продолжала грезить  
До старости о чём-то о своём,  
В уединенье, по заветам предков,  
Не ведая ни дыма, ни огня.  
Но чей-то нож коснулся нежной ветки,  
И стон её донёсся до меня.  
И я, подобно веткам краснотала,  
Хранящим до поры речной покой,  
Далёким листьям в лад затрепетала  
На берегу над северной рекой,  
Как будто и моя открылась рана,  
И надо мной взметнулось вороньё,  
И стрелы украинского Майдана  
Летят сквозь сердце русское моё.

## Людмила Щипахина

### Простенькая газовая зарифмовка

Видно, мир зашёл в тупик?  
Взрывы. Плач. И детский крик.  
Я хочу спросить у вас:  
Сколько будет стоить газ?  
Сколько будет стоить газ,  
Пусть ответит вам фугас,  
Пепел выжженной травы,  
Смерть соседа, боль вдовы.  
Горе беженцев. Позор.  
За бугром визгливый ор.  
Ложь сплошная—дел и фраз.  
Сколько будет стоить газ?  
Калькулятор не соврёт.  
Кто не верит—тот умрёт.  
Маршал выкрикнет приказ!..  
Сколько будет стоить газ?  
Закрывайте вентиль бед!  
Ждём. И требуем ответ!  
Он зависит и от нас...  
...Сколько будет стоить газ?

## Мария Луценко

### Длинная колыбельная для упрямой войны

*Людам, сожжённным в Одессе, посвящается*

Рыжекосая война, не своди людей с ума.  
Не броди туда-сюда, не губи мою страну.  
В небе дыма пелена скрыла белые дома.  
Я тебе спою, война, песню, если не засну...

Души бродят, словно сны, поднебесным бережком.  
Шепчут вешние ветра убиенных имена.  
Страшных мыслей колтуны я расправляю гребешком,  
и не вспомнишь до утра, с кем воюешь ты, война...

Прикорни на краткий миг. Будит жуткий, страшный крик  
звёзды в небе, и луна катит белый аспирин.  
Вышел сонный Бог-старик, крылья ангелам состриг.  
Вот и пух-перо, война, для подушек и перин...

Не смотри на мир в окно—наш Бабай убит давно.  
А волчок боится сам патлы смерти расплетать.  
Остаётся только мне гладить голову в огне,  
прикасаясь к волосам тихо, как полночный тать...

Что сумею, что смогу, то с макушки состригу.  
Чёрный локон схороню, только память сохраняю.  
И, бессонная, во мгле лягу рядом, на земле,  
у могилы, с краю. Баю. Баю. Баю.

## Давид Паташинский



я болею над вами, мои дорогие,  
я печалюсь над вами, друзья и враги,  
и слова—как тяжёлые злобные гири,  
как дыхание мутной пурги,  
и слова, и слова—никуда не укрыться  
от безудержной этой дурной болтовни,  
только вечером улицей медленной красться,  
где скупые огни  
фонари, как зерно опоздавшее, сеют,  
никуда не уехать, дорога пуста,  
и над городом чёрная тень нависает  
уходящего в небо моста.

## Роман Рубанов

### Возвращение блудного сына

Вот некое пространство: день ли? ночь?  
Уже не спят. Или не спят ещё?  
Сын головой, остриженной под ноль,  
к груди отца прижался горячо.

Они стоят. Сквозь них проходит свет,  
найдя в обивке мрака узкий лаз.  
И более здесь светлых пятен нет.  
Из темноты выхватывает глаз

фигуру женскую. Она, возможно, мать.  
И ей не видно сына за спиной  
стоящего отца. Но нарушать  
она покой не станет. Ей одной

пока всё ясно. Слуги ждут сигнал,  
хотя уже давно всё решено.  
Отец простил и обнял. И в подвал  
спускается кухарка за вином.

Послушный брат всё понял. Он молчит.  
И все вокруг стоящие — молчат.  
Для Господа нет брошенных в ночи.  
Всех брошенных поднимут и простят.

Сейчас порвётся тишина, и гам  
веселья дом наполнит. А над ним  
подносит ангел музыку к губам,  
но он во тьме пока неразличим.

## Рустам Карапетьян



Ты смотришь чужими глазами  
И видишь, как мерзкие твари  
По улицам бродят бесстыдно  
И ноют слюнявые песни,  
А запах их так тошнотворен,  
Что морщится небо над ними,  
И вянут деревья и травы,  
И пересыхают колодцы.  
И тянутся руки к железу,  
И факелы жадные пышут,  
Когда ты охотным дозором  
Выходишь, чтоб встать на защиту  
Того, что душе твоей мило.  
Но прежде, чем подлое сердце  
Пронзить заточённой осиною,  
Попробуй, пожалуйста, вспомнить:  
Ты смотришь чужими глазами,  
Ты смотришь чужими глазами,  
Ты смотришь чужими глазами.  
Они скоро будут твоими.

## Олег Бабинов

### Голос крови

Издалека стал слышен древний хор  
тревожных духов — огненных и серных.  
То голос крови, точащий топор  
для отсечения верных от неверных.  
Ведь ты же одолён и погребён,  
и кровь сама смирилась с долей вдовьей —  
зачем же марширующих колонн  
ты заново взыскуешь, голос крови?  
Зачем из-под обутленной земли  
из гари и резинового смога  
ты в нас растишь сухие ковыли,  
щекочущие словом «перемога»?  
Зачем колышешь наши провода,  
разносишь слухи и надежды теплишь?  
Зачем тревожишь наши города  
и хутора волнуешь и колеблешь?  
Зачем ты выжигаешь мне во лбу  
мишень для приближающейся пули?  
Куда ты скачешь на моём горбу —  
на бучу ль, на погром ли, на войну ли?  
Зачем с каркаса мёртвого дракона  
ты слизываешь прах, сдуваешь пыль?  
Зачем в моей руке твоя бутылка  
с горючей смесью имени наркома?

## Михаил Свищёв

### Бабочка

Земное время смоем грим,  
а там — без плотности и веса —  
такой зелёный Старый Крым,  
такая новая Одесса,

такой облупленный фасад,  
такие полночи, как триста  
счастливых дней тому назад,  
и карты памяти туристов

полны льняных кариатид,  
раскопов скифских поселений,  
чешуйка сажи золотит  
прохладный лепесток сирени,

и самолёты не спеша  
щекочут стёкла на форсаже,  
и бьётся бабочкой душа,  
и ей, как бабочке, не скажешь:

«Красивая, остановись!» —  
минуя порта ржавый кузов,  
Потёмкинской взмывает ввысь  
на крышу Дома профсоюзов.

## Анатолий Вершинский

### Ожог

Семёновка. Родное сердцу имя.  
Сибирское село, где вырос я,  
чья рожи и пруды считал своими,  
как все мы в детстве,—помните, друзья?

Просторный дол и русским, и татарам,  
и ссыльным латышам давал приют.  
Но чаще—украинцам: здесь недаром  
одну из улиц Киевской зовут.

Наш дом на праздник становился тесен:  
за стол садилась мамина родня.  
Слова застольных украинских песен  
мне были вняты, трогали меня.

А в будни патефон, пока пружина,  
трудившаяся в нём, была цела,  
твердил, что «буйно квітне черемшина»,  
страдал, что «підманула, підвела»...

То место, где мы жили, нынче голо.  
Сельчан переманили города.  
Когда в родном селе сгорела школа,  
я даже не почувствовал стыда.

Мой «мирный» век утратил поселений  
не меньше, чем на мировой войне!  
Иль грех послевоенных поколений—  
на ком угодно, только не на мне?

Я как бы не замешан в том разоре?  
В уютном подмосковном городке  
рассматриваю мир на мониторе  
с такими же, как сам, накоротке.

Передо мной Семёновка другая.  
Её накрыл ракетный ураган.  
Ещё огонь змеится, обжигая  
сквозь жидкокристаллический экран.

Ещё не догорел костёр из брёвен,  
который запалил для брата брат.  
Уж в этом-то я точно не виновен.  
Чего же маюсь, будто виноват?

О кровных узах памяткой детской  
я тешил душу и не помнил зла.  
Семёновка, ожог земли донецкой,  
на совести моей рубцом легла.

## Геннадий Миронов

### Сон о мёртвом брате

*Юрию Левитанскому*

Мой брат пришёл ко мне, но был он неживой,  
с простреленной насквозь поникшей головой.  
Холодная ладонь легла в мою ладонь.  
Меня сквозь сон пронзил его смертельный стон:

«Что сделали со мной, ты видишь, милый брат?!  
Война тому виной, хотя я не солдат.  
Я мирный человек, пришедший на Майдан,  
где ангел, почернев, застыл, как истукан,  
а люди, озверев, забыли о любви  
и утопили мир в пылающей крови.  
Там в снайперский прицел на миг попал и я,  
в затылок или в лоб ужалила змея.  
И яд проник в меня стальным веретеном,  
и радость бытия забылась мёртвым сном.  
Скажи мне, добрый брат: что делать мне теперь,  
когда внутри меня семиголовый зверь?!  
Я за грехи людей проказой поражён—  
за слёзы матерей, сестёр, детей и жён.  
Моя душа горит, и в клочья рвётся плоть,  
и змеями из дыр, шипя, струится злость.  
Но это не конец, а дальше будет взрыв,  
и выплеснется ад сквозь лопнувший нарыв,  
и многорукий бес войдёт в сердца людей,  
чтоб башню до небес создать из их костей,  
и кровь из ран рекой текла, текла, текла,  
и, злобою горя, взрывались их тела,  
и матери рожать отказывались впредь,  
и мудрые отцы обожествили смерть...»

Сквозь сон я отвечал: «Христос—наш поводырь!  
Он нас с тобой ведёт в свой горный монастырь.  
Ты для меня—и крест, и истина, и жизнь.  
Прошу тебя, мой брат, на спину мне ложись.  
На небо побредём по мукам бытия.  
Мы вместе обретём свободу—ты и я.  
Войдём под светлый кров Небесного Отца,  
там ангелы печать тебе сотрут с лица...»

И тёплая рука легла на спину мне,  
как будто наяву, как будто не во сне...



## Марина Кудимова



Накануне беды и разлуки  
Так надсадно вопят поезда.  
Одиночества русского звуки,  
В гулком небе немая звезда.

Нет уже никаких средостений  
Для души, поглотившей хулу.  
Одиночества русского тени  
Бдят на выстойку в каждом углу.

Только совесть натруженно дышит,  
Только боль своё бремя несёт.  
Не стесняйся—никто нас не слышит,  
А услышит—никто не спасёт.

Присягни на воде и на хлебе,  
О Борисе и Глебе взгрустни.  
Одиночества русского жребий,  
Нам твои преуказаны дни.

Вышей пробы твоей, высшей меры  
Нам не внове добротный закал.  
И туда не пройдут БТРы,  
Где Христос напоследок взалкал.

## Татьяна Чертова



На Сибирь опустился сон.  
Шелестят тополя листвою.  
Поднимаются в небосклон  
Звёзды мирные—за луной.

За стеною соседи спят,  
И не сходит никто с ума,  
А в Донецке—по детям «Град»,  
А в Луганске—горят дома.

Самолёты летят бомбить,  
Не кого-нибудь—свой народ.  
И убийцы идут убить:  
«Кто не прыгает—тот умрёт!»

Бьют нещадно, со всех сторон.  
И когда-нибудь спросят нас—  
За спокойный вот этот сон,  
За сожжённый вчера Донбасс.

## Галина Илюхина

### Жар

которую ночь я закрываю глаза и вижу  
города стоят по пояс в багровой жиже

взрывоопасной удушливой и горючей  
землю трясёт как юродивую в падучей

как спички хрустят на храмах кресты и шпили  
господи мы ведь так хотели чтоб нас любили

вспомни о нас обратись к забытым тобой низинам  
вразуми детей сумасшедших что тушат огонь бензином

посмотри в эти мелкие закопчённые злые лица  
сделай так чтобы этот кошмар перестал нам сниться

сделай так чтоб дымное небо от гари разволокло б  
положи прохладную руку земле на бугристый лоб

ничего переможется говорит терпи говорит  
молча ворочаясь терпит земля и горит горит

## Никита Брагин



Хоть рыдай не рыдай, хоть кричи не кричи,  
по притихшей Одессе идут палачи,  
против них ни пройти, ни проехать,  
против них ни речей, ни горящих очей,  
ни железных дверей, ни заветных ключей,—  
им убийство всего лишь потеха.

Не поймёшь, не проймёшь, не раздавишь как вошь,  
ибо каждый из них и пригож, и хорош,—  
сам затопчет, кого пожелает;  
будут кости хрустеть как во рту леденец,  
и прольется свинец, и наступит конец,—  
аж вода помертвеет живая.



Стало горе горячее, война—горячей,  
в медсанбат на носилках внесли палачей,  
за погибших поставили свечи;  
уцелевший на землю кладет автомат,—  
он без памяти рад, он же русскому брат,  
а Россия и кормит, и лечит.

Марина Саввиных

# Пробуждение Феникса, или Чеченские письма русской путешественницы

## 1. Чечня по маршруту

Я ехала на перекладных... нет, не из Тифлиса, конечно. Преодолевала расстояние между Махачкалой и Владикавказом на обычном рейсовом автобусе по широкой равнине между отрогами горных хребтов, мягко синевших справа и слева. Трасса последовательно пересекает Дагестан, Чечню, Ингушетию. Названия городов и населённых пунктов до сих пор отзываются во всём организме тревожным холодком: Хасавюрт... Гудермес... Ачхой-Мартан... Назрань... словно поднимают из памяти сводки военных действий... Но путь — не утомителен. Пассажиры-попутчики лениво посматривают в окна, кто-то дремлет, кто-то зависает в Интернете на своём «айпаде», кто-то деловито перекусывает, распространяя по салону запах свежих огурцов, колбасы и мандаринов. Если бы не частые остановки на постах ГАИ, во время которых, избирательно проверяя документы, автобус досматривают полицейские в касках и бронжилетах, можно было бы подумать, что недавние войны не оставили в этих местах следа... Что очаги вражды надёжно засыпаны землёй и притоптаны. Что «на земле мир, во человецех благоволение». До этого, конечно, далеко. Но усилия, которые прилагаются гражданами и властями ради мира и спокойствия, на этом пути ощущаешь всюду.

Поразила Чечня. Прекрасные дороги, общее впечатление ухоженности и зажиточности. Трудно поверить, что совсем недавно здесь царила разруха. Только в одном месте я видела разрушенный посёлок — наверное, сохранили руины как памятник. А так — порядок и благоустроенность. Процветает сельское хозяйство: всюду зеленеющие, а кое-где уже и желтеющие поля — сотни гектаров! Пасутся многочисленные стада — коровы и овцы... какой Кавказ без барашков! Я ещё в Махачкале почувствовала, насколько натуральны и качественны здесь молочные продукты — свои, местные. В Чечне это, пожалуй, ещё ощутимее. Ну и мечети... мечети на каждом шагу. Кажется, двух одинаковых не увидишь: от скромной придорожной молельни до поражающих воображение дворцов с минаретами, больше всего похожими на готовые

к старту ракеты. Удивительное сочетание роскоши и безупречно строгого стиля. Середина июня 2013 года. Грозный по маршруту моего автобуса остался где-то в стороне. Но я уже столько слышала о нём, о его чудесном возрождении, а тут и сама Чечня за каких-то два-три часа пронеслась за окнами — утопая в цветах и зелени, раздражив воображение чашеобразными куполами, чертогами, автострадами, арками, полями и стадами!... и я поняла, что обязательно приеду сюда нарочно. Как только представится случай. И случай не замедлил объявиться...

## 2. Марьям

Имя этой женщины оваяно легендами. Может быть, единственный Господин, которому она безоговорочно, бескорыстно и преданно служит, — Истина, она же — Справедливость, она же — Гуманизм. Впрочем, разве смыслы и энергии всех мировых религий сконцентрированы вокруг каких-то других ценностей? Каждая из них по-своему представляет Единого, Вседержителя, Творца, каждая по-своему Его называет, но нравственное ядро у них — общее. Думаю, именно это общее, органически присущее самой Марьям, сделало эту женщину бесстрашным борцом за правду, как она её понимает.

Я впервые услышала о ней в 2008 году, когда в журнале «Сибирские огни» появилась большая статья Марьям Вахидовой, в которой были приведены убедительные доказательства «чеченского происхождения» М. Ю. Лермонтова<sup>1</sup>. Статья произвела эффект разорвавшейся бомбы: сколько дискуссий, контраргументов, обвинений в мистификации!... Однако если у Марьям нет пока в руках бесспорных фактов, которые признали бы все историки и филологи, то ведь и у её оппонентов не нашлось достаточной базы для опровержения этой гипотезы. Так что «смута» в лермонтоведение — внесена. А заодно — возбуждён

1. М. Вахидова. Тайна рождения поэта // Сибирские огни. 2008. № 9-10.

жгучий интерес не только к биографии поэта, но и к его творческому наследию, многие страницы которого в свете изысканий Марьям приобрели неожиданные оттенки. Тогда, в 2008-м, я тоже только усмехнулась, прочитав о связи юной Марии Арсеньевой и народного героя, «грозы Кавказа», чеченца Бейбулата Таймиева, в результате которой якобы и появился на свет великий русский поэт Михаил Лермонтов. Однако имя храброй исследовательницы крепко мне запомнилось.

И когда осенью тринадцатого года меня пригласили в Махачкалу на книжную ярмарку «Тарки-Тау», я очень обрадовалась, увидев в списке гостей Марьям Вахидову. Значит, будет возможность познакомиться очно и лично. Перед отъездом — навела необходимые справки. И передо мной — благодаря Мировой Сети, от которой ничто значительное, кажется, не ускользает, — предстала личность более чем неординарная.

Прежде всего, источники подчёркивают роль, которую она сыграла в трагической истории Чечни девяностых. «Московский комсомолец» в декабре 2002 года дал ей такую характеристику:

«В Чечне эту женщину знали хорошо. Сначала она была соратницей Дудаева. Марьям Вахидова — человек, который помог безвестному генералу из Эстонии стать первым президентом Ичкерии. Именно её фильм о героическом и бескомпромиссном воине растопил души простых чеченцев перед президентскими выборами. Потом она была его „боевой подругой“. <...> Затем она стала его яркой противницей, вернее — противницей созданного им режима. Сейчас она — хранительница „летописи“ тех дней»<sup>2</sup>.

Кроме того, литературоведческие «раскопки», которые она вела и ведёт с редкими для современного филолога настойчивостью и неутомимостью, проливают свет на неразрывные кровные узы, связывающие высшие достижения русской культуры и мир Кавказа. Лермонтов и Лев Толстой... судьба российского генерала-кавалериста, воспитанника Н. Н. Раевского, Александра Чеченского... всюду — загадки, тайны... Словно не филолог перед нами, а опытный криминалист! Что ни шаг — вызов профессиональному сообществу! Марьям не допускает отступлений в борьбе за добытые ею зёрна истины. Поэтому — как и всякий идейный борец — постоянно наживает врагов и обретает адептов, без страха и упрёка готовых следовать за нею.

Для «русофобов» она — безусловный «пророссийский активист», для всякого рода пылких славянофилов — страстный патриот Чечни, противник грубой экспансии, в том числе и культурной, в отношении народов Кавказа. Её ненавидят, её восхищаются. А она продолжает работать

и бороться — год за годом, словно по горному серпантину поднимаясь к свету.

Такой я и увидела её в Махачкале. Среднего роста, в строгом чёрном костюме и неизменном платке, причудливо украшенном и повязанном по-чеченски, яркая, со сверкающими глазами и стремительной походкой, она произвела на меня впечатление абсолютно свободного, уверенного в себе человека.

Здесь же, в Махачкале, на «Тарки-Тау», Марьям объявила о задуманной ею конференции, посвящённой двухсотлетию Лермонтова, которая в четырёхнадцатом году состоится в Грозном.

«А ведь это повод!» — подумала я, подошла к Марьям, представилась и самым наглым образом на эту конференцию... напросилась.

И вот — Грозный. Международный научный форум «Лермонтов, Россия, Кавказ: движение во времени» состоялся здесь между 28 и 30 мая 2014 года. Почему — не в октябре, ближе к самой юбилейной дате? Для этого имеются причины, в которые сейчас не стану углубляться. Но сам факт проведения этой конференции в Чечне — чрезвычайно показателен. Организаторам пришлось преодолевать множество трудностей. И не только экономического характера.

Учредители конференции — парламент Чеченской Республики, Северо-Кавказская академия информационных технологий в науке и образовании и ФГОУ ВПО «Пятигорский лингвистический университет». Однако никто не скрывал, что основной груз проблем лёг на плечи Марьям, которая, ежели следовать букве закона... официально нигде не работает. Литературовед, журналист, писатель. Вот когда понимаешь, что значит «человек свободной профессии!» Свободный дух Марьям пронизывал всё на грозненском — действительно представительном — литературном форуме, и это зачастую придавало происходящему особый накал и ракурс. Атмосфера учёного собрания, видимо по самому замыслу, была заряжена дискуссией — страстным спором непримиримых противников. Но противники — так и не найдя консенсуса — расстались друзьями, обменявшись адресами-телефонами и заранее договорившись о новых встречах.

Я смотрела на Марьям, на двух её красавиц-дочек, помогавших оргкомитету и повиновавшихся малейшему движению материнских бровей, на публику, в течение трёх дней собиравшуюся в элегантном конференц-зале грозненского отеля «Арена-Сити», где проходила конференция, — и думала: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт... оказывается, есть ещё женщины — хотя и не в русских селеньях, — к которым это относится... напрямую и буквально!» Марьям командовала, строила в ряды, разводила по позициям, раздавала «всем сестрам по серьгам», вдохновляла, управляла и властвовала! И — странное дело! — оставалась

1. <http://www.mk.ru/editions/daily/article/2002/12/06/129965-boevaya-podrugaya-dudaeva.html>

при этом стопроцентной чеченкой во всём объёме этого — на самом деле очень сложного и внутренне противоречивого — понятия.

Диалектика её души — вполне по Льву Толстому. «Люди как реки». С одной стороны, критики Вахидовой не случайно, конечно, обращают внимание на воспалённый нерв всей её деятельности, явный и бесспорный... как здесь, например:

«Если <её> взор... падает на какую-нибудь знаменитость, то это первый признак того, что знаменитость окажется скрытым чеченцем»<sup>3</sup>.

Что ж... благодаря нашим не подлежащим цензуре, свободным СМИ мы уже чуть ли не во всём, что происходит в стране страшного и дурного, по привычке находим «чеченский след». Ничего удивительного, что Марьям Вахидова действует в диаметрально противоположном направлении.

С другой же стороны, немного сегодня на Кавказе людей, которые более, чем Марьям, радуют о защите и поддержке русского языка и русского классического наследия. Пламенная патриотка Чечни — не менее горяча как патриотка России. Но ей — пуще собственного ока — нужна справедливость. И в этом смысле вся жизнь её до сих пор — на линии фронта.

На вопрос о культурной ситуации в сегодняшней Чечне Марьям ответила мне подробным письмом, которое не могу не привести целиком, так сказать, без купюр.

### Письмо Марьям Вахидовой от 27 июня 2014 года

Прожив в Москве 13 лет, я поняла, что мои дочки никогда не будут учиться в этом городе! Сегодня они учатся в Пятигорске, и мы ни дня об этом не пожалели. Почему? В Пятигорском лингвистическом университете учатся студенты со всего Северного Кавказа и Закавказья. Это наша среда, в которой девушкам и юношам дальше жить, развиваться, общаться, сотрудничать... Они изучают культуру друг друга, языки, традиции. Им нравится познавать обычаи друг друга, кухню, поведение в быту. Мне нравится слышать от дочерей в каждый их приезд домой, что «оказывается, у балкарцев такой есть обычай...», что на кумыкском языке такое-то слово звучит так-то, что ингуши от нас отличаются тем-то, а какой красивый калмыцкий народный танец, и солистом у калмыков в группе — русский юноша с необыкновенной пластикой!.. На Кавказе всё дышит любовью. Такое ощущение, что все спешат ею поделиться, спешат изучить свою историю, свою культуру, успеть донести её до всего мира!..

А из Москвы я вернулась в Чечню с ощущением, что отсидела 13 лет в заключении — от звонка до звонка! Меня одну или с малышками (без всякого

смущения!) сопровождали в отделение милиции (на поверхности и в метро) с четырьмя автоматчиками; в день по несколько раз снимали отпечатки пальцев, протирали руки дистиллированной водой (на случай, если в руках гексоген держала!), фотографировали с табличкой, как преступницу: фас — анфас; забирали с детской площадки, настаивая, чтобы детей оставила в песочнице, пока со мной поговорят в отделении, что за километр находится, и т.д. Но не бывает худа без добра: мои девочки встали на намаз с семи лет, чтобы Дёла<sup>4</sup> защитил их с мамой от московской милиции! Не хочу вспоминать о дикости московских мамаш, которые запрещали во дворах своим детям играть с моими дочками, чтобы они не «загипнотизировали» их чад!.. Как с трудом нашла для них школу только потому, что директора, увидев «чёрных», тут же закрывали свои кабинеты: «У нас полный набор!» — или бросали трубку без всяких объяснений, услышав, что мы из Чечни...

Не могу не вспомнить один случай. Еду с девочками в метро. На одной из станций заходит негр, не шоколадный, а чёрный! Младшая (ей было три года) в изумлении толкнула сестру, закричав на весь вагон: «Лайла, смотри, какой чёрный человек!» Негр, конечно, услышал, рассмеялся и сел напротив нас. Я тут же намеренно громко произнесла: «Мы тоже с тобой здесь чёрные!» Все сделали вид, что не услышали, а светло-русая девочка с белоснежным лицом вытаращила на меня глаза: «Я чёрная?!» Негр хохотал, остальные даже не одёрнули меня, не пожурили: они знали, что мы тоже чёрные! Привыкшая верить маме, дочка пыталась понять: что значит быть «чёрным», будучи белым? «Зато посмотри, какой он добрый!» — примиряла я малышку с чёрным человеком, который протягивал ей конфетку. Я поняла, что и к такой встрече детей надо было подготовить. Это было моё упущение. Зато потом, оказавшись в такой же ситуации, она восхищалась негритянками, любовалась их экзотическими причёсками и любила играть с чёрными куклами...

Но и из этого девочки тоже вынесли хороший урок: родившимся в Москве, им внушали со всех сторон, что их родина — Чечня и что они чеченки, которые должны непременно вернуться домой! Вот почему в 11–12 лет для них не стоял вопрос: покидая навсегда Москву, ехать в Чечню или в Европу. Они горели желанием жить только в Чечне! В 2006 году мы приехали в Грозный, ходили по руинам города, любили каждый камушек под ногами, не сомневаясь, что всё возродится, восстановится... Когда к нам в квартиру позвонили и на пороге появился участковый милиционер,

3. Алексей Семёнов. Хроника объявленной глупости (<http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1709>).

4. Аллах (чечен.).

который пришёл познакомиться с новыми жильцами и оставил свой телефон, чтобы мы обращались за помощью, девочки не поверили своим глазам-ушам: они с первого класса были уверены, что «не лает, не кусает, а в дом не пускает» — это милиция!!! Мы поняли, что мы дома и что «моя милиция меня бережёт»!

Можно ли говорить об особом «чеченском чуде»? Можно. Разве не чудо, что чеченцы после двух опустошительных войн живут без ненависти в сердце, они снова и снова открыты миру и для мира, восстановив свои души, свою психику, свои сердца без всяких психологов? Даже дети не страдали повально поствоенным синдромом! Об этом никто не говорит, не пишет, но разве это не чудо?! Какая это трагедия была бы для культуры, науки, образования, для народа, который не мог бы преодолеть последствия чудовищных людских потерь, в том числе и без вести пропавших, потери целых сёл и городов, которые приобрели сегодня совершенно другой облик!..

Здесь, в Чечне, Лермонтов наблюдал не раз, как чеченцы принимают удары судьбы, это здесь он писал:

Судьбе, как турок иль татарин,  
За всё я ровно благодарен;  
У Бога счастье не прошу  
И молча зло переносу...

Пока у чеченского народа есть адаты, чеченцы перенесут всё, возродятся, поднимут культуру и хозяйство, как это было до сих пор. К сожалению, это понимают не только чеченцы, это понимают и те, кого сегодня удручает, мягко говоря, «чеченское чудо»: сегодня чеченкам-мусульманкам навязывается исподволь образ «истинной мусульманки», а за образцы выдаются турецкие, арабские и прочие подобные варианты. Почему? Чтобы лет через пятьдесят чеченцев брать голыми руками, как арабов в Ираке, в Сирии, в Палестине, в Египте. Почему чеченец сегодня — эталон мужества, защитника отечества? Потому что его воспитывает внутренне свободная женщина! Помните, как «...люльку детскую качая, / Поёт славянка молодая...» у Лермонтова в «Балладе»: «...И мстить учись у женской груди!..» Всё от женщины. Всё в женщине. Всё с молоком матери...

Пока отвечала на Ваш вопрос, получила такую весточку из Ярославля от известного художника Владимира Михайловича Реутова (в рамках прошедшей конференции планировалось открытие его выставки, посвящённой юбилею поэта): «Достоинство чеченского народа в том, что вайнахи всегда чтит свою историю, с уважением относились к памяти братских национальностей».

Вы спрашиваете, какую роль в развитии гуманитарных процессов в республике играет национальный университет? какие в этой области

имеются достижения, проблемы, трудности? помогают ли власти? Чего не знаю, Марина, того не знаю. Но таких условий, которые власть создаёт сегодня для «развития гуманитарных процессов», нет ни в одной республике России, это однозначно! Я с 2004 года в Москве, Пятигорске, Махачкале, Пскове и Псковской области бывала на всевозможных конференциях и конгрессах, но ни разу не пересеклась со своими коллегами из наших вузов. С другой стороны, знаю немало учёных-одиночек, которые без всяких условий, помощи со стороны, будь то власти, вузы, делают своё дело, двигая науку, историю, литературу, культуру... Сегодня подлинно национальная наша литература развивается, продолжается в Европе. Поэт Апты Бисултанов, тончайший лирик, живёт во Франции, пишет только на родном языке, переведён на многие европейские языки; писатель Султан Яшуркаев — одинаково красиво пишет на чеченском и русском языках, очень оригинальный стиль, богатый, образный язык, тонкая ирония, с национальным колоритом изящный юмор. Не могу не назвать нашего литературного критика, единственного в своём роде, это Казбек Байсаливич Гайтукаев. Если бы пишущая братия в Чечне прислушивалась к его критическим разборам текстов, у нас произошёл бы качественный скачок в литературе! Но, к сожалению, он не востребован сегодня вузовскими руководителями, вынужденный пенсионер, с удовольствием посвятивший себя любимой внучке. Время от времени я вытаскиваю его из этой приятной компании на научные форумы.

Одним из таких форумов стала Международная конференция, посвящённая 200-летию юбилею Лермонтова. В 2010 году, при подведении итогов Всероссийской конференции в пглу (Пятигорск), я предложила участникам через год встретиться в Грозном. Предложение услышали, но желающих рискнуть и приехать в Чечню оказалось очень мало. Страх ещё не был преодолён... Казалось бы, Чечня и чеченцы должны были испытывать недоверие, а тут...

Однако такой повод упускать было нельзя. Вы же знаете, что мой Лермонтов родился в 1811 году, и я обратилась в институт филологии чгу. Когда мне, протянув все мыслимые сроки, ответили: «Не будем лезть в политику!» — я была, мягко говоря, неприятно удивлена. Где Лермонтов, а где политика?! Но менять что-либо было уже поздно.

Поэтому, когда в 2012 году профессор пглу А. В. Очман сам поставил вопрос о проведении юбилейной (официально принятой) конференции в Грозном, я знала, что мы точно не будем обращаться по этому поводу в наши вузы. Вскоре Александр Владимирович оказался в Грозном с еврейской делегацией, которая приехала на закладку капсулы под будущее здание синагоги,

там он встретился с председателем нашего парламента Дукувахой Абдурахмановым, который с удовольствием принял предложение возглавить оргкомитет конференции. Но поскольку председатель парламента—человек очень занятой, а Александр Владимирович—не местный, то вся организационная работа оказалась на мне.

С 2004 года, как я уже говорила, регулярно выезжая на научные форумы в России, я установила личные контакты с самыми интересными, самыми активными и самыми открытыми ко всему новому учёными отечественных вузов. Поэтому, кого приглашать, приедут—не приедут, для меня вопросы не стояли. Я знала, что не только приедут, но и новыми наработками порадуют, что между очень интересными творческими людьми установятся прочные контакты (что на сегодняшний день и произошло). Я не сомневалась, что это будет живой научный разговор, когда каждый оратор слушает и слышит своих коллег и готов с ним вступить в полемику не формы ради, а—по содержанию, чтобы вывести разговор на новый уровень поиска истины. Вы свидетель, что так оно и происходило.

Обычно организаторы составляют программу так, что если обсуждения и предполагаются, то где-нибудь в конце... Если останется время... А выступающие ставятся на поток... У нас же Александр Владимирович просто виртуозно поработал с теми заявками, которые мы получили! «Дискуссионная трибуна» с выступлениями оппонентов по трём большим и спорным направлениям, на моей памяти, была заложена в программу конференции впервые. Когда он предложил вписать туда мою тему, сформулировав её: «Где и когда родился Лермонтов?»—я поняла, что мне брошен не просто вызов, мне предлагают лобовую атаку! Разве я могла уклониться? Я даже заподозрила, что эта идея вызрела на филфаке в пглу.

Оказалось, что Очман руководствовался исключительно научным подходом к тому, что имеет. Сгруппировав темы так, чтобы все могли высказаться и в то же время оставалось место для дискуссий, он оказался прав: это оказался тот случай, когда, повторюсь, все слушали всех!

Огромное значение имело для меня и то, чтобы провести конференцию в том же месте, где будут размещены её участники, для чего был выбран отель. Что это давало нам, её организаторам? Зная своих участников, я могла разместить их по номерам так, чтобы они продолжали общаться с пользой для дела.

Надо отдать должное администрации отеля «Арена-Сити», всему коллективу, все эти дни легко и непринуждённо решавшему любые проблемы, и, конечно, в первую очередь—это заведующий отелем Шарпудди Юнусов, который в кратчайшие сроки переоборудовал спортзал

в конференц-зал европейского уровня, пошёл навстречу в решении многих вопросов, не всегда выгодных для отеля. Они работали так, будто это было их мероприятие. Как много значит такая поддержка и такая помощь, когда ты можешь не заботиться об организации бытовых проблем, а переключиться на реализацию научной программы!

А какие у нас были участники конференции (очно ли, заочно принимавшие участие)! Что ни имя—крупная личность: профессора мгу Сергей Иванович Кормилов и Валентин Александрович Недзвецкий, профессор имли РАН Казбек Камирович Султанов и замдиректора по науке инициативы РАН Юрий Юрьевич Чёрный (Москва), переводчик стихов Лермонтова Роберто Микелли (Терамо, Италия), крупнейший писатель и директор издательства «Художественная литература» Георгий Владимирович Пряхин (Москва), профессор Пекинского педуниверситета Ли Чжэнжун, профессор дгпу Забит Насирович Акавов, поэт, профессор дгу Миясат Шейховна Муслимова (Махачкала) и многие другие достойные учёные, поэты, писатели.

Значение этой конференции трудно переоценить: это тот случай, когда со временем актуальность поднятых нами тем и научных направлений будет только возрастать. И то, что Красноярск нас услышал и дал услышать себя, открыв для нас новое имя живущего рядом с нами крупнейшего поэта—Ирлана Хугаева, это тоже было откровением, за что Вам, Марина, огромное спасибо! На другом конце страны, услышав голос осетинского поэта, Вы показали всем нам, что одна шестая часть Земли—это не дальние дали, что для поиска истинного таланта—это не расстояние. По-кавказски мы должны были бы ответить Вам, отыскав в «синей Сибири», как говорят чеченцы, не меньший талант, но и здесь Вы нам упростили задачу: мы узнали поэта Марину Саввиных. Спасибо Вам за неё.

Конференция закончилась, но участники вновь готовы встретиться в Грозном и продолжить работу уже в 2016 году. Это хороший знак не только для самих учёных, но и для науки, для лермонтоведения, которое казалось полным и завершённым, а на поверку вышло—целина. Будем осваивать заново. Я уже засучила рукава...

### 3. Великая Боль

Нетрудно заметить, что письмо Марьям пропитано Великой Чеченской Болью. Помноженная на веру, надежду и любовь, эта Великая Боль во многом и создала характер современного чеченца, о котором можно по-разному судить, но не уважать который невозможно.

Марьям позже писала мне: «Для чеченца связь с Небом, с Творцом—это не нечто далёкое, недостижимое, это то, что в нём *всегда*... Выходы в Космос для чеченца—нормальное явление, ему дано это».

Но если каждому чеченцу—хотя бы по самоощущению—от рождения дано благородное знание небес, что же он должен чувствовать при малейшей попытке *унизить* его?

История чеченского народа, начиная, может быть, с середины восемнадцатого века, есть история борьбы за собственное высокое предназначение. Увы, борьбы с русскими, которые несли сюда европейскую идею—в таком виде, в каком сами приняли её от заклятых западных «партнёров». Войны Российской империи на Кавказе до сих пор кое-кто оправдывает вполне по Кипплингу—как «бремя белого человека». Трудно найти посыл, менее подходящий для обустройства здесь совместной жизни русских и кавказцев. Но мы, к сожалению, и сейчас несвободны от подобных стереотипов. Сколько горя и боли они принесли и всё ещё приносят многострадальной земле, обильно политой кровью и тех, и других! Без сомнения, братской кровью! Потому что Россия и Кавказ столетия подряд влекутся друг к другу не только экспансией и ответной враждой, но и «странною любовью», которую рассудок победить не может. Любовь эта, помимо обоюдных страданий, всегда приносила и ещё способна приносить великие плоды!

Наша общая трагедия—в том, что нам теперь трудно без некоторой болезненной заминки смотреть друг другу в глаза. Трудно доверять друг другу. Чтобы заслужить доверие, нужно очень долго, с героическим терпением, строить отношения заново. С обеих сторон. На равных. Задача настолько сложная, что иногда кажется невыполнимой...

Должна сказать, что, по моим впечатлениям, чеченцы—как, впрочем, и другие кавказцы—весьма решительно со своей стороны делают шаги в этом направлении. Председатель парламента Чеченской Республики Дукуваха Абдурахманов в приветственном слове участникам Лермонтовской конференции специально подчеркнул:

«Я рад, что вы приехали в Грозный. В когда-то покидаемый... или закидываемый камнями многострадальный Грозный. Чеченский народ, обвиняемый во всех грехах... сегодня вы видите, что это народ мира, народ возрождения. Вы видите путь Ахмата Хаджи Кадырова... вы будете ездить по республике, вы увидите, что сделал его сын, глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Последние события, когда мы решительно выступили против фашизма на Украине, чётко дают понять, кто мы на самом деле. Между прочим, для вашего сведения: в тридцатые—сороковые

годы, годы голодомора, из Украины чеченцы и ингуши приняли семьдесят тысяч человек. И в нашей республике ни один из них от голода не умер. Это говорит о подвиге наших отцов и матерей. Десятки, сотни наших представителей воевали за ту же Украину. Три чеченца получили там звание Героя Советского Союза. Это расставляет акценты... Что касается самого Лермонтова—у Марьям своя точка зрения... Но я хочу, чтобы вы твёрдо знали позицию нашего руководства: для Кавказа Лермонтов—сын великого русского народа...

Цементирующая основа сегодняшнего, по-новому создающегося и развивающегося русского общества, российского народа—это русский народ. Конечно, если мы живём в этой федерации, в этой общности, всё, что принадлежит русскому народу, всё великое и прекрасное, мы, братья и сёстры великого русского народа, будем принимать на себя. Вот такой подход, наверное, будет правильным».

А мы? Адекватны ли наши движения?

Я несколько раз выступала перед читателями в Махачкале, в Кумухе, в Хасавюрте. Никогда не забуду то чувство смущения и стыда, когда после чтения стихов, в которых я старалась передать свою любовь к Кавказу, меня недоверчиво спрашивали, все ли русские думают так же.

Не все.

Выдающийся чеченский литературовед, о котором с таким глубоким почтением отзывалась Марьям, профессор Казбек Байсалович Гайтукаев, согласился поговорить со мной в перерывах между заседаниями конференции. Во время беседы я всё время чувствовала, что он отвечает на мои вопросы, как бы ступая по тонкому льду едва прихваченной морозом, ещё недавно бурной реки. Кто я? Какие цели преследую? Насколько со мною можно быть откровенным? Не «патриотка» ли я? В том, тяжёлом для кавказца, смысле слова, который, конечно, к патриотизму как таковому имеет мало отношения, но который чеченцы и по сей день ощущают на себе как скрытую или явную угрозу... Тем не менее, мы разговорились. Гайтукаев—человек искренний, открытый, глубоко преданный родной земле, её народу, языку, культуре. Я слушала его, затаив дыхание.

## Монолог Казбека Гайтукаева

Национальные кадры—это, конечно, проблема. Я уже говорил, что их развела война. Чтобы не сказать—истребила. Ведь здесь истреблено было всё, что стояло, шевелилось, двигалось. Об этом можно судить по Грозному. У нас каждый помнит, в каком состоянии война оставила Грозный. В какой-то мере город напоминал Сталинград после Второй мировой войны. Сейчас идёт процесс восстановления. В Русском театре имени



М. Ю. Лермонтова много молодых артистов. Кадры готовят здесь же, при театре, но, конечно, главный режиссёр заботится и о том, чтобы молодёжь посылать в Москву, в центр.

Ещё недавно это было рискованно. Во время боевых действий отсюда в Москву на учёбу была отправлена группа будущих чеченских артистов. Они жили компактно, и однажды их просто избили там — заскочили к ним и стали бить чем попало. Сейчас об этом не любят говорить, помалкивают. А тогда это было в газетах. Руководителя группы, такого хорошего артиста, чуть ли не искалечили. Он болен до сих пор. После этого лишь некоторые рискнули остаться и продолжить учёбу. Не очень тогда получилось с продолжением того, что было начато при советской власти. При советской власти в Москве учились чеченцы, которые здесь кое-что и сделали.

Сегодня чеченский национальный театр держится на плечах Руслана Хакишева. Он старые спектакли восстанавливает, молодёжь воспитывает... это зрелый мастер своего дела.

Что же касается литературы... Есть молодые авторы, которые интересны уже не только нам, произведения которых переводят на иностранные языки... Например, Апти Бисултанов. Живёт за границей. Очень талантливый. Его «Журавли»... это чудная вещь... она из тех, которые я, чеченец, сравниваю с тем, что я люблю в русской литературе, в мировой литературе. «Журавли» Бисултанова имеют свою историю. Его песню — а это песня! — конечно, сразу сопоставляют с «Журавлями» Расула Гамзатова. Влияние было, конечно. Но я бы не сказал, что Бисултанов повторяет знаменитое стихотворение Гамзатова. Правда, он, конечно, уже не юноша. Юноши сейчас публикуются в журналах «Вайнах», «Аргун». При всём уважении — там бывает много проходного материала. Я редко нахожу в них что-то такое, что бы задевало меня так, как поэзия того же Бисултанова. Или Магомеда Дикаева, умершего в возрасте Пушкина. Земная жизнь его сложилась неудачно. Зато поэзия живёт, его стихи в репертуаре хороших исполнителей, их переводят, поют...

Чеченский язык сейчас поддерживается на государственном уровне. Это действительно так. Никто из писателей, которые пишут на родном языке, не хочет, чтобы язык умер. Писатели хотят, чтобы язык развивался. А они могут добиваться этого. Они творцы языка. Настоящий поэт, настоящий писатель не только использует язык как строительный материал, а сам творит новые конструкции. Новые формы для выражения новых переживаний, новых мыслей, новых чувств — внутреннего мира людей, живущих в наше время.

Здесь упоминали ещё об интересном феномене. Это двуязычие, билингвизм. Каков он — дух двуязычной литературы?

У нас с самого начала были двуязычные писатели. В первые десятилетия двадцатого века всё перемешала Гражданская война. Были те, кто за советскую власть воевал, были те, кто против. Мы в этом смысле великая нация — у нас всего хватает, и то, и другое, и пятое, и десятое. Хоть нас и немного.

Чисто русскоязычный писатель — Саид-Бей Арсанов<sup>5</sup>.

Или вот трагическая фигура — Герман Садулаев. Возможно, дети, рождённые от смешанных браков, пережили на рубеже веков огромную трагедию. При советской власти им был открыт прямой путь, может быть, потому, что власть им как-то больше доверяла и у них была перспектива для карьеры.

Садулаев — очень талантлив. Сейчас он один из известных русских писателей. Он — русский. Но одна из его первых вещей называется «Я — чеченец». Понимаете, это человек, который сидит на двух стульях. Его книга — о том, что переживает человек, оторванный от родины... Была война

.....

5. С.-Б. Арсанов — один из крупнейших чеченских писателей XX столетия — оставил по себе память как человек, который в своём творчестве и общественной деятельности плодотворно осваивал опыт других культур, в первую очередь — российской и европейской. Молодость Арсанова пришлась на бурное революционное начало века. Он учился в С.-Петербургском политехническом институте, участвовал в студенческих демонстрациях, за что был арестован, сослан, бежал из ссылки, эмигрировал в Германию. Затем его бросило в гущу Гражданской войны. Вернувшись в Россию, Арсанов воевал на Дальнем Востоке на стороне большевиков. В начале 20-х годов Арсанов на различных руководящих постах в партийных и советских структурах в Чечне много внимания уделял вопросам просвещения. С 1926 по 1930 год Арсанов — уполномоченный представитель Чечни в Москве. В эти годы он начал работать над романом «Твёрдо держи своё сердце». Но жизнь не позволяла Арсанову полностью уйти в литературный труд. Вскоре он уехал по путёвке ЦК партии на ответственную работу на Колыму. Затем ему поручили возглавить Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт языка, истории и литературы. Роман, над которым Арсанов работал все эти годы, был издан в 1956 году в Казахстане, где писатель находился в годы депортации. Автор дал ему новое название — «Когда познаётся дружба». Первое в чеченской литературе крупное эпическое произведение было высоко оценено критикой. По сложности проблематики и масштабам освещения народной жизни этот роман Арсанова и по сей день занимает в чеченской литературе одно из ведущих мест. В восстановленной Чечено-Ингушетии Арсанов возглавлял Союз писателей ЧИАССР. При его участии проводились литературные семинары, издавались произведения поэтов. Как депутат Верховного Совета республики, Арсанов занимался вопросами культуры, образования, науки и литературы (<http://www.km.ru/referats/77D9F17D61604398B24BC1645615DABD>).

в тех краях, где он родился, воспитывался, где он рос, где впервые полюбил,— и теперь герой повести находится где-то в отдалении, умирает, погибает... он здесь—без цели, не знает, куда себя деть. Переживает тяжёлую душевную драму. Это, конечно, глубоко и интересно, несмотря на скабрёзные моменты, которые тогда были популярны. Сейчас это уже уходит на второй план.

Потом он давал интервью. Я не знаю, насколько журналист точно интерпретировал его высказывание, но на вопрос корреспондента он отвечает: «Я—не чеченец. Это доказано». Я сам это интервью читал. То есть внутренние борения закончились. Он стал на самом деле уже не чеченцем. Потому что быть чеченцем в определённое время стало нехорошо и неприятно. Чеченское имя вообще не произносимо было. Как «турок» во время Русско-турецкой войны... или как «немец» во время войны с немцами.

Надо ли говорить, какой страшный урон нанесли чеченскому народу депортации?!

При депортациях вообще имя чеченское исчезло. Этноним исчез. Даже Муслим Магомаев забыл, что он из чеченцев! Нигде не произносится, что он чеченских корней. Московские и бакинские друзья сплочённо проводят и дни рождения... и даты какие-то отмечают... Никто не вспоминает, откуда он родом и какой он крови! Конечно, Муслим Магомаев—не просто из чеченцев... и не только из чеченцев... он—не просто русский... и не только азербайджанец. Он—всемирное достояние. Но это же не отменяет необходимости помнить о своих корнях!

Ещё пример—Владислав Сурков. У Суркова отец—чеченец. Мать—русская. В пятидесятые годы она была здесь учительницей. Тогда сюда приезжало много выпускниц из центральных российских вузов. Сурков родился здесь. Видите ли, талант всё равно пробьётся. От кого бы ни родился. Но, говорят, от смешанных браков—больше рождается талантливых людей. От смешанных или не вполне «легитимных». Те же Жуковский, Герцен, Полежаев. Я читал роман Суркова «Околоноля». Мне он понравился. Динамичный. Как киносценарий. Автор не углубляется в психологию, во внутренний мир персонажей. Видимо, он и не преследовал в этом произведении такой цели. Но наброски интересные. Великолепный слепок современности. Именно времени «около ноля».

Ещё один молодой писатель публикуется под псевдонимом Тауз Исс. Он уже автор большого романа «Имя родины», автор нескольких стихотворных сборников. Всё, что мне понравилось, написано на русском языке. Там много от русских символистов, и не только русских. От Верлена, Блока. От Хлебникова.

А если говорить о современной прозе на чеченском языке—есть замечательный писатель Усман

Юсупов. Его роман «Къоман Тептар» близок по содержанию «Книге Илая»... вы видели этот фильм? Тайна, связанная с книгой, с религиозным подтекстом... Книга Юсупова написана много раньше, чем появился этот фильм. Так вот, Юсупов на чеченском пишет, он именно из тех, кто обогащает чеченский язык. Или Муса Бексултанов, Муса Ахмадов.

Эти писатели делают очень много для практического развития чеченского языка. Они творцы языка, творцы конструкций, форм для выражения нового времени, для передачи чувств и переживаний новых людей, современников.

Честно говоря, изучение родного языка в Чечне всерьёз началось после того, как люди стали возвращаться из депортаций. Из молодёжи вузы ковали необходимые кадры. Конечно, опыт и знания наших старших товарищей, которые имели запас ещё с первых лет советской власти, тоже использовались. Шла работа над учебниками, над стилистикой, над исторической грамматикой. Отличные специалисты были мои сверстники. Академик Муса Халидов написал великолепный труд по чеченскому языку. Объёмный, фундаментальный труд. Успехи есть! Учёные, литераторы пропагандируют язык. Им важно, нужно, чтобы язык жил! Поэтому вокруг них собираются талантливые молодые люди, от Бога наделённые любовью к языку, с искрой Божьей... Есть на кого опереться. Стремление народа к развитию своей национальной культуры не утрачено. Не погасло, несмотря на эти истребительные войны. Истребительные как никогда. Потому что они унесли четверть населения, если верить информации, которую часто повторяют...

Если же говорить о взаимовлиянии культур, то это—огромная область. В 2012 году мгу специально собрал всех известных филологов, для того чтобы эту тему обсудить, подтвердить, что русско-кавказские отношения живут, всё это продолжается и война на это никак не повлияла. Повлияла! Но культура-то всё равно действует. Культуры взаимодействуют. Как и прежде. Возьмите казацкие одежды... весь этот антураж... это же заимствовано у кавказцев! У Толстого в «Казаках» Лукашка-то на коне сидит не просто так, а по-чеченски... это считалось за особый шик. Это круто, когда ты похож на чеченца. Это и есть взаимодействие культур. А какая культура действует сильнее? Богатая культура! Какое может быть покорение? Только покорение культурой! Иначе можно только раздавить, убить. Как варвары крошили римские статуи...

Нужно взаимодействие благородных начал! Все хотят быть похожими на горцев в этом плане... дескать, не вы одни придерживаетесь высоких понятий о чести и благородстве. И мы—тоже. Взаимодействие, взаимовлияние было всегда и в плане морально-этическом. И—внешне... Даже

в царской армии были введены газы черкесские и золотые погоны. В охране царя — тоже горцы. В национальной форме.

С восемнадцатого века на русскую словесность шла волна влияния с Запада. Что это такое? Это именно этическое и практическое внедрение в русское самосознание развитой западной литературы. Немцы, потом французы оказали огромное влияние на русских людей, которые знали и по-немецки, и по-французски... Потом уже создаётся оригинальная русская литература, которая начинается с Пушкина. Потом Лермонтов, Гоголь... Толстой, Тургенев, Чехов, Салтыков-Щедрин... она уже сама влияет на западную, мировую литературу... и на чеченскую... и на северокавказскую... и вот сегодня мы можем сказать: у нас *есть* чеченская литература, которая сама уже выходит на международный уровень.

А сейчас появилось модное поветрие — игнорировать чеченское происхождение тех или иных культурных феноменов. Я вот слышал чеченскую песню, которую грузины везде представляют как свою... «Мы в горах записали, — говорят, — но если это ваша, было бы хорошо, если бы её забыли, если бы она исчезла». Но мелодия-то живёт. Дагестанцы — называют своими чеченских героев. Это поветрие сильно бьёт по чеченской культуре. Это — боль. Я уже говорил о Магомаеве... Абдул-Муслим Магомаев, его дед, — чеченец! У него и отец, и мать были чеченцами. Какой же он азербайджанец? Но даже его, с молчаливого согласия внука, в книге «Знаменитые азербайджанцы» записали своим. А почему?

Потому что этноним чеченский — не люб. Там. Наверху. Лишний раз не произносят. Потому что героев с самого начала заретушировали. Всех героев. Из истории целые страницы вырваны, выброшены.

Трагедия Хайбаха<sup>6</sup>... Более семисот человек сожгли! Опоздали с графиком выселения. Зима. Февраль. Сорок четвёртый год. Их сожгли! В сарай загнали... Как в белорусской Хатыни. Это такая боль до сих пор! Не заживает! Я был на месте Хайбаха. Я говорил с человеком, который жизнь свою готов был отдать, чтобы об этом преступлении все узнали. До Хрущёва он добирался. Страдал. Пять лет сидел за клетку. На его машине я ездил туда — в горы. Я видел своими глазами. Детские кости в навозе... остались пожелтевшие детские кости... и — как будто не было. «У нас нет достоверных сведений!» Фильм сегодня снят — его в прокат не пускают. В министерстве культуры. У них, видите ли, документов нет, что было постановление о том, чтобы сжечь селение. Вот с этим мы живём! И поэтому мы обращаемся к Лермонтову. Лермонтов именно в пожаре войны, когда здесь крови ручьи лились... тела всё запрудили... вода была красна, была тепла... вот в этой обстановке он говорит:

Я думал: жалкий человек.  
Чего он хочет!... небо ясно,  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он — зачем?

Вот почему мы цепляемся за него... в то время самое дорогое слово сказано... говорят эти слова именно те, кто испытал на себе, как это страшно... как не нужно...

#### 4. Апти Бисултанов. «Журавли»<sup>7</sup>

Белой лошади сказку свою расскажу я...  
Грусть сплету из косы и печали твоей.  
На чеченской равнине в полёт провожу я  
Покидающих нас золотых журавлей...  
Там, где кровью калина в тоске истекает,  
Я прощенья у всех за грехи попрошу.  
И в чеченских горах, там, где ветер рыдает,  
Я из слёз твоих грустную песню сложу.  
Из твоих миражей нашу башню построю  
И расчищу поляну в лесу за рекой.  
И в чеченских горах, оглушённых зимою,  
Я один на один повоюю с судьбой...

#### 5. Иса

Иса живёт в Сибири уже более тридцати лет. Родился он в посёлке Хамавюрт, на границе с Дагестаном. В семье было одиннадцать детей. И почти все — выучились и встали на ноги в Сибири.

Отец Исы был выслан в Красноярский край в середине шестидесятых, крепко обосновался здесь — и сделал всё, чтобы дети получили достойное образование, которое должно было стать основой нормальной, обеспеченной жизни. К отцу после окончания школы приехал и Иса. Сначала окончил техникум в Ачинске, потом — университет в Красноярске. Учился на филологическом факультете — хотел стать журналистом. Не получилось — с филфака ушёл. Зато, в конце концов, защитился по юридической специальности и сумел построить в Красноярске успешную карьеру. Так же, как и дом — просторный, уютный и гостеприимный. Женат на русской. Говорит и думает на нескольких языках. Поддерживает деловые или приятельские отношения почти со всеми

6. Википедия сообщает: «Предполагаемое массовое убийство жителей сотрудниками НКВД в горном ауле Хайбах (чеч. Хъайбах) Галанчожского района ЧИАССР произошло 27 февраля 1944 года во время массовых депортаций в Казахстан. Имеются свидетельства, что также были расстреляны жители других аулов». В Хайбахе сожгли и бабушку Джохара Дудаева. Это была его боль!

7. Перевод Ии Николаенко.

знаковыми персонами Красноярска, последнее время—много пишет и печатается. На русском языке. Однако ни русским, ни космополитом не сделался. Остался чеченцем до мозга костей. И гордится этим! Быть чеченцем для чеченца означает, прежде всего, всегда и всюду оставаться предприимчивым, общительным, постоянно «готовым к труду, обороне» и к достижению новой цели. Не роняя при этом чести и врождённого благородства.

Мы отправились с ним в Грозный—маленькой красноярской делегацией. Каждый—со своим выступлением. Наше участие в Лермонтовской конференции—само по себе важно и даже символично. Но благодаря Исе у меня, помимо работы на форуме, появилась возможность увидеть и почувствовать жизнь сегодняшней Чечни—как бы изнутри, поскольку я гостила в семьях его сестёр. Но об этом—в своё время... Теперь же—слушаю самого Ису.

### Монолог Исы Айтукаева

Когда бы и с кем бы ни сталкивались интересы Российской ли империи, Советского Союза или нынешней России, передний край всегда защищали чеченцы. Даже сейчас—в грузино-осетинском конфликте, на Украине... кто в первую очередь рвётся помогать русским, встать в первых рядах? Чеченцы! Но политики это скоро забывают, к сожалению. Сначала—герои передовых отрядов, вставших на защиту России, потом те же люди—враги, бандиты, террористы. На практике так получается, как ни горько это сознавать. Сколько бед нашему государству принесли ошибки политиков в национальном вопросе!

Говорят, чеченцы—горячий народ. Да, горячий. Но в общении, на людях, на улице, в компании мы намного «холоднее»... сдержаннее, дружелюбнее, чем другие народы. Отсюда и ностальгия по Советскому Союзу. Мы любим общаться! Нам не хватает общения. Нас изолировала страна от других народов. А мы хотим со всеми дружить!

Информационная война—как и все войны. Выигрывает, по большому счёту, правда. Но её тоже надо уметь предъявлять. На войне как на войне. Правда может на какое-то время отступить перед ложью. Чего только не рассказывали о чеченцах! И отрубленные головы, и выстрелы в спину, и взорванные дома... Это самое оскорбительное для чеченца, когда говорят, что он в спину стрелял! Этого никогда не будет! Чтобы чеченец взрывал дома?! Не было и не будет. Не говорю о наркоманах, преступниках, наёмниках... у этих нет национальности! Если наркоман, убийца—какая разница, русский он, хакас или чеченец?

В Сибири, по существу, национальная рознь не имела почвы. Всех сюда ссылали, и люди привыкли жить вместе. Можно сказать, Сибирь—общение народов! Даже эти двадцать лет гонений на чеченцев... это было—но здесь нам намного было легче, чем за Уралом. Хотя и сейчас ещё некоторых раздражает моя чеченская гордость. «Что ты,—говорят,—везде выпячиваешь, что ты чеченец? Не всем это нравится!» Я отвечаю: «Самое лёгкое в моей жизни было—родиться чеченцем. Самое трудное— всю жизнь чеченцем оставаться».

Мы вообще—народ работающий. Жена моя шутит иногда: «Чеченцы только и умеют, что воевать да строить». Действительно, зайдя в любой чеченский двор—хозяин что-нибудь да строит! Поэтому на Кавказе такие дома-дворцы. Здесь у нас соседи, родственники жены долго не понимали, зачем я строю такой дом. Им комнаты-клетушки дали по восемь квадратов, так они счастливы и ничего больше не хотят. А нам нужны большие дома, большие дворы, чтобы мы могли гостей принимать... У нас в старом доме за выходные дни двадцать-тридцать человек бывало. Сейчас, правда, меньше. Я, кстати, многих друзей потерял из-за этой войны. Боялись общаться. Я это понимал, ни на кого не обижался. И сейчас обиды не держу.

Братья и сёстры мои учились, в основном, всегда хорошо, до перестройки у всех были отличные перспективы... но потом начались «смутные времена»—и судьбы их сложились по-разному. Я, пожалуй, оказался в учёбе настойчивее всех... учился и учился, и теперь учусь.

Сестра Мадина в тридцать девять лет умерла. Замуж так и не вышла, ей не до этого было. Она здесь, в Ачинске, окончила медицинское училище. Потом Дагестанский институт. Была сильным хирургом. Работала в Ножай-Юрте сначала, в больнице. Я видел, какая это была работа. В любое время суток, не считаясь с собственным отдыхом, ни с чем личным,—спасала людей. Никогда никому не отказывала. Но и характер у неё был сильный, жёсткий. Чеченки никогда на мужчину голос не повысят, а она—хоть кого на место могла поставить. Хирург! Цена ошибки или неуверенности—жизнь человеческая. Может, из-за этого и замуж не вышла. И болезни свои запустила—всё ей было не до себя. Отдала себя делу, сгорела, можно сказать...

Знаешь, я ещё в девяносто четвёртом году говорил, что Чечня будет самым благополучным регионом России и мы, чеченцы, будем лучшими друзьями Москвы. Так и раньше было всегда. Но ты спроси тех, кто первыми входили в Чечню в девяносто четвёртом: они были потрясены, когда увидели, с каким достатком, с каким размахом там жили люди. Сейчас, по сравнению с тем, что было до войны, всё гораздо скромнее. Грозный, Аргун, Гудермес? Вся эта ночная иллюминация?

Да, красиво. Очень красиво. Всё сделано, чтобы глаз радовать. А сердце?

Что дальше будет? Не хочу пророчествовать. Могу—но не буду. Посмотрим. На то и два полушария у человеческого мозга, чтобы не упорствовать в заблуждении.

## 6. Айна

Мы въехали в Грозный поздно вечером—под дождём. Пока добирались через окраины ближе к центру, в микрорайон, где живёт младшая сестра Исы Айна, город мелькал за мокрыми стёклами машины—как призрачный парк аттракционов: эстакады, мосты, арки, шпили, башни, крытые рынки, однообразные коробки новостроек... Позже я оценила строгий вкус, в согласии с которым отстраивается Грозный. Как большинство северокавказских городов, он вовсе не рвётся вверх, довольствуясь очевидной природосообразностью. Деревья и камни не подавляют друг друга. Дороги сочетаются с бульварами, по которым можно судить о степени недавних разрушений. Где остались старые деревья, заслоняющие небо раскидистыми кронами, там меньше взрывалось и горело. Таких мест в Грозном немного. Посадки, в основном, молодые: трогательно тонкие деревца топорщатся кружевной листвой на бульварах по всему городу.

«Однушка» Аины—на верхнем этаже пятиэтажки, распахнутой настежь—со двора. Распахнутой—буквально, потому что, насколько я поняла, большинство квартир в подъезде, с первого этажа по пятый, до самой ночи—не запираются. Двери открыты. Дверные портьеры колеблются сквозняком. Жарко! Поднимающиеся и спускающиеся по лестничным пролётам соседи заглядывают друг к другу с приветствиями и любопытством.

Айна—красавица. Высокая, плотная, как у нас говорят—статная женщина. Большие тёмные глаза, волосы ниже плеч, аккуратно подобранные под традиционный чеченский платок. Открытое приветливое лицо. После радостных восклицаний и объятий—брат с сестрой не виделись больше года—Иса помчался к заждавшимся другим родственникам, а мы с Айной остались вдвоём.

Ночной разговор. По судьбе Аины, как, пожалуй, и по всем судьбам чеченцев, война прошла чугунным катком... Она окончила торговый техникум в Ачинске, вернулась домой. Первый муж её умер. Осталась дочка—Марха. По чеченским неписаным правилам, дети—в случае развода или смерти одного из родителей—остаются в семье отца. Марху—при живой матери—воспитывала тётка. Видимо, достаточно строго воспитывала.<sup>8</sup> Потом—новое замужество, вторая семья, которую глубоко ранила и исковеркала война. Не буду раскрывать подробности, Айна не давала на это

согласия, скажу только, что женщине пришлось перенести и бомбёжки, и разруху, и то, что называли «зачистками», и тяжёлые нервные срывы мужа, которых она, в конце концов, не выдержала. Развод оторвал от неё двух маленьких дочек, которые живут теперь очень далеко от родной матери.

И вот в прошлом году, осенью, Айна снова вышла замуж—за доброго и работающего человека, вдовца с детьми (три дочери и сын). Сейчас при нём—две дочки-школьницы. Пока вроде бы всё складывается хорошо. Айна, при всей своей кавказской сдержанности, не скрывает радости. Абу, её муж, строит большой дом в деревне, в Ножай-Юртовском районе. Половина—уже вполне пригодна для жилья. Даже—с комфортом. Тоже—по-чеченски: всё, что делается, должно быть сделано целесообразно, разумно и эстетично по максимуму. Мне довелось погостить и в этом доме. Просторные комнаты, камин с подведённой к нему газовой трубой (газ здесь—универсальное топливо, а вот с водой—проблема, воду подвозят в бочках и запасают в больших резервуарах-баках рядом с домом), зимняя и летняя кухни, ванная... красивая современная мебель... Айна водила меня по усадьбе и показывала: здесь будет второй этаж, лестница, туалетная комната... здесь—вторая половина дома, на будущее—для семьи сына... здесь—сад: грядки, деревья, цветы... Девочки-дочки (не поворачивается язык назвать их «падчерицами») от неё не отходят. Особенно младшая, Зарета, удивившая меня своей любознательностью, приветливостью и природным артистизмом. Во всём—ещё пугливое, но уже определённое предчувствие благополучия. Наверное, это и есть счастье. Они заслужили его!

—Слава Аллаху,—говорит Айна,—сейчас уже привыкли к тому, что в городе спокойно. Совсем недавно, кажется, на улице боялись выйти из домов. Да и какие дома? Представляешь, как жили: квартира—а стены нет, чем-нибудь завесят дыру—и живут. Вот на этом месте, где мы сейчас,—развалины были. Мародёры кругом... многие уехали, убежали от войны, бросив всё имущество. Как-то мы со знакомой на улице попали под обстрел и прятались в доме, в такой брошенной квартире... там и одежда была, и чего только не было... знакомая стала выбирать себе что-то, а я как представила, что вот выйдем... каждую минуту могут убить—и с таким грехом на душе умереть... страшно!

Айна строго соблюдает намаз. Как полагается—по часам, пять раз в сутки. Накидывает свободное

8. Спустя неделю после приезда в Грозный я познакомилась с Мархой, молодой замужней женщиной, похожей на Айну как две капли воды, и наблюдала, с какой нежностью она относится к матери—всё же не хватало, наверное, девочке материнской ласки.

платье, покрывает голову большим платком и на коленях на специальном коврике читает молитвы.

...Рано-рано утром меня разбудил какой-то незнакомый звук. В удивительной для города предзвездной тишине молодой красивый (ангельский?) голос тянул высокую протяжную ноту, от которой у меня защекало в носу и защемило под ложечкой. Что это? И тут я поняла: мулла с минарета призывает мусульман к молитве!

### 7. Заметка на полях

Прочитала у красноярского писателя Вячеслава Миронова в романе «Я был на этой войне»:

«Бестолковейшая, бездарнейшая война. Генералы получают награды, увозят полные самолёты добра, а мне выдадут страховочку. Я подсчитал, что будет ровно полтора миллиона рублей. Можно что-то купить, если не затянут и дадут вовремя. А то инфляция всё сожрёт».

Пацаны бегали перед развалинами и играли в войну. Что-то кричали на своём языке, смеялись. Дети играют только в то, что видят. А кроме войны они ничего не видят. Так и вырастут и, кроме войны и вот этих развалин, ничего не увидят. Разрушать быстро, а вот чтобы строить, необходимы годы, поколения. Сомневаюсь, что народ, который мы пытались уничтожить и научили воевать, народ, вкусивший разбойной жизни и имеющий реального врага — нас, сможет или захочет что-нибудь здесь возродить».

Спустя десять лет — под ласковым слепым дождём, зажмурившись от удовольствия, — вдыхаю запах свежей листвы на аккуратной, словно

9. Строительство мечети, спроектированной турецкими специалистами, было начато в январе 2011 года и велось фирмой «Инкомстрой». Заказчиком выступил региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, который и выделил средства на строительство. Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и, как уверяют в Духовном управлении республики, не похожа ни на одну мечеть в мире. Издали своими формами она напоминает «летающую тарелку». На куполе мечети, имеющей три минарета, выполнена гравировка имён Всевышнего, а для внутренней отделки использованы дорогие материалы и роспись. Мечеть, рассчитанная на пять тысяч человек, станет одной из самых крупных в Чечне (<http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/242124/>).

10. Здания комплекса «Грозный-Сити» тоже строили турецкие строители, и, по замыслу руководства Чеченской Республики, элитный район должен символизировать перемены на этой многострадальной земле. Причём символ мирной жизни должен быть виден издалека. Потому и родилась идея строить высотки как на Аравийском полуострове, куда руководители Чечни неоднократно летали на хадж. Выбор турецких строителей тоже был сделан не случайно. Чечня — сейсмически опасный регион. А в России нет специалистов по постройке подобных сооружений в таких зонах. Зато они есть в Турции. Причём проверенные.

картинка из детской книжки, улице возрождённого Грозного.

### 8. «Сити»

В центре чеченских городов теперь обязательно — «сити». Как в Москве. «Грозный-Сити». «Аргун-Сити». «Гудермес-Сити». Несколько зеркально сверкающих небоскрёбов возносятся к небесам наподобие гигантской друзы кристаллов. Они возвышаются над малоэтажными городами, словно космодром над степью. Сравнение напрашивается ещё и потому, что вблизи ультрасовременных башен — непременно мечеть. Чашеобразный купол, окружённый причудливыми аркадами и минаретами, устремлёнными в зенит, словно ракеты на старте. Вспомнишь тут слова Марьям о мистической связи чеченцев с космосом!

Эти архитектурные комплексы поражают воображение днём. А ночью — ты и вовсе теряешь здесь связь с реальностью, потому что «сити» преобразуются в сказочный водопад огней. Пульсируют — на мгновение как бы повисая в воздухе — сияющие разноцветные жгуты и нити, взлетают и падают струи розовых, зелёных, лиловых фонтанов... всё мелькает, мигает, кружится, струится, складывается в буквы вертикально бегущих строк: «Грозный»... «Гудермес»... или — так: «Рамзан, спасибо!»...

В Аргуне, на центральной площади, перед великолепной мечетью в стиле хай-тек, построенной в честь Аймани Кадыровой, матери главы республики, — сооружён огромный полумесяц со звездой, рядом — каскад бассейнов. Вода мерцает и зыбко переливается в цветных лучах. «Сити» и мечеть строились и открывались одновременно.<sup>9</sup>

По поводу строительства культовых сооружений и роскошных торгово-офисных центров в республике, которая всё ещё восстанавливается после разрушительных войн, продолжают споры. Это очень похоже на то, как бывшего главу Красноярска П. И. Пимашкова до сих пор попрекают фонтанами, уличными скульптурами, брусчаткой и пальмами. Наверное, и впрямь — излишек. Но как без всего этого поскущел, обеднел бы Красноярск! Вот и руководство Чечни решило: ничто так не поднимает дух народа, измученного войной, как открытая для всех и каждого бескрылатая красота!<sup>10</sup>

Мы с подружкой сняли обувь у входа в мечеть, накинули широкие платья и платки, которые можно взять тут же, в специальных корзинах, и по лестнице, укрытой нежнейшим бархатистым ковром, поднялись на балкон, откуда можно видеть внутреннее пространство мечети и молящихся мужчин. Во втором ярусе, на балконе, — только женщины. Мы сели на ковёр, поджав под себя ноги. Я закрыла глаза, и очень быстро меня подхватила знакомая, покалывающая кончики пальцев

вертикальная волна, которая пронизывает всё твоё существо и словно приподнимает над поверхностью. Полная тишина. Только тонкий голос муллы, кажется, удерживает в реальности...

В цокольном этаже мечети — медресе. Несколько подростков, сидя на полу, читают священные книги. Крутом такая же роскошь — сверкающие золотом колонны, мрамор, ковры...

Марьям говорит, что первое культовое сооружение, восстановленное в разрушенном Грозном, — православный храм Михаила Архангела. Он встречает путешественников прямо на въезде в город.

Мечеть «Сердце Чечни» открыта в 2008 году. В конкурсе «Россия-10», который должен был выявить десятку архитектурных чудес России, по итогам интернет-голосования она долгое время лидировала и лишь в самом финале уступила первое место Коломенскому кремлю.

## 9. Рамзан

Его портреты — повсюду. Вместе с отцом — Ахматом Кадыровым. Или — с президентом Путиным. И ещё — надписи: на фронтонах домов, выложенные белым камнем на возвышенных обочинах дорог, бегущей строкой ночной иллюминации... «Рамзан, спасибо за Грозный!»... «Рамзан, спасибо за Шелковской район!»...

Есть люди, которых это раздражает. «Куль личности!» — говорят. Но подавляющее большинство жителей — свидетельствую! — искренне благодарны главе республики за «чеченское чудо», которое ощущают на себе.

Благодарят, уважают и побаиваются. Сильный человек. Сказал — сделал. По-хозяйски.

В Чечне — сухой закон. В магазинах спиртное отсутствует. Включая слабоалкогольные коктейли и пиво. Молодёжь до полуночи гуляет по бульварам, общается на лавочках, попивая газировку. Пьяных нет, но всем весело. Вот вам и бессмысленность запретов! Кому невтерпёж — рядом Дагестан, полчаса на машине — и получишь желаемое. Но в открытом доступе алкоголя нет, молодёжь его не видит, выпивка молчаливо осуждается взрослыми, и — никто не пьёт! За всё время, что мы были в Чечне, нам ни разу не довелось трапезничать в пьющей компании. Не принято здесь это — и всё.

Как не принято вообще нарушать общественный порядок — даже, к примеру, банку или обёртку какую-нибудь бросить на дороге. В Грозном чисто. Настолько, что можно ходить босиком. Мы с Розой, другой сестрой Исы, проверили это на собственном опыте, когда во время похода на рынок попали под проливной дождь. Ливнёвка при сильном дожде не справляется, и дороги захлёстывают потоки воды. Наши босоножки сразу стали бесполезны. И я заметила, что многие пешеходы тут же снимают обувь и шлёпают по лужам без опаски.

Ещё картинка. Вечером с балкона видно, как во дворе ребятишки лет десяти-двенадцати чистят и подметают асфальт между домами и детскую площадку. Айна говорит — их никто не заставляет, просто они знают, что это их обязанность. Воспитаны так.

Вон смятая жестянка на тротуаре: «Рамзан не видит!» Шутка.

Рамзан видит. Мало того, что его глаза взирают на тебя в Чечне буквально со всех сторон. От него не укрываются, кажется, даже самые потаённые мысли соотечественников. Он далёк и близок. Недосыгаем — и ошутим. За любым эксцессом немедленно следует его реакция.

В прошлом году третьего апреля в сорокадвухэтажной высотке комплекса «Грозный-Сити» произошёл пожар. Здание выгорело полностью, за исключением первого этажа. Около недели событие не покидало первых страниц и кадров новостных сводок сми. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что именно в «Грозном-Сити» ещё в феврале Кадыров подарил пятикомнатную квартиру новоиспечённому гражданину России — Жерару Депардье. Правда, тут же выяснилось, что апартаменты Депардье — не в сгоревшей башне, а в соседней, так что звезде беспокоиться не о чем.

Фото и видео пылающего небоскрёба облетели Сеть со скоростью молнии! Комментарии к ним могли бы стать предметом специального социально-психологического анализа. В большинстве своём пользователи, конечно, ужасались, сочувствовали жителям Грозного. Но нашлись и такие, кто ехидствовал со свойственной сетевым хвряцам беспечностью!

И — напрасно.

Пожар — на самом деле катастрофический (оказалось, что при тушении, в силу особенностей

11. Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей в Европе. Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики. Мечеть располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного парка (14 га), и входит в Исламский комплекс, в который, помимо мечети, входят Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи и Духовное управление мусульман чр. Мечеть построена в классическом османском стиле. Центральный зал мечети накрыт огромным куполом (диаметр — 16 м, высота — 32 м). Высота четырёх минаретов — по 63 метра, это высочайшие минареты на территории России. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым мрамором. Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, а вместимость — более 10 тысяч человек. Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади (<http://ru.wikipedia.org/wiki>).

застройки, нельзя использовать пожарную авиацию) — был оперативно локализован и потушен в течение семи часов. Уже на следующий день выдвинуты версии произошедшего и возбуждено уголовное дело. Рамзан, находившийся в это время с визитом в Арабских Эмиратах, реагирует мгновенно. Уже четвёртого апреля в аккаунте Кадырова в Instagram появляется запись:

«Ассаламу Алайкум! Добрый вечер дорогие друзья! Как мы все знаем, сегодня практически сгорело самое высокое здание в республике. Я уже вижу, что некоторые люди этому радуются, осталось только помолиться за таких. С помощью Всевышнего мы восстановим это здание, которое будет намного красивее и лучше предыдущего, с использованием самых последних технологий, а рядом будет располагаться комплекс красивейших высотных зданий «Грозный-Сити 2». Самое главное, хвала Аллаху, обошлось без человеческих жертв. Чтобы ни у одного жителя Чеченской Республики не пострадал даже мизинец, я пожертвую любым зданием и сделаю всё возможное и невозможное ради этого!»

Пятого (!) апреля Кадыров предлагает дизайн нового оформления сгоревшего здания. Причём делает это весьма своеобразно: выкладывает в Instagram фото вариантов предполагаемого проекта и просит подписчиков голосовать.

«Из 1000 проголосовавших больше половины выбирают средний вариант. Уверен, он удачно впишется в архитектурный ансамбль нашего прекрасного города!» — написал в фотоблоге Кадыров. При этом он добавил, что полностью согласен с таким выбором.

А спустя несколько дней глава республики замечает на своей странице: «Кстати, в ремонте небоскрёба будут принимать самое активное участие два жителя нашей республики, которые выложили в Интернет видео горящего здания со злорадствующими лозунгами. Свою ошибку они поняли и пообещали не отлынивать от работы»<sup>12</sup>.

Так-то вот.

В этой истории мне тоже видится какой-то мистический символизм. Сгоревшее здание называлось «Олимп». Последним рубежом, сдавшимся огню, стали расположенные на самой верхней точке здания гигантские круглые часы, самые большие в мире. Они работали более двух часов после начала пожара, но остановились в 20:30. Так вот — уже на следующий день часы заработали, а с наступлением темноты включилась подсветка уцелевшего циферблата. И этот героически стойкий хронометр

сразу стал показывать точное время! Точное время восстановления башни назвал и Кадыров. Небоскрёб будет введён в эксплуатацию уже второго октября — в День города. Имя ему дали — по многочисленным просьбам трудящихся — «Феникс».

Уже 30 сентября республиканские СМИ объявили о сдаче объекта.

Сгорел «Олимп» — родился «Феникс».

Право же, в этом что-то есть!

## 10. Мечтатели

Путешествуя по Чечне, разговаривая с чеченцами, я то и дело ловлю себя на мысли, что, наверное, вот так же вертел головой и удивлялся посетивший Россию в двадцатом году Герберт Уэллс. Впрочем, сравнение, скорее всего, неуместное. Уэллс застал в Советской России ужасающую разруху, разброд, шатание и кучку романтиков-мечтателей, вознамерившихся электрифицировать съехавшую на обочину европейской истории страну. Так, во всяком случае, ему казалось.

А я вижу вокруг порядок, дееспособную властную вертикаль и, по всей видимости, всё более и более благополучное население. Хотя — многое, многое, конечно, производит впечатление всё той же высотки, с которой только что сняли строительные леса. Ошеломляющая внешность — а внутри пока... пустовато... Предпринимаются, конечно, осторожные попытки восполнить утраченное содержание. А может быть, и развить его — в соответствии с вызовами времени. Но всё это требует особой квалификации и руководства, и исполнителей. А такого рода квалификация кавалерийским наскоком не достигается. Но чеченцы — народ мечтателей. Они хотя не просто город-сад и не просто благосостояние для многих. Им нужно всегда и во всём быть лучшими! Поэтому медленно, но верно социально-культурная сокровищница Чечни пополняется новыми достижениями.

Мне рассказывали, что ещё в шестидесятых годах двадцатого века старцы предсказывали, что Грозный перейдёт в две большие ямы. (Между Аргуном и Грозным были два котлована, на них и указывали старцы, глядя в окна автобуса, курсировавшего между городами.) Все посмеивались: это как может целый город переместиться, да ещё и в ямы? Сегодня не только эти котлованы заполнились руинами Грозного до самого верха.

На выезде из Грозного — в ту сторону, где сейчас вся осуществляется грандиозный проект Кадырова «Грозненское море», — мне показали пустырь с примыкающим к нему новым микрорайоном. Здесь совсем недавно располагался огромный карьер, куда свозили «строительный мусор» — останки разбитого Грозного. Их было столько, что и этот карьер заполнился до краёв, сровнялся с землёй. Ямы поглотили старый Грозный<sup>13</sup>. Теперь — всё заново. Роят громадный котлован.

12. <http://www.ntv.ru/novosti/551677/>

13. Многие старожилы, вернувшиеся сюда после войны, никак не могут привыкнуть к новому Грозному и ностальгически вздыхают по «лучшему городу Земли» — единственному, родному, неповторимому.



Здесь будут аквапарк и туристический комплекс. Отели, пляжи, рестораны, спортивно-оздоровительные площадки. Пока об этом напоминают только каменная арка и множество работающей техники: бульдозеры, трактора, самосвалы. Но, принимая во внимание уже имеющиеся результаты чеченского строительства, веришь: и море, и чудо-курорт здесь будут! И очень скоро.

Устремлённость в будущее не отменяет заботы о прошлом. Мы видели, как трепетно относятся здесь к музеям: восстанавливают старые, строят новые. В залах Государственной галереи им. А. Кадырова мы застали выставку картин современных художников Чечни. Один из них — народный художник Харон Исаев — сопровождал нас в путешествии по Чечне.

Воинской славе России и Чечни посвящён недавно открывшийся музей Ахмата Кадырова — роскошный архитектурный комплекс, по великолепию убранства не уступающий знаменитым сооружениям Европы и Азии.

Что же касается великой русской литературы, преданность которой чеченская культурная элита не устаёт подтверждать, то два имени здесь не сходят с уст. Лермонтов и Толстой.

В селе Парабоч Шелковского района бережно сохраняется двухэтажный дом Хастатовых, куда в 1818 году бабушка Елизавета Алексеевна впервые привезла маленького Мишу Лермонтова. А в станице Старогладовской открыт Литературно-этнографический музей Толстого. Ко всему приложены заботливые руки. Всё оставляет впечатление постепенно заполняемых пустот. Так, наверное, работает реставратор. Глотая слёзы, посыпая голову пеплом, проклиная, кто бы ни были они, варваров-разрушителей — но шаг за шагом, стежок за стежком, мазок за мазком восстанавливая, казалось бы, навсегда утраченное.

На берегу речки Валерик возведён постамент для памятного знака. Здесь в 1840 году произошло кровопролитное сражение, о котором Лермонтов подробно рассказал в стихотворении, вошедшем во все хрестоматии по русской литературе девятнадцатого века. Знак предполагалось открыть во время нашей конференции. Но что-то не срослось, мероприятие было отложено, и мы, вспоминая поэта, просто общались, читали стихи и фотографировали окрестности.

Бескрайние поля. Вот, оказывается, что это такое... До самого горизонта, насколько хватает глаз, колыхнется пшеница. Налитые колосья — уже в половину человеческого роста, мне по пояс. 30 мая. Господи, как щедра и благодатна эта земля!

Пока мы любовались полями, цветущим шиповником и медленной, спокойной речкой в глинистых берегах, к площадке перед постаментом вдруг с шумом подкатило несколько иномарок... Молодые ребята из ближнего села (кажется, Гехи)

на всю мощность включили звук в своих авто; публика моментально образовала круг — и начался волшебный кавказский танец! Высокий стройный парень с распростёртыми, как крылья орла, руками кружился под зажигательную народную мелодию с таким упоением, так вдохновенно, такой энергией и страстью дышало каждое его движение, что публика вокруг импровизированной сцены задохнулась от восторга... куда там! Девушки-чеченки, приехавшие с нами, включились в танец... потом, откуда ни возьмись, в круг влетел мальчишка лет семи — в папахе и черкеске с газырями... казалось, в этом маленьком теле нет костей, настолько гибок, пластичен он был, этот юный горец! Не верилось, что это не профессиональные танцоры, а просто местные жители, так сказать, сельская молодёжь.

## 11. Молодёжь

Сильная, здоровая, красивая, работающая. Семьи большие. Пятеро детей — абсолютная норма. Часто — больше. Ребятишки, в основном, хорошо одеты и ведут себя прилично. Хотя, конечно, как все дети и подростки, бегают, играют, шалят... Но — воля старших, слово старших — непрекращаемый закон. Я видела, как девочки Айны помогают матери во дворе и на кухне. Тоже — своего рода танец.

Дети начинают говорить как минимум сразу на двух языках. В школе ещё английский. Многие родители стараются, чтобы дети знали арабский — читать Коран в подлиннике. Когда десятилетняя Зарета и её ровесница-подружка спели мне гимн Чеченской Республики по-чеченски и гимн России по-русски — точно попадая в ноты и без малейшей запинки, — я в изумленье спросила, откуда они так хорошо их знают. Оказалось, уроки в школе начинаются пением гимнов. Фантастика!

Не знаю, что имела в виду казачка, когда пела своему младенцу подслушанное Лермонтовым: «Злой чечен ползёт на берег...» По-моему, чеченцы — чуть ли не поголовно — чемпионы мира по обниманию! В любой, даже совершенно незнакомой компании женщины тебя сразу обнимают и целуют. Мужчины — прикасаются правой рукой к твоему плечу. Рукопожатия мужчины с женщиной, даже русской, не приняты. Видимо, ладони и пальцы — это слишком интимно.

О, сколько я собрала их, ласковых объятий, за короткую нынешнюю поездку по Чечне! Мало того, что пользовалась гостеприимным кровом Абу и Айны, а потом Розы! Узнав о гостях из Сибири, к ним подтягивались родня и соседи. Пообщаться, перебраться хотя бы парой приветливых слов. Уже вечером последнего дня Иса решил нанести визиты родственникам, которых по разным причинам до этого момента не удалось навестить.

Мы въехали в Хамавюрт, родное село Исы, в темноте, под проливным дождём, среди сверкающих молний и раскатов грома. По обочинам шоссе ходуном ходили чёрные кроны — словно стражи села, деревья, пытались прикрыть нас от ливня косматыми бурками. Здесь, в Хамавюрте, живёт Ильман — младший из братьев Айтукоевых. Под навесом во дворе — большой стол. Несмотря на дождь, нас встречает всё семейство. Красавица Соня, жена Ильмана, и ребятишки — мал мала меньше. Самый маленький, Эльсит, у Сони на руках. Пьём чай. За беседой время летит стремительно. Да, с работой в Чечне пока проблема. Многие уезжают на заработки — кто в Сибирь, кто в центральную часть России. Семьи нередко живут на те средства, что присылают мужчины, которых жёны и дети не видят месяцами. Но многие стараются наладить собственное дело здесь, в Чечне. Ильман и Соня держат птичник, выращивают бройлеров на продажу. Хозяин с гордостью показал нам свою маленькую птицефабрику. Всё устроено рационально и технологично. В просторном вольере — сотни... тысячи цыплят. Ровный свет и непрерывно работающее радио. Оказывается, это для того, чтобы случайный шум не испугал пернатых питомцев. Вспокоившись, они могут просто-напросто передавать друг другу. Рядом — разделочный цех. Чистота и порядок. Я не почувствовала даже запаха, обычного для такого производства.

А потом дети — один за другим — демонстрировали знание арабского алфавита. От «элиф» — до самого конца, по порядку — двадцать восемь букв.

Из Хамавюрта в Грозный снова ехали под синей тучей, время от времени обдававшей машину дождём. Племянница Исы, Элиза, в очаровательном кружевном платице и лаковых белых туфельках похожая на куклу наследника Тутти из сказки «Три толстяка», сидела рядом со мной и почти всю дорогу рассказывала о своей школе, о том, что их, учеников, для расширения кругозора на каникулах ежегодно отправляют в Турцию, но в этом году, к сожалению, такой поездки не будет... потом мы обе, кажется, задремали... и уже сквозь сон я слышала, как машина тормозит у блокпостов, как хлещет по стеклам дождь, как где-то высоко-высоко над землёй сам собой возникает молодой, невыразимо прекрасный голос, от которого на глаза наворачиваются слёзы.

## 12. Русские

Русских, приходится признать, в Чечне сейчас мало. В отличие от Махачкалы, где на улице и в транспорте говорят в основном по-русски, Грозный изъясняется на чеченском языке. Надписи повсюду — русские, делопроизводство — по-русски.

Разговорная речь — чеченская. Однако нужно отдать должное чеченцам: если они видят, что человек рядом не понимает их речь, переходят на русский, хотя бы частично.

Никакой неприязни, даже отдалённо, я здесь ни разу не почувствовала. Хотя в разговорах о войне, конечно, горечь. Поют и слушают так называемый «чеченский шансон», репертуар которого неизменно включает пронзительные военные баллады. В маршрутках, такси и личных автомобилях звучат исключительно кавказские мелодии.

Чеченская Республика заинтересована в привлечении русских специалистов. Об этом говорил и Дукуваха Абдурахманов на открытии нашей конференции. Это не просто красивые слова или ловкий пропагандистский ход. Есть факты. Нынешний заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Екатерина Игоревна Курашева получила эту должность, прямо скажем, нестандартным образом. Вот как об этом 22 апреля 2013 года рассказывает интернет-ресурс FINPARTY<sup>14</sup>.

Екатерина работала маркетологом в банке. Эта деятельность её, как она сама говорит, «утомила», и она стала искать другую работу. В странствиях по Интернету она случайно обнаружила пробный аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram. Курашеву поразили восторженные отзывы, которые чеченцы оставляли к фотографиям, и она добавила свой комментарий. Скептический.

Дальше — цитирую: «„Это был чистый эксперимент: прореагируют на меня или удалят комментарий“, — рассказывает Екатерина. В течение десяти минут она получила ответ: „Приезжайте и посмотрите сами“, — на что откликнулась: „С удовольствием приеду после официального приглашения“. В этот же день с ней связались помощники Кадырова. Поинтересовались, кто она, чем занимается, и обещали прислать официальное приглашение. После полуночи того же дня раздался звонок. Здесь важно подчеркнуть: Курашеву никто не разыскивал, телефон стоял в подписи к электронной почте. „Здравствуйте, это Рамзан Ахматович Кадыров, глава Чеченской Республики“, — услышала она в трубке. <...> Вскоре она получила приглашение на официальном бланке: „Спасибо, что проявляете интерес к Чеченской Республике, мы будем рады вас видеть почётным гостем“. 10 марта она отправилась в Грозный с билетом в один конец — сроки её пребывания никто не ограничивал. <...> Первая встреча с Рамзаном произошла спонтанно — они должны были встретиться вечером в его резиденции. До этого момента ей было нечем заняться, и она обратилась к помощникам с просьбой просто провезти её по городу. Откликнулся сам Кадыров. Он приехал за Екатериной без кортежа и охраны, за рулём своей

14. [http://finparty.ru/section/office\\_life/17898/](http://finparty.ru/section/office_life/17898/)

машины. В последний день пребывания в Грозном Екатерина присутствовала в резиденции Кадырова на обсуждении вопроса о создании министерства по связям с обществом. Министром был назначен Арби Тамаев, который до этого работал в пресс-службе республиканского Минфина. По словам Екатерины, она умудрилась вставить пару слов относительно того, с чего должно начать работу министерство, и в ответ получила от Кадырова предложение стать заместителем Тамаева. Это было за несколько часов до вылета в Москву. На тот момент Курашева имела предложения по работе от двух крупных столичных банков. После недолгого размышления она приняла предложение главы Чечни».

Я имела удовольствие уже в июне четырнадцатого года коротко пообщаться с Екатериной Курашевой в Беслане на форуме «Святая наука слышать друг друга», который вот уже десятый раз проводит организация «Матери Беслана». Помоему, молодая женщина — нашла себя на новом месте. «Я влюбилась в Чечню!» — заявила она в одном из телеинтервью.

Эта история, конечно, исключительна. Однако — прецедент. Русские специалисты понемногу начинают воспринимать Чечню как регион, где можно эффективно реализовать свои профессиональные возможности.

### 13. Цена вопроса

Под занавес, друг мой читатель, произнесу популярную нынче фразу: всё не так однозначно. Бродя по Сети в поисках дополнительной к личным впечатлениям информации, я то и дело наталкиваюсь на шипящие и свистящие звуки, относимые комментаторами и к самой Чечне, и к её нынешним руководителям, и к чеченцам как таковым, и к тем не-чеченцам, которые имеют окаянство радоваться чеченским успехам.

«Да, конечно, — пишут, — понастроили, развернулись... а за чей счёт? Такие деньжищи вбухали!.. лучше бы... то и это... и ещё вот это — в России для русских...»

Да, цена «чеченского чуда» — высока. И она измеряется не только, да и не столько в денежных единицах. Но когда я вижу работающий, красивый и гордый народ, поднимающийся, как Феникс из пепла, над своими руинами, над вековыми скорбями своей исторической участи, сердце моё отвечает: всё, что сюда вложено, вложено не даром и ещё сторицей воздастся щедрому!

А вы, ребята... нет, правда, лучшие качества любого народа, доходя до крайности, неизбежно превращаются в собственную противоположность. Так неужели наш русский идеализм, гипертрофируясь, преобразуется в «пофигизм» и разгильдяйство? Наша «всемирная отзывчивость» — в низкопоклонство перед «французиком из Бордо» или хищным заносчивым англосаксом? А наш самоотверженный глубокий патриотизм — в завистливую ненависть к чужому успеху и достатку? Впрочем, зависть и жадность, неблагодарность и эгоизм, наглость и хамство, патологическая жестокость и трусость — это ведь не национальные черты! Так во все времена и всюду проявляет себя самая умственно ограниченная, жалкая и нравственно ущербная часть любого народа. Мещанство. Воинствующий потребитель.

### 14. Опыт языка

Чеченцы замечательно здороваются и прощаются.

Встречая человека, говорят ему: «Марша воГийла!» («Приходи свободным!») А когда прощаются: «Марша гГойла!» («Уходи свободным!»)

Будьте свободными, дорогие мои!

*Красноярск — Грозный — Красноярск,  
май — июнь 2014*

Армен Зурабов

## Вечная жизнь

## Молитва

Узкоколейка от Джекказгана до Карсакпая стрелой упиралась в горизонт. На холмах паровозик отчаянно лязгал буферами, откатывался назад, долго неслышно набирал пар и вдруг с разбегу снова шёл на подъём.

Станции встречались редко. На станциях были саманные домики, юрты, верблюды, голые дети и женщины, укутанные в шали.

По степи медленно ползли тени вагонов.

Я сидел на подножке открытой товарной платформы, заваленной глыбами медной руды, и дремал.

Кто-то толкнул меня и спокойно сказал:

— Посторонись, начальник. Старики сядут.

Их было трое. Они стояли за его спиной и молча смотрели на меня. Узкие прозрачные бородки, в тёмных тяжёлых складках сморщенных лиц — выцветшие глаза.

Я помог им подняться. Они сели на куски руды, как салятся на ковёр — поджав под себя ноги, и облокотились на низкие борта вагона, как облокачиваются на подушки. Потом они посмотрели на солнце и что-то по-казахски сказали тому, кто меня разбудил. Он был широкий, квадратный и очень плотный. Он не ответил им, махнул рукой и присел рядом со мной на подножку.

— Боятся, — сказал он. — Солнце сядет, а они помолиться не успеют.

— Пусть молятся, — сказал я. — Кто мешает?

— Для молитвы земля нужна.

Поезд тронулся. Старики на платформе закрыли глаза и задумались.

— Всю жизнь в овец и верблюдов вложили, а сыновей проморгали, — сказал тот, что меня разбудил.

— Умерли сыновья? — спросил я.

— В город уехали. Старики хотят их теперь в юрты вернуть.

— Вы из города или из юрт? — спросил я.

Он работал в Карсакпае на медеплавильном заводе, у него был отпуск, и товарищи попросили его привезти стариков. Сыновья надеялись уговорить стариков остаться с ними.

— Мой отец тоже в юрте, — сказал он. — Мой отец всё понимает. Он не уговаривал меня остаться. Но он не поехал со мной. И я его понимаю.

Далеко впереди забуксовали колёса паровоза. Поезд остановился.

— Пару не хватает, — сказал мой собеседник. — Назад пойдём.

Резкий толчок. Быстро бегущий от платформы к платформе лязг буферов. Поезд ползёт назад.

Старики на платформе открывают глаза и удивлённо смотрят на нас.

Из лиловых туч на горизонте сползает на землю большое солнце.

Старики начинают волноваться, о чём-то быстро говорят, мой собеседник успокаивает их.

Поезд замирает. Старики решительно, торопливо перелезают через борта платформы, и мы помогаем им, потому что они могут упасть.

На земле они отбегают от поезда, скидывают туфли, торопливо достают из-за пазухи маленькие подстилки, разостлав их, становятся рядышком на колени, поднимают голову к небу и что-то ищут.

Собирают в ладони землю, протирают ею руки, высыпают землю перед собой. Вдруг, всплеснув руками, резко опрокидываются, запрокидываются, схватившись за голову, безмолвно, истово зывают о помощи. Обессилев, припадают к земле, затыкают руками уши, лихорадочно шепчут, шепчут, шепчут...

Паровоз впереди взвизгивает и гулко встряхивает вагоны. Поезд трогается.

Они испуганно оглядываются на поезд, невольно поворачиваются лицом к нам, растерянно, в замешательстве простирают к нам руки.

Мы не смеем нарушать безмолвие молитвы и не можем крикнуть. Мы молча бежим к паровозу и размахиваем руками. Поезд останавливается.

Потом наступает тишина.

Старики молятся, и смотрят на нас, стоящих около паровоза, и низко опускают головы, и мягко, нежно покрывают землю ладонями.

В багровой беспредельности степи слышится нам мольба о нашем счастье. И мы узнаём в ней забытую доброту наших отцов. И наши порывы. И тайную нежность скрытой от нас сыновней любви.

## В тумане

Это случилось уже давно, где-то недалеко от станции Кропоткино, на Северном Кавказе. Я шёл

ночью по железнодорожным путям; был плотный туман, который не пробивали даже огни путевых светофоров. На станции, где я сошёл с московского поезда и должен был пересест на местный, мне советовали подождать до первой утренней электрички, к тому же в районе орудовала шайка бандитов. Но мне было двадцать лет, и я был влюблён, и ехал к той, кого любил, и ничто в мире не таило для меня опасности, а было вокруг только то же, что и во мне,—уверенное ожидание счастья.

До мостопоезда (там она работала) было не больше десяти километров, и я прошёл, вероятно, уже большую часть пути, когда донёсся гул поезда, и возникшее впереди мутное пятно света стало быстро расширяться, расплываться о стену тумана, и уже совсем рядом, метрах в ста, пробился вдруг сквозь туман и хлынул на засверкавшие передо мной рельсы яркий сноп прожектора. Поезд долго проносился, оглушая грохотом, а потом стало ещё темнее и тише, чем было до него, но и в мгновенной грохочущей вспышке света я успел разглядеть впереди фигуру человека, стоящего на насыпи, и невольно подумал о том, что и он, вероятно, успел увидеть меня и теперь будет ждать, когда я подойду.

Я увидел его снова только уже шагах в пяти от себя: он стоял всё на том же месте, на краю насыпи, и ждал меня, заложив одну руку в карман большой телогрейки. И пока я подходил к нему, я, конечно, помнил о бандитах, про которых мне говорили на станции, но, даже решив, что это один из них и в кармане у него нож или пистолет, я по какой-то странной нелогичности не мог и подумать о возможности проявления ко мне чьей-то злой воли—а может быть, это было и вполне логично, потому что исходило из того, что и у меня не было к нему никакой враждебности, и я это даже сам услышал в интонации своего голоса, когда протянул ему руку и уверенно поздоровался. Он облегчённо вздохнул, молча сжал мою руку и, не отпуская её, помолчал ещё. А потом глухо, коротко ответил: «Здорово, брат!»

Потом, не раз вспоминая этот случай, я думал о том, что все мы в жизни идём в тумане по своим путям, и в наших встречах на этих путях нам мешает только недоверие друг к другу, и если хватит веры первому протянуть в туманное пространство руку, то в ответ тоже протянется рука и с благодарной готовностью пожмёт твою руку.

### Вечная жизнь

Мужа её расстреляли в тридцать седьмом, а она десять лет провела в лагерях, и говорили, что с её характером она чудом выжила. Ничего больше о её жизни в лагерях мы не знали, да и не помнили о том, где она была до того, как вернулась к сыну (он к тому времени кончал школу. Когда её сослали, он поступил в первый класс).

Она собирала нас, товарищей своего сына, в маленькой комнатке, заставленной остатками старинной мебели,—а на стенах, на светлых выцветших обоях, висели фотографии в изящных овальных рамках, и это были фотографии её и мужа в молодости,—и давала нам читать толстые литературные журналы, которые выписывала на гроши, зарабатываемые частными уроками (их хватало ещё и на её жизнь с сыном), и в журналах были отметки карандашом для нас—отдельно для каждого, потому что она же знала, что может каждого из нас заинтересовать. А после того, как мы их прочитывали, было о чём говорить, и она незаметно вовлекала в разговор Эсхила, Швейцера, Данте, Толстого, Шекспира и других, как она называла, «вечных людей». Она помнила их слова и неожиданно и просто отвечала ими на наши вопросы и разрешала наши споры.

А главным человеком в этой комнатке был Пушкин—не только его книги и книги о нём, но и он сам, такой, каким он был в её рассказах: он мог молча завалиться в низкое старинное кресло или прыгнуть вдруг на кушетку, скрестив по-восточному ноги, и крикнуть: «Кукареку!» С ним можно было дурачиться, болтать, спорить, пить вино—за отсутствием вина наливали в старинные хрустальные бокалы чай и пили как вино, с долгими прекрасными тостами.

Она не была для нас ни учителем, ни наставником жизни—она просто вовлекала нас в мир, в котором жила сама, и мы чувствовали себя в нём значительнее и выше, потому что в нём не было придуманных правил жизни, а была сама жизнь, та, истинная и, может быть, единственно реальная, которая была над временем и которую она научила нас называть вечной наперекор принятым тогда плоским словам, оградившим мир от его таинственной беспредельности.

А через годы, в том, как мы их прожили, стало ясно, что она навсегда осталась в нас, оберегая от соблазнов корысти и тщеславия, что так невозможно и щедро предлагает нам жизнь, прежде чем доверить истинные радости.

### Сад

Я просыпаюсь от кудахтанья кур, долго, не понимая, смотрю на низкий дощатый потолок и вдруг, всё вспомнив, прямо с кровати босиком бегу в сад...

Накануне вечером меня, сонного, вынесли из вагона поезда, посадили рядом с мамой под опущенный тент, из-за широкого зада извозчика донёсся топот копыт, и, расплываясь, пронесли мимо узкие, вознесённые в небо тополя знакомой привокзальной аллеи. Потом снова разбудили, когда фаэтон въезжал во двор, и у ворот, в слабом свете закопчённого фонаря, мелькнула Татик.

Я называю её по-армянски, чтоб отличить от бабушки, живущей в Тифлисе. Татик живёт

в маленьком армянском городке Караклисе, между Тифлисом и Ереваном, и у неё есть сад.

Ей было двадцать пять лет, когда от случайной простуды умер её муж и когда у неё было уже двое сыновей. Родственники мужа настаивали, чтоб она вышла замуж, и она была красива, но она отказалась от замужества, и родственники воспользовались поводом для обиды и не стали ей помогать. На последние накопленные мужем деньги она купила землю, посадила на земле сад и, возделывая его, прокормила и поставила на ноги своих сыновей.

От дома в сад ведёт тропинка. Первая, у самой тропинки, среди вишен,—китайская яблоня. Похожа на вывернутый зонт, засыпанный сверху мелкими красными яблоками. Не останавливаясь, с разбегу, поджав ноги, повисаю на низкой толстой ветке, забираюсь в гущу ветвей. Небо усыпано красными яблоками. Срываю их горстями—не от жадности, не от желания есть—оттого, что они рядом и их можно срывать, и оттого, что проснулось забытое за год чувство беззапретности и свободы. Можно срывать яблоки, залезая на деревья, можно валяться на земле, можно бежать босиком по мокрой шелковистой траве, от которой ноги наполняются силой и радостью,—и через весь сад, подпрыгивая и хватая кончики веток и листья, и снова срывая яблоки, и вишни, и абрикосы, и расталкивая подсолнухи, скрываясь за их смыкающимися головами,—и вынырнуть вдруг среди зарослей роз перед Татик, которая собирает букет,—испугалась, обняла, поцеловала, что-то хотела сказать, молча вытерла слёзы, улыбнулась растерянно, спросила, как спал, а я не ответил и побежал снова по мокрой траве... С разбегу взлетаю по наклонному стволу какого-то дерева, не добежав до верхушки, заблудившись среди веток и яблок, прыгаю вниз—на землю, на траву—и прижимаюсь к ней грудью, лицом, захватывая в рот мокрые и сочные стебли. Что-то переливается в меня из земли и бьётся мне в виски, и, может быть, это просто бьётся моё вялое городское сердце, отвыкшее за год от бега, и от прыжков, и от этой свободной, упивающейся собой радости.

В первую же ночь сплю с Татик в саду—охраняю сад от воров—под большим четырёхугольным столом, вбитым в землю и загороженным на ночь с трёх сторон листами фанеры.

Под столом уютно и темно. Я ложусь на спину у незакрытой четвёртой стороны, закидываю голову, вижу тени веток, смутные яблоки и звёзды. Татик рассказывает о Немо. Каждую зиму она перечитывает трилогию о капитане Немо и с нетерпением ждёт моего приезда, чтоб поговорить.

Она подробно вспоминает целые главы, наизусть повторяет диалоги и, всегда потрясённая, с удивлением, с суетерным восторгом рассказывает о зёрнышке, из которого выросло пшеничное поле.

Знакомые образы непривычно возникают из её армянских слов, из её тихого журчащего шёпота, а снаружи, из сада, залетают под стол шорохи.

—Из одного несчастного зёрнышка...—шепчет она замирающим голосом.—Из одного только зёрнышка.

Она беспомощно смолкает, и, дождавшись этой паузы, где-то далеко заливаются петух, ему отвечает испуганный лай, потом всё стихает, и падает большое спелое яблоко.

—Почему все так глупо живут?

Она вздыхает. Яблоки среди теней и звёзд едва заметно покачиваются, превращаются в лица людей, скорбные и несчастные, и я начинаю жалеть их, думаю об их глупости и об их вине перед собой, перед мной, перед падающими в темноте на землю невидимыми яблоками. Она снова вздыхает, проваливаясь в напряжённую тишину сада.

—Книги пишут, самолёты придумывают...

Над головой раздаётся громкий мягкий удар. Она смолкает, долго молчит и потом чуть слышно озабоченно произносит:

—Полить надо сад. Ветки ослабли.

И, уже не останавливаясь, говорит о том, что вода стала дороже, что воду теперь пускают из реки Ванандзор, и она долго течёт вдоль всей улицы, прежде чем доходит до сада, и что воду по дороге воруют, а ночью воруют меньше, и ночью вода стоит дешевле, но надо, чтоб за ночь она успела пройти по всем канавам и грядкам сада и успела в них постоять, чтоб земля спокойно приготовила свои соки и напоила ими корни растений и деревьев.

Пока она говорит, я вспоминаю, как поливали сад в прошлом году, ночью, в мелькании жёлтых фонарей, в отсвете ярких безлунных звёзд, вспоминаю, как вода вошла в сад через узкий тоннель под каменной оградой и как вдруг канавы стали озаряться серебристым сиянием. Сад окутал снизу призрачный пар. В темноте возникли мерцающие стволы деревьев, и земля под деревьями лежала обнажённая, с проступившими из глубины серебристыми жилами, и я бежал по ней босой, спотыкаясь на корнях и царапая в кровь лицо, руки и ноги, а рядом со мной, впереди меня и позади в молчании бежали босые взрослые и дети, и я вместе с ними был не отдельным существом со своей жизнью, со своей памятью о себе, а был только частью огромного тёмного щедрого тела, давшего жизнь каждому яблоку и каждому из нас.

Надо мной—чуть слышный, переполненный вздохами шёпот, копошение теней и звёзд. Их бесшумная зыбь томительно затягивает в глубину, напоённую словами и шорохами, и я вытягиваю руку, чтоб дотронуться до неё. Кажется, ещё немного—и я дотянусь, я тянусь изо всех сил, вздымаюсь, плыву вверх.

Я просыпаюсь от криков. Над головой — золотой свет, белые яблоки, густая зелень. Крики из глубины сада — голос Татик: ночью в сад залезли воры, очистили дерево и переломали ветки.

Татик кричит громко, на весь сад — так, чтобы слышали соседи. Потом, всё ещё продолжая причитать над поломанными ветками, подходит к стволу, под которым я лежу, и высыпает из передника перед самым моим лицом огромные снежно-белые шары. И я узнаю их по чёрным крупинкам земли в сочащихся трещинах.

## Татэв

*Памяти Спартака Кнтехияна*

Толстые крепостные стены защищают этот монастырский городок, простоявший двенадцать столетий и пострадавший лишь от землетрясений около тридцати лет назад...

### I.

В Татэв мы выехали ранним утром из Гориса, центра Зангезура, где несколько дней до этого снимали барельефы древних могил. На барельефах были изображены воины, женщины, кони, быки, шампуры с шашлыком и многое другое, что могло соблазнить мёртвых вернуться к живым.

Дорога узкой полкой врубалась в отвесную стену пропасти, которая казалась бесконечной, потому что дно её тонуло во мгле. Обе стены — та, по которой мы спускались, и противоположная, по которой затем нам предстояло подняться, — нигде не сходились и образовывали гигантскую щель, освещённую полоской предрассветного неба и клубящимся на дне серым туманом.

— Дантов ад! — сказал Спартак.  
— Здесь вкусная форель, — сказал шофёр. — Это — Чёртово ущелье.

Спартак сидел рядом с шофёром (там легче было поместить протез ноги) и говорил, не оборачиваясь, и шофёру казалось, что он обращается к нему. Со Спартаком мы познакомились в гостинице в Горисе. Он был архитектором и проводил отпуск, путешествуя по Зангезуру. Его заинтересовала наша идея сочетать средневековую поэзию с древними храмами и природой Армении, и он сам решил стать нашим проводником. В детстве и в юности он жил в Зангезуре с отцом, который был директором медеплавильного завода.

Кроме шофёра и Спартака, в машине было четверо: оператор Сергей, со смутным лицом подростка и ласковыми глазами, смотрящими исподлобья, как у настороженного бычка; Сергей сидел за спиной шофёра, боком к нему, а я сидел рядом с Сергеем, и напротив нас, также рядом и прижавшись от холода друг к другу, сидели восемнадцатилетний ассистент оператора Лёня и администратор Сашик, сухой и маленький, с длинными

восточными веками на полуприкрытых глазах и узкой шеей, иссечённой тонкими вмятинами уставшей кожи. Всю дорогу он молча вздыхал, и сухое тело его покачивалось в неподвижном жёстком плаще, словно причитая над какой-то видимой только ему бедой.

Машина была крытая, с сиденьями вдоль бортов, и мы сидели, наклонившись вперёд, чтоб не облокачиваться на холодные стенки.

— До восхода должны доехать, — сказал Сергей шофёру. — Для барельефов нужен боковой свет.

Шофёр напряжённо всматривался в тёмно-серую мглу, в которой вязнул свет от фар.

Машина остановилась, осторожно отодвинулась, упирая свет в круто изгибающийся край дороги, сильно наклонилась вперёд и медленно, рывками, словно её удерживали сзади канатами, стала спускаться. Донёсся быстро усиливающийся гул.

— Воротан, — сказал шофёр. — Скоро спуск кончится.

— И в названии реки что-то адское, — сказал Спартак.

Сашик громко вздохнул, и все рассмеялись.

— Смейтесь! — сказал Сашик. — У меня четверо дочерей, мать и отец, не считая жены.

— А почему не считать жены? — спросил Лёня. — Её кормить не надо?

— Ты молчи! — строго сказал Спартак. — У тебя жены ещё нет.

— И не будет, — сказал Лёня. — Человеку искусства нельзя жениться.

— Тебе сколько лет? — спросил шофёр.

— Спартаку сорок, а он тоже не женат, — сказал Лёня. — Потому что архитектор.

— Дурак! — сказал Спартак. — От меня женщины уходят.

Он замолчал. Гул реки стал слышнее. Быстро светало. Шофёр выключил фары, туман сразу надвинулся, и стали видны просветы, сквозь которые зачернела земля.

Машина стала.

— Там человек впереди, — сказал шофёр.

Он приоткрыл дверцу, и в машину ворвался грохот. Шофёр что-то крикнул.

В отверстии дверцы показалась голова старика, смеющиеся глаза оглядели машину.

— Здравствуйте! — крикнул Лёня.

Старик молча кивнул и исчез. Шофёр сунул руки в белую стену тумана и передал сидящему за его спиной Сергею девочку лет семи. Сергей посадил её к себе на колени, но девочка сползла с колен, прошла в глубину машины и села на сиденье. — Сейчас солнце встанет, — сказал старик. — Поезжайте осторожно. На той стороне солнце бьёт в глаза.

Он не кричал, но говорил медленно, и каждое слово его, казалось, всплывало из грохота реки.

— Это моя внучка, — сказал старик. — Она поедет до Татэва.

На плечо шофёра легла рука и покрыла всё плечо, охватив его ладонью и длинными пальцами с пучками белых волос. Потом рука захлопнула дверцу, и шум реки отдалился.

Все посмотрели на девочку. Под расстёгнутой на груди рубашкой из грубого полотна розовело спокойное детское тело.

— Издалека едете? — спросила девочка.

— Нет, — быстро ответил Спартак, словно боясь, что кто-нибудь опередит его и ответит шуткой, и посмотрел на девочку в зеркальце перед собой. — Мы едем из Гориса, — сказал он серьёзно. — Чтоб снять для кино татэвский монастырь.

— Надо сначала узнавать, потом ехать, — сказала девочка. — Монастырь разрушенный!

Сергей снял с себя кожаную куртку и накинул на плечи девочки.

— У меня тоже есть куртка, — сказала девочка. — Моя одежда наверху, в Татэве.

— Ты что, раздеваешься наверху, а спишь внизу? — спросил Лёня.

Девочка внимательно посмотрела в лицо Лёни, помолчала, коротко объяснила:

— Ночью я дедушкин голос слышала. Дедушка внизу дом отдыха сторожит. Я прибежала, а он спит.

— Ты кого больше любишь, — спросил Лёня, — маму или папу?

— Отец и мать разошлись, — сказала девочка. — Они уехали. А я у дедушки живу.

Машина, бесконечно наращивая напряжение, шла в гору.

— Послушай! — сказал вдруг Спартак и обернулся к девочке. — Иди ко мне в дочки. Дедушка скоро умрёт, а я ещё долго проживу, может, даже до твоего замужества. Ну как, согласна? Надень сейчас платье, и поедем назад к дедушке. Он знает, что потом ты одна останешься.

Я почувствовал, что Спартак волнуется, и увидел, что все смотрят на него удивлённо, не ожидая шутки, а шофёр сказал:

— Тут я одного министра вёз. Тоже хотел уговорить старика...

— А когда дедушка умрёт... — перебила его девочка тихо, как будто говорила сама с собой, но шофёр сразу замолчал. — Когда он умрёт, — повторила она без грусти и спокойно, — он всё равно никуда не уйдёт. Его только не будет видно.

Спартак смотрел на девочку и о чём-то думал. — Дед — передовой! — сказал Лёня. — По Библии воспитывает...

— Помолчи! — сказал Спартак. — Дед мудрый, а я идиот! И к чёрту разговоры! Надоело.

Он отвернулся и стал смотреть на дорогу.

Солнце ещё не встало, но было светло, и туман остался внизу. Машина шла по крутому подъёму,

резко накренившись назад, и прямо перед нами, на краю склона, по которому мы поднимались, продолжая его и чётко впиваясь в светлую бездну неба, чернела полуразрушенная стена; над ней вздымались глухие, чёрные издали остатки церкви без куполов и крестов.

Никто не сказал, что это татэвский храм, и даже шофёр, который до этого рассказывал о каждом камне, теперь молчал и только напряжённо смотрел перед собой. И девочка со своего места рядом со мной, из глубины машины, тоже молча смотрела вперёд.

Неожиданно сверху прямо в глаза нам ударил яркий свет, и мы все зажмурились от него, и даже девочка, сидевшая дальше всех, в глубине, зажмурилась, потому что машина вся была пронизана светом, а стекло перед шофёром как будто взорвалось и так и застыло, не рассыпаясь, в ослепительном взрыве лучей, и впереди за ним уже ничего не стало видно.

Машина резко остановилась. Шофёр опустил щиток от солнца, но щиток не помог, потому что свет бил и из-под него, во всю высоту стекла, превращая его в огромный слепящий фонарь. Шофёр достал из кармана синий и широкий, как косынка, носовой платок, завязал платок на голове выше бровей и потом опустил ровный, прозрачный под светом край себе на глаза.

Машина, тяжело набирая силы, снова пошла в гору, и было страшно смотреть, что её ведёт шофёр с завязанными глазами.

Все мы прикрыли глаза ладонью, и в щели между пальцами я видел, как встаёт над пропастью солнце и как быстро растворяются в свете чёрные контуры храма. Вершина склона, по которому мы поднимались, слилась с небом, и чёрный край дороги тоже исчез, и казалось, машина пошла по безбрежной, залитой солнцем долине.

Потом наконец мотор загудел ровно и легко, и машина понеслась между возникшими с обеих сторон домиками из нетёсаного камня.

Девочка подошла к шофёру, тронула его за плечо, и шофёр затормозил. Она умело открыла дверцу в глубине машины и, не дожидаясь помощи, выпрыгнула на землю.

Она долго шла, не скрываясь из наших глаз, и, глядя ей вслед, шофёр сорвал с головы платок, словно только сейчас заметил, что он не нужен.

Мы и после её ухода ни о чём не говорили, и только когда уже выехали из деревни и слева от нас впереди возник храм, Сашик, раздумывая, сказал: — Я бы тоже мог её удочерить... С ней постареть не страшно.

— Тебе дети нужны, чтоб за тобой в старости смотрели, — сказал Спартак, не оборачиваясь.

Сергей вздохнул.

— Вернись домой — женюсь, нарожу детей и буду о них заботиться, — сказал Сергей.



Старика и его внуку мы больше не встречали, но, как потом выяснилось, о них знали даже в Ереване, и через несколько месяцев случайно я узнал, что старик погиб ночью в ущелье, во время наводнения. Отец девочки и её мать, каждый в отдельности, хотели увести её к себе, и много ещё было других людей, которые хотели удочерить девочку, но она осталась в Татэве, у тётки — дочери старика, у которой жила и до этого.

## II.

Лучше всего сохранились глухие монастырские стены, и подойти к храму можно было, только пройдя через ворота. Стена была широкой, и на стене над воротами стояла часовня, полуразвалившаяся, с маленьким, не видным издали куполом без креста. К часовне по обеим сторонам от ворот поднимались крутые ступеньки.

Со стороны ущелья стена продолжала скалу, на которой стоял храм, и поэтому была ниже, чем со стороны дороги, где были ворота.

За стеной перед храмом был ровный красивый двор, аккуратно покрытый густой скошенной травой. Вокруг двора, вдоль стен, росли ореховые деревья.

Тонкий каменный столб, словно выросший посреди двора, вонзался в небо, и плоский, тёмный на фоне солнца камень, поставленный на его верхушке, сгущал вокруг себя свет: казалось, из него струится сияние неба.

Глыбы обломков, разделяемых проросшей между ними высокой травой, громоздились вокруг остатков стен и колонн и подпирали их, не давая упасть. Двери храма сохранились. Через их долгий тёмный проход можно было войти в ослепляющее полукруглые церкви, озарённое сверху небом и заставленное белыми стенами с призрачными контурами святых.

Разрушение не коснулось только алтаря, и здесь, странно и неожиданно среди серых каменных развалин, пестрели цветные репродукции из «Огонька» — «Сикстинской мадонны», «Мадонны с младенцем», «Троицы» и ещё нескольких неизвестных мне картин Возрождения. На закопчённых камнях матово желтели подтёки сгоревших свечей, и на плитах пола белели испачканные кровью птичьи перья.

Мы уже закончили съёмку и осматривали храм, когда среди развалин появилась старуха с белым лицом и завернутая в длинную коричневую шаль. За ней шла женщина лет пятидесяти с высоким вздутым животом. Старуха несла большого белого петуха с отвисающим от тяжести ярко-красным гребнем, а женщина держала в одной руке нож, а в другой — связку тонких жёлтых свечей.

Старуха взяла у женщины нож и, с трудом переступая между камнями и то и дело выдёргивая шаль, которую камни, казалось, схватывали,

пытаясь её задержать, трижды обошла вокруг храма, а женщина со свечами прошла через вход к алтарю и стала её там ждать.

Потом они молча и торопливо резали петуха, причём резала старуха, схватив одной рукой голову петуха, а другой, с ножом, несколько раз быстро проведя по его шее, а беременная женщина обеими руками прижимала петуха ко дну широкого, выдолбленного в виде блюда камня, и петух слабо вздрагивал в её руках. Потом старуха отбросила нож и тоже схватила обезглавленного петуха обеими руками, и так они его держали, пока петух не замер, и ещё некоторое время, словно выдавливая кровь, которая продолжала капать из красного, оголившегося без головы и судорожно изгибавшегося во все стороны отростка шеи. Белое тело петуха, камень и руки старухи и беременной женщины были забрызганы кровью, и только отброшенная в сторону голова петуха оставалась чистой.

Старуха осторожно отпустила петуха и, убедившись, что он больше не двигается, кивнула женщине, и та тоже отпустила петуха и взяла свечи, которые положила до этого подальше, прижала каждую основанием к краю камня, на котором ещё лежал петух, долго доставала из-под шали спички, зажгла одну свечу, а две остальные зажгла от этой первой, пригнув их к ней и снова выпрямив. Потом она поискала среди репродукций на алтаре «Мадонну с младенцем», перекрестилась несколько раз, глядя на неё, взяла петуха и, поправив другой, свободной рукой шаль, пошла к выходу. Беременная женщина подняла ещё дёргавшуюся голову петуха, взяв её двумя пальцами за длинный красный гребень, и с силой отбросила. Голова рывком открыла в воздухе клюв и исчезла между камнями.

Мы пошли за старухой во двор и увидели мальчика лет четырёх, который сбивал длинной палкой с дерева орехи. У мальчика были чёрные курчавые волосы и красивое лицо ангела с иконы.

Старуха взяла у мальчика палку, долго, задрав голову, выбирала ветку, потом вдруг резко ударила палкой, и в траву посыпались орехи.

Мальчик стал их собирать.

Старуха и беременная женщина сели в траву. Старуха достала из лежавшей под деревом сумки газету, расстелила её и стала быстро выщипывать из тела петуха белые перья.

— Кто поедет за бараном? — спросил Спартак. — Я даю деньги. Отмолим грехи за всю жизнь!

Спартак сунул Сашику в руку двадцать пять рублей и, прихрамывая, пошёл к дереву, где сидела старуха.

Он подошёл к старухе и беременной женщине и сказал им что-то весёлое, потому что беременная женщина от смеха легла на спину, и вздутый живот её вызывающе уставился в небо. Спартак

присел рядом с ними, задрал штанину, отстегнул ремешки протеза и стал ломать и есть вместе с мальчиком орехи.

Сашик и шофёр поехали к пастухам за бараном, а Лёня пошёл в деревню купить вина.

Я и Сергей подсади к Спартак.

Лицо старухи оказалось не белое, а голубоватое от мелких жилок, просвечивающих сквозь кожу, и в глубине безбровых глазниц, словно вбитые в их дно, тёмным светом светились маленькие глаза.

У беременной женщины лицо было гладкое, без морщин, слегка одутловатое и красное. Над животом сквозь грубое белое полотно рубахи угдывались соски высокой груди, а из-под толстой холщовой юбки, плохо выкрашенной в красный цвет, виднелись дорогие чёрные кружева. Обнажённые до плеч руки были длинные, с острыми локтями, как у подростка.

Говорили о храме. Беременная женщина возбуждённо и торопливо, словно боясь, что её перебьют и не дадут сказать всего, рассказывала о качающемся столбе, поставленном во дворе храма на могиле одного из татэвских епископов, — о том, что землетрясение не разрушило его, но после землетрясения он перестал качаться, и теперь его на всякий случай обвязали ещё стальной проволокой; о том, как в девятом веке построили главную церковь храма, а в тринадцатом веке пристроили к ней колокольню, потому что до этого колокола не нужны были и люди сами приходили в храм, когда хотели о чём-нибудь попросить Бога или признаться в совершении греха; о том, как в одиннадцатом веке каким-то князем были окружены и все до единого, включая женщин и детей, перебиты засевшие в храме тондракийцы, и о том, что восстание тондракийцев было самым великим событием в истории армян, потому что тондракийцы хотели освободить людей от посредников перед Богом и дать возможность человеку самому, без церкви и без царей, общаться с Богом, так как иначе человек не видит своей порочности и не может возвыситься, и тогда нет смысла в его жизни; о том, что со дня землетрясения ни один камень храма не пропал, и теперь нужен только подъёмный кран, чтобы снова сложить камни, но никто об этом не думает, и она собирает деньги, чтоб поехать в Эчмиадзин и напомнить об этом католикосу; о том, что она живёт в Татэве и продаёт свечи тем, кто приходит зажечь их в храме, и что ей татэвским сельсоветом поручено рассказывать о храме туристам и всем, кто интересуется этим, потому что она кончила десятилетку и училась в Ереванском университете (но после первого курса по личным обстоятельствам вернулась в деревню); о том, что отец её, старик, живёт недалеко от Еревана, в Ованнаванке, и охраняет старинную ованнаванкскую церковь, хотя никто ему этого не поручал; что фамилия отца Худавердян, а она

носит фамилию мужа, потому что фамилия женщины должна показывать, кто о ней заботится, и отец её в двадцать первом году, когда разрушали церкви, босой пришёл в Ереван к Мясникяну, и потребовал спасти армянскую культуру, и не ушёл, пока Мясникян не согласился приехать осмотреть храм, а после того, как он приехал и осмотрел, был издан указ об охране древних памятников, и так отец её спас все древние церкви.

Старуха молча ошипывала петуха и, казалось, не слушала, о чём говорит женщина, а думала о своём.

Петух в её руках уже совсем оголился, и сквозь морщинистую с пупырышками кожу желтели подтёки жира.

Спартак полулежал, опершись на локоть, и большим камнем, по очереди с мальчиком, ломал орехи. Сергей сидел напротив беременной женщины и смотрел, по своей привычке, исподлобья, с удивлением и настороженно, как будто не мог понять, выдумывает женщина всё или говорит правду. Впрочем, может быть, это мне казалось, потому что и я, слушая её, не мог этого понять, а потом решил, что это не имеет значения, потому что она говорит искренне. И ещё было в ней что-то неестественное — не беременность её, а что-то другое, сочетание беспомощности и возбуждения, что-то обречённое и в то же время отчаянно-вызывающее. — А как свечи? — перебил вдруг Спартак, не переставая есть и выковыривая ядро из ореховой скорлупы. — Много сегодня продала?

— Нет, — быстро ответила женщина, не меняя интонации и с той же страстностью и боязливо-виноватой торопливостью. — Вот ещё сколько.

Она пересчитала, привычно перебирая по две свечи, но потом сбилась, махнула рукой и сказала: — Много! Больше тридцати.

— Давай сюда, — сказал Спартак. — Все! Вот деньги. А то рассказываешь, а сама думаешь, как бы продать свечи.

— Нет, — сказала женщина, не обижаясь и так же торопливо. — Когда я рассказываю, я не думаю о том, что надо продать свечи.

Она положила рядом со Спартаком свечи и взяла протянутые им десять рублей.

— У меня нет сдачи, — сказала она.

— Не надо, — сказал Спартак.

— Я сейчас разменяю, — сказала женщина и встала, придерживая одной рукой живот.

Она быстро пошла к воротам, не слушая Спартака, который ещё раз, уже вдогонку, крикнул ей, что сдачи не надо, а потом махнул рукой; а она, уходя, несколько раз обернулась и жестом показала, что скоро вернётся.

— С придурью она у тебя! — сказал Спартак, продолжая ломать орехи. — А рассказывает как философ. Родит какого-нибудь кретина. Или гения. У неё что, муж молодой?

Старуха отодвинула выщипанные из петуха перья на одну половину газеты, оторвала её, завернула в неё аккуратно перья, а в другую половину завернула голого жёлтого петуха, потом посмотрела на Спартак вбитыми в глубину черепа неподвижными глазами, и так смотрела, пока Спартак вдруг не поднял голову, и тогда старуха негромко сказала:

— Она не родит.

— Я знаю, когда и в шестьдесят лет рожали, — сказал Сергей.

— Её двадцать лет назад жених бросил, — сказала старуха. — С тех пор она его фамилию носит. На живот подушки привязывает и всем говорит, что беременная. Её из-за этого из университета выгнали.

Старуха положила завёрнутого петуха в сумку, а пакет с перьями дала мальчику. Мальчик подбежал к стене, за которой была пропасть, и бросил пакет за стену. От резкого броска пакет раскрылся, и в воздухе, медленно опускаясь и сверкая на солнце, полетели за стену в пропасть белые перья.

А женщина так и не вернулась — то ли не успела до нашего отъезда разменять деньги, то ли не устояла перед соблазном оставить их себе, как предлагал Спартак, — скорее последнее, потому что уехали мы из Татэва поздно, перед заходом солнца, и потом ещё, когда стемнело, вернулись, но об этом она уже, конечно, знать не могла.

### III.

В воротах, упираясь в землю широко расставленными тонкими ножками, встал красивый чёрный баран. За ним показался Сашик. Он поднял задние ноги барана и толкнул его во двор. Баран ткнулся мордой в землю, брыкнул задними ногами и, вывободив их, стал щипать траву.

Сашик подталкивал его сзади обеими руками, наваливаясь всем телом. Пробегая от каждого толчка вперёд, баран продолжал щипать траву. Сашик подогнал барана к дереву, под которым мы сидели, усталो вздохнул и присел.

— Единственный чёрный баран во всём стаде, — сказал Сашик. — Еле нашёл!

Сергей, не вставая, обхватил барана за шею и притянул к себе. Баран настороженно замер.

— Чёрный баран — самый вкусный, — сказал Сашик.

— Это не баран, — сказал Сергей, — это ещё ягнёнок. — Ещё вкуснее! — сказал Сашик. — И густая шерсть! Признак нежного мяса.

— Похоже на правду, — сказал Спартак. — Под твёрдым панцирем всегда нежное тело.

Сергей отпустил барана и, откинувшись назад, оглядел его, и баран, словно сразу успокоившись, снова стал щипать траву.

— Такого красивого барана я в первый раз вижу, — сказал Сергей.

— За ним все овцы бегали, — сказал Сашик и хихикнул.

— Пошляк! — сказал Спартак. — Вот, возьми свечи и пойдёшь попроси у Бога немного юмора.

— Мне нужно десять свечей! — сказал Сашик.

Он отсчитал из связки десять свечей, положил рядом со связкой рубль и пошёл к храму, доставая на ходу из кармана спички.

Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся среди камней.

Старуха, ни к кому не обращаясь, тихо сказала: — Не возгордитесь перед Господом, а свечек на всех хватит.

Сергей потопил ладонь в чёрной курчавой шерсти барана и провёл против шерсти. Баран продолжал щипать траву.

— В жизни не видел такого красивого барана! — сказал Сергей.

Мальчик нарвал траву и сунул сбоку барану в рот. Баран взял, оттопырив губу у края рта и не переставая щипать траву на земле, потом расставил задние ножки и помочился.

— Живёт себе! — сказал Сергей.

Мальчик снова стал рвать траву.

Старуха смотрела на мальчика, и её тонкие, словно нанизанные на резинку, сморщенные губы раздвинулись, прижались к высоким зубам и стали гладкими и плоскими, как у древнего божка. — Дали бы спокойно вырасти, — сказал Сергей, — цены бы ему не было.

— У моего сына шестеро таких, — сказала старуха. — С этим — семеро. И все похожи.

— Все чёрные? — удивился Сергей.

Старуха помолчала, застигнутая внезапным раздумьем, и глаза её упёрлись в Сергея.

Спартак рассмеялся.

— Она говорила о внуках, — сказал Спартак.

— Все Божьи жертвы, — сказала старуха.

— А зачем красивые рождаются? — спросил Сергей.

— Чтоб украсить Божью трапезу! — сказал Спартак.

— Красота от Бога, — сказала старуха. — И жертвы — Богу.

— Всё — Богу! — сказал Спартак. — А что мне?

Старуха подумала, не отрывая тяжёлого взгляда от Спартак, и тихо ответила:

— Тебе — воля Божья.

— А барану? — спросил Спартак.

— Всем — воля Божья, — сказала старуха.

— Серёга! — сказал Спартак. — Ты нашёл с ним общий язык. Спроси: готов ли он выполнить волю Божью и умереть?

— Очень красивый баран, — повторил Сергей. — Ну его к чёрту! Я всё равно уже не смогу его есть.

— Сможешь! — сказал Спартак. — Баран родился, чтобы быть съеденным. Так я говорю, мать?

— Родился — значит, должен умереть, — тихо сказала старуха.

— Но зачем? — сказал Спартак. — Для чего родился?

— Чтоб исполнить волю Божью,—повторила старуха.

— Накось выкуси!—Спартак яростно скрючил пальцы.—Я родился, чтоб исполнить волю Божью! А моя воля такая, что я хочу наслаждаться жизнью. Для этого мне надо убивать баранов! Но баран тоже хочет наслаждаться жизнью. Поэтому я его приучил покоряться, и теперь баран в любую минуту готов умереть для меня. А чтоб самому себе противным не быть—на всё воля Божья! А сам дерусь... И все дерутся, кто жить хочет, а кто не дерётся, тот с самого начала побеждён, и должен умереть, и туда ему и дорога!

Старуха бесстрастно смотрела на Спартак и, казалось, всё, что он говорил, давно знала.

— Любить тебе надо,—сказала старуха.—Тело твоё ещё не успокоилось. От этого и Бога не слышишь.

Старуха отвернулась и стала смотреть на мальчика.

Мальчик снова протянул барану траву, и на этот раз травы было много, и баран поднял голову от земли и дёрнул траву из рук мальчика, приоткрыв подвижную верхнюю губу, из-под которой мелькнули мелкие жёлтые зубы. Мальчик рассмеялся и побежал к стене, где трава была нескошенной.

Старуха, казалось, забыла про нас и, проводив мальчика взглядом до стены, смотрела, как он рвёт траву.

Сергей водил ладонью по чёрной курчавой шерсти барана.

— Ты где это потерял?—спросила старуха, не глядя на Спартак, и только кивнула на обрубок ноги.

— А ты что, нашла и вернёшь?—сказал Спартак.

— Нет,—сказала старуха.

— На войне,—сказал Спартак.—По особому заказу Господа нашего Бога: в день окончания войны.

Старуха долго молчала, продолжая смотреть, как мальчик рвёт траву. Никто из нас не нарушил молчания.

— У меня убили всех моих сыновей,—сказала старуха.—И отца, и мать. И двух братьев... Я видела, как их всех убивали,—прибавила она, помолчав.

— Пятнадцатый год?—спросил Спартак.

— Родителей и братьев—в первый раз,—сказала старуха.—Когда это было в первый раз?

— Девяносто шестой,—сказал Спартак.

— А мужа и сыновей—во второй раз. Я потом ещё два раза замуж вышла, чтоб детей родить. Но больше не смогла... Потом, когда и от второго не родила, одна стала жить.

— Сволочи,—сказал Сергей,—жён держат, чтоб детей иметь!

— Я сама ушла,—сказала старуха.—Он был хороший человек. Я хотела, чтоб от него у другой женщины дети были,—она помолчала и прибавила,—когда убивают, надо рожать детей.

Донёсся чуть слышный далёкий гул машины.

— Как тебя не убили?—тихо спросил Сергей.

Старуха смотрела опять на мальчика, и лицо её было плоское и бесстрастное.

— Меня Бог спас,—сказала старуха.—Потом я поняла Его волю и усыновила сироту, и это Бог послал меня к нему, а его—ко мне, потому что мне после моих детей нужен был только ребёнок, а у него убили его мать, и ему нужна была мать. Я поняла волю Божью,—повторила старуха,—и Бог послал мне семь внуков. Мой сын—пастух, он хотел, чтоб у меня было столько внуков, сколько было сыновей. У меня было шесть сыновей, а седьмого я носила, когда убили тех шестерых. Седьмой тогда выпал, и один турок, который это видел, бросил меня в яму, потому что от меня шёл дурной запах. И я бы умерла, но Бог меня спас.

— Если бы твой седьмой успел родиться до этого, тебя бы убили,—сказал Спартак.

Старуха не ответила.

Мальчик кормил барана травой.

Гул машины приближался.

— Лёня везёт вино,—сказал Спартак.

Мне вдруг нестерпимо захотелось пойти в храм и зажечь свечу.

Небо затянуло облаками, и в храме было сумрачно. У алтаря, в тени сохранившихся стен, стоял Сашик и смотрел, как догорают перед ним его десять свечей. Он услышал мои шаги и обернулся. Я подошёл к нему, зажгёв свечу от одной из его свечей и прижал её основанием к камню, как делала это старуха.

— За кого?—спросил Сашик шёпотом.

— Не знаю,—ответил я.

Сашик показал на свои свечи—это уже были расплывшиеся огарки, и чёрные ниточки фитилей не торчали из них, а лежали горизонтально, и пламя с трудом удерживалось на вялых и обесиленных стебельках.

— Вот эти четверо—мои дочери,—сказал Сашик шёпотом.—А эти четверо—их будущие мужья, мои зятья. А это—отец и мать.

— А где ты?—спросил я.

— Я не верую,—сказал он.—Мне Он всё равно ничего не даст. Дочери ещё маленькие, не понимают. А отец и мать веруют,—он подумал и сказал,—если Он даст им всем что-нибудь, мне больше ничего не надо,—и, извиняясь за что-то, виновато прибавил,—у меня нет ни брата, ни сестры—я один кормлю шесть человек.

Он ещё говорил о том, как трудно зарабатывать на хлеб и как потом, когда отец и мать умрут, а дочери выйдут замуж, он всё равно останется один, потому что у жены его много разных болезней, и она, вероятно, умрёт раньше него, и до этого ещё придётся выносить за ней горшки, и ещё что-то говорил о себе и о том, сколько он в жизни совершил ошибок, но я уже не слушал его, потому что стал смотреть на репродукции «Мадонны» и «Троицы» и увидел застывшие по краям их

и, казалось, всё ещё стекающие длинные капли воска, которыми они были приклеены к стене. Капли ярко желтели, потому что камень и бумага вокруг них были закопчены, — очевидно, от свечей, которые держали здесь, когда с них стекал воск, — снизу их ещё освещали горевшие на выступе камня одиннадцать свечей, и тени от свечей метались по камню, и от этого капли оживали и ещё проще и яснее напоминали слёзы.

Я не заметил, как ушёл Сашик и как потухли свечи, — я вспомнил вдруг песенку о Христе, которую пела мне в детстве мать. Песенка была о том, как предали Христа, и мать пела её почти шёпотом, только мне, словно боясь, что её услышит кто-нибудь ещё, и незаметно одной рукой накладывала на слова звуки рояля, а другой обнимала меня за плечи так, что я не мог видеть её лица; и теперь, вспомнив это, я вдруг подумал, что она плакала, потому что тоже должна меня кому-то отдать, и боялась, что меня предадут, как предали Христа.

И из шипов они сплели  
Венок терновый для Него,  
И капли крови вместо роз  
Чело украсили Его...

Когда я вышел из храма, во дворе горел костёр, и баран неподвижно стоял перед костром. Сергей сидел перед ним, обняв его за шею. Спартак лежал на спине под деревом и смотрел в небо. Старухи и мальчика не было.

Лёня и шофёр устанавливали над костром большой чёрный котёл. Сашик снял пиджак и засучивал рукава рубахи. Потом он что-то сказал Лёне и показал рукой на камни вокруг колонны храма. Лёня подошёл сзади к барану и толкнул его, а Сергей отпустил его, и баран пробежал несколько шагов в сторону камней. Потом он остановился, и из-под курдюка у него часто посыпались чёрные комочки, но Лёня не дал ему постоять и снова толкнул его, и баран побежал к камням, а сзади у него сыпались чёрные комочки.

Когда баран подошёл к камням вплотную, Лёня отошёл от него и стал поодаль, и баран теперь стоял один у подножия колонны и не оборачивался, а только неподвижно смотрел перед собой. Он был недалеко от меня, и я его хорошо видел сверху и в профиль и видел, как он оттопырил край губы и сорвал стебелёк, коснувшийся его морды. Потом он уткнулся мордой в обрывок орнамента на краю камня и снова замер.

Сашик засучивал рукава долго и поднял их выше локтей, так что руки его открылись почти до плеч; они были худые, без мышц, со сморщенной, как у младенца, кожей и большими красными суставами в локтях. Он стоял спиной ко мне, и я видел, как от каждого движения трясся его узкий жидкий затылок и покачивалась голова. Потом

он присел, и мне показалось, что положил обе ладони на землю, а когда встал, то в одной руке у него было что-то чёрное и широкое, и я не сразу сообразил, что это нож.

Потом он обернулся ко мне и быстро пошёл, почти побежал к тому месту, где стоял баран, и я увидел сверкавший на лице его оскал стиснутых зубов. Подбежав к барану, он схватил его левой рукой за заднюю ножку, и, дёрнув её в сторону и вверх, опрокинул барана на спину, и навалился на него всем телом, распластав на земле, и резким движением той же левой руки задрал морду барана вверх, а правую руку с чёрным широким ножом держал всё время над головой, словно боясь замочить, и я вдруг увидел, как круто выгнулась и сразу словно удлинилась шея барана, и теперь оставалось только полоснуть по ней снизу ножом, и это был последний миг, когда баран ещё был жив, и я уже с пронзительной ясностью видел неотвратимость следующего мгновения, когда нож вонзится в упругую живую шею и из неё хлынет шипящий поток. Этого ещё не было, но уже ничто не могло это предотвратить, и даже если бы Сашик сам захотел остановить свою руку, он не успел бы это сделать, потому что мысль его не успела бы дойти до руки, и даже если бы баран вдруг бешено рванулся из его рук и вырвался бы, оглушив его или даже убив, всё равно нож успел бы перерезать ему шею; и в этот короткий, как вспышка, миг я вдруг вспомнил, как в детстве впервые после тренировок побежал на соревнованиях и остановился на полпути, чтоб побегать снова, потому что плохо взял старт, но мне сказали, что снова бежать нельзя и что соревнования на этом для меня закончились, и тогда я впервые понял или, вернее, ощутил неотвратимость того, что произошло; и ещё — как горел однажды в Гагре, где я отдыхал, какой-то дом и хозяйка дома, старая женщина с распущенными седыми волосами, смотрела, как он горит, и плакала, а его уже нельзя было потушить, и можно было только дожидаться, когда он сгорит; и ещё — там же, в Гагре, — случайный суд, на который я зашёл от безделья, прогуливаясь по улице, и на нём судили за первое воровство мальчика лет семнадцати, и тут же сидела крестьянка в чёрной шали — его мать, и она с любопытством оглядывала сидящих за столом суда, словно не понимая, чего они хотят от её сына, а потом, когда кончился суд, она обрадовалась, что он кончился, встала и хотела идти с мальчиком домой, но ей сказали, что его приговорили к двум годам тюрьмы, и тут же отправили в тюрьму, и тогда она стала растерянно плакать, и в глазах её была неотвратимость того, что произошло, — а нож ещё не коснулся шеи барана, но морда его, задранная к небу хилой рукой, уже покорила ножу, и в узких потусторонних глазах стоял уже белый матовый свет, и это был не крик и не вопль, а ожидание...

Потом я невольно зажмурил глаза, и когда открыл их, голова барана была круто откинута на спину, а из огромного белого ствола, высунувшегося из чёрной шерсти, с силой била красная струя, и тонкие ножки только несколько раз дёрнулись и привычно замерли, а в открытых перевёрнутых глазах стоял тот же тусклый матовый свет.

Сашик осторожно, не подходя к барану и вытянув руку, вытер нож о чёрную шерсть и постоял в стороне, ожидая, пока кровь пойдёт тише; и когда кровь стала только еле сочиться, подошёл и перерезал кожу, на которой ещё держалась голова, а потом крикнул Лёне и шофёру, чтоб они шли помогать, и вместе с ними подвесил обезглавленного барана на ветке дерева, схватив верёвкой передние ноги, потом подрезал кожу на сухожилие задней ножки, присел и вдруг, плотно захватив надрезанное место ртом, стал с силой дуть. Баран стал медленно надуваться, и это было странно, потому что казалось, что это он делает сам. Когда баран раздулся так, что стал почти вдвое больше того, каким он был живым, Сашик перестал дуть, взял опять нож, и под его лёгким, едва заметным прикосновением с сухим треском лопалась натянутая под кожей прозрачная и похожая на мыльную пену плёнка, и чёрная шкура, как снятая одежда, упала с барана, и под ней на дереве оказалась обычная мясная туша, и её стали спокойно и привычно потрошить и разрезать на куски.

Часть мяса сварили в котле, а часть зажарили, нанизав на шампуры, и потом несколько часов подряд ели всё это, запивая вином и желая друг другу здоровья и счастья.

Потом лежали на траве и читали наизусть из сценария бессмертные стихи Кучака и Нарекаци, а на закатном небе сумрачно сиял пронизанный последними лучами столб с плоским могильным камнем, поставленным на его верхушке в честь убитого когда-то епископа, и его тёмный расплывающийся контур словно сгущал вокруг себя свет, и казалось, всё сияние неба струится из него.

#### IV.

— Обратно поедem другой дорогой, — сказал шофёр. — Немного поболтает, зато ровное место и лес. И увидите Арсадзор.

— Что такое Арсадзор? — спросил я.

— Ущелье глубиной в два километра, — сказал Спартак. — По преданию, в него какая-то девчонка бросилась, чтоб сохранить девственность.

— Через час я уже ничего не сниму, — сказал Сергей.

— До Арсадзора — сорок минут, — сказал шофёр. — Я довезу за тридцать.

— Не успеем, — сказал Сергей. — Надо ещё устанавить камеру.

— Хорошо! — сказал шофёр. — Двадцать минут, устраивает?

— Нет, — сказал Сергей. — Это не работа.

— А завтра пойдёт дождь! — сказал шофёр.

Сергей пожал плечами. Когда дело доходило до работы, он становился непреклонным, и я это знал. Но мне нужно было ещё одно ущелье, потому что последние стихи Нарекаци я представлял почему-то только на фоне глубокого ущелья: сначала — небо, всё в смутных, неясных облаках, потом медленно вниз — вершины далёких гор, потом ещё ниже — близкие тёмные отроги, и от них — всё ниже — пропасть, которая прямо под тобой, и кажется, нет у неё дна; и только уже после того, как стихи смолкнут, крупно — водоворот и оглушающий грохот бьющейся среди скал реки: «И терзающее меня бессилье принял как смерть...» Мне так и не удалось найти ущелье, равное по величии этим стихам. Чёртово ущелье, на которое я надеялся, было без неба, а снимать небо отдельно и потом приклеивать его к пропасти я не хотел и всё ещё надеялся найти место, где можно, не отрываясь, перейти от неба к пропасти.

— Я знаю Арсадзор, — сказал Спартак. — Это то, что вам нужно. И едем скорее — через час будет темно.

— Всё равно не снимем! — сказал Сашик. — А утром всё спокойно снимем.

Сашик предлагал переночевать в Татэве.

Солнце ещё стояло над самой вершиной лесистого склона, по которому шла дорога, и весь лес сверху был пронизан косыми лучами, и в их свете поблёскивали большие, вытянутые по дороге лужи, но потом свет вдруг исчез, и мы поняли, что зашло солнце, и в лесу сразу стало так темно, что шофёр включил фары.

Машина шла, медленно переваливаясь из лужи в лужу и подпрыгивая на невидимых под водой кочках и камнях, и мы торжественно въезжали в бесконечные ворота из брызг, и нас всех подбрасывало так, что мы ударялись головой о деревянный верх.

После леса дорога пошла по широкой каменистой долине.

— Скоро начнётся асфальт! — сказал шофёр.

— Где Арсадзор? — спросил Сергей.

— Сейчас! — сказал шофёр.

— Сейчас — азербайджанское село, — сказал Спартак, — потом Арсадзор, а до асфальта ещё километров пятьдесят.

— От Татэва до сих пор — одиннадцать, — сказал Сергей. — Я заметил по спидометру.

— Ничего! — сказал Лёня. — Ночи лунные. При лунном свете Арсадзор ещё глубже, а завтра мы повторим эту прогулку и приедем снимать при дневном свете.

Сашик хрипло вздохнул. Он сидел с краю в глубине машины, втянув голову в плечи, и теперь головы его не было видно, и казалось — это брошен на сиденье пустой плащ.

Тряска уменьшилась. Впереди, в ещё светлых сумерках, замерцали редкие огоньки.

По краям дороги потянулись стены из кизяка. Мелькнула женщина, гнавшая козу.

Удивлённо замер посреди дороги нагруженный осёл. Надрывно лаяли вблизи невидимые собаки.

На краю дороги на корточках сидел пожилой человек и, вытянув руку, раскачивал её над головой. Другую руку он прижимал к груди, неловко обхватив что-то круглое и большое, но я не успел разглядеть, что это, и машина промчалась мимо, обдав его белой пылью.

Потом, не останавливаясь, машина почти на той же скорости, заезжая через край дороги и чуть не задев стену из кизяка, развернулась и помчалась обратно, и мы все удивлённо посмотрели на шофёра, а он, не глядя на нас и спокойно, как если бы речь шла о спустившей крышке или ещё о чём-то, что не зависит уже от нас, а имеет отношение только к нему, негромко и коротко объяснил: — Ребёнок!

Машина снова резко и стремительно развернулась, подскочив дважды на канаве с краю дороги, пронзительно скрипнула и стала у того места, где присел на корточки человек и всё ещё отчаянно, как утопающий, шарил в воздухе вытянутой рукой; и теперь я увидел, что другой рукой он прижимал к себе завернутого в одеяло ребёнка.

Через дорогу с противоположной стороны молча бежала женщина, на ходу завязывая на голове шаль, словно уже готовясь, не теряя времени, сесть в машину.

Мужчина с ребёнком не сразу понял, что машина вернулась за ним, и смотрел на нас враждебно и испуганно, а потом вскочил с места и бросился к дверце впереди, где сидел Спартак, и тогда Спартак быстро открыл дверцу и отодвинулся к шофёру, и женщина сел, схватившись рукой за плечо Спартака.

Женщина тоже подбежала к дверце спереди и, увидев, что места больше нет, хотела сесть в ногах мужчины, но мы крикнули почти все одновременно, чтоб она шла к нам, и она, споткнувшись и всплеснув руками, побежала к дверце сзади, и мы сразу втащили её в машину и ещё протащили по низу машины. Она осталась сидеть внизу и только подобрала под длинной юбкой ноги, но мы подняли её и посадили на скамейку за спиной мужчины, и тогда она перегнулась через его плечо и стала лихорадочно и бессмысленно поправлять одеяло, в которое был завернут ребёнок.

Мужчина, задышав, заговорил по-азербайджански, и после первых же его слов Спартак перебил его и коротко перевёл:

— Его девочку искушал волкодав.

Машина взвыла и сорвалась с места.

— Стой! — сказал Спартак. — Ближайшая больница в Татэве.

Машина съехала к краю дороги, медленно, словно раздумывая, остановилась.

Мужчина продолжал говорить, и теперь в его голосе были отчаяние и злоба, и Спартак не переставал его, и только когда тот замолчал, перевёл всё сразу: волкодава спустил на девочку сосед за то, что она, опаздывая в школу, прошла через его двор, и потом ещё смотрел, как он её кусал, а спас девочку посторонний человек, случайно проходивший мимо и оглушивший пса лопатой. Отец девочки, чабан, в это время возвращался с пастбищ, оставив там двух своих сыновей. Мать работала на огородах и узнала обо всём позже всех. — Теперь он хочет, чтобы хозяина волкодава арестовали раньше, чем узнают обо всём его сыновья, — сказал Спартак, — потому что тогда они соседа убьют и их тоже посадят в тюрьму. — Его всё равно надо убить! — сказал из темноты Сашик и длинно выругался.

— Когда всё случилось? — спросил шофёр.

Мужчина растерянно оглянулся на Спартака, и Спартак перевёл, и тогда мужчина ответил.

— Прошло около часа, — сказал Спартак. — До нас проехал только один грузовик и не остановился. — Спроси: есть ли поблизости ещё больница? — перебил шофёр.

— Нет, — сказал Спартак. — Я знаю.

— Спроси! — повторил шофёр с силой, и стало ясно, что теперь он один отвечает за жизнь этой завернутой в одеяло и ещё несколько минут назад не существовавшей для него и для всех нас девочки, и Спартак тоже почувствовал это, потому что, больше не возражая, перевёл вопрос и бесстрастно, как отвечают, когда не имеют права рассуждать, сказал, что ни отец, ни мать девочки вообще не знают, где находится больница.

Женщина приоткрыла край одеяла, и в полутьме мы увидели личико с большими любопытными глазами. Женщина стала плакать.

— Сколько ей лет? — спросил Сергей, но Спартак не стал это переводить и ответил сам, что девочке, вероятно, лет десять.

Шофёр выкинул вперёд в темноте под рулём руку, несколько раз цепко перехватил руль, и машина прямо с места стала круто поворачивать. — Постойте! — крикнул из темноты Сашик. — Остановитесь. С меня хватит. Я обратно не поеду!

— Поедешь! — сказал шофёр негромко и словно про себя. — А не поедешь — я тебя на ходу выброшу.

Машина подпрыгнула и въехала в лес. С обеих сторон вверх и вниз по пологому склону встали светившиеся под фарами стволы. Ложился туман. — Скажи, чтоб крепче держали девочку, — сказал шофёр, вглядываясь вперёд. — Ещё и голову разобьём.

Спартак прикрыл краем одеяла голову девочки и сказал что-то по-азербайджански. Женщина ещё больше перегнулась через плечо мужчины и обеими руками обхватила девочку. Мужчина тупо смотрел перед собой на дорогу.

Ослепительно взметнулась из-под передних колёс невидимая до этого лужа. Сашик ахнул и выругался. Мужчина несколько раз обернулся в глубину машины, и в слабом отсвете лицо его было беспомощным, как у ребёнка.

— Может быть, собака и не бешеная была, — сказал вдруг молчавший до этого Лёня. — Волкодав!.. Принял девочку за волка!

— Голову даю, что собака здоровая! — сказал Сашик. — Откуда здесь бешеная собака?

Машина остановилась, и свет от фар сразу сник и припал к земле. Теперь дорога была видна перед самой машиной, а дальше, ещё метра на три, только слабо мерцала, а ещё дальше — даже не угадывалась и уходила в чёрную мглу.

— А ну выходи! — сказал шофёр Сашiku. — Выходи! — крикнул шофёр. — Выходи, чтоб я голоса твоего больше не слышал!

— Поздно, — сказал Сашик. — Теперь ты меня обратно повези.

— Ну, не убить его? — неожиданно спокойно спросил шофёр.

— У него четверо дочерей, и все незамужние, — сказал Спартак.

— Ладно, — сказал шофёр. — Я своего сына потом на его внучке женю, чтоб породу его исправить.

— Послушайте! — сказал Сашик с тоской. — Я головой отвечаю: собака здоровая! Если собака бешеная, убейте меня.

— Потом о твоих дочерях заботиться! — сказал Спартак. — Поехали.

Машина шла медленно, и от этого гул мотора был громкий, но потом начался спуск, и шофёр выключил мотор, потому что машина пошла бесшумно, как телега, и только скрипели в тишине рессоры, и я подумал почему-то о том, что снаружи, вероятно, и этого скрипа не слышно, а впереди по-прежнему у самых колёс подпрыгивал кусок дороги, и дальше была чёрная стена, и казалось, мы медленно и упорно в неё впираемся.

— Теперь всё время спуск, — сказал Спартак. — Мотор не включай!

Никто больше не нарушил наступившую тишину, и всё словно растворилось в ней, и только доносился тихий гул колёс, и я в этой гудящей тишине задремал, а когда очнулся, гула не было и машина стояла.

Кто-то дёргал меня за плечо. Я увидел перед собой лицо Лёни.

— Нас хотят арестовать! — сказал Лёня шёпотом. — Вы умеете водить машину?

— Где мы? — спросил я.

— В Татэве, — сказал Лёня. — Вы умеете водить машину?

— Ну?

— Садитесь за руль, и поедem за милицией! Пока придёт доктор, могут самосуд устроить. В темноте всё можно.

— Где остальные? — спросил я, всё ещё не понимая, что произошло.

— Все вышли из машины, и я вышел, а потом я незаметно вернулся, чтоб вас разбудить, потому что нас хотят арестовать. За то, что ребёнка задавили!

— Какого ребёнка?

— Того самого, которого мы привезли. Не верят, что волкодав. В больнице только фельдшерица. Пошли за врачом, но пока врач придёт, всё может быть. Надо сообщить в милицию!

Я не стал его больше слушать и быстро вышел из машины.

Прямо передо мной оказались ворота каменной ограды. За оградой был двор, и в глубине его стоял большой, приплюснутый к земле дом. Вокруг дома теснилась неясная в лунном свете и, казалось, неподвижная толпа. Фонарей не было. Освещённые окна слабо светили во двор. Несколько десятков человек широко и плотно обступили крыльцо у входа в дом, и на крыльце, на его ступеньках, сидели шофёр и Спартак, а Сергей сидел над ними, на перилах.

— Не вздумай им что-нибудь объяснять! — предупредил меня Спартак, когда я сел рядом с ним. — Ты всё испортишь. Ещё немного, и нас начнут бить.

— За что? — спросил я.

— За то, что мы задавили девочку, а теперь врём, что её искусила собака.

Толпа стояла, образуя плотный широкий полукруг. Тихо и редко переговаривались. Лиц разобрать нельзя было. Посреди полукруга в лунном свете ясно поблёскивали камни.

— Молодёжь! — сказал Спартак. — Всем не больше двадцати.

Шофёр с любопытством смотрел на Спартакa, и в свете луны глаза его горели.

— Рядом клуб, — объяснил шофёр. — Они из клуба.

— Их надо разъединить, — сказал кто-то из толпы. — Они договариваются, чтоб потом одинаково врать.

— Правильно! — громко сказал Спартак. — И обыщите машину, там ещё один должен быть. Скрывается, сукин сын!

— Где девочка? — спросил я Спартакa.

— В больнице. Всё в порядке. Сейчас приведут врача.

Спартак рассказал, как Сашик, спасаясь от толпы, взял из рук отца девочку и понёс её в больницу, а отец и мать еле за ним успевали, и фельдшерица даже не хотела их впускать, но Сашик сказал, что они родственники, и ихпустили вместе с ним. — Лёню ведут! — сказал Сергей. — Упирается, бедняга.

Донеслись громкие голоса. Толпа задвигалась. — Мы её спасли! — кричал Лёня. — Если бы не мы, она бы погибла!

Толпа, не раздвигаясь, вытолкнула его из себя на полукруг перед крыльцом.



— Иди сюда, спаситель!— сказал Спартак.— Посиди с нами. Что тебе одному там делать?

Увидев нас, Лёня от радости стал пожимать каждому руку.

— Ну где ваш доктор?— крикнул Лёня.— Мы तो рописимся.

— Посадят на десять лет— как раз успеете!— негромко сказал из толпы женский голос.

Стало тихо. Кто-то из мужчин спокойно сказал:

— Если ребёнок умрёт— расстреляют.

— Если не умрёт— всё равно калекой останется,— сказала женщина.— За это ещё больше расстреляют.

Опять помолчали. Из задних рядом громко, по-деловому предложили:

— Избить надо, пока не арестовали.

Никто не ответил.

— Если они поговорят в этом духе ещё немного,— сказал Лёня,— мы так и не познакомимся с доктором!

— Прекрасно!— сказал Спартак.

— Что прекрасного?— искренне удивился Лёня.

— Молокосос! Всё прекрасно! И ещё этот лунный свет... Серёга, когда вы научитесь снимать лунный свет?

— Скоро,— сказал Сергей.— Дело только в плёнке. Нужно повесить чувствительность хотя бы до тысячи единиц.

С того места, где мы сидели, луны не было видно— её закрывал свисающий над крыльцом край крыши, и поэтому всё перед нами казалось освещённым изнутри.

Я вспомнил Чёртову пропасть— какой она была утром в тумане, перед рассветом, и потом, когда солнце ударило нам в глаза, и вспомнил пронизанный небом храм и весь этот день в Татэве, а потом снова подумал о том, что случилось с девочкой. Всех этих людей, подумал я, соединило то, что случилось с девочкой, и это не желание возмездия, потому что никто из них не знал девочку до этого и даже не видел её, и поэтому не могло быть возмездия, а это то, что каждый чувствует к своему ребёнку и что сейчас вдруг стало видимым, и лунный свет очень удачно выявляет это, потому что делает всё как бы бесплотным и как будто мир

стал прозрачным, и видишь его душу, и ничего не надо додумывать, а надо взять всё это, всю эту толпу и заглянуть ей в лицо, и тогда увидишь то, из чего, в конечном итоге, возникает поэзия, и это будет началом фильма о поэзии и его финалом, и тогда фильм будет не только о поэзии, но и об этой светящейся душе мира.

И я вспомнил камень, который мы нашли как-то в Горисе: было утро, и после ночной съёмки все пошли спать, а шофёр куда-то уехал, но вдруг вернулся и, растолкав меня, повёз в местный музей, где он случайно увидел этот камень, и тогда я увидел его тоже— древнюю глыбу капители языческого храма и на ней с пяти сторон— не с двух и не с четырёх, а со всех пяти сторон— выщербленные тремя тысячелетиями разрушений человеческие лица.

У нас не было приспособлений для съёмки в помещении, и мы вынесли камень во двор и поставили его на треногу, а камеру установили на земле, и потом Сергей тоже лёг на землю, у камеры, а я, Спартак, Лёня, Сашик и шофёр, передавая друг другу рукоятку диска на треноге, плавно повернули камень, и каждое лицо на нём перед камерой вышло из тени и вступило в свет; и, вспомнив это, я вдруг представил на экране медленно поворачивающуюся каменную глыбу— звучит орган, и голос женщины шёпотом, как поют колыбельную, рассказывает о рождении мира:

...И были его волосы из огня,

Была у него брада из огня,

И, как солнце, был прекрасен лик.

Таким это и осталось потом на экране— как я представил в ту ночь, в Татэве, перед молчаливой и враждебной толпой, забывшей мне о неизбежности доброты, несмотря на всё то, что происходило в мире каждый день.

Нас же отпустили сразу после того, как подтвердилось, что девочка искусана, и даже забыли про нас, и мы поехали той же дорогой через лес, а потом молча стояли над лунной бездной Арсадзора, и я думал опять об этой вечной исповеди поэта: «И терзающее меня бессилье вкусил как смерть». Мы остались в Арсадзоре до утра, а утром сняли ущелье и вернулись в Горис.

Владимир Крупин

## Лодка надежды

## Балалайка

Жителей в деревне осталось трое: старик Авдей и две старухи — Афанасья и Явлинья Ваниха. Самая худая избёнка — у Авдея. Ограда у него, по его выражению, до Петрограда ветру рада, то есть нет никакой. Явлинья Ваниха всех старше и всё время собирается умирать. Зрение у неё совсем никуда, даже солнышка она почти не видит, а чувствует по теплу. Вот и сейчас она выползла на улицу, сидит на брёвнышке, старается угадать, который час.

Подходит Афанасья. она явно с похмелья, но где и как сумела вчера выпить — это тайна, и эту тайну Афанасья унесёт в могилу. Обе старухи глуховаты. — Козлуху мою не видела? — кричит Афанасья. — Погляди-ко, сонче-то высоко ле? — кричит в ответ Явлинья.

— Тварь мою рогатую, говорю, не видала? — кричит Афанасья.

У неё нет сил посмотреть на небо.

— Как я увижу? — кричит Явлинья. — Сама с утра свинью ищу.

Они молча сидят, потом заключают о свинье и козе, что много им чести, чтоб их искать, что захотят жрать — придут, а не придут — туда и дорога, пусть дичают, пусть их волки оприходуют, да они такие, что ими и волки побрезгуют, пусть сами подышают. А и пусть подышают, пусть. Много ли Явлинье и Афанасье нужно? Ничего не нужно, покой только и нужен.

— Мне дак уж вечный, — уточняет Явлинья.

— Авдея-то не было с утра? — кричит Афанасья.

— И с вечера не было.

— Зови. Пусть «Синтетюриху» играет.

«Синтетюриха» — это вятская разновидность «Камаринской».

— Сама зови, чать, помоложе.

Афанасья идёт за Авдеем. Стучит в его окно и восклицает:

— Эх, балалайка, балалайка, балалайка лакова! До чего же ты доводишь — села и заплакала. Авдей, золотко, живой? Выходи, дитятко!

Авдей появляется на крыльце. Без балалайки, с маленьким приёмником.

— Ой! — изумляется Афанасья. — Лопотина-то на-те сколь баска!

— Афанасья, — сурово говорит Авдей. — Кур ук-роти, а то я их оконтужу. Боле они у тя воровасты.

Чьи куры в деревне — это настолько давно и прочно перепутано, что Авдей не может этого не знать, но у Афанасьи нет сил напоминать это соседу. На все его выговоры она поддакивает:

— Эдак, эдак, — и, выждав момент, просит: — Авдей, не дай умереть!

— Я, Афанасья, ты знаешь, питьё, которое не горит, не пью. Чтоб синим пламенем пылало, меня так. А такого пока нет, терпи. А пока терпишь, за это время и выживешь.

— Козлухи моей не видал? Нет? Да хоть бы и подохла, кырлага! Тарлаюсь с ней, давеча утром доила, паздернула, молоко разлила по всему двору, чище печки землю выбелила. Авдей, кабы ты её счинохвостил, я б тебе всё вечерошно отдала.

Слово «паздернула» у Афанасьи означает многое — выпивку («бутылку паздернула») и движение («паздернула, тварь шерстяная, со двора»), слово «счинохвостил» тут означает поимку козы, а «вечерошно» — вечерний удой. «Тарлаюсь» в данном контексте — «мучаюсь».

— Так чего без балалайки?

— А это чем не музыка? — Авдей прибавляет громкости в приёмнике. — Слушай, а то начнётся война — и не узнаем.

— Начнётся, дак не обойдётся, — отвечает Афанасья. — Как в эту-то войну, перед войной без радио жили, а сто мужиков было — и нет. Эх, сосед, сосед, кто умер, сказано, — тот счастливый, а кто живёт — будет мучиться. Вот смотри: то рак, то дурак.

— Явлинка! — кричит Афанасья. — Давай плясать! Ух! «Синтетюриха телегу продала, на телегу балалайку завела». Авдей!

Авдея долго уговаривать не надо, он меняет приёмник на балалайку, садится на брёвнышко, подтягивает струны.

Пёс Дукат, который дремал до поры, не любит Авдеевой музыки, просыпается и уходит. Дукат — жулик и вор. И ярко выраженный индивидуалист. Были в деревне ещё две собаки — сучки, которых курящий Авдей назвал, как и Дуката, именами табачных предприятий — Ява и Фабрика Урицкого. Но и Фабрику, и Яву Дукат выжил систематической травлей, и их не видать с весны. Одному Дукату вольготно в деревне: от кого её охранять? А общие курицы несутся по всем закоулкам, это

нравится Дукату. Поэтому, может быть, он сейчас не от балалайки уходит, а пошёл обедать.

Явлинья шевелится на брёвнышке и, как подсолнух, поворачивается на тепло солнца. Авдей повторяет первые строки без музыки, устраивая балалайку на коленях, потом начинает тренькать: — Приведите мене Ванькю-игрока да посадите в куть на лаовоцьку, дайте в руки балалаецьку, станет Ванькя наигрывать, «Синтетюриху» наплясывати, старым косточкам потряхивати...

Афанасья переступает на одном месте, поднимает и опускает под музыку плечи, поводит руками. — Мне уж только для ушей музыка осталась, — кричит Явлинья, — а тебе, Афанасья, ещё и для ног! Ой, Авдей, ты заиграешь, дак я лучше слышу и разглядеть свет могу, ой! Синтетюриха плясала на высоких каблуках! накопила много сала на боках, да!

Авдей тут же включается:

— Надо сало-то отясывати, на реку идти споласкивати...

— На реке-то баня топичча, — частит Афанасья, — в баню милый мой торопичча. Ой, не помычча, не попаричча, золотая рыбка жаричча. В золотой-то рыбке косточки, хороши наши подросточки, двадцати пяти годовеньки, восемнадцати молоденьки...

Авдей замедляет плясовой размер:

— Да расщепалася рябина над водой...

Старухи подхватывают:

— Да раскуражился детина надо мной. Это что за кураженьице? Милый любит уваженьице. Уважать не научилася, провожать не подрядилася, провожу я поле всё, поле всё, расскажу я горе всё, горе всё. Одно горюшко не высказала, за всю жизнь его я выстрадала, ой!

На этом «ой» плясовая заканчивается. Авдей начинает нащипывать мелодию на слова «тень-тень-потетень, выше города плетень», но тут случается событие, и событие не рядовое: к ним подбегает маленький щенок с костью в зубах и начинает играть у их ног. Старики потрясены:

— Откуда взялся? Откуда?

— Это ведь от Явы, — решает Афанасья. — Срыжа.

— Нет, от Фабрики Урицкого, — утверждает Авдей.

Явлинья просит щенка в руки и долго щупает его, а в конце заключает, что это, конечно, Дукатов. — А откуда такая кость? — спрашивает Авдей. — Вы, соседки, если собак мясом кормите, так мне хоть средка через забор кидайте.

Но появление щенка — не последнее событие в этот день. Из-за брёвен, громко кудахча, выходит пёстрая курица. С ней ровно десять, считает Авдей, цыплят. Это второе потрясение. Как это курица сумела тайком от них и от Дуката выпарить цыплят, непонятно. Да и чья это курица? Решают, что общая, делят на будущее каждому по три цыплёнка. Одного оставляют общим, на случай гибели.

— Тащи тогда патефон! — приказывает Афанасья.

Авдей идет за патефоном. Этот патефон — загадка для старух, особенно для Явлиньи. Она вообще против любых нововведений. Не дала проводить в свою избу электричество, говоря: «Это бесы, бесы», — не ходит из-за электричества к соседям. «Задуετε, дак приду», — говорит она об электролампочке. Слушая патефон, она дивится и верит Авдею, что внутри патефона сидят маленькие мужики и бабы и поют. «А ребятыньки-то хоть есть ли у них?» — спрашивает она. «Как нету? Есть!», — отвечает Авдей. «А чего едят?» — «Кило пряников в день искрашиваю. И вина подаю, а то не поют».

Авдей выносит патефон, ставит на широкую сосновую тюльку. Крутит заводную патефонную ручку.

— А вот, товарищи соседи, чего будет, если завтра солнце не взойдёт?

— Залезем на печь и не заметим, — решает Явлинья. — Ну-ка, чего не надо не лёпай, — сердится Афанасья, — у меня и так башка трещит, а ты умные вопросы задаёшь.

Играет патефон. Но больше слушают не его, а смотрят на щенка и на курицу с цыплятами. Скоро Авдей в который раз рассказывает, как он обхитрил участкового.

До сих пор Авдей не знает, кто же сообщил участковому о его бочке. А жить в одной деревне и думать, что кто-то из соседей тебя предал, тяжело. Поэтому Авдей решил думать, что участковый сам приехал. В огромной бочке был запарен и бродил первичный суррогат будущего зелья. Скрыть его было невозможно. Но ведь додумался Авдей! Увидев участкового в окно, он мгновенно разделся и запрыгнул в бочку, объяснив это тем, что лечит ревматизм. Талант к розыгрышам у Авдея появился поневоле. Например, после войны, когда он жил ещё с семьёй, выездная сессия насчитала на него за недоимки по налогам шесть пудов ячменя. «Ой, спасибо, товарищи, — закричал Авдей, — ой, побегу, запрягу, ой, на всю зиму хватит!» Ему втолковывали, что это не ему присудили, а с него, но Авдей, благодаря и кланяясь, повторял, что шести пудов ему хватит ещё и на посев.

Когда к нему явилась комиссия во главе с уполноминзагом (было такое министерство заготовок, были такие его уполномоченные), Авдей объявил, что знахарка насильно передала ему чёрное колдовство, стал кататься по полу, кричать, что его корчит. «Ой, на кого бы пересадить?» — кричал он. Комиссия отступилась.

Солнышко передвигается по небу. Явлинья вновь поворачивается за ним. Откуда-то возвращается сама и щиплет на дороге улицы траву коза Афанасья. Находится и Явлинья поросёнок. Он неутомимо роет непонятно зачем глубокую канаву. Дукат, облизываясь, как-то боком идёт от забора

и ложится вновь спать. Неугомонный сын его всё грызёт и грызёт белую косточку. Курица разгребает тёплый песок и всё никак не может уюститься полежать. Цыплята лепятся к ней.

Старики говорят о зиме, о дровах.

### Бочка

Вспоминаю и жалею дубовую бочку. Она могла бы ещё служить и служить, но стали жить лучше, и бочка стала не нужна. А тогда, когда она появилась, мы въехали не только в кооператив, но и в долги. Жили бедно. Готовясь к зиме, решили насолить капусты, а хранить на балконе. Нам помогли купить (и очень недорого) бочку для засолки. Большую. И десять лет подряд мы насаливали по целой бочке капусты.

Ежегодно осенью были хорошие дни засолки. Накануне мы с женой завозили кочаны, мыли и тёрли морковь, доставали перец-горошек, крупную серую соль. Приходила тёща. Дети помогали. К вечеру бочка была полной, а уже под утро начинала довольно урчать и выделять сок. Сок мы счерпывали, а потом, когда капуста «учереждалась», лили обратно. Капусту протыкали специальной ореховой палочкой. Через три-четыре дня бочка переставала ворчать, её тащили на балкон. Там укрывали стёгаными чехлами, сшитыми бабушкой жены Надеждой Карповной, мир её праху, закрывали крышкой, пригнетали специальным большим камнем. И капуста прекрасно сохранялась. Зимой это было первое кушанье. Очень её нам хвалили. В первые годы капуста кончалась к женскому дню, потом дно заскребали позднее, в апреле. Стали охотно дарить капусту родным и близким. Потом как-то капуста дожила до первой зелени, до тепла, и хотя сохранилась, но перестала хрустеть. Потом, на следующий год, остатки её закисли.

Лето бочка переживала с трудом, рассыхалась, обручи ржавели, дно трескалось. Но молодец она была! Осенью, за неделю до засолки, притащишь её в ванную чуть ли не по частям, подколотишь обручи и ставишь размокать. А щели меж клёпками—по пальцу, и кажется, никогда не восстановится бочка. Нет, проходили сутки, бочка крепла, оживала. Её ошпаривали кипятком, мыли с солью, сушили, потом клали мятую или эвкалиптовые листья и снова заливали кипятком. Плотно закрывали. Потом запах дубовых красных плашек и свежести долго стоял в доме.

Последние два года капуста и вовсе почти пропала, и не от плохого засола, засол у нас исключительный, но не елась она как-то, дарить стало некому, питание вроде улучшилось, на рынке стали бывать...

Следующей осенью и вовсе не засолили. Оправдали себя тем, что кто-то болел, а кто-то был в командировке. Потом не засолили сознательно: кому её есть, наелись. Всё равно пропадёт. Да

и решили, что бочка пропала. У неё и клёпки рассыпались. Но я подумал: вдруг оживёт? Собрал бочку, подколотил обручи, поставил под воду. Трое суток оживала бочка—и ожила. Мы спрашивали знакомых: нужна, может, кому? Ведь дубовая, ещё сто лет прослужит.

Бочка ждала нового хозяина на балконе. Осень была тёплая, бочка вновь разохлась. Чего она стоит, только место занимает, решили мы, и я вынес бочку на улицу. Поставил её, но не к мусорным бакам, а отдельно, показывая тем самым, что бочка вынесена не на выброс, что ещё хорошая. Из окна потом видел, что к бочке подходили, смотрели, но почему-то не брали. Потом бочку разбили мальчишки, сделав из неё ограду для крепости. Так и окончила жизнь наша кормилица. На балконе теперь пусто и печально.

### В заливных лугах

Поздней весной в заливных вятских лугах лежат озёра. Дикие яблони, растущие по их берегам, цветут, и озёра весь день похожи на спокойный пожар.

Ближе к сенокосу под цветами нарождаются плоды. Красота становится лишней, цветы падают в своё отражение. И на воде ещё долго живут. Озёра лежат белые, подвечные, а ночью вспоминается саван.

Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слёзы, покачиваются, касаясь друг друга.

Постепенно вода оседает, озёра уходят в подземные реки, И как будто лепестки вместе с ними.

Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами. Пьют эту воду кони и люди, птицы и звери, цветы и травы, даёт эта вода жизнь всему сущему, всему живому.

Только мёртвым не нужна вода. Поэтому место для них выбирают на взгорьях.

### Где-то далеко

Много времени в детстве моём прошло на полатах. Там я спал и однажды—жуткий случай—заблудился.

Полати были слева от входа, длинные, из тёмно-скипидарных досок.

Мне понадобилось выйти. Я проснулся—темень тёмная. Пополз, пятясь, но упёрся в загородку. Пополз вбок—стена, в другой бок—решётка. Вперёд—стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слёзы покапали на бедную подстилку из чистых половиков.

Тогда ещё не было понимания, что если ты жив, то это ещё не конец, и ко мне пришёл ужас конца.

Всё уходит, всё уходит, но где-то далеко-далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатах, ползает на коленках мальчик, который думает, что умер, и который проживёт ещё долго-долго.

## Гречиха

Вот одно из лучших воспоминаний о жизни.

Я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воем, истёртые покрышки, как босые ноги, скользят по глине.

И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым, поле гречихи. И запах, который никогда не вызвать памятью обоняния, тёплый запах мёда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.

Огромное поле белой ткани, и поперёк продёрнута коричневая нитка дороги, пропадающая в следующем тёмном лесу.

### «Дедушка, я помогу тебе найти дорогу»

Мой милый, любимый, единственный! Как же я люблю приходить за тобой в детский садик. Это самое счастливое событие моего дня. Мне так хочется потихоньку подсмотреть, как ты играешь в своей группе, во что и с кем. Но разве можно прийти к вам незамеченным? Ещё покажешься в дверях — уже десять голосов кричат тебе и десять рук тебя теребят:

— За тобой дедушка пришёл!

Ты выходишь по-разному. То сразу выскакиваешь, жалуясь, что тебя обижают, то идёшь важно, тая в себе какую-то высокую мысль. И одеваешься то быстро, то медленно. А мне и так и так хорошо. Я люблюсь тобою, ни за что на тебя не сержусь.

— А что ты мне принёс? — всегда спрашиваешь ты. — А вот если бы я ничего не принёс, ты б что, сказал «уходи обратно», да?

Ты весело глядишь и, не отвечая, машешь свитером как флагом.

Надев брючки и обувшись, ты бежишь вниз и прячешься. Несу твою курточку, шарфик, шапочку, ищу тебя. Ну конечно же, я каждый раз не знаю, где ты, ведь первый этаж большой. Нахожу: вот где ты! — радуюсь. И ты радуешься.

А на улице сплошные опасности. Дороги, машины. Держу тебя за руку. И на высоком выгнутом мосту через канал тоже держу. Ты кричишь сверху уткам:

— Эй, утки! Вам там не холодно?

Ты замечаешь новые промоины тёмной воды, бросаешь уткам кусочки приготовленного хлеба и не веришь, что уткам в воде теплее, чем на льдине.

По дороге заходим в магазины. Везде нас знают. Ты всем продавщицам рассказываешь, что было в саду, какая у тебя хорошая сестричка.

— Только она больше не принцесса, а я больше не принц, — сообщаем ты.

— А кто вы?

— Она — Василиса Прекрасная, а я — Иван-царевич. Я её от Косяка спасаю. У меня меч есть и щит есть, бабушка подарила. Я бился со Змеем Горынычем, я его сломал, меч, а мама отремонтировала.

У нас начинается главная игра. Она называется так: «Дедушка опять забыл дорогу к дому».

— Да, дедушка, — огорчённо говоришь ты, — ведь ты опять забыл дорогу, опять?

— Забыл, — сокрушённо признаюсь я. — Что делать, забыл. Но ведь ты меня выведешь, да? Я без тебя заблужусь.

— Ну конечно, — великодушно всплёскиваешь ты руками, — конечно. Я тебя не брошу.

По дороге сочиняем песни. Например: «Идём из садика домой, какая благодать! Уже рукой, уже ногой до дому нам подать!» Или: «Мы ходили, шли снега, увязала в них нога. А теперь кругом вода, вот какая ерунда». То есть не вода — ерунда, а ерунда — наша песня. Но нам весело идти, и дорога быстрее. Мы шагаем, как солдаты. Ещё бы, мы поём: «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“». Догоняем девочку из твоей группы. Она хохочет и рассказывает тебе, как у неё была собака, летала, рулила хвостом и улетела в зоопарк. Ты серьёзно слушаешь и одобряешь:

— Это был смешной рассказ.

А иногда замолкаешь и идёшь молча. Я знаю, что тебя нельзя в это время перебивать. Однажды что-то спросил, а ты очень строго заметил:

— Я же молюсь. Я у Боженьки прошу, чтобы папа и мама не болели. И бабушки, и дедушки, и Василиса Прекрасная.

Конечно, когда ты заинтересован в покупке какого-то лакомства, то тянешь в магазин, а когда надо купить что-то для дома, не очень-то спешишь помочь в этом.

— Я не хочу в магазин, я тут подожду.

— Разве я могу тебя одного оставить?

— Но я же богатырь! — говоришь ты.

— Вот поэтому и меня ты не оставляй одного.

Ты то зовёшь:

— Давай лучше пойдём по белу свету счастье искать.

А сегодня вдруг объявляешь о своём открытии:

— А солнце больше неба.

— Почему?

— Небо только сверху, а солнце везде.

Ты разводишь руками и показываешь на всё окружающее нас пространство, освещённое солнцем. И спрашиваешь:

— А солнце далеко?

— Очень!

— Очень-очень?

— Да. Ещё никто до него не долетел.

Ты смотришь на меня, о чём-то думаешь, потом поворачиваешься лицом к солнцу, делаешь несколько шагов и объявляешь:

— А я уже ближе тебя к солнцу!

Мы идём дальше. Ты выучил звук «ш» и с удовольствием говоришь слова с буквой «ш». И всё время вспоминаешь Машу, которая шла по шоссе.

— А чего это она, — спрашиваю я, — по шоссе идёт? Надо же по тротуару ходить.

Совершенно резонно ты отвечаешь:

— Тротуары же заняты машинами, вот ведь как. А скажи, дедушка, чем отличаются слова «сушка» и «пушка»?

— Пушка большая, сушка маленькая.

— Нет.

— Сушку едят, а пушка стреляет.

— Нет!

Ты начинаешь сомневаться в моих умственных способностях.

— У пушки колёса круглые, как у сушки, но со спицами.

— Да нет же! — кричишь ты. — Одна буква! «С-с-с» и «ш-ш-ш»!

Тут же ты кричишь машинам:

— Эй, машины, вы что, разве мухи? Что вы шумите? Или комары какие-нибудь?

Тебе ужасно хочется шлёпать по лужам, но это нельзя, и ты терпеливо их обходишь.

— Всех лучше осень, — говоришь ты. — Спасибо осени, осенью можно по лужам ходить.

Потом по твоей просьбе я пытаюсь объяснить, что такое Бог. Но как сказать о Его всеведении, вседеприсутствии, всемогуществе? Пытаюсь. Ты слушаешь и неожиданно вразумляешь меня самым простым и точным определением:

— Да, да, я понял. Бог — это как воздух. Он везде есть, а мы его не видим.

Мы приходим домой, моем руки, и начинается твоя бесконечная сказка про битвы с драконами, про похождения Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Мы поём самосочинённые былины о том, как обиделись богатыри на князя Владимира, что не посадил их за стол, и как потом напало на Киев Идолище поганое да засвистал дурным посвистом Соловей, Одихмантьев сын; тогда пошли богатыри, обиды забывши, стоять за землю русскую, за веру православную.

— Сколько голов у Змея? — спрашиваешь ты.

— Три, — говорю я, опасаясь, что если голов будет больше, то битва долго не закончится.

— Три! — говоришь ты презрительно. — Три! Это и ты справишься. Сегодня двенадцать! Вот так вот!

Игрушек у вас с сестрой на два детских сада. Но всё равно их не хватает. Понадобился тебе конь, чтоб посадить богатыря на коня, — где конь? Нет коня. Тогда ты, непобедимый выдумщик, хватаешь кубик, часть архитектурного конструктора, и кричишь:

— Вот и пал конь Ильи Муромца! И схватил тогда Илья Муромец камень, отломил его от замка, превратил в коня, сел и поскакал!

Долго ли, коротко ли сказка сказывается, не скоро, но всё же Змей Горыныч побеждается. Я думаю, что заслужил отдых, я же тоже воевал, но ты вдруг говоришь:

— Ищи меня! Считаю до десяти! — и убегаешь.

В большой комнате, которая становится маленькой из-за развала игрушек, появляется бугор из двух одеял. Под ним что-то шевелится. Конечно, ты. Но разве можно дедушке так сразу найти внука? Я хожу по квартире, честно заглядываю во все углы и горестно восклицаю:

— И тут нет! И тут нет! А тут совсем нет. А тут и не было.

Наконец, ты высовываешь голову и сообщаем:

— Я же клад. Меня надо откопать.

Мама приводит сестрёнку. Тебе уже не до меня. А уж если ещё и папа сегодня пришёл пораньше, тут дедушка окончательно становится лишним. Я прошу тебя перекрестить меня на прощание. Ты обращаешься к иконам:

— Боженька, помоги дедушке найти дорогу, сделай такую милость!

На сердце у меня тепло и немного грустно. Но что грустить? Бог даст, наступит завтрашний день, и опять с радостью, бросив все взрослые дела, пойду за тобой.

Вдруг обнаруживаю, что заблудился. Конечно, ведь я же иду один, без тебя. Но ты меня перекрестил, благословил, и я обязательно найду дорогу.

## Зеркало

Подсела цыганка.

— Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.

Закурила. Курит неумело, глядит в глаза.

— Дай погадаю.

— Дальнюю дорогу?

— Нет, золотой. Смеёшься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили чёрной воды. Ты пойдёшь безо всей одежды ночью на кладбище. Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.

— Нет денег.

— А казённые? Ай, какая нехорошая линия, девушка, выше тебя ростом, тебя заколдовала.

— И казённых нет.

— Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живёшь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.

— Нет бумажных.

— Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных — положи мелочь. Не клади чёрные, клади белые. Через три дня будешь ложиться — положи их под подушки, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.

Выврала несколько волосков. Дунула, плюнула.

— Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть — друга или врага?

— Врага.

Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Засмеялась цыганка и пошла дальше. И остался я дурак дураком. Какая девушка? Какая чёрная вода? Какая линия? При чём тут зеркало?..

### «...И о всех, кого некому помянуть»

Оттого, может быть, так тянет к себе кладбище, что оно означает для кого ближайшее, для кого отдалённое, но для всех неминуемое будущее. Ходишь по дорожкам, вроде как выбираешь себе место. Тихо, спокойно и на тесном городском, и, конечно, на просторном сельском. Кресты, памятники, оградки. Засохшие живые цветы и выцветшие искусственные.

Особенно хорошо на кладбищах поздней осенью. Выпало немного снега, он лежит светлыми пятнами между могил. И всюду золотая пестрота умирающих листьев.

Но ни мрамор памятников, ни громкие фамилии лежащих под ними так не останавливают и так не волнуют меня, как безымянные холмики чьих-то могил. Кто там в земле? Кто-то же плакал здесь, кто-то же приходил сажать бессмертники, поливать цветы. И почему больше не приходят? Где они? Умерли и сами? Уехали? А может, просто так задавлены жизнью, что и умирать не думают, и сюда не ходят.

В Димитриевскую родительскую субботу отец Александр служил поминальный молебен. Я ему помогал. Перед началом написал большущий список имён своих родных и близких, уже ушедших в глубины земли. Но у самого батюшки списки поминаемых были вообще огромными, целые тетрадки имён усопших, убиенных, за царя и веру, за страну нашу Российскую пострадавших.

Батюшка читал и читал. Молящиеся всё передавали и передавали ему через меня листочки — памятки. Торопливо взглядывал я на них: там значились имена воинов, младенцев, даже и безымянных младенцев, погибших до рождения, и бесчисленные ряды имён, имён, имён... Иногда грамотно: Иоанна, Симеона, Евфимия, Иакова, — а иногда просто: Фисы, Пани, Саши...

Батюшка читал и читал. Вспомнил я иностранца, стоявшего со мною однажды на субботнем богослужении. Сказал он: «У нас все службы не более двадцати минут». А тут только зачитывание поминаемых имён заняло более получаса.

Так вот, зачем я всё это вспомнил? Именно — из-за одних слов батюшки. Заканчивая поминовение, он, принимая в руки кадило и вознося его молитвенный дым, возгласил:

— Молимся Тебе, Господи, и о всех православных, кого некому помянуть.

И вот это «некому помянуть» довело до слёз.

Но как же некому? А мы? Мы, предстоящие престолу, в купели крестившиеся, как и те, безымянные для нас, но Господу ведомые? Мы же повторяем слова: «Имена же их Ты, Господи, веши». Мы же с ними встретимся, мы же увидимся.

Будем помянуть всех от века почивших. Как знать, может, и наши могилки травой зарастут.

Вдруг да и нас, кроме Господа, будет некому помянуть?

### Катина буква

Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить какую.

Я написал букву «К».

— Нет, — сказала Катя.

Букву «А». Опять нет.

«Т»? Нет. «Я»? Нет.

Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала.

Тогда я крупно написал все буквы алфавита.

Писал и спрашивал о каждой: эта?

Нет, Катиной буквы не было во всём алфавите.

— На что она похожа?

— На собачку.

Я нарисовал собачку.

— Такая буква?

— Нет. Она ещё похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолёт, и на небо, и на дерево, и на кошку...

— Но разве есть такая буква?

— Есть!

Долго я рисовал Катину букву, но всё не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя вырастет, она её напишет.

### Лист кувшинки

Человек я совершенно неприхотливый, могу есть и разнообразную китайскую, или там грузинскую, японскую, арабскую пищу, или сытную русскую, а могу и вовсе на одной картошке сидеть, но вот вдруг с годами стал замечать, что мне очень небезразлично, из какого я стакана пью, какой вилкой ем. Не люблю пластмассовую посуду дальних перелётов, но успокаиваю себя тем, что это, по крайней мере, гигиенично.

Возраст это, думаю я, или изыск интеллигентский? Не всё ли равно, из чего насыщаться, — лишь бы насытиться. И уж тебе ли, это я себе, видешему крайние степени голода, думать о форме, в которой питьё или пища?

Не знаю, зачем заикнулся вдруг на посуде. Красив фарфор, прекрасен хрусталь, сдержанно серебро, высокомерно золото, но завали меня всем этим с головой — всё равно все победят то лето, когда я любил библиотекаршу Валу, близорукую умную детдомовку, и тот день, когда мы шли вверх на нашей реке и хотели пить. А родники — вот они, под ногами. Я-то что? Я хлопнул на грудь, приник к ледяной влаге, потом зачерпывал её ладошкой и предлагал возлюбленной.

— Нет, — сказала Валя, — я так не могу. Мне надо из чего-то.

И это «из чего-то» явилось. Я оглянулся—заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул под обрыв, прямо в ботинках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл лист в роднике, свернул его воронкой, подставил под струю, наполнил и преподнёс любимой.

Она напилась. И мы поцеловались.

Так что же такое посуда для питья и еды? Ой, не знаю. Не мучайте меня. Жизнь моя прошла, но не прошёл тот день. Родники и лист кувшинки. И мы под небом.

### Лодка надежды

У рыбацких лодок нежные имена: «Лена», «Светлана», «Ольга», «Вера»... Я шёл с рыбаками на вечерний вымет сетей на баркасе «Надежда» и пошутил, что с лодкой надежды ничего не может случиться.

— Сплюнь!— велел старший рыбак.

Солнце протянуло к нам красную дорогу, и на конце этой дороги волны нянчили наш баркас.

Пришли на место. Выметали сети. Отгребли, запустили мотор.

Рыбак, тяжело ступая бахилами, подошёл и сел. Помолчал.

Прожектор заката вёл нас на своём острие.

— Надежда!— сказал рыбак.— На этой «Надежде» нас мотало, думали: хватит, поели рыбки, сами рыбкам на корм пойдём.

От лодки разлетались белые усы брызг, как будто лодка отфыркивалась в обе стороны.

— А ты ничего,— одобрил он.— Выбирать пойдёшь?

— Пойду.

И вот хоть верь, хоть не верь, своей дурацкой шуткой я накликал беду. Когда на следующий день мы выбирали сети, налетел шторм.

Лодку швыряло, как котёнка. Ветер ревел так, что уничтожал крик у самых губ.

Вернув рыбу морю и отдав пучине сети, мы всё-таки выгребли. Когда, обессиленные, мы лежали на песке и волны, всхрипывая от злости, расшатывали причал, он крикнул:

— Как?!

Я показал ладони.

— Заживёт!

Я согласился, но всё равно сказал, что имя у лодки хорошее. Он засмеялся:

— Жена моя, Надя. Каприз её был. Назови, говорит, лодку как меня, тогда выйду.

— Хорошая?

— Лодка? Сам видел.

— Жена!

— Об чём речь! Сейчас с ума сходит.

Он стащил сапоги, вылил воду и хитро посмотрел на меня:

— Хочешь, надежду покажу?

— Да.

Я подумал, что в посёлке он покажет свою жену Надежду.

— Вот!— он показал мне свои громадные ладони, величиной в три моих.

### Менталитет на корточках

Приехал в своё любимое Никольское ещё затемно. Соседка разгребает дорогу от крыльца к улице. Поздоровались.

— Слышали?— говорит она.— Мы уже не Никольское, мы уже город Балашиха.

Я даже не знал, что отвечать. Растерялся.

— Газ, свет сейчас будут дороже,— рассуждает соседка.

И вдруг я вижу, что у неё слёзы появились.

— Успокойтесь,— говорю.— Не последнее это на нас нашествие. При капитализме живём— значит, грабёж будет нарастать.

— Я не об оплате, это мы переживём,— говорит она.— У меня уже старший работает. А младший!— и тут она прямо в голос заплакала.

Я даже не знал, что и подумать.

— Извините,— сказала она.— Я объясню. Он пришёл позавчера из школы, мы все пообедали. Он вылез из-за стола, отошёл к порогу и... сел на корточки! Представляете? Сел на корточки. Вот как в Средней Азии сидят, на Кавказе. По телевизору показывают. Я говорю: «Ты что?» Он говорит: «У нас в школе все так сидят». Я вчера в школу. Перемена. И— точно. Кто бегают, а большинство сидят вдоль стен на корточках. У нас же, да это и везде так сейчас, много беженцев, а больше того— просто приехали, дома и квартиры купили. Уже есть азербайджанские классы. В нашем— из Чечни, армяне, узбеки. Русских мало. Учительница с ними бьётся-бьётся, они же плохо знают русский язык, а наши в это время сами собой, ничему не учатся. Я хотела в спецшколу младшего перевести, а там такие цены, что и на свет не останется. Я к директору: «У вас же на корточках сидят». Она: «Я тоже удивляюсь. Спрашиваю наших, говорят, что привыкли, что удобно». Тогда я говорю: «А вы что сами с ними так не сидите?»



Михаил Тарковский

## Распилыш

Главы из романа «Тойота Креста»

## От автора

Дорогие читатели! Выношу на ваш суд продолжение одной давнишней истории, которой не могу с вами не поделиться—настолько дорог мне и сам герой, и вся обстановка, в которой происходит его нелёгкая жизнь.

«Распилыш» является третьей частью книги «Тойота-Креста», две части которой многие из вас уже читали. Для тех, кому эта книга незнакома, кратко перескажу её содержание: в книге рассказывается о любви Евгения Барковца, водителя из замечательного старинного города Енисейска, и девушки Маши, очень красивой и модной представительницы того столичного мира, который так далёк от русской провинции и, тем более, от Сибири и Дальнего Востока. В «Распилыше» есть кое-какие отсылки к прошлому героев, но очень надеюсь, что они вам не помешают.

По «матчасти»: в предыдущих главах Женя долго ездил на своей любимой белой «кресте» в 90-м кузове, сейчас у него уже другая машина, за которой он приехал на Дальний Восток к своему другу на остров Кунашир.

В начале «Распилыша» Женя уже привёз этого нового «марка» с Курил во Владивосток, откуда стартует к себе в Красноярск. Напомню, что во второй части «Тойоты-Кресты» мы оставили Женю на острове Танфильева—самом дальнем острове Курильской гряды, где стоит православный крест из грубого железа и откуда отчётливо виден городок Немуро на острове Хоккайдо. Женя читает Маше по телефону стихотворение «Я стою на краю Океана».

*Михаил Тарковский*

## Глава первая

*Е. М. Барковцу*

1.

Под восточным крылом орлана  
На излёте последней строки  
Ты стоял на краю Океана  
И туманы поил с руки.

Ты стоял на краю. Стыли реки.  
Замирал океанский накат,  
Я прощался с тобой навеки,  
Мой напарник, учитель и брат.

Только дрогнуло небо: трогай!  
Ты остался на берегу.  
Я уехал твоей дорогой  
По щебёнке, желтевшей в снегу.

Облака расступились рвано...  
Мне так трудно расстаться с тобой,  
Будто я—на краю Океана  
И грохочет в висках прибой.

Будто соль оmyвает ноги,  
Будто Маша зовёт с крыльца...  
Будто нет конца у дороги,  
И у книги не будет конца.

2.

Был асфальт в снежной насечке,  
Чья-то «креста» в коричневом льду,  
Обжиг ветра, жара из печки  
И «камаз» в соляном чаду.

Был ночлег, и была дорога  
И морозные звёзды с утра,  
И щиты отсекали строго:  
Лондоко, Биракан, Архара.

Я летел в версте от Талдана  
По гребёнке дроблёных скал,  
Ты стоял на краю Океана  
И две сотни страниц не спал.

Сколько вёрст под тенью крылатой!  
Как умеешь ты им служить!  
Мой братишка и мой соглядатай,  
Постарайся меня пережить!

О тебе будут помнить дети  
И участок Хабаровск-Чита,  
И когда-нибудь в дальнем свете  
Твое имя сверкнёт с щита.

3.

О тебе говорили очи  
Синих звёзд в седой высоте,  
О тебе на исходе ночи  
Прокричал Амазар Чите.

По тебе резина, лыся,  
Шелестела сквозь ночь: «Прости...  
От Амура до Енисея  
Остаётся три дня пути».

Народится из сизых полос  
Облаков, полыней и льдин...  
И окликнет огромный голос:  
«Почему ты приехал один?

Или чем-то тебя не уважил  
Твой собрат по судьбе и рулю,  
Или новых героев нажил,  
Или я—тебя не люблю?

Или манят другие книжки,  
Или Маня уходит к Гришке,  
Или денег просит сума  
Или лира сошла с ума?»

Я ответил: «А что мне лира,  
Если это моя земля?  
Я отдам все награды мира  
За один поворот руля».

Вот Чита впереди как в чашке  
И в шершавой пыли капот...  
Я прижался к худой листвяшке.  
Сделал вдох...  
И включил поворот.

4.

Я вернулся к тебе с полдороги,  
Когда понял, что я не смогу  
Без твоей бесконечной дороги  
По щёбёнке, утопшей в снегу.

Рыжей пыли на снежной бровке  
Вымерзающий варенец...  
Даль хребта в серой штриховке.  
И заезжки жданный дворец.

И опять не сомкнутся очи.  
Тарахтит стоянка во мгле.  
(В синей туши—остаток ночи.  
Гарь под сопкой—в чернейшем угле).

В синеве пройду Магдагачи,  
(Лиственничник—в карандаше...)  
Лишь бы было светлей и богаче  
На бескрайней твоей душе!

Снова сопки берут в объятья  
И колёса бегут легко,  
И кивают названья-братья  
Архара, Биракан, Лондоко.

Вот Хабаровск с морозным чадом...  
И в солярном чаду «камаз».  
Слышишь, Жека, дождись, я рядом,  
Не закончился наш рассказ

Под восточным крылом орлана...  
Где горчей с каждым годом жить,  
И дорогу до Океана  
Извели, не успев проложить.

Перевалы, петли, уклоны,  
Обжитые с таким трудом,  
Где когда-то неслись перегоны,  
В кузовах, оперённых льдом.

5.

Океан с дождевым зарядом  
Слёг в туманное молоко.  
Слышишь, Жека, дождись я рядом.  
Это край. Ты стоишь высоко.

Это тихо проходит в жилы  
Терпеливая наша земля,  
Где цепями пилят могилы  
И не глушат зимой дизеля.

Где в апреле снега как сварка,  
И глотками морозных лет  
Леденя, течёт солярка  
В обжигающий пистолет.

Это что-то случилось с нами...  
И теперь с каждым днём больней  
Эта даль у тебя за плечами,  
Ты расскажешь мне всё о Ней?

Как ей терпится, как не спится?  
Как живётся впригляд и впотай,  
Как тревожится, как ложится,  
Так вот свесившись за Китай?

Как ей хочется быть любимой  
И единственной, как в ответ  
Лишь наката гул недробимый  
Да планет сухой пересвет.

Ты стоишь на краю Океана,  
И иначе не может быть.  
За твоею спиною рана...  
Кто-то должен её промыть.

Под огромным крылом орлана,  
У восточной его головы,  
Ты стоишь на краю Океана,  
И вот-вот разойдутся швы.

И небес полотно сырое  
Упадёт в страшный просвет...  
Мне не надо другого героя  
И да будет извечный свет

На границе седых туманов,  
На базальтовом голыше,  
На распятой меж океанов  
Необъятной твоей душе.

6.

Под восточным крылом орлана  
На камнях ледовый узор.  
Ты стоишь на краю Океана,  
Не кончается твой дозор.

Оживает в антеннах и тросах,  
Ветерка океанский ток,  
Вереницами фар раскосых  
Просыпается Владивосток.

Слышишь, Жека, ещё так рано,  
Что слышны голоса земли,  
И видна голова орлана,  
И двуглаво лежат рули

По бокам Енисея, Жека...  
Знаешь, что страшнее петли,  
Одиночество человека?  
Одиночество русской земли!

И так страшно за эту землю—  
Енисей, отпусти и прости,  
Я опять на краю, и внемлю,  
И опять в верховьях пути.

Золотишко зимнего солнышка  
Обожгло островов края...  
Сторона ты моя, сторонущка,  
Спаси Господи, люди Твоя.

7.

Ты стоишь на краю Океана  
И наверно сойдёшь с ума.  
Над Хоккайдо полоска тумана  
И полны гребешком трюма.

Всё вдали: и тайга, и кочкарник,  
Сахалин превратился в нить,  
Слышишь, Жека, я твой напарник,  
Я вернул тебя сменить.

Слышишь, дело не только в «кресте»,  
И не в Маше, ты знаешь сам,  
Божьей милостью быть на месте,  
Вместо счастья досталось нам.

Как во сне выплывает навстречу  
Главный остров моей земли...  
Поезжай домой. Я отвечу—  
И за «кресту», и за рули.

Будет пыль на фарах раскосых  
И колёс дроботок сухой,  
Скалы, мост, Селенга в торосах,  
Черемшанный голец и Танхой,

Будут гор ребристые ноги,  
И всё то, что ты мне рассказал:  
Прокочевшие были дороги  
И открытый в небо финал.

Будет небо и край Океана,  
Где отлитые на века  
Белоплечим крылом орлана  
Пролегли за край облака.

## Глава вторая

### Город

Василию Авченко

1.

— Да ну на хрен... — мертвея, отвечал Женя, зная, что как раз именно *так* всё и есть, как сказал Саня. Но будто выключили свет внутри, перевели на аварийный режим всё душевное пространство... Коридоры, отсеки, каюты... Всё померкло, и стало неловко своего дыхания, голоса. Он чуждо сидел в Санькином «прадике», постукивая отупело по приборной панели... «Прада» было особенно жаль. «Как коня...» — подумал Женя.

— Ну извини, братан, ты чо, не знал разве?

— Да знать-то знал, — Женя помолчал, — но одно дело знать, а другое, когда *дойдёт*. Это самое главное. Иногда на это целая жизнь нужна...

Выгнутый корпус плавгоспиталя «Иртыш», зимняя синяя вода под ясным небом, белая кромка вдоль берегов и город, громоздящийся ярусами зданий, антеннами, кранами... И волнение, какое бывает, когда стоишь на смертельно важном месте, и волнуешься уже не столь от этого места, сколь от того, а достоин ли сам встречи. И гадаешь, каким цветом, тоном повернётся, заговорит оно с тобой или вовсе не удостоит, смолчит или поблекнет...

Но не смолчал и не поблек город Владивосток.

По длинной бухте кормой в берег как в стойлах стояли корабли. Четыре огромных ВПК 44-ой бригады замыкал «Иртыш», больнично-белый, с красной полосой и крестами по борту. Когда-то поразивший беззащитностью, расчётом на какую-то тщетную скидку, он и теперь, как огромный бинт, выражал о войне больше, чем десяток боевых судов. Особенно выразительной была гнутость мято-ребристого корпуса, которую послушно повторяли длинные палубы. Снопы ржавчины под клюзами и у ватерлинии рыжели

и у двух белых траулеров у пирса, и у тёмно-серых БПК (больших противолодочных кораблей). Огромны и подчеркнуто грубы были их корпуса и надстройки, рубленые панели, которые глухо глядели редкими окнами.

Всегда будто спрашиваешь разрешения, уходя с родного места и опасаясь, что оно в тебе кончится раньше, чем ты в нём... С этим светлым стыдом и пошёл Женя в город, но и там плотность дорогого казалась запредельной — прижатое Океаном, оно копилось, как птица у берега. Жизненные створы эти друг другу не мешали и соседствовали с вещей простотой. Вот и на вокзальной площади немисливо буднично зарождался или кончался Трансиб, и стоял на девственно-ржавых рельсах чёрный паровоз с крашеными колёсами.

Под навесиком продавала пян-се (пухло-пряные корейские беляши) женщина в салатово-лимонном фартуке-жилете. Рядом с ней пританцовывала артисткой ли, куклой огромная красавица-украинка с табличкой «сдаю квартиры». Накрашенная, большеглазая, в пуховом платке поверх шапки, в сером пальто, облегающем стан. Сама себе улыбаясь, она пропела что-то вроде: «Охоньки, жизнь моя...» и ещё что-то говорила пянсешнице, гхакая, траля толпу торжествующе-сияющими серыми глазами, луча какую-то ослепительную опасность, что-то опережающее и непредсказуемое, куда лучше не попадать...

Стоянка у Морвокзала, ещё год назад полная машин, привезённых из Японии, была вопиюще голой, вымершей после очередного повышения пошлин. Только на площадке у причала одиноко белел «краун» — конструктор с кузовом, поднятый над шассьями.

На Корабельной набережной «С-56» стояла на крашенных ногах и поражала ножевой длиной и лезвийной остротой корпуса. И таким же длинным и режущим душу был и весь этот день, накануне которого Женя и прибыл из Южно-Курильска.

Юра, как и обещал, загрузил его с машиной на «Бурлака», и тот, будто сжался, вместо Корсакова повёз его прямо во Владивосток к его другу Сашке Николаеву. Когда Женя сообщил ему об этом, Санька радостно просипел с совещания: «Давай!» — и прислал телефонную депешку: «Рад. Жду. Встреча как положено и оркестр ТОФ».

Ошалелый после морской дороги Женя ехал на шестьдесят пятых транзитах по ледяным взывам Владивостока, празднично окружившего теснотой улиц, машинной толчей. Впереди вспыхивал стопарями и моргал поворотом белый Сашкин «праздик» с конём на зачехлённой запаске. Временами они перекликались по телефону: «Обождёшь меня у конторы? И всё — на Эгер прём». А Женя отвечал: «Нет-щас-по-девкам-ломану! Смотри какая «мицуока» глазастая! И «ниссан-президент» — во чемодан-то где!»

У Саниной квартиры на Эгершельде было трёхгранное окно, вдающееся в небо, нависающее над бухтой огромным гранёным глазом. Чёрно-синяя ночь трепетно сияла огнями, когда Женя открыл створку и видел, как вдали под горящей россыпью города шёл транспорт и огни его скользили быстро и живо (одушевлённо).

Первый вечер прошёл, как обычно — перебивая друг друга, говорили выжимками наболевшего, прощупывали друг друга на родство и согласие, зная, что затяжные разговоры ещё впереди.

— И как агрегат тебе? — спрашивал Женя.

— Твой-то? Да ничо так... «Собачатник» богатый, — оценил Саня багажник. — Не распили?

— Нет. Просто конструктор, — успел Юрка.

— Да, блин, — покачал Саня головой, — заставили народ машины пилить...

— Да не говори... Я видел пароход... Весь в половинках... (узнать как возят распилы) — Женя фыркнул и покачал головой.

— Нда... Ну ладно... Лучше о весёлом... Давай по машине: с двига начнём 115 завтра.

— И крыло.

— Короче, на Снеговую сначала, там тебе фильтра, жижи поменяют...

— Смотри, в путнее место вези, — дурил Женя, — а не к каким-нибудь маслопутам...

— Сам ты маслопут... А дальше поедem на Дальхимпром за бабайками... Тебе и твоим омулям. Как раз по дороге...

— В очкурах далёких Дальхимпрома! — заблажил Женя на мотив «Бодайбинки». — В «микрике» с японским-та бухлом — мы с тобой возьмём бабайку рома...

— А потом по трассе напролом... Только не рома, а вискаря, во-первых...

— Всё одно... а мне теперь указка — только газа чу-уткая педаль, в зеркалах останутся, как сказка, Дальзавод, Дальрыба и Даль...

— ...Даль!

— «Даль-даль» — это правильно...

— Ну, давай, брат! За тебя!

— Ково за меня?! За нас!

— За нас. Я рад, правда!

— А я-то как рад! А то как-то туго все стало...

Ты чувствуешь, брат? Как всё туговасто? Ка-ак-то всё, братишка, туговасто! — затянул Женя. — Как-то всё летит в тартарары, мы махнём по стропочке... и...

— Баста!

— И потом за водкой в очкуры! Нда... Ты лучше скажи, откуда это название взялось «очкуры»?

Саня посмотрел на Женю, как на больного.

— Очкуры они и есть очкуры.

— Очкур это вообще-то такой поясок казацкий... По Далю. Ну вроде как город опоясан всякими трущобами...

— Да какой ещё поясок? — возмущённо рыкнул Саня. — Идёт твой Даль, — помолчал и спокойно добавил, — в... даль...

— В Даль-даль...

— Даль вдаль... Это наше слово, очкуры, Владовское. Так же как и «гостинки», кстати...

Пошла их обычная перепалка:

— Ты чо гонишь? У нас всю жизнь в Красноярске эти гостинки были. Ещё скажи, «микрик» тоже что ли Владовское?

— Птрссь, — фыркнул Саня, — конечно наше... Ни-чо себе! «Микрик»!

— Да пошёл ты, знаешь куда! Микрик... Ты чо дур-рак-то такой? Наливай давай!

Саня наполнил стопки японской водкой.

— Давай, ладно! Как тебе наважка наша?

— Вопще обалденная! А корочка на ней... М-м-м...

— Причём это мы сами рыбачим... прямо напротив здесь...

— Наважка проста-а «приходи посмотреть»!

— А кальмары?

— Кальмарья такие что... запупец! Да вообще всё отлично!

— Мы завтра ещё селёдки возьмём съездим, на-стоящей нашей! А щас тебе фотографии покажу из Японии.

— Ды ты чо!

— Но. Во. Садись сюда. Так видно тебе?

— Но.

— Смотри.

— Класс. А это чо ишло за склад рыбокопковский?

— Это Акционерная компания Марукайти Суйсан. С рыбиной, видишь, какой? А вот эти скульптуры там просто стоят так, на берегу прям Океана... Вот эта мне нравится.

На берегу океана стоял огромный прямоуголь- ный брусок сине-зелёного камня с круглой дырой и лежащей в ней чёрным шаром...

— Уж точно не чёрный квардат.

— Конечно. Ну правда красиво же?

— Отлично, Сань... А дальше?

Дальше были заваленные снегом улицы с непри- вычным обилием снегоуборочных машин. Были сопки с разлапистыми слоистыми пихтами и собо- лёк на снегу с жемчужными от вспышки глазами («Это у них типа заказничка» — объяснил Саня).

Были ледяные фигуры на поселковых улочках. Был огромный густо-синий океанариум в Оки- наве с кучей рыб и тигровой акулой, фосфорно светящейся крапом, будто иллюминаторами. Был музей-тюрьма с восковыми фигурами — изобра- жалась помывка в бане — вдоль бассейна рядом, скрестив ноги, сидели тотально татуированные заключённые. Была скульптура в форме крабо- вой клешни, направленной в небо. Была медная скульптура акулы, зелёная от купороса. Были похожие на молочных поросят тунцы на полу в каком-то складе. Были виды Хоккайдо и Хонсю.

Были потрясающие фигуры из цветов и кустов. Были японские сторожевые катера.

Но главное место занимала галерея портретов Сани и его товарищей с разнообразными устри- цами, креветками и кальмарами, переложенными льдинками и пучочками зелени, такими живопис- ными и сияющими влагой, что каждое блюдо само по себе представляло самостоятельную картину.

Были официанты, натирающие на дощечке чешуйчатый корешок вассаби, крепкий и зелёный. Было океански-синее пиво «абаширское охотское», про которое Женья сказал: «Прямо незамерзайка какая-то!» И была фотография ресторанной та- блички с русской надписью: «Внимание. Прино- сить с собой и распивать алкогольные напитки запрещается». И ниже очень крупно: «Уважаемые мужчины! Во избежания неприятностей просим настоятельно соблюдать правила приличия и не дотрагивать официанток. Администрация ре- сторана».

— Ну вот так, — подытожил Саня. — Пошли к столу.

— А ты дотрагивал?

— Не понял?

— Официанток, говорю, дотрагивал?

— Закусывай давай! Я с женой был... Да и хрен на них... Но вообще они нормальные... Одна нас даже на микрике подвезла. Ну давай! На чём мы остановились?

— На микриках как раз. У Вёзового сейчас микрик, он пассажиров в Енисейск возит. Да... Ну, в общем, я конечно, согласен, что есть выражения, которые от вас пошли... Всякие там... фичи, корчи и коцки, х-хе, — Женья сморщился. — Вот и забирайте их. Но только не микрик! Микрик — это не ваше.

— Наше!

— Нет не ваше! Нда... — вдруг задумчиво сказал Женья, одной рукой держа стопку с водкой, а другой задумчиво крутя зажигалку.

— Дай сюда зажигалку! Вот так... Да нормально всё, Жек... Просто я смотрю на тебя... И настолько это в твоей манере — сначала чо-нибудь городить, собирать чо попало, а потом взять замолчать, и сказать... что-нибудь ну... такое...

— Хм... Ну да... — Женья помолчал. — Короче, ты сам попросил... Я тут думал... Знаешь вот, почему от Новисба до Южного все... говорят одинако- во? Будто это не шесть тысяч вёрст, а всего лишь один город такой... такой какой-нибудь Даль... не знаю... Сиб... Сибдальск... Который расче- крыжили, распластали по районам всем этим Ленинским, Кировским и Дзержинским и ещё хрен знает каким...

Женья потихоньку распался:

— Распилили, понимаешь, как какого-нибудь «ип- суна»... или «енота»... и набили промеж воздуха, тайги самой чахлейшей... гарей да марей... гор, сопкок... И так вот всперло, взрезало его, разва- лило хребтами, разбросало на шесть тысяч вёрст,

а хребты так и стоят острые, как лезвие и режут ветер в лоскуты-ремушки... а он, тягучий такой— снова сам с собой соединяется, как его не режь... и это мне нравится...

— Тэ-ак.— протянул Саня.— Дальше.

— А дальше, значит, этот наш с тобой Сибдальск разрезали по перекрёсткам, и раскидали со всеми теплотрассами, тэцами и гостинками на столько вёрст... Со всеми Саньками и Женьками, Оксанами и Олеськами... Нарубили, как черемшу, и только уже не камешками переложили, а целыми скальными развалами, курумными россыпями, залили воздухом этим—то морозным, то знойно-хвойным, то степным... И рассыпали чуть не до Урала... И вот когда парнишка красноярский с владовским по телефону базарит про шабашки для своего пилёного «ипсуна», то тот его сполслова понимает, потому что они хоть и чёрт знает на каком языке говорят, но на одном...—Женя помолчал.— Чёрт знает на каком, но на своём, главное...

— Хотя, слушай,— Женя заулыбался,— в каждом месте все равно свои... что ли... допуски... В Омске—у пацанвы словечко есть: «приорали», ну в смысле погудели, покуралесли, («вчера приорали так!»), а на Сахалине вообще всё шиворот-навыворот: автомат—гидромурфтой называют, конструктор—разбором, а диски колёсные—титанами... Но это всё мелочи... Главное, что меня самого куда не кинь, я увижу эти пятиэтажки, теплотрассы, шиномонтажки—и узнаю, потому что это всё моё. И это мне помогает дома быть хоть где... И вот выходит с одной стороны—я огромный, как Транссиб, а с другой,—Женю потихоньку начинало срубать с дороги, но ему было жалко засыпать и он, бодрясь стопарями, уже покачивался, чертил указательным пальцем и ворочал языком все труднее.

- .....
1. *Сунька*—Вот что пишет про Суньку Василий Авченко в своём «Глобусе Владивостока»: «Сунька—соседний китайский городок Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян, куда все ездят поесть, попить и приобрести штаны. У Владивостока есть множество формальных городов-побратимов, отношения с которыми исчерпываются сугубо протокольными связями; Сунька же—не формальный, зато настоящий побратим Владивостока, до которого далеко всем остальным Аkitам, Ниигатам, Сан-Диего, Такомам и Пусанам.

Сунька—наше «ближнее зарубежье» в отличие от дальнего: Украины, Белоруссии, Москвы. Каждый уважающий себя суньковский китаец говорит и ругается по-русски. Суйфэньхэ—гигантский рынок, где можно затариться любым ширпотребом, постричься-помыться-развлечься, вдоволь попить отличного копеечного пива с экзотическими фруктами и т. д. До начала 90-х, пока на сопредельную территорию не хлынул мо гучий поток российских челноков, Сунька была заштатной пограничной деревушкой».

— А с другой... я наоборот, мелкий, как щ-щ-щебёнка, серый можно сказать, как гравий, как... э-э-э гравельный закосок... Как блок от панельной пятиэтажки... И в том моя сила... Я подробный, как щебёнка, но... покладистей ребёнка! Ха-ха! Действительно иногда хочется покласть... на всё...

Саня смотрел на Женю с терпеливым теплом, отваясь на спинку диванчика и держа в откинутой руке чуть склонённую стопку:

— Ну?

— Не нукай—не запрягал... Вот меня японцы, кстати бы, поняли... Ты заметил—у них этих нет... ну,—он вытянув руку вверх ладонью и поболтал, как ластой, прося подсказки,—ну как их... ну этих... Пе-пе-пе!—капризно передразнил он кого-то.

— О: гениев! Гениев нет! Не-а. Бесполезно. Не принято рыло высовывать, они-то знают, в чём сила... Знаешь в чём? Хе-ге... В плече. В плече-е-е, брат,—Женя встал со стопкой и жамкнул Саню за плечо пятернёй.

— А-а-а... эти з-западушники...—Женя презрительно махнул рукой.—Якалы. Всё проякали уже... — Не понял.

Женя сел:

— Вот и я не понял: мы-то какого хрена туда лезем?! И я так скажу—вы лезьте, но без меня. И более того, мне как русскому человеку... ага... ближе японцы, чем якалы, считающие себя христианами... Я даже с батюшкой поспорил... Он, правда, наругал меня, конечно... И правильно, кстати, сделал... Нас надо ругать... Но мне всё равно... они ближе... иногда... И знаешь чем—смирением. И потому, братан, мне германские тачки не нравятся, хоть они и зверёвей... и напористей... и как-то накопечыженной... И имена у них в цифрах... А я цифру не уважаю... Я слово люблю. А оно,—Женя поднял палец,—в начале было...

— Монолог Евгения из пьесы «Распилиш»!

— Ну давай! Хорош греть.

— Давай. И вообще—хорош, завтра рулить с утра. И так вон целую бабайку... приорали.

— Мы-и зато не кур-рим папи-роса-ак! И-и-и-э не р-ревём по про-ошлomu навзрыд...—взревел напоследок Женя.

— Я с утра как гравельный закосок. Буду и п... п... причёсен, и умыт!

— Причёсен,—передразнил Саня,—уже лыка не вяжет... Спать ложись, закосок...

## 2.

С утра белый «блит» стоял опутанный шлангами в гараже на Снеговой. Ему мерили давление, меняли жижи и он стоял, как лошадь под дождём, тихо набираясь сил. Купили масла, антифриза, какой-то океанской синевы незамерзайку в рыхло вздрагивающей бутылки. Женя удовлетворённо возился с канистрами, напевая:

— Та-дари-дара-дари-дарада...

— Слышь, дарада... Ходовку наверно сегодня не успеем, — говорил Саня, — на завтра тогда. А я по делам поеду, давай, короче, сам... и звони. Если чо.

— Если чо, я сам тебя добуду, — сказал Женя и запел:

А пока шарашься по делам,  
Разную дорожную приблуду  
Я смогу купить себе и сам:

Свечи, трос, ключи и пассатижи,  
И незамерзайку посиней...  
Видно я и сам меняю жижи,  
Становлюсь и чище, и сильней!

— И походишь сильно на свиней! Заколебал... Посерьёзней будь маленько... Сёдни ещё Галя из Суньки<sup>1</sup> приезжает... Мне встречать её...

— Ма-не ишшо!.. — крикнул было Женя и осёкся под тяжким взглядом Сани. — Молнию надо на куртке поменять.

— На рынок езжай...

— Я рвану на рынок к китаёзам, — не выдержал Женя, — сяду в серебристый «одиссей»...

— Пусть они тебя привалят тёсом. И к хренам везут на Енисей! — в сердцах крикнул Саша и уехал.

До рынка Женя, экономя, долго добирался на автобусах. Рынок был насквозь китайским, но после попытки борьбы с китайским засильем бригадирили в нём подставные и редкие русские тётки. У одной из них Женя и спросил, можно ли здесь поменять молнию на куртке. Та мгновенно позвонила:

— Таня, беги-ка сюда! Щас. Подождите... Или вон идите потихоньку... туда вот... Во-он... она идёт...

Навстречу по проходу меж прилавков бежала неуклюже одетая китайка. Она махала рукой.

— Я Таня... Моланию надо? Подём.

Они прошли в закуток, где Женя снял куртку и, поёживаясь, глядел как Таня нахраписто вытряхивает пакет, как роется, подбирает замок, в котором и оказалось дело. И как, заменив «сабатьку», подгибает её пассатижами, а потом подшивает снизу белыми нитками и остяцкими, избыточными движениями откусывает зубами нитку:

— Сё. Парарадалоста.

— Сколько с меня?

— Торорублей.

— Увас всё торорублей, по-моёму. Спасибо, Танюх.

— Париходите!

Потом Женя почувствовав, что опаздывает, стал ловить машину, которая как назло не ловилась, потому что на улицах царила пробка и всем было или некогда, или не с руки. Наконец остановилась раздолбанная белая «гайка» — есть такой очень жизненный японский минивэнец с длинно-прямоугольными, гранёно выступающими задними фонарями, белыми и будто взятыми изморозью. «Гайка» была характерного костяного

цвета, который бывает у ушатанных японских «беляшей», хлебнувших русской доли.

Водитель, мужичок с напряжённым лицом, было отказался, но, услышав цену, согласился:

— Ну, садись. Вперёд только...

Его звали Сергеем. Тусклая щетинка повторяла складки усталого и напряжённого лица, истощавшего застарелую горечь и неудачу. Машина была завалена картонными коробками, полными парафинных праздничных свечек: мишек, белочек, снегурочек, матрёшек... Сергей долгое время их благополучно производил, но произошёл какой-то обвал с долгами и кредитами, навалились налоги и кризис, и мишки эти спасительные вдруг перестали продаваться. Нарушилась каждодневным напрягом выстроенная цепочка. А семья требовала расходов, да ещё рассчитываться за стройку подошло время — всё и покатилося...

— А у тебя в Красноярске никому не нужны свечки эти? Смотри какие... вон матрёшки... Спроси, ладно?

Иссушенный своей заботой, он ни о чём другом не мог говорить. Впервые Женя видел такую сосредоточенность на своём недуге. Несколько раз Сергей пытался поинтересоваться Женей, но сам же и не справился — настолько был в своём горе...

— А занять у знакомых?

— Да у всех, у кого можно, уже перезанимал, тут же знаешь, как это все трудно... У этого брал, у того просил, тому сам не дал. Не жизнь, одни взаимозачёты...

Впечатлительный и ответственный мужик так устал, что на него страшно было смотреть, да и борьба шла уже роковая — кто кого...

— Ты главное не пей, — сказал Женя.

— Да я даже пить не могу! — вскричал Сергей. — В чём и дело-то. Спать не могу... Просыпаюсь — и хоть... Ничего не могу... О-о-ох... Да ладно, справлюсь... Первый раз что ль?

— В храм сходи...

— Да надо... а не умею как-то...

Кто-то ему позвонил, и он с тем же пересохшим и привычным раздражением отвечал измученными словами, что мол, нет, сейчас не могу, ты же знаешь, что у меня тут творится... И привычность, с которой он научился объяснять окружающим свою болезнь, резала душу. Подъезжали к гаражам, и, ожидая, что Женя выйдет, Сергей уже сидел, отсутствуя, и обречённо настраивался на неравную и одинокую свою борьбу.

— Ладно, давай, — сказал он, темно и измождённо прикрывая глаза. Чувствовалось, что беда не только в нём самом, а и в окружающей жизни, тяжесть которой он острее других ощущает. И что очаг этой тяжести почему-то оказался именно в нём.

Вскоре в мастерскую подъехал Саня, и они отправились на Котельникова готовить ходовку. Заехали вверх по ледяному бугру к гаражам,

загнали машину к механику с иссиня-стальными руками и лицом в таком чёрном кряпе, что казалось, его обстреляли мельчайшим шлаком. Работал он с двумя сыновьями. Ездили они на двух белых «крестах».

Потом заехали на проспект Красоты, и стояли над городом в одном из самых красивых освещений, которое бывает в ясную погоду, когда синева касается абсолютно всего — и неба, и воды, и льда и грубого снега под ногами в твёрдой ёлочке от чьих-то скатов. Потом Саша провёз его на площадку над фуникулёром, которая была ещё выше, а даль с неё казалась ещё синей и стеклянной.

Снова стоял Евгений, заворожённый плотностью и многослойностью картины, и в который раз переживал поразительную близость домов и кораблей. С полётной высоты этой были явлены с топографической щедростью и мысы, и острова, и океанские прозоры. Пласты воды, проложенные причудливыми изгибами суши, послушно и густо повторял город. Плавгоспиталь был скрыт, только корма виднелась за серыми корпусами БПК. Полностью был виден крайний боевой корабль, похожий на огромную стрелу, это был «Адмирал Виноградов», бортовой номер 572.

— Хорошо вот так вот сверху смотреть, да? Сразу видишь всё, что любишь, и оно ещё понятней становится, ага? Такая карта...

— Ну.

— Я вот Влад твой, вернее наш, люблю как раз за то, что здесь как на карте всё видно... Жалко только, что когда вниз съезжаешь, пропадает многое... Не всё, конечно... Чо, поедем? Ты меня это... на Морвокзал отвезёшь потом?

— А чо?

— Да поброжу...

По дороге Женя не уставал дивиться городу — центральным улицам, стройным и столичным, с любовью и достоинством отстроенным на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Этим странным домам модерн в оранжевых завитушках, будто из средней полосы перемахнувших морозную и неподъёмную Сибирь. И прижившихся в здешних тепле и влаге, и растущих себе, как в Питере, не вымерзая.

Текли по крутым улицам белоснежно-серебристые реки, ветвясь протоками, сливаясь и перестраиваясь, вспыхивая длинными стопарями, драконьими глазами. Проплывали раскосые фары, загибающиеся на крылья, зеркальца-баклажаны на тугой лапке. Обязательно попадался какой-нибудь турбовый «марк» без бампера с обнажённым квадратным радиатором почти до полу и с бивнеобразными патрубками. Протарахтел дизельком фургончик «ТигРос. Питьевая вода», пикап «мазда-марви» «Эгершельд. Аварийная», бело-синяя патрульная «креста». Глазастая под старину «мицубука».

— Слушай, я до сих пор в чувство придти не могу...

— Чо ещё такое?

— Да не. Так-то всё нормально. Просто я поразился вчера, когда твои фотографии смотрел...

— В смысле?

— Ну просто первая мысль была: откуда там... наши машины? Понимаешь? Ведь я целую жизнь с ними прожил... ну? С этими не знаю... зверями, существами какими-то непонятными с раскосыми фарами... Сан, ну ты подумай: разве какому-нибудь перегону с Запада, с какого-нибудь Выборга, в голову пришло бы так одушевить эти все «опеля»-«фольксвагены», как мы... Их одушевили?!

— «Карины»-«марины»?

— Но. «Кресты»-«мажесты»... Мне кажется на это только очарованная дальневосточно-сибирская душа способна...

И Женя снова вспомил фотографии, где на заснеженном хоккайдском перекрёстке стояли со странными номерами знакомые до сердечной дрожи братья: грузовичок «ниссан-атлас», колхозный универсал «ниссан-ад», микрик «хонда-степ-вагон», рысистый молодёжник «хонда-торнео», шмопсик «ниссан-марч», всепролазная «дэлика», знакомая «тойота-гайа» и белая «креста» в 90-м кузове.

— Знаешь, я на них посмотрел... И подумал: да причём тут эти иероглифы, эта Марукайти Суйсан... Ведь ещё чуть-чуть... и они оживут... И из «атласа» вылезет... замученный налогами хозяин магазинчика рыбьих кормов с рынка, из «степа-на» — Ванька Колбасинский с тремя пацанами, из «аццкого», гружёного свинными ногами, деревенский работяга, из «торнухи» — студентик, а из «смарчка» — милая такая девчонка с дочкой...

— А из «дэлики»? — пытал Саня Женю.

— А из «дэлики», сверкающей, чёрной, необыкновенно дутой и высокой, с лесенкой на задке, с «ксенькой» на крыше и кучей зеркал — знаешь кто? Никогда не догадаешься. Бородатые староверы с Индыгина — Нестор Давыдов с братом Корнелием... Вот так вот! И... что там ещё у нас?

— «Гайка».

— Точно. Да... А из ушатанной «гайки» — несчастный коммерс с мишками и матрёшками — я тебе вот рассказывал... Помнишь?

— Помню...

— А... — сказал Женя и вдруг замер, и стало очень тихо. И в машине, и на улице, и казалось на всём пространстве от острова Танфильева до Батюшки-Енисея... И тишина всё разрасталась и набирала силу, пока Саня не спросил тоже совсем тихо:

— А из белой «кресты»?

А Жека как-то неловко сплотнул и отвернулся. А потом рывкнул:

— Мы на Морвокзал-то поедем?

— Поедем, — сказал Саня, и прижавшись к бровке, с силой воткнул «паркинг» и включил аварийку.



Он заговорил негромким сосредоточенным голосом, который Женя слышал у него считанные разы:

— Ты знаешь, прости меня, Женьк, а? За этих «свиней»... Я чо попало сказал... и резко так... и переживаю... Тёс этот ещё приплёл... угораздило же вывезти такое... Ты это, поедешь, будь осторожней, я тебя прошу... Именно потому, что ты уж собаку съел на этой трассе. И извини, я неправ был... Правда.

— Да ты сдурел, Санька! Ну что ты городишь, совсем охренел! Мне вообще надо было по башке настучать и уши все оболтать...

— Да твою башку дурацкую надо охранять... от всего, от водки... от баб этих осатаневших... Ты же так хорошо... спел... про жижи... Утром на Снеговой... Я целый день повторяю...

— Вот и ладно... И не ел я собаку никакую...

— Нет ел... И как всегда добавки требовал... Слушай. Я вот всё хочу спросить... А Машка-то как?

— Да как-как? Звонил тут. И вроде ещё звонить надо, а мне, представляешь, сказать нечего. Первый раз такое... Видно у нас с ней время вышло... говорилова... А жизнь идёт... И ладно бы только моя,—Женя вздохнул.—А я правда другим стал за эти дни... И как раз насчёт жиж: их же вместе менять надо... а иначе все бессмысленно. Хотя я тот ещё... маслопут...

— Да ладно. Она сама не сахар.

— Сахар не сахар... А про запас не. При. Ныкаешь... Я и мысли эти давно оставил... Нда... Я оставил мысли о запасе... Знаешь, не по душе они мне как-то...—задумчиво проговорил Женя и вдруг взвыл:

Я оставил мысли о запасе,  
Мне они давно не по душе:  
Если я и ел собак на трассе—  
То только лишь в корейском беляше!

### 3.

Стояли на светофоре на въезде на Океанский. Впереди фронтом построились белые «креста», «чайзер» и «марк», все в «сотом» кузове:

— Смотри, выстроились... троечкой... как специально.

— «Чайник»<sup>2</sup> в тему коренным встал...

— Да у него и пристяжка подходящая.

— Как прощаются...

— В смысле?

— Да всё, Жека. Правый руль прикончат.

Женя промолчал. Саня с досадой махнул рукой:

— Да и чо руль! Они всё прикончат.

— Саш, всё не так просто прикончить... Земля, она тепло медленно отдаёт... очень медленно... Я это чувствую, и особенно сильно здесь, на краю. Почему я сюда и стремлюсь... Просто тут всё как-то обострено до предела... И мне это нужно... Оно питает...

Саня отрезал:

— Отпитало.

— Да лан те.

— Да чо ладно-то? Ты совсем припрутел там в Сибири? Вот смотри,—Саня, проворно зыркнув по зеркалам, повернул направо,—ещё недавно, какие-то лет...надцать назад, помнишь, когда ты первый раз приехал, всё по-другому было...

И не то, что мы моложе были, и в каком-то упорении пребывали, а ещё была надежда... Большая такая надежда... Что несмотря на брошенность, *мы выживем своими силами, своими соками...* Но только—если не мешать. *Не. Ме. Шать. Хотя бы...* И потому как раз в этой брошенности своя даже сила была... Мне правда казалось, Женьк, что мы, ну кто по эту сторону Урала живёт—что мы это действительно *большая часть* страны и самая главная... Мощная, зовущая, и что мы можем ту, остальную Рассеюшку, тёплую и домашнюю, ну если не научить чему-то, то хоть заразить этим зовом... что ли... Потому что живём мы, ну... не то что правильно, но как ты сказал утром: чисто и сильно... Именно поэтому здесь всегда столько людей оставалось... Которым хотелось быть, как твои «океаны, горы и тайга», такими же настоящими... Потому что для нас главное не деньги, а дело, от которого наша земля лучше становится... А теперь, видишь, чо творится... Видишь?

— Но.

— И ты чо, не понял?—уставился на него Саня.

— Чо не понял?

— Чо не понял? А то, что эту карту твою любимую, про которую ты тут столько говорил, что её сворачивают в рулон, обратно сворачивают, как скатерть, бляха-муха... Со всеми крошками, с пятнами... от нашей с тобой ухи... А мы только дух перевели, закусить присели. А её сворачивают...

— Да не просто чувствую—чую... Только я верю в жизненную силу, во-первых, Русской земли, в поросль человечью, которую сколь не гноби, а она всё лезет и лезет... под нож... знаешь, как черемша весной на бугорке в ельнике, стрелками... острыми... и нежными такими стилетиками... Да... И в то, что Господь Бог наш Россию не оставит... И что молиться надо... И храмы строить... И столбить, столбить, столбить,—Женя помолчал.

— Ну вот так как-то... Как-то так, братан...—сказал он, повернувшись к Сане и будто извиняясь и сам себе дивясь, пожал плечами и трезво добавил,—ну мы поедem на Морвокзал-то? Ты обещал.

Было всё: и морвокзал, и плавгоспиталь «Иртыш», и противолодочные корабли, и очкуры с бабайками, а вечером на Эгершельде вспоминалось утро и этот огромный день в их городе Владивостоке на берегу Тихого Океана. Как плыл перед глазами Океанский проспект с «мажестами»

.....  
2. «Чайник»—молодёжное название «тойоты-чайзер».

и «сафарями», и они о чём-то всё спорили, пока Саня вдруг не сказал:

— Ты вот цифры не любишь... А ты знаешь, что нас с этой стороны Урала... не больше двадцати миллионов осталось? Всего-то навсего... Полторы Москвы... с очкурами... А народ всё валит и валит отсюда.

И Женя мертвел обесточенным сердцем и барабанил по «прадговской» панели. Потом они ещё долго ехали, долго стояли на повороте. И рядом сизый «сурфовский» бок с двугранным «баклажанным» крупно дрожал оторванным углом бампера. А потом молчали, и Женя смотрел на улицы, пока не сказал:

— Но всё равно, Сань, давай... на Морвокзал... Мы же из-за этого... не повернём...

— Мы вообще не повернём... — медленно сказал Саня.

## Глава третья

### Поезд номер восемь

С Сашкой они по-настоящему задружились уже после учёбы в Новосибирске, кратко-неудачной для Жени, но на всю жизнь одарившей товарищами. А сблизила их поездка Жени во Владивосток за первой машиной.

Морозным красноярским утром Четыре-Вэ-Дэ посадил Женю в поезд №8 «Новосибирск-Владивосток». Со снежным скрипом повернулось колесо квадратного «карибаса»<sup>3</sup> возле рубленого домишки в Покровке. По деревенско-белой Турханской выехали на Шахтёров, где уже было полно машин, и они казались особенно хрупкими от мороза, и уже влажно оживали изнутри. Деревья по всему городу покрывала белая пудра от парящего Енисея. Поднималось мутно-рыжее солнце, и с высоты хорошо было видно горы за Енисеем. Они стояли как сизые двери. На восток дальше Берёзовки Женя не заезжал.

Поезд уже подошёл. Удвери парень с сигаретой что-то рассказывал проводнице, а она, постукивая валенком о валенок, таинственно улыбалась куда-то вдаль. Вэдовый поднялся вместе с Женей в жаркий и тесный вагон, в щазу полук, где они шли по проходу, как по срезу, и перегородки покадрово отсекали куски уретой дорожной жизни. Вот и они добрались до своего отсека, вдвинули в горку кульков на столе свой пай остроты и густоты: банки с помидорно-чесночными горлодёрами работы матушки Вэдового, венегрет в банке, черемшу, провернутую с салом.

И было как обычно: критически-напутственный вид провожающего, будто бы такого умудрённого

по сравнению с пассажиром, непутёвого уже самим фактом отъезда. И нарочитое громкое «здрассте», и «вот вам попутчик, берегите», и «да всё путём будет», и «ну, пошли постоим», и прощальное топтание у вагона...

— Ну давай, Жека, — говорил Вэдэ, и взглянув на мужиков в шортах и тапочках, бегущих с пивом по морозно-седому низкому перрону, покачал головой. — Т-т-е, перегоны... дают шороху!.. В сланцах... по-хрен-мороз, колосники по ходу крепко горят.

Сланцами он называл пластиковые тапки.

— Это чо, перегоны всё?

— Но. Их щас битком поезд будет. — как о природном явлении, вроде хода оленя, пояснил Вэдэ. — Ладно, Жека. Короче, ты всё понял. Да?

Женя кивнул.

— И смотри — не вздумай сам гнать. В сетку поставь и ерундой не занимайся.

— Я чо совсем трёкнутый? — возмущённо отвечал Женя. — Вэдик, ты чо такой-то? Я тебе говорю, Виталия за воровайкой поедет, вместе, если чо, попрём, или в кузов к себе поставит, а соляру пополам... — Ну вот это по уму было бы...

— Но. А гнать — я чо, совсем на дурака похож?

Вэдэ продолжал, будто не слыша:

— Ты, во-первых, дороги не знаешь, да и нахлобучат где-нибудь, концов не найдёшь...

— Да ясно-понятно, не кипи... Посмотрим... На крайняк к перегонам каким-нибудь прибьюсь, толпой лучше...

— Я тебе прибьюсь. Даже не думай. Они, во-первых, несутся как сумасшедшие... — у Вэди после «во-первых» никогда не бывало «во-вторых». — Один тут улётел под Тайшетом. Тачка — вхлам, ногу болгаркой выпиливали. А в оконцовке... на протезе теперь ползает... Живой хоть...

Вэдэ сделал паузу:

— И документы смотри чтоб чеснок... А там в сетку поставишь, на паровоз сядешь, и пивчишко похлёбывай, — Вэдэ потеплел. — Там омулей продают в Слюдянке копчёных... Он правда мелкий против нашего, совсем селёдка... Но на безрыбье сойдёт. Ну давай, отзвонись, приедешь. И аккуратней... Не святись сильно... особенно в оконцовке...

— Заколебал оконцовкой... Ну всё. Давай! Из Владика позвоню, — по-свойски бросил Женя, словно панибратское словечко «Владик» придавало ему особой бывалости.

Поезд тронулся незаметно и плавно, словно Женин долгожданный отъезд жизнь старалась обустроить с особой чуткостью, и как можно аккуратней несла Женю, оберегая от будущего и стараясь подольше выстоять в прошлом.

Его полка была верхняя правая. Взгромоздившись на неё, Женя лёг набок и в нагрудном кармане рубахи ощупал деньги, отвисающие шатким брусом. Основную часть он должен был снять

3. «Карибас» — автомобиль «тойота-спринтёр-кариб», полноприводной малолитражный универсал, очень удобный в хозяйстве. Родной брат «короллы».

во Владивостоке, а нехватавшее пришлось занять у Вэдового и везти с собой. Цель путешествия он скрывал от попутчиков и был в двойственном положении, потому что от вопросов его так и распирало.

На полке напротив обитал перегон из Приморья Миха — крепкий малый с круглой коротко стриженной башкой, лёгкой щетинкой и тёмно-серыми глазами, странно неподвижными и внимательными. Была на нём спортивная майка и цветастые по колено шорты — ситцевые, трусовидные, ярко-синие с какими-то кубами и пальмами — такой наряд хорошо спал от вагонной жары. Правда, вскоре что-то сломалось в электрообогреве, и ехали «на лопате», как доложила Ируся-Колокольчик, словоохотливая проводница. Жара усложняла хранение денег — скрывая карманы, сидеть приходилось в дополнительной кофте.

Миха то и дело обходил вагон, заглядывал в разные компании. Вернувшись, он внимательно глянув на Женю, предложил: «Чо, может забушаем?» Женя отказался, и снова ощупал деньги. Потом Миня по-свойски забалаболит с проводницей, потом снова куда-то ушёл.

Сейчас он временно лежал на полке и переговаривался с парнишкой-бурятом по имени Цырен, сидевшим под Женей. Напротив Цырена, не выбираясь из-под одеяла, мучила (осаждала) кроссворд полная женщина — и низ, и верх отсека был забит её клетчатыми баулами.

Женя вздремнул, потом попытался читать книгу, новый роман Данилыча о блуждающей столице, который так и назывался — «Столица». Дескать, устранить разрыв между Россией и столицей можно раз в пятилетие, перенося её из региона в регион, чтоб «жирела» по-очереди то Пермь, то Магадан, то Хабаровск.

Задумка казалась Жене довольно расхожей, если б не один поворот: чиновники не собирались жить ни в Барнауле, ни в Южно-Сахалинске, и при перемещениях Столицы, вместо того, чтоб обулаивать благополучие на местах, тараканами драли в тёплые края. Так продолжалось, пока Столица не спятила и, разгневанная, заскрежетав мостами и вокзалами, не попёрла в преслед бестыдников. Так и грохотала она по горам-болотам, будто в страшном сне. А «тепложопое» руководство, удрав за границу, сыто зырило из-за моря, как в бессильном негодовании металась она по берегу.

Ещё Жене нравилось, что Данилыч бережно вынес Красноярск из списка городов временного постоя Столицы, несмотря на то, что он как нельзя для этого подходил. Уснул Женя на третьей главе.

Первые сутки, включая совсем раннее утро в Иркутске, Женя пережил в расслабленном полусне и очнулся на подступах к Байкалу. Быстро синело окно, и вскоре, поджав серую смесь сараюх и берёзок, приблизился и встал впритык меловой провал Байкала и так и лежал, опуская детали

и уходя дымочкой, задумчивым снежным мороком. Дорога шла, притёртая горой к берегу, и неслись полузанесённые камни, намятый лёд... И видна была в повороте голова состава, огибающая скалу.

Женя смотрел, вбирая пространство, заполняя душевные пазухи, и все искал глазами трассу, не понимая, где она может лепиться. И снова простиралась безответная млечность слева, и вздымался крутой склон справа. Потом справа приблизилось начало Хамар-Дабана с сопкой, бездушно пробри-той под ЛЭП. Потом поезд шёл вдоль Селенги, и в окно плоско виднелся один берег, а хотелось увидеть одновременно оба, чтоб ощутить простор, стать под его тягу. Показались два моста, и дорога, будто сжалась над Женей, огромной рукой выбросила поезд на прозор. Сквозь рябь мостовых ферм, мощно развернувшись, открылась огромная река в торосных стрелках и просторных горных берегах с редким забайкальским соснячком по склонам — крапом чахлах кронок под струнным частоклом ног. На этой картине облик знакомой Сибири кончился. Подъезжали к Улан-Удэ.

Миха, лёжа на полке, объяснял Жене дорогу, каждый час, который был полон особого напряжённого существования, чутунно связанного с вползанием поезда на каменную плоть, в чёрно-белые сопчатые гряды. Миха разжёвывал дорогу, как ученику, сам, восхищаясь и недоумевая от огромности пути:

— Вот смотри: шас Улан. Потом целые сутки будем Читинскую область ехать, хе-хе, потом Амурку целые сутки, — Миня обстоятельно загибал пальцы, глядя внимательными тёмными глазами, — потом Хабаровск, потом я сойду ночью, а вы утром только приедете. Вот так... А вообще, мне нравится поезд... Отдыхаешь. Едешь, с людьми ну... общаешься. Интересно...

После стоянки снова был стук колёс и Женя, не успев обжить бурятские названия Танхой, Тимлюй, Унгуркуй, уже въезжал в Читинскую область и снова говорили с ним на своём сухом и калёном языке имена: Петровский Завод, Хилок, Шилка, и Женя немел, не ожидая от Забайкалья такой завораживающей силы.

Тянулись полуголые сопки, и этот неожиданный нетаёжный соснячок только подчёркивал своей чухлостью непосильную тайну этих мест... И вот уже карандашник даурской лиственницы косо взмыл по линии склона, и снова подъёмы, повороты, и только теперь Женя начал понимать, почему целых пять суток идёт поезд до Владивостока.

— Да разве это тайга? Мужики, да разве это лес! Вот у нас в Кемерове, — удивлялся Костя, округлый малый с диковатым лицом и цепаком на шее, быстро оказавшийся общительным и порывисто-душевным.

Вдруг Цырен, говоривший очень мало и всё по делу, бросил задумчиво и зачарованно: «Вон...

трасса», и что в Жене что-то вздрогнуло, прострелило, настолько с большой буквы произнесено было это слово. И показалось всё: и поезд, и пассажиры существовали только ради этой узенькой полоски, которая тянулась независимой лентой, и временно примкнув, невзрачно и отрешённо пролежала рядом.

Он увидел возле павильончика какое-то праздничное нагромождение, что-то яхтово-яркое, белое с розовым, с сине-зелёным. Это стояли перегоны: две воровайки с легковухами в кузове. И снова Женья представил обратный путь на машине и прошло молниями от кончиков пальцев до самого нутра.

Замирая, вбирал, впитывал Женья Восток Сибири. Удивительно раскатывалось и поселялось в сердце пространство, долгожданным раствором ложась на гудкую душевную арматуру и застывая пожизненно. И он и сам не ожидал, что в нём столько места. И оседал вглубь таинственный, в мечтах брезживший, книжно-песенный образ Забайкалья, и на его месте вставал новый—позимнему будничней, серо-белый, графичный и от этого ещё более непостижимый.

Поражала прилепленность посёлков к Транссибу, стадная понятливость, с какой жались домишки и дома к чугунке, ради неё и появившись среди полуголых сопок. Непостижимо сочетался с ними узкий и шаткий коридор поезда со спящими людьми, с ходящими ходуном мёрзлыми стыками. Казалось, он так и тянется, продолжая город, жилым тоннелем на тысячи вёрст.

Уграницы с Амурской областью ещё усилилась власть земли, и начали сочиться сквозь стены полные грозной силы названия: Могоча, Амазар, Талдан, Гонжа, Магдагачи. Особенно ошеломило Женью слово Амазар, которое вдруг заповторяли попутчики—насколько оно показалось созвучным и этим местам, и этому поезду, шатающемуся на морозе. И этим, пропитанным расстояниями, неунывающим парням, для которых поезд был временной передышкой, поводом для узнавания, открытия людей. И тому, как вообще такие мужики умеют жить в поезде, пароходе, больничной палате—в любом общежитии, да так, что кажется, это их главная жизнь. Что будто они только и ждали, чтоб оказаться в привычной жилой тесноте.

Все бродили из купе в купе, будто хотели ощутить поезд и дорогу с разных точек. Стоило замаячить, нависнуть меж полок, прислушаться к разговору, мужики сразу подвигались: «Садись»...

Кроме перегонов были ещё и просто парни из Иркутска, ехавшие себе за машинами. Они отличались от перегонов большей, что ли, светскостью. Суждения их были Жене ближе—они говорили о машинах как о живых существах, а перегонов больше интересовала экономика. Миша не подержал Жениного интереса к моделям и кузовам,

зато чётко сказал, сколько денег идёт на бензин, питание, где и как он ночует, коснулся износа резины, назвав её «резей», и отозвался презрительно о пробежных машинах:

— Вот тебе напротив площадка, и там пожалуйста—пробежка!

Только годы спустя Женья понял, насколько наивным казалось всё это упоение, связанное с перегоном: тогда эта, ещё входящая в силу жизнь казалась началом чего-то огромного, природно-мощного, неподвластного ничьей воле...

И снова перед газетой с распатроненными омулями сидели с поллитровыми банками пива Костя, Вовчик из Минусинска, Миха и Женья. Цырен не пил и не балагурил, но оставался в общем поле и то негромко переговаривался с Миней, то вёл сдержанный диалог с мешочницей:

— «Мистралья»-то взяли?

— Нет. «Сурфá».

— «Сурф»—это конь.

— Да... Ну парни, конечно это не лес,—в который раз говорил Костя, кивая на сопки с лиловым березнячком горельника,—вот у нас кедрина—в обхват, да ково в обхват, считай в три,—он прикинул,—но, в три верных. Да там и кипит всё: козы, рысы вон, косолапые—рёв токо стоит... Пчёлы всякие... Х-хе—Костян усмехнулся.

— У меня дядька, ну... любит эту всю тайгу... я-то так, не особо... а он любит—у него там зимовья два штуки... Или даже три. Молодец—хрен ли баить.—Костя спустил золотую шкурку с омулька, отлепил розоватый ремешок мякоти и, отправив в рот, отпил из банки.

— Короче, летом пошёл в тайгу что-то там делать, избушки перекрывать ли... не знаю ч-чо,—его «чо» отлетало особенно хлёстко, копытно.

— Там, короче, ручей надо перейти, а за ним уже избушка. Ну а дожди лили капитальные и водичку-то и взвели в ручье... Ну дядя Лёня перебрёл кое-как и в избушку, печку натурил, давай переодеваться. У печки как раз штаны запасные на гвозде висят. Ага... Мокрые снял... повешал... Эти напялил,—Костя замедлил рассказ, округлил глаза, оглядел всех, готовя,—а там, парни: осы гнездо свили. От такущее...

Костя зарёб воздух:

— Короче, не знаю, сколь он кругов вокруг зимовья этого нарезал и сколько времени в ручье просидел... пока... (народ медленно оплывал от смеха) гузно своё вымачивал...—(все уже катались)—осами ско... ха-ха-ха... скоцанное...

— Короче.—продолжил Костя, переведа дух.—Ну всё. Успокоился. Пока бегал, думает, штаны хоть высохли—что-то хоть путнее... за день... В избушку приходит, и за штаны за сухие... А он пока бегал-то, остальные осы вернулись и в штаны набились... в другие уже... А он их цопэ и надел! На старые дрожжы...

Мужики снова полегли, а Костя, опустив глаза, хлебнул пивка. Пошли ещё истории:

— А у меня кореш был, он петуха плясать учил: сковородку нагреет, на неё петуха поставит и музон врубит, тот прыгает, ходули по переменке задирает, ну и приучил, что он потом уже без сковородки—под одно радио такой балет выписывал!

— А у нас в Енисейске таксист один есть, Валера,—подхватил петушиную тему Женя, и мужики испытующе повернулись к нему,—короче ехал по осени с Красноярска. А глухари по осени, ну, когда утренник хороший, вылетают галку клевать на дорогу, там же щёбёнка по краю... Ну и зимой посыпают от гололёда... Ага... Короче, здорового петуха сшиб...

— Да ты чо!

— Но. В багажник кидь его. У него как раз «спринт» был, полторушка,—будто в скобочках добавил Женя,—ну, короче, залабазил, хе-хе, жену-то охота удивить. Едет, всё чики-брики... Приезжает довольный такой. Воды, говорит, ставь «каструлю побогаче» и пойдём гостинец глядеть. Ну, пойдём—чо не поглядеть? Тут и ребятишки, и соседи—все собрались, шеи тянут. А глухарино-то одыбался за дорогу... и только багажник открыли—хвосткрылья распетушил, клюв разул, лупни выкатил рыжие свои и... ка-ак повалит! Короче, всех соседей переклевал и Валерку, и кобеля его, Тузика—и на хода! Вот тебе и уха из петуха!

— Досвидос супец сказал! Угарно...

— Ну, Жека!

— Весело там у вас...

— Пересолённый омоль,—невозмутимо отметил Женя и отхлебнул из банки.

— Щас стоянка будет,—продолжил Миня роль экскурсовода,—тепловозов, электровозов...

— Под Боготолом есть такая, только с паровозами...

— Ну. Там паровозов до жути.

— Они, между прочим, на ходу все. Если чо, война там или какая буча—воду заливай и попёр.

— Ну... Балин, забыл какая станция.

— Вагино.

— Точно, Вагино. А вон они!

На фоне низких белых сопок по-конски покорно встали друг за другом стояли электровозы и тепловозы. Мелькнул паровоз.

— Сколько время?—спросил Миня.

— Не знай. Я без часов живу.—ответил Женя.

— И как?

— Да так: темно—и в гайно.

— Как это?

— Ну гайно—это бельчачье гнездо,—пояснил Костя.

— Ну вы даёте, мужики!

Женя ещё хлебнул пива с пересолённым омулем и полез в гайно.

Стало морить, но вдруг громово содрогнулась перегородка—сосед-иркутянин боровом метнулся на полку, и она ещё долго тряслась, пока он гнездилился.

Плыло перед глазами виденное, и тоже никак не могло улечься. Вспомнилось огромное паровозное стойбище перед Боготолом, где плотно стояли друг за другом несколько десятков паровозов. На одном отреставрированном локомотиве даже выполнялся какой-то сувенирный рейс.

Паровозы Женя помнил из детства—свирепое чуханье, оглушительный звук отсечки, звериное придыханье, сдвоенное и такое упругое, что казалась, с огромной силой отсекают что-то тугое. Особенно впечатляющим было именно нарастание этого огромного звука, убыстрение которого грозило чем-то страшным. Завораживало нечеловечески быстрое движение приводных тяг, будто локти, вращающих колёса и придающих всему этому грозному существу необыкновенную одушевлённость.

И ещё вспоминалась военная хроника: высокий паровоз с плакатом, вагоны с солдатами, уходящий на фронт и марш «прощанье со Славянкой»... И как у всего класса слёзы блестели на глазах. И сейчас его взрослого грело, что скопилось под Боготолом целое стойбище прошлого, что за ним следят и ухаживают, и представлял, как должны действовать на пожилых машинистов, да и остальных людей, эти ожившие паровозы, если случится война.

Женю сморило, и начал сниться сон, где главным действующим лицом стала жажда, усиленная невыносимой жарой в вагоне, потому что едва проводница натопила, починили электрику. Женя снимились навязчивые поиски пива: как идёт к проводнице, а у неё оно закончилось, идёт в вагон-ресторан и там та же картина. Поезд послушно останавливается, и Женя выходит на перрон, но ларьков нет, и приходится бежать через пути в вокзал и дальше на площадь, где он наконец и покупает бутылку ледяного пива, прозрачного, чудно-жёлтого, с пузырьрёчками. Его поезд тревожно гудит, и он в панике бежит назад, но оказывается, что путь перекрыл состав из паровозов. Он кидается к ближайшему паровозу, благо из него торчит машинист в грязной кепке. Мол, пусть перелезть через площадку, а то ведь останусь... А тот потный, раскалённый и распаренный видит бутылку с пивом и, не сводя с неё глаз, запускает Женю, гробастая пиво ручищей. На площадке тяжело дышит такой же потный чёрный кочегар, Женя рвётся сквозь паровоз к поезду, а машинист говорит: — Да садись, успеешь. Открывашка есть?

— Без рук что ль?—бросает кочегар.—Дай сюда...

И с оттягом открывает о какое-то устройство, причём часть его, крантик или манометр отламывается с громким звуком. Кочегар делает длинный

глоток и передаёт бутылку машинисту, а тот выпивает до дна, замирает, прикрыв глаза, а потом говорит расслабленно:

— Вот это в ёлочку, — и добавляет, подбирая обломыш манометра и, глядя на циферблат, — Во сколь у нас Ерофей-то?.. О-ох... Да, Димон... А всё-таки раньше тачки намного крепче были...

— Т-те-е... Раньше к бабке не ходи. У меня «марк» был... в 70-м кузове...

— Обожди, это который до «самурая» шёл?

— Да нет, Костян. Он параллельно шёл с 89-го по 95-ый год. Ну, такой, под вид «кроуна». Дутыш. На нем миллион был... В натуре. Я потом «камрюху» взял, «бегемота»... А на нем Санька Мишкорудный по сю пору ездит. Двиг, правда, откапиталил...

— Он же хондовод был.

— Ково хондовод! Хотя да, была у него до этого «прелка», «слепыш»... А теперь копец. Его от этого «марка» за уши не оттащишь. До талого шатать будет...

— А потом в спальню поставит...

— Как памятник...

— Приморским партизанам...

Женя открыл глаза. Уже смеркалось. Миха, увидав, что он проснулся, оставил пиво и внимательно сказал:

— Ну что, дружище, все бока отлежал?

— Женёк, ты там не сварился? А то Ируся так накопегарила, что...

— Пиво надо пить, пока не вскипело... Ха-ха...

— Давай, спускайся...

— В долину, — добавил Костя.

Все заржали, а Женя понял, что «прелка-слепыш» — это «хонда-прелюд» с закрывающимися фарами.

Женя подсел к ребятам, и пошёл в ход серый хлеб, горлодёр и черемша с салом.

— Я удивляюсь, Жек, как ты в этой кофте не спарился...

— Да нормально. Как горлодёрчик?

— Само то.

Обо стольком хотелось расспросить мужиков: о ценах, о самих машины, о ловушках, подстерегающих покупанов, и о том, сильно ли хлобучат перегонов на дороге. Но он всё не решался, и шёл окольными путями, например, спрашивал, сколько машин может перегнать один человек.

— Пять, — не моргнув отвечал Миха.

— Как пять?

— Так. Грузовая. Десятитоннка. — Миха снова убедительно загибал пальцы и глядел в глаза. — «Сороконожка» «нина», допустим, в неё две тачки втыкаем, это уже три! А сзади на сцепке ещё воровайка поменьше... В ней ещё одна. Вот!

Он оглядел присутствующих с видом фокусника: — Пять штук выходит.

Женя только восхищённо покачал головой, не понимая, правда ли это или Миха подыграл,

и оно было неважно — настолько точным показалось название «сороконожка», передающее образ длинного бескапотного грузовика с двумя рядами передних колёс. Да и то, что Миха экономно назвал Нипо «ниной», тоже много стоило...

Так всё и шло. И ещё долгие сутки осилил поезд вместе со своими пассажирами и бежал теперь по Амурской области. В Ерофее села аппетитнейшая, налитая девах — настолько полнотелая, пышущая, сияющая и ярко покрашенная, что вокруг неё немедленно заварился неимоверный курултай.

— Оля, ты пиво будешь?

— Я пиво не пью.

— А что пьёшь?

— Шампанское... это... полусладкое. И текилу...

— А мы текилу не пьём... Её кактусами закусывают...

— Правда?

— Мочёными...

— Ну. А они у нас кончились...

— Ещё в Кабанске...

— Ну. Их по ходу кабаны схрюкали, — вставил Вовчик, совсем парнишка из Минусинска. Парни молча стыли от хохота, каждый отпадал со своей застывший гримасой и сияющими глазами.

— Да нет, Вовец, ты чо-то путаешь — в Хохотуе...

— Не в Хохотуе, а в Топтугарах...

— Да фиолетово... Так что, Оля, думай... пока пиво есть...

— Ну вообще, ладно, давайте...

— Ну вот и молодец! А чо так всухую сидеть? Ну давай... За знакомство...

— Давайте.

— Оля, а ты где работаешь? — продолжали пытаться её мужики.

— В стоматологии.

— В зубном?

— В стоматологии.

— А чо зубной и стоматология не один хрен?

— Ну лан, Кость, — заговорил Миня. — Пусть в стоматологии...

— Зубья дерёшь?

— Ты чо, Костя, не понял? Она не дерёт, а удаляет. Да, Оля, ты удаляешь?

— Мне удалишь, если чо, клыч-чья?

— Чтoб не зубоскалил! Хохотуй топтугарский...

— И не кусался! Ой, ну переста-ань... Ну ты чо-о-о, Ми-и-иш?

Миха сидел рядом с Олей и пытался прикоснуться к ней наибольшей поверхностью тела, а она наоборот старалась как можно эту площадь сократить, и их сидение представляло собой упорное совместное извивание, выбуксовывание Оли из под Михиных оконечностей. Миня то подлезал ей под руку, то приваливался, то накрывал её ручищей, демонстративно неподвижной и будто не его, а она высвобождалась, сбрасывала тяжесть, выныривала из под неё как из-под шлагбаума,

отсаживалась, упиралась ногами, а он тут же заполнял освободившиеся сантиметры. Или клином заваливался между Олей и стенкой, охватывая её за стан. А свободная рука, показательно попарив в пространстве, совершала вынужденную будто бы посадку на Олины бёдра. А она выказывала высшую степень непонимания происходящего и увещевала нежнейшим медовым голосом: «Миш, ну что-о-о-о ты? Ну ладно-о... Ну хва-а-атит тебе... ну пра-а-а-авда...», а Миня глядел на Костю и Женю и продолжал как ни в чём ни бывало с ними балагурить.

— Вот, Оль, послушай, тебе интересно будет... Как зубнице... изняюсь... как стоматологу... У меня дядька,—не унимался Костя,—от он с этими зубами затомил! Как раз из тайги пришёл, у него зуб задолбал—болит и болит. А соседка у нас... зуб... в смысле стоматолог... Ну, как Оля... Кхе-кхе... Короче, приходит к нему с чемоданчиком. А дядь Лёня страсть боялся... Как увидел эти... клешши с пассатижьями, хе-хе—побледнел аж... Ключ открыл. Она как зуб тронула. «Нет,—говорит,—за бутылкой идти надо. Не сдую». Ладно. Сходили. Короче, пока она зуб тасила, он всю бутылку усидел. Ну, вытащил, он языком-то пошерудил: «А ты девка, однако, не тот зуб-то вытащила!» Та: «Ну ладно. Тогда тот ташшыйт будем!», а дед: «Тогда за второй бутылкой беги!»

— Ха-ха-ха!

— Оль, ты если чо, мне зуб засверлишь? А то у нас зубной кабинет закрыли...

— Да вообще, чо попало делают,—возмутилась Оля,—зато вон в Беляевском детдом открыли для этих, ну... недоумков, я вообще не понимаю, лучше б здоровым деньги отдали!

— В смысле?

— Ну тут на здоровых-то не хватает... А теперь этих... больных... А если они разбегутся?

— Не понял. Они чо, хреновые?

— Кто?

— Ну, недоумки эти, как ты сказала...

— Да нет... Но только я не понимаю такого... Всё равно разворуют деньги.

— А они чо, твои что ль?

— Оль, тебя послушать—может их тогда сразу под лёд затолкать?

— Ну. А то ещё перекусуют всех...

— Да нет. Я не понимаю просто,—и она, глядя перед собой, замотала головой, и какое-то раздражённо-пчелиное выражение появилось на её лице.

Миха пересел к мужикам, и Костя нарочито-секретно приобнял его, а тот нарочито-понимающе наклонился, и Костя что-то сказал ему на ухо, на что Миха ответил нарочито громко:

— Я думаю, четвёртый.

Костя, смущённо, извиняясь за нарушение общественного этикета, объяснил Оле:

— Я просто спросил, какой, он думает, у тебя размер бюстгалтера.

— Четвёртый. Правильно?—спросил Миха.

— Да!—радостно сказала Оля.—И ещё у меня муж майор милиции.

Все замолчали и переглянулись. Поезд особенно тряско закачался в повороте. Пауза продолжалась, словно шла какая-то окончательная дотряска ценностей. Костя терпеливо додержал молчание и сказал, ответственно откашлявшись:

— Знаешь, Оля, я вот тебе скажу, что думаю. Хочешь? Ну, только не обижайся. Да, я скажу! Можно, да? Ты не против?

— Нет, ну скажи,—пожала плечами Оля.

— А ты не обидишься?

— Да нет. А чо?

— Да ничо... Я просто думаю... что если б у тебя был муж майор милиции... как ты говоришь,—Костя помолчал, переглянулся с мужиками, и выпалил,—то хрен бы он тебя отправил в таком вот вагоне? Вот так вот! Может я не прав, пацаны? Но я сказал! Всё! Пошли курить!

Все повалили курить. Костя ходил ходуном от возмущения:

— Да пошла она! Майор-не майор... Чо выдры-поваться?... Все едем вместе. Как люди... Тэки-и-илу ей давай... Понты колотит... Ещё и пиво пьёт наше...

— Да стопудняк исполняет, у неё и кольца-то нет!

— Да лан, Костян, ты всё правильно сказал!

— Даже и не думай...

Ощущением подавшейся работы отбилась половина пути, и легче задышалось оттого, что уже накрепко, неотвратно зарезался он в дорогу, и потянуло, перевесило восточное её плечо, восточное крыло орлана, и показалось не таким плотным оставшееся дорожное время. Слились третий и четвёртый дни в один трудный середовой пласт, и поезд уже проходил Амурскую область, и накрывало то днём, то ночью разные куски пути, словно расстояние тоже скрывалось на отдых от изнуряющих глаз. И новый день наступал, усекая-опережая сон, и выпавшаяся жизнь глядела бодро и сдержанно, оттого что слистан ещё оковало вёрст, и неумолимо открывается новая глава Сибири...

И была очередная ночь, и Женя просыпался в тлеющем свете фонаря, и в сумраке мешочница Люда собрано сидела в шапке и куртке, и с сонной готовностью слезал с полки Миха, чтобы оттащить стоявшие в проходе сумки.

Утром на нижней полке спала, закинув локоть, девушка с лицом необыкновенной красоты: остро отёсанный лобик, продолговатый овал, нежным клинышком сходящий к подбородку, глаза закрыты и в их шаровой выпуклости ещё больше ожидания и загадки, чем в открытом взоре. Веки расслаблены, и ресницы лежат будто отдельно,

сами по себе, вольной россыпью. Он представил, как пребывают в покое под веками её глаза двумя прозрачными круглыми льдинками, и такой удивительной показалась их подснежная родниковая тайна, что взволновался он необыкновенно—столько было в этом лице призывной силы. И поражало, с каким избытком заложил Господь заряд красоты, словно задача продления жизни была сугубо вторичной по сравнению с этим сиянием совершенства. Потом спящая девушка сделала глотающее движение горлом и открыла глаза, оказавшиеся глуже-чёрными с ненужной угольной остротой, с каким-то быстрым и почти воровским выражением.

Женя подумал, что если бы он вышел из поезда раньше, то так и осталось бы мечтой это осенённое покоем лицо... И что если оно и вправду так дорого, то можно решить, что ничего и не случилось, и он высадился из события раньше, чем она открыла глаза. И удивительно стало от ощущения развилки, от внезапности, с какой переложилась стрелка, и от немыслимой ветвистости пути. И так светло было от этих молодых бегучих, как рельсы, мыслей, что ещё сильнее захотелось жить, и жалось сердце от предчувствия завершения дороги.

Проснулся Женя в Хабаровском крае. Совсем другая природа плыла за окном. Дубки с железными листьями вдоль путей, штриховой лес на сопках, ведьмины мётлы, про которые Костя сказал, что это вороны гнезда и тут же заварил спор.

Из тальников вылетел фазан, полетел, очень часто маша крыльям и свесив дугой длинный хвост. («Во хвостяру оттопырил!»)

Ехали по долине, и Женя увидел сбоку вдали ещё одну параллельную железную дорогу—сопки стояли длинной подковой, поезд вскоре повернул почти обратно и показалась задняя половина состава.

В очередной раз сидели в чьём-то купешном закуте, куда недавно заселились водитель «камаза» с женой. Оба были одеты на выход—она с твёрдо стоящей причёской и влажной краской на веках, он—в глаженной чистой одежде, дающей чувство и новизны, и неловкости после замасленного комбинезона «камазиста». Лицо у него было розовое, чуть припухлое и в натяжке морщинок, которая придавала выражение какого-то чуткого усилия, будто он всё время вдыхал ветер, тугой, трепетный и насыщенный чем-то важным.

На вопрос: «Пиво будешь?» он обронил «нет» с независимейшим видом, и все понимали, что дело в жене, которая сидела, распространяя напряжение и словно ничего не замечая. Правда всё это не мешало общаться с интересом и взаиморасположением. Вдруг жена собралась в уборную. Поезд в это мгновение въехал в туннель, а камазист

схватил-придержал её за кофту: «Куда на ночь глядя?»,—и все захохотали.

Хабаровск поразил Женю привокзальной площадью, настолько полной праворучиц, что у него зарябило в глазах, и он глядел на них, поочерёдно вызывая из общего стада то «висту», то «ипсуна», то «бассярика»<sup>4</sup>.

Заселился на боковую полку капитан в чёрной шинели и с усами щёткой.

В сумке у него стояло несколько бутылок водки, которой он стойко набирался и угощал Женю. Говорил он с украинским акцентом и был такого капитанского облика, что буквально дохнуло Приморьем, обдало чем-то настолько дальневосточным и морским, и флотским, что целые картины колыхнулись в душе, и жадно, трепетно стало, как бывает, когда прикоснёшься к долгожданному... Оказалось, правда, что он уже не капитан, и что корабль, на котором он служил, давно продан в Китай. Ездил он проведать сына в армии, а форму надел, чтоб произвести впечатление на командира.

Женя считал большим недостатком свою способность преувеличивать, додумывать, очаровываться, а на самом деле обладал редким чувством по-своему читать и править виденное, доразвивать до образа и уносить в пожизненных картинах чудной питающей силы. И столько они заставляли пережить, что само изначальное явление теряло значение, оказывалось намного невзрачней собственного отсвета и отпадало от него подсобной тенью.

После Хабаровска оттепило, и туманный морок обступил поезд. Женя помнил напутствия Вёзового не расслабляться, и быть внимательным особенно «в оконцовке». Спустившись с полки, он пил чай за столиком, куда его пустил Цырен, гостеприимно отсеив. И словно подводя итог путешествию, оправдывая тесноту и пролежанные бока, и всё это грешное и порождающее вину и усталость избытие времени, Цырен вдруг сказал успокаивающе-мечтательно:

—Обратно на машине поедешь...

И такая несуетная уверенность и светлая зависть, такая освободительная правота была в этих коротких словах, что от простоты и мудрости жизни одним тёплым порывом вымело из души все переживания и шитые белыми нитками опасения. И стало ясно, что так только и может быть в этом несусветном поезде, где все равны и понятны друг другу, потому что в порядке вещей, когда молодой парень едет по своей стране себе за машиной.

И особенно ясно подтверждал это облик Ми-хи, покоровшего весь вагон своей ладностью и убедительностью, неважно, прыгивал ли он пружинисто с полки или помогал тётке-мешочнице закидывать сумки. То удалой, то несносно-балагуристый, он всегда умел сказать человеку что-то,

4. «Бассярик»—минивэн «ниссан-бассара».



на что ты сам не решался, в чём себя окоротил, постеснявшись порыва, а он вот шагнул (убрал «и») чуть дальше к доброте и правде—а она и от тебя в двух шагах была. И больно станет за упущенную возможность, и задумаешься, отложив книгу, а Миха проверяя с обходом вагон, облокотится о твою полку, глянет своими спокойными глазами и спросит внимательно:

— Ну что ты, дружище, загрустил?»

— Да не, Мих, все нормально,— ответил Женя и слез с полки.— Слушай, это... Дак там какой самый хреновый-то участок?

— Ну какой... От Магдагачей до Читы.

— Чо там... вообще?

— Да чо-чо... Как попало едешь, то по гребёнке... то хрен знает как... Особенно от Ерофея, там то по болотам, короче пробираешься, потом по речкам... По Шилке... там... То так, то сяк...

— В смысле—по болотам? Без дороги что-ль?

— Не, ну там есть дороги, местные-то ездят, груза возят...

— В смысле, типа зимников?

— Ну да. Зимники и есть.

— А по речкам? Ты говоришь Шилка, она же вообще южнее уходит...

— Ну и по речкам... Говорю, всяко разное, петляешь, и в сторону... Короче, увидишь... Там машин столько побилось, и пожгли в мороз... едешь—кузова токо стоят чёрные...

— Ну в смысле, чтоб не околеть?

— Ну.

— А дотащить?

— Да кто там потащит за пятьсот километров,— раздражённо сказал Миня.

— Понятно... Да я-то всё равно с мужиками поеду, если чо... А по гребёнке как?

— Я меньше сотки не жму, заколачивает иначе... Себе просто хуже...

— А с заправками?

— Так-то есть заправки, а где вот эта канитель, что я говорил—там бывало по деревням, у мужиков с канистр.

— А так вообще... не сильно долбасят-то по дороге?

— Да нет. Вроде тихо всё. Правда, грузовик тут один расстреляли... А так ничо.

— Ну понятно... Короче, пока сам не проедешь, не поймёшь.

— Да всё нормально будет. На вот телефон мой запиши, если чо.

Провожали Мihu поздно вечером.

Безысходно грустно было от прощаний, словно перерезалось что-то важное и лилось из отверстой жилы человежье родство и тепло, казавшееся таким естественным, и нелепым было, что тепло пропадёт, уйдёт в гравий меж шпалами... И из бывали, затыкали течь прощальным порывом, извечным обменом телефонов.

И поражало, что от этих бесконечных поездок способность к общежитию не утрачивается, не истирается, а только растёт. И поначалу кажется, что в таких местах только корочками касаются, что здесь одна дурь да загул, а у каждого другое бытёе совсем другое и серьёзное. И что поезд этот—какая-то огромная закрайка жизни, а потом оказывается, что наоборот самая середка, срез, объединённый совместным делом и странством.

Потом прощались, менялись адресами, телефонами и казалось, что обязательно перезвонятся, и ещё будут встречи и общие дела, а если и не будут, то обязательно придётся их выдумать.

## Глава четвёртая

### В граните

*Настоящее жизненное дело начинается  
случаем, похожим на сказку.*

Михаил Пришвин.

Дальний восток. Дневники

Поезд пришёл во Владивосток ранним утром, когда едва начинало синеть, и в мутном дожде, накрывшем поезд ещё в дороге, огни и мостовые гляделись лучистей, жиже, острее. Влажное, градуса три, тепло было настолько непривычным после морозов, что Женя вышел к Сане на перрон с выражением восхищённой растерянности.

Ехали по мокрым улицам, полутёмным, блестящим, скользким вдоль каких-то удивительно стройных, в завитушках домов...

— Слушай, ну не верится, что во Владике.

— Вообще-то нормальные люди говорят не Владик, а Влад. Разницу чуешь?

— Ну вроде да...

— И какая она?

— Кто?

— Разница.

— Между Владом и Владиком?

— Ну.

— Э-э-э,— задумался Женя и выпалил,— как между «прадом» и «прадиком».

— Ах ты, омуль сибирский! Принято...

— Конечно принято. Тем более я тебе омуля везу...

Только не эту селёдку байкальскую, а нормального, полноразмерного. Всё-таки... во Влад ехал. Не в какой-нибудь... Владик... Это, х-хе, я раз встретил туристов с запада—они Красноярск называли «Ярик»—меня аж передёрнуло...

— Лан, не понтуйся.

Утро на Эгершельде прошло в Саниных попытках уложить Женю «отдохнуть с дороги», из которых ничего не вышло, и к двенадцати они уже были на Зелёнке. Огромнейший рынок, раскинувшийся на голых сопках, поразил бескрайностью. Как за горным перевалом открывается таёжная

бесконечность кедров, ельников и тундряков, так и здесь белые перелески «королок» и «спринтёров» переходили в серебристые околки «вист» и «камрюх», в урманы и мари «калдин» и «авениров». Только были они не как таёжные кедровые и ёлки, струнно вытянутые под страхом снегов, а плоские, наподобие здешних пихт, слоистым решётком распластанных под океанскими ветрами. Словно плитки панциря повторяли они бугры и изгибы сопков, и на изломах стояли особенно неровно, вразнабой задеря кто корму, кто бочину.

За новой грядой вдруг открылась целая стоя воровая, от маленьких до огромных — они тянули свои краны-стрелы, как динозавры шеи, и у картины был доисторический вид, который усиливал туманный увал с прозрачным дубняком. Жили ещё здесь лохматые чёрно-жёлтые собаки, диковатые и доверчивые одновременно. Женя поговорил с ними, присев на корточки, а Саша назвал Псами Зелёнки.

Женя потерялся, не ожидая такого автомобильного разнообразия и великолепия. Его будто парализовало. Всё время казалось — ещё добавить и будет машина лучше и больше, новее и красивее, и что не хватает совсем чуть-чуть. Допустим, он хотел взять «корону», но рядом оказывалась «камрюха» того же года, на которую не хватало, и он думал о том, что может быть лучше не торопиться и ещё подзаянть... Так продолжалось до бесконечности.

Пролетело два дня. Женя пришёл в неуправляемое состояние, когда всё рябило в глазах, и он не мог сосредоточиться. Он сбился в планах и уже не понимал, что ему нужно. Советы и увещания летели мимо, а внутри всё колотилось-ныло, и он знал, что успокоится лишь тогда, когда купит просто любую машину, уже не важно какую: «тойоту» или «ниссан», беляш или цветной, бензин или дизель.

Они набрали целый список приглянувшихся праворули и выучили их расположение. И толклись перед выбором, как перед каменной сопкой, буксовали под ней, а она нависала незыблимо, и приближался приезд Витали, который неумолимо ехал в поезде номер восемь.

Третий день в промозглейшем косом снегу они бродили по Зелёнке между бесконечных раскосых морд и стремительно наклонённых лобовиков, и кофейных, и уже сине-зелёных, как океанский лёд, которые тогда только входили в силу. Снег забивал дворники, и продаваны поднимали их и они торчали чёрными усиками.

Отойдя от литого серебристого «чайзера», мощного и туго-прогонистого, задержались подле

чёрной «калдины». Помесь жука-плавунца со стрелой, она была как сбитый оковалок, один летящий овал в кузове универсал. Дутая крыша с подъёмом к корме и козырёк на верхнем обресе придавал ей особенную оперённость, а задние фонари раскосыми углами напоминали драконьи глаза. Машина была вся в обвесах, с «губой», на дорогих литых колёсах и «на метле» — с большим задним дворником.

— Ничто «калдосина», — толкнул Женя Саню.

— Вкованная до делов, — усмехнулся, покачав головой, Саня, — и мимо темы.

— Интересует? — вразвалочку подошёл продаван, мужичок со стальными глазами и шрамом на скуле. — Двух мотор. Три эс. Двадцать четыре валва<sup>5</sup>. Давай открою, сядешь посмотришь.

— И коцок нет? А это чо?

— Да это разве коцка? Это так... птичка чиркнула — в Японии на это вообще не смотрят, — и бодро добавил, кивнув на колеса, — катухи вон смотри какие... На метле... Чвакалка<sup>6</sup>. И резина нолёвая, липучка японская. Думайте. Подвинемся, если чо.

— С Тоймы?

— С Ниигаты.

Саня дежурно даванул на крыло, проверяя ходовку:

— И чо ходовка? — повторил дежурную фразу Женя.

— Да в порядке вроде.

Продаван презрительно наблюдал:

— Да здесь всё в порядке.

— Привод передний?

— Конечно передний.

Саня разочарованно процедил:

— А нам вдовую надо.

Продаван закатил глаза и отвернулся:

— Да вы чо? На хрен вам вдовая! (Может поменять местами?) — потом сменил тактику и добавил будто по-секрету, — я вам скажу: у меня была «корона» вдовая, «бочка»... Я в неё денег впалил хрен знает сколько, потом еле сплавил эту... чилитру.

Он обращался уже только к Жене, как к более разумному:

— Ты, во-первых, с ней на шашках впухнешь... А во-вторых, по бензину угоришь. Тебе куда?

В Красноярск? Хо-гооо, — раскатисто катанул он чуть не на пол-трассы, — да ты чо, братан, на хрен там вдовая? Чо смеяться-то! У вас там чо, куку замкнуло на полном приводе? Это на Сахалине, я понимаю, там снега по пуп и мокреть с гололёда-ми... А в Сибири-то чо... Тут покупки с Якутии приезжали, там снега с хренову душу, лошаки вон... травищу копытят всю зиму...

— Не знаю про Якутию, — отрезал Саня, — а мы тут точно копытим...

— Как лошаки якутские, — вставил Женя.

— Третий день и ничо накопытить не можем... Цены в натуре конские, стоило человеку пилить

5. Valve (англ.) — клапан.

6. Чвакалка — сигналка.

сюда с Красноярска пятеро суток. Тоже не ближний свет... Он на месте нашёл бы, там ценник сейчас вообще сладкий... вот... спроси — не веришь.

Саня выдохнул и процедил уныло:

— Она на автомате хоть?

— Ясно, на автомате.

— А мы на «механке» хотели, — добил Саня.

— На «механке»? — вконец ужаснулся продаван, но уже включась в игру, засмеялся глазами, первыми не выдержавшими. Жека с Саней тоже лыбились.

— Парни, если вы такие прошаренные... должны знать... что они вообще не идут «на меху» сейчас... Здесь во всём Приморье если пару найдёте... Был один тут правда, беляш, да и тот забрали... На «меху» — это я ещё понимаю если спортивка или джипарь. — И он поменял ноту, — Вот ты взрослый вроде мужик. Ты мне скажи: на хрена «калдырю» «механка»? Я согласен если на дальняк. Вам на дальняк или по городу ездить?

— Чо, пойдём? — бросил Саня.

Продаван разочарованно отпал и, достав из машины термос, поёжился и взялся за крышку.

— Погоди, — замер вдруг Женя.

— Что такое? — насторожился Саня.

Продаван завинтил термос и вытянул шею. Потом подошёл, потихоньку, чтобы не спугнуть и сказал: «Х-хе!», давая понять, что наконец-то возможен серьёзный разговор, что он это оценил, и даже готов забыть «калдину», но ещё сомневается, начинать ли, не уверенный в покупателе. Он хорошо видел Женины глаза и не торопился — просто сказал негромко, словно предупреждая:

— Не, ну это совсем другой коленкор...

Это был тот самый «марк», о котором шла речь в поездке и на котором ездил некий Мишкорудный. Он стоял через пяток машин от чёрной «калдобины» — тёмно-бежевый с отливом, округло-чемоданистый, с редким вневременным обликом, сквозным, живущим параллельной жизнью и переживший нескольких кузовов. Женя видел его ещё вчера, но в голову не пришло покупать машину такого класса, да и такого бывшего года. А теперь вдруг оглушило: *а почему я не могу взять этого «марка»?* И весь разумный настрой на простенькую машину поновей, потерпел поражение, как самый бабий и обывательский. А когда сел в «марка», а потом и проехал, то понял, что он конченный человек.

— Само то под тачку, — негромко сказал Женя, уже обращаясь к продавану и ища поддержки.

— Да ему сноса не будет, хоть себе, хоть... под тачку, — сказал продаван, запоминая выражение, — хоть как.

— Ты чо, — вспылал Саша, — на хрен тебе чемодан этот? Бери вон «короллку», смотри какая ляля, или вот «корса», свежая совсем...

— Да на хрен мне шмопсик этот! Хочу «марк»!

— Понял, — сказал Саня и тяжело вздохнул.

— А шоколадку?

— Какую шоколадку?

— Ну так... «Марк» и шоколадку. Чо, нормально... Чтоб уж по-взрослому...

— Да ну тебя на хрен...

— Да на хрен тебя и твой корч! Кстати у этого динозавра кузов редкий — на него шабашки хрен найдёшь. И дизель — топляк крикнет от соляры вашей и растележишься посереде тайги дремучей. — Чо за топляк ещё? Говори по-русски!

— Топливный насос высокого давления.

В это время Псы Зелёнки бежали мимо по своим делам, и Женя крикнул:

— Эй, шкуры, идите ко мне! Подождут ваши псинные дела, или псовые — как у вас правильно? Нука... Лохматые! Говорите — брать «марковника»?

Крупный лохматый кобель с шерстью, торчащей мокрыми иглами, вдруг приостановился возле Жени и громко гавкнул. Саня плюнул, отвернулся и покачал головой.

Шёл косой снег с ветром. Намёрзнувшись и осмотрев ещё несколько машин, они вернулись домой. Должен был звонить Виталья. Женя надеялся, что он задержится во Владе и дожждётся, пока решится с машиной, но переживал, зная Виталину стремительность. Виталья был капитаном и, когда наступала короткая северная навигация, носился по Енисею и притокам, как бешеный. Привычка эта распространялась и на сухопутные поездки. Едва сели за стол, раздался звонок:

— Но. Есть такой. — Саня глянул на Женю и протянул трубку. — На.

— Да?

— Зда-арово... — донёсся издали голос.

— Виталья? Ты чо, приехал? Ты где? — обрадовался Женя.

— Приехал, — раздался далёкий голос.

— Не понял, приехал? — резанул Женя.

— Под капельницей лежу, — слабо отдались слова.

Виталья, большой бодряк, артист и любитель прибауток, был законодателем тончайших языковых оттенков и виртуознейшим матерщинником. Мастерское его зубоскалие бывало утомительным, но когда он изредка решал говорить нормально, звучало это настолько неумело и бесцветно, что за него самого становилось неловко. Услышанное по телефону еле донеслось зыбкими и мелкими строчками и никак не вязалось с Виталей, всегда наседавшему крупно и сочно. Да и слово «капельница» казалось настолько нелепым, что Женя не поверил и списал на свою невнимательность и способность допридумывать. Он почти пропустил-прослушал это слабое «под капельницей», и снова резанул:

— Виталья, не понял, ты приехал?

— Да прие-хал, прие-хал, — отвечал тот, разделяя слова на равно ударные слога. — Га-ва-рю по капельнице лежу...

— Да где ты? Объясни добром. Где? Здесь, во Владе? Я подъеду.

— В «Граните» каком-то.

— Комната какая?

— С торца вход... Найдёшь... Давай...

— Всё, жди. Ничо не понимаю. Саня, чо за «Гранит»?

— Он чо в «Граните»?

— Но. Чо-то невкусюс: нажрался что ли и окаменел? Да непохоже на него... Чо за «Гранит» такой?

— Да гостиница на Котельникова, там перегоны кантуются. Ничо местечко... весёлое...

— Далеко это?

— Ну... так... Поехали.

Женя подуспокоился, уверенный, что теперь Виталья его дождётся и не придётся связываться с отправкой на поезде.

Гостиница «Гранит» из грязно-белых блоков стояла на сопке, и ночью далеко светились её грубые красные буквы. Свороток с Котельникова был почти вертикальным и туда, шлифуя лёд, Саня с Женей взмыли на Сашкином тогда ещё чемоданом «цедриле» — «ниссане-цедрике». Справа и ниже шли ряды гаражей-мастерских, именно в них годы спустя готовил Жене ходовку механик с металлически-сизыми руками.

Проехав к левому торцу гостиницы, они зашли внутрь. Из коридора вели двери: «стоматология», «наркология». Женя на удачу спросил у проходящей медсестры: «Виталья здесь?» Та кивнула на дверь с необыкновенным почётом. Женя отворил. Там стояла женщина в халате, а из дальнего закута медленно выходил Виталья в цветастых до колен трусах. Шёл вразвал, ставя босые ступни с крупными ногтями. Из локтевого сгиба руки торчала трубка, примотанная пластырем. Её конец волочился по полу. Живое черноглазое и курносое лицо его было небывало опухшим и каким-то сухо-надутым и от этого особенно измождённым и потрясённым. Глаз ссохлись до щёлок. Обычно гладкий горшок волос лохматился во всех направлениях и поражал игольчатой какой-то кристаллизованностью. Пьющим Виталья не был, но по всем признакам с ним стряслась страшная внезапная пьянка.

— Здорово! — хватанул его Женя за плечи.

— Здорово, — слабо отозвался Виталья, не добавив ни прибаутки и сам от этого теряясь. Стянутое лицо почти не давало ему говорить. Все втроём присели на деревянно-твёрдый диванчик.

— Ну ты чо?

— Ну вот, — развёл он руками.

— Пил что ли?

— Но.

— На, — Женя протянул расчёску, — кудри продери, а то ты как... пёс Зелёнки.

— Чево?

— Да ничего. Д-да, блин... Как угораздило?

— Так и угораздило, — потрясённо отвечал Виталья, — в последний день главное...

— Не жрал ничего поди?

— Неа, — сказал Виталья и добавил с совершенно несвойственной научностью, — когда я выпью, я теряю... способность закусывать.

Мужики засмеялись.

— А напарник твой где?

— Там, — он показал наверх, — в номере.

— А это кто?

Рядом на койке лежал в забытии здоровенный худощавый братан: избитая морда, закрытые глаза, приоткрытый рот с лошадиными зубами, выпирающими как у трупа. Из него тоже тащилась какая-то трубка на треногу со склянкой.

— Я уж думал напарник твой! — хохотнул Женя.

— Не. Не мой, — попытался улыбнуться Виталья.

— Говори, тебе чо-нибудь надо может? Воды там? Микстуры какой-нибудь?

— Я уже попил... микстуры... Не надо ничего, — еле говорил Виталья. — Взял машину-то?

— Да нет, ищем.

— Чо так слабо?

— Цены конские.

— Искать уметь надо... Зря. Так бы вместе погнали...

— Не понял, — опешил Женя, — ты когда ехать-то хочешь?

— Как когда? Завтра.

— Ты чо, Виталья, сдурел? Ты свою рожу в зеркале видел?

— Рожа как рожа.

— Тебе отлежаться надо.

— Нашёл тюленя...

— И машину приготовить.

— Парни всё приготовили.

— Да не кипишишь ты, одыбайся, вместе погоним.

— Ну, — покладисто согласился Виталья, — твою можно вообще в кузов закинуть.

У Жени отлегло. Виталья замолчал — было видно, что он впервые в таком переплёте и сам не знает, что непривычнее — страшное похмелье или потеря острословия.

— А ты ведь уже ездил здесь? — спросил Женя, считая, что Виталья избороздил всю трассу, настолько уверенно он держался.

— Но. Один раз.

— И как тебе дорога?

— Да нормальная, — сказал Виталья и добавил с нарождающимся оттенком невозмутимости, — есть, правда, несколько сложных перевалов...

— Ну ладно, давай, отходи... Мы поедем. Чо, созваниваемся утром?

— Ну, запиши вот, куда звонить, — сказал Виталья и кротко спросил у вошедшей белохалатницы, — вы ещё долго будете меня муч-чить?

(И вдруг сквозь всего это неурядье забрезжило, сверкнуло лучом одно долгожданное решение, но Женя мгновенно отвернулся, будто ничего не заметил.)

Наутро звонил Витале, но тот не брал трубку.  
— Да не дёргай ты его. Пускай вылежится. Ты же видел,—ворчал Саня.

— Ну. По ходу не оклемался,—сказал Женя и снова набрал номер.

— Слухаю!—бодро отозвался голос.

— Здорово! Ты ч-чо? Обзвонился тебе. Виталья, чо случилось?

— Чо случилось?—вязко парировал Виталья.—Пырка засучилась!

— Не, ну ты интересный...

— Интересный был старик, на хрену носил парик... Да нормально всё. Жека, слышь, я тут трактора взял два штуки. И «ямаху» «сорокет».

— Да ты утиль какой-нибудь взял!

— Ково утиль? В порядке всё. А трактор вообще «приходи-посмотреть»!

— Хрен с имя... Ты сам-то как? Решил, когда едешь-то?

— Как когда?—опешив, резанул Виталья.—Щас и еду. Женька, ты мне вот чево—атлас привези... ну дороги этой. А то мы не успеваем.

— Щас прям?

— Конечно щас! А чо у тебя там?

— Да тут у нас капитан один пришёл... Короче, к нему сначала заехать надо...

— Знал я одного капитана... Пришёл с морей, жена в отлучке,—проорал Виталья,—ушла с подругой в ресторан. Что мне ответить этой сучке, скажи мне, Тихий Океан! Давайте резче—жданки задрали эти. — Ясно... Где тебя искать-то?

— Да автодром какой-то на Змеинке... Щас едем туда... Увидишь там воровайку...

Поражённый, Женя повесил трубку.

— Автодром какой-то... на Змеинке...

— Да это же на Чуркине, хрен знает где,—и Саня уважительно покачал головой.—Я смотрю, он жук-то добрый. А ещё вчера... х-хе... такой... др-р-ракон был.

Долго ехали, пока не нашли за автодромом ледяную площадку. На ней стояла празднично-жёлтая воровайка «исузу-форвард» с тракторятами «январ» и кучей барахла в кузове. Как раз, когда они подъехали, Виталья, откуда-то вырулив, чесал в боковую хозяйскую развалочку к кабине «форварда». Собранным деловитым бобром в кожаной куртке и высоченной формовке из крашенной выдры, чёрной с блеском. Непрístupный, он шибко и не поздоровался—руки были заняты двумя пакетами, оттянутыми бабайками. Сквозь матово-белые пакеты тончайшей выделки чайно просвечивал контрабандный вискарь. Особенно глубокого цвета он был там, где пакет прилегал к бабайке. — О! Отлично, парни.

— Ты чо, попёр?

— А хрен ли чухаться? С вами что ль тут скрёбошки разводить?

— Да время обед.

— Сыто пузо баранке обуза. Да рванём уже, лучше заночуем в... этом... Где, Колян?

— В Бикине.

— Ну. В Бикине...

— Хотя перекусили бы, правда, парня пожалел бы.

— Его что ль? Жеребца этого? Да не жа-а-л-лею ни сову, ни кл-л-лячу!—рыкнул Виталья.—Меньше надо с девками гранитскими кувыряться.

— Ну, давай, счастливо! Позвони... там откуда-нибудь.

— Давайте!—кивнул Виталья, пожал руки и крикнул Коляке.—А он куда, олень, балонник задевал? Скребочёс... Я ему устрою кузькину рожу!

— Видал, да? Миндал,—говорил Женя, когда сели в машину.

— Но. Крепкий... барсучок,—оценил Саня,—обла-даёт... ничо не скажешь.

Потом они купили дизельный «марк». Потом позвонил Вэдовый и всё понял по отрешённо-счастливому голосу Жени:

— Вообще анекдот. Хотел универсал, беляш, на бензине и с передним приводом, а взял цветной седан, на задке и дизель. Чего? Ну понятно, понятно... Не... Ну, Вэдь... Ну ладно... В оконцовке? А в оконцовке, братан, мы ударим по перцовке... когда... приду с морей жена в отлучке... Ну да... да... выходит всё-таки... самогон... не вагон, нет... хе-хе... Тёрки тут какие-то с паровозом... дорого сильно... Да лан, чо такого... Агрегат в порядке... Вообще зачётный... Домырю помаленьку... Сильно не буду вваливать,—и потом ещё некоторое время удивлённо держал трубку, брошенную на том конце провода.

Виталья звонил Сане из Слюдянки. Женя в это время проходил Хабаровск.

— Печка крякнула и гололёд вдоль Байкала страшный, и снег валит, дубарина в кабине, копытья как колотушки,—бодро кричал Виталья,—а так нормально!

И ещё повеселел, узнав, что Жека в дороге:

— Ну давай, будет звонить—передай, что... мо-лодец!

Саня все передал: и эти слова, и как звучал Виталин голос. И Женя ехал и представлял этот голос, и был он лучшей наградой, катясь сквозь три тысячи километров над их дорогой. Был он совсем другим, чем в «Граните», и чем на Змеинке—товарищеский голос трудового человека, который чувствует себя на месте среди любых замороженных вёрст.

## Глава пятая

### Распилиш

«В связи с вводом в России нового антинародного постановления о пошлинах на легковые автомобили с 11 января 2009 года, при котором таможенные поборы выросли непомерно (...), а также в связи

с антинародным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2008 года о повышении пошлин на ввоз «кузовов для транспортных средств товарной позиции 8703», утверждается ставка ввозной таможенной пошлины на кузова (...) не менее 5000 евро за 1 штуку. Простыми словами: ввоз одного обычного автомобиля-конструктора будет стоить теперь практически на 5000 евро дороже. После фактического запрета обычных конструкторов, а точнее введения пошлины на целый кузов в размере от 5000 евро, конструктора ввозятся *распилами* или *распилищами*. Мы хотим помочь вам сэкономить деньги при покупке нормального автомобиля, поэтому на сайте hotcar.ru открыт данный раздел, где вы можете не только почитать о схеме привоза «под документы», её преимуществах и «подводных камнях», но и заказать себе настоящий японский автомобиль».

«Разбор и распил автомобилей у нас производится в Японии в мастерской, а не на судне, как делают многие компании. Мы переживаем за качество распила и поэтому не пилим машины на борту судна во время перехода во Владивосток. О качестве распила во время качки или шторма в трюме судна, можно только догадываться. Во всяком случае, вы можете быть уверены, ваша машина будет распиlena в Японии. Пилить вашу машину будут профессионалы, которые уже распили ни одну тысячу машин.

Сбором распилов мы занимаемся с момента их появления и уже имеем богатый опыт в этой области. На сегодняшний день по нашему мнению, мы делаем самый качественный сбор распилов во Владивостоке. Наш сбор отличается от сбора в других компаниях тем, что

- Свариваются все слои металла. Т.е. место распила расшивается и сваривается 2–3 слоя металла (в зависимости от конструкции автомобиля);
- Места сварки обрабатываются против коррозии;
- Устанавливаются дополнительные жёсткости в места сварки. Проще говоря, вваривается дополнительно железо, увеличивающее жёсткость места сварки;
- Снизу сварной шов промазывается герметиком;
- В салоне сварной шов закрывается шумоизоляцией или промазывается герметиком;

7. «Ржавые створки» — железнодорожные переезды кроме шлагбаумов иногда оборудуются еще и узп — устройством ограждения переезда. В дорожное полотно вмонтированы металлические створки, они поднимаются, поворачиваются вверх, наподобие закрылков на крыле самолета, и преграждают путь особо бойким водителям.

- Все необходимые места закрашиваются. Если смотреть машину и не знать, что это распил, то человек «непосвященный» вряд ли найдёт места сварки.

Автомобили, собранные у нас не разваливаются и не трескаются. Пока ни с одним автомобилем, собранным у нас, не возникало проблем. Множество их уже долгое время ездят по России. Многие автомобили своим ходом после сборки отправляются в другие регионы по нашим дорогам и успешно эксплуатируются в дальнейшем. Весомым доказательством качества сбора является испытание «трассой» Владивосток—Москва».

С сайта hotcar.ru (Продажа японских автомобилей. Владивосток, Океанский проспект 10-б).

#### 1.

В десять утра белый «блин», готовый к дороге, стоял возле Саниного дома на Эгершельде. Женя почему-то не спешил и перед отъездом долго смотрел в гранёное окно на океанскую гладь со следом парохода — широкой полосой замёрзшего ледяного крошева.

Накануне они куда-то ехали и пересекали железнодорожные пути. Подползал тепловоз, и поезд закрылся, опустив шлагбаум и вздыбив ржавые створки<sup>7</sup>. И показалось, не то дорога пошевелила закрылками, зовя в полёт, не то судьба стряхнула оцепенение и, оглянувшись, переложила ещё одну железную страницу.

И Санькина всепогодная фигура с поднятой рукой словно отсчитала секунды, часы и года их дружбы, лежащие между двух «марков» — тем первым чемоданом и белым «блином», в котором сейчас сидел Женя. И, выезжая на трассу, он с особой болью и трепетом ощутил живую тяжесть своей жизни и огромность отрезка, лежащего между двух его машин.

Дороги Женя ждал со всей дальнотойной жаждой. Ещё в первый год, пробираясь ночью через городок со сложными своротками, он, наконец, выбрался на окраину, узнавая уже ставшие родными указатели, и выехав на чёрную ночную М-58, почувствовал великое и застарелое облегчение. И отрываясь в очередной огромный пролёт, морозный, запредельно безлюдный, горный и чахло-таёжный он, как домой, вернулся на эту ночную трассу, в привычное состояние разговора с самим собой, а на самом-то деле с Богом, которое и было самым главным в жизни.

Он подъезжал тогда к границе Амурской области где-то в районе Белогорска или Свободного... Всё реже встречались фары и обгоняющие, и встречные, и он тренировал внимание в переключении света с дальнего на ближний, находя

азарт в этом дистанционном прощупывании душ на взаимочуткость. И видя лучи из-за перевала, переключался, едва появлялись фары, и ценил, когда встречный опережал его, и досадовал, когда сам забывался, и кто-то мигал раздражённо и требовательно.

В зеркалах тоже нарождались колючая пара фар, медленно разрасталась а потом ослепительно наседала, заливала сначала зеркала, а потом и дорогу впереди и сбоку от его восставшей и метнувшийся тени и тут же померкнув, проносилась «крузаком» или озверевшим грузовиком.

И снова никого не было на трассе и вдруг среди кромешной тьмы неожиданно высоко с горы расцветала фарами вереница сползающих вниз фур...

А потом наступил момент, когда Женя почувствовал, что едет абсолютно один: вместо пары фар он увидел провальную космическую черноту в зеркалах и сначала испытал оторопь, как перед пропастью, а вслед за ней состояние глубокого и ликующего покоя.

## 2.

Так неумолимо память возвращала Женю к его первому перегону, событию, глубоко потрясшему его, и сравнимому разве что с промыслом в тайге или переживанием Океана.

В свой первый путь он выезжал в пять утра. В ночь мокрый, пролитый дождём Владивосток приморозило, и все мостовые были в скользкой корке. Саня вывел его на трассу и остановился возле автобусной будочки. Оба выбрались из машин, и Женя поковырял ногой асфальт: «Да нет, держит вроде».

Через минуту после короткого прощания он уже видел перед собой только освещённое полотном дороги и еле прилепленный к стеклу транзит. — Бак всегда полный, — давал накануне указания Саня, — транзиты убери — прилепляй только перед постами. Главное Уссурийск пройти, а потом Хабаровск — его по объездной. И дальше от Хабаровы до Биробиджана. Там смотри «крузаки» с «сафарями» — возьмут в коробочку и салям-куку. Шибко не тормозись нигде. Ни с кем не базарь. Если подойдут, скажи: «Я чо, на перегона похож?» Спросят: «Куда едешь?» — ответишь: «Да по своим делам еду»... Понял? Повтори.

— Я чо на перегона похож?

— Х-хе... Нормально.

Женя не гнал и давал себя обгонять, привыкая к машине и зная, что все разъезды по городу под руководством Сани ничего не значат и, что главное впереди.

Шёл шестьдесят-семьдесят в час, помня о заднем приводе и нешипованной японской всесезонке. Всмотривался в асфальт и даже останавливался пару раз в подозрительных местах — тёр подошвой ледяную и будто парафинную корочку.

На всю жизнь запомнил он ликующее чувство той первой перегонской ночи. Когда еле себя сдерживая, ехал, утопая в музыке и леденел от счастья, что, наконец, сам гонит машину, настоящую, ихнюю, дальневосточно-сибирскую, и только начиная оценивать удобство правой посадки, когда видно правую бровку и при высадке-посадке не надо беречь дверь и обходить машину.

Ослепив из-за спины, проносился какой-нибудь «форь», «прад» или «сафарь» и сворачивал у Артёма в порт, из которого, набирая высоту, летел самолёт с огнями. Женя представлял, как через несколько минут из него уже будет видно прозрачно-синее с востока небо, и что они сядут в Красноярске, когда он едва одолеет пол пути до Хабаровска.

Сзади вырос свет и его обогнал старый рамный «краун» с парными задними фонарями и некоторое время перед ним ярко светилась белая квадратная корма с горящими габаритами. Крайняя затрапезность этих фонарей, их парность и какая-то азиатская драконья выразительность казалась выражением края света, последнего рубежа, где всё обостряется до предела. И до стынувшего предела почему-то обострилось ощущение России, о котором он с таким трепетом рассказывал Маше столько лет спустя.

Начинало светать и медленно проявлялось зимнее равнинное Приморье, серое, с тальниками и голыми сетчатыми деревьями. Приближался Уссурийск. Женя ехал, замерев в дорожном упоении и с наслаждением смотрел на широкий капот, раздвигающий синее пространство, и на асфальт в слабейших фарных снопах. Хотелось, чтоб побыстрее рассветло и открыло окрестность. И ещё хотелось, чтобы все в Красноярске знали, что он несётся по Приморью, и охватывало сладким ознобом, когда он представлял, как выедет в Енисейске на пятачок к автовокзалу и мужики соберутся вокруг его машины.

Особенно нравилось Жене, что у него дизель — как многие сибиряки, он испытывал к дизелям особое расположение, они нравились без объяснений, просто своим рокотом на холостых и мощным приёмом. Да и казалось удивительным, что в легкой машине есть что-то тракторное. И снова пела душа, от того, как всё сбилось и как ладно лежит руль в руках.

Чуть синело и совсем не было фар — ни встречающих, ни попутных. Женя пообвык и по пустой дороге шёл уже восемьдесят. Он упруго проходил небольшой подъём и левый поворот, как вдруг дикая сила рванула машину влево, будто огромными руками ухватив за колёса. Особенно поразило, что и его самого будто повело за самое нутро и было физиологическое ощущение, что он и собой не управляет. Было чувство уходящей из-под ног опоры, чудовищной и одушевлённой подсечки и её

поразительной внезапности. Всё длилось секунду. Его бросило на встречу почти до левой бровки, и тут же зверским рывком зарезало вправо, и как ему показалось, едва не перевернуло. И снова было острейшее отчаяние неуправляемости и разгульной, ведущей из-под ног мощи. Тут же спасительно налетела высокая снежная бровка, освещённая фарами, на которую «марк» выпрыгнул полностью с ломко-сухим и гулко-картонным хрустом в передке и встал, впечатавшись.

Продолжал гореть свет, играла музыка, и работал двигатель. Черпанув ботинками снега, Женя вылез, пробрался вперёд и увидел, что всё цело, кроме углов бампера, лежавших, как осколки рогов...

«Марк» вдавило брюхом в снег, от заднего бампера до края бровки был почти метр. Женя зачем-то поработал назад. Колёса легко и зудко закрутились, завывли в плотном снегу. Он достал трос и лопату. Уже рассвело. Он прошёл назад, недоумевая, как проглядел эту сине-парафинную корочку-насечку, уже прекрасно видную. Как-то разом поехали машины, а может всё случившееся было настолько вопиющим, что время замедлилось и лишь сейчас вернулось в привычный ход. Остановились «терранчик», «едэха»<sup>8</sup>, парни спросили, чем помочь, и уехали — Женя отпустил, потому что нужен был гружёный грузовик. Он остановил «эльфа», но тот оказался полупустым, и ничего не получилось, только порвали Женину магазинскую ленту. Потом подъехал гружёный трёхлитровый «атлас», из которого вылез молодой и немногословный парень. Он достал толстенный, похожий на аркан, канат и большую лопату. Женя откопал колёса и через несколько минут «марк» стоял на дороге. Парень по-хозяйски присунул лопату куда-то подниз к раме, а канат затолкал за сиденье.

— Спасибо, братуха! — от души сказал Женя.

— Да лан, брось. Ты ещё хорошо отделался, — он легко вскочил в кабину и вскинул прощально руку. Женя глубоко вздохнул и покачал головой...

Несколько секунд стоял без шапки, разгорячённый, обожжённый, мокроногий. Потом распластавшись, осмотрел ходовку. Потом убрал в багажник обрывки ленты с хилыми крючочками, лопатку, осколки бампера и ещё раз взглянул на свою рытвину-капониру. Потом, сам себя стыдясь и будто боясь испачкаться, аккуратно сел в машину и тронулся, прислушиваясь и не веря, что всё цело и что вообще возможно продолжение. Ехал оглушённый, опозоренный своим упоением, вспоминал самонадеянный разговор в Вэдей...

В жар бросало от одной мысли, что кто-то мог оказаться на встрече, и он утешал себя, что при машинах он не разогнал бы. И всё не понимал — ну как же он прозевал, и валил на утреннюю синеву.

8. Едэха — «тойота-карина-ед»

И снова, холодея, переживал грозные секунды заноса, и снова прошивало тело молниями. И под уговорами разума отступало волной, а он снова прогонял через себя случившееся и знал, что не счесть ещё таких приливов-отливов. И что ещё долго будут изводить эти молнии, пока не нашьют привычную ветвистую дорожку, и та отболит-онемееет. Но далеко было до этого, и посветлело в душе, лишь когда дошло, что это предупреждение: что так жестоко осадив, Господь Бог пощадил его, уберёт от грядущих ошибок.

Уссурийск он проехал посветлу. Вскоре начался участок без снежной бровки. Дорога возвышалась над местностью, и он увидел самосвал, улетевший через встречу и клюнувший в кювет. Рыжий «камаз» уже цеплял к нему трос. Женя остановился: — Ну чо, всё нормально, живой?

— Да всё нормально.

— Д-да, ёлки... Осторожней надо, — словно сам себя уговаривая, сказал Женя. — Да я сам *вот* только улетел.

Женя поехал дальше, и через километр слева лежал вверх колёсами белый «паджерик». Женя подумал с грешным облегчением: «Выходит, не один я такой придурок».

Чем дальше Женя отъезжал от Владивостока, тем сильнее становился гололёд, и трасса теперь была уже вся во льду. Перед ним еле ползли «краун» и микрик «мазда-бонго», оба на транзитах.

Наконец, Женя въехал в Хабаровский край. Когда переезжал Бикин, уже хорошо был виден впереди отрог Алиня. Гранёно громоздились треугольные вершины, покрытые прозрачным лесом. Их сквозная штриховка складывалась на перегибах сопок, густым ёжиком обводя контур.

В Бикине он притормозил возле кафешки. Сзади стояли «бонго» и «краун». Он решил подойти к «бонговоду» узнать, куда они едут, и если не прибиться к ним, то хотя бы, глядя на них, правильно рассчитать остановки.

Подошёл и попросил открыть окно — оно было затемнённым и долго не открывалось, он постучал, стекло неохотно сползло. За рулём сидел смуглый круглолицый человек в очках и с густым чёрным горшком. Вид у него был опасливый. Женя спросил:

— Здорово, мужики, куда едете?

— В Харарабаровск.

— Куда-а?

— В Харарабаровск, — ответил китаец и торопливо закрылся.

Подъёмы как всегда начинались незаметно с небольшой гривы, закрывавшей обзор. Обступал голый лиственный лес с ведьмиными мётлами на берёзах. По краю лепились дубки с ржавой и железно крепкой листвой, пережившей зиму. С перевальчика открылся вид на лиственный хребет с меловым верхом. В серо-лиловую массу



были вкраплены корейские кедр. Они встречались и у дороги—необыкновенно кучковатые и слоистые, с эконоными пучочками-кисточками. К ним добавились аянские ели, ещё более слоистые и этажеристые.

В лесу и в хребте было больше снега, чем на трассе, и машины убивали его до бурой каши и ехали облепленные, оперённые коричневым льдом. Он отлетал кусками, и вся ребристая, мокро-льдистая трасса была в комьях. Машины шли вереницей—легковухи, микрики, грузовички с джипами в кузовах. Половина их них была на транзитах.

Чем ближе к Хабаровску, тем сильнее подмораживало. На заправке перед Женей стоял с пистолетом в боку серый дизельный «сурф», весь в драконьих гребнях, в коричневых языках пламени. В потрясающем и стремительном обвесе был каждый выступ, пороги, крылья, арки, задний бампер.—Третья. Дизтопливо. До полного,—говорил Женя,—и девчушка за двойным стеклом утягивала кочерёжкой деревянный ящичек с бумажкой, которую норовило сдуть ветром.

И так и осталось на всю жизнь—выход из жары салона на обжигающий ветер, на мороз, в хруст ледка. И неохота надевать куртку, кинутую на заднее сиденье. И он обегает машину сзади, к уже приоткрытому лючку, отвинчивает пробку и вставляет пистолет. И бежит к оконцу по заледе-невым следам протектора—чьей-то огромной хрустящей ёлочке, по бурым комьям, мимо солярной лужи, в которой тало мешается снег, сдержанное солнце и чёрный завиток масла. И снова ледяной пистолет в руке и терпко-пьянящий запах соляры и отдельно сытый запах солярного выхлопа от какого-нибудь «камаза» или «ниссан-дизеля».

И заправки—то богатые, сияющие огнями, с цветными и длиннющими в обе стороны шлангами, с пацаном на подхвате или служителем в форме. Или совсем убогие—в две или три зелёные колонки возле сараюшки. С обломанным рычажком, куда еле пристроишь пистолет. И где нужно нажимать на засаленную кнопку под резинкой, а она не нажимается. Или торчит какая-то проволока, за которую надо дёрнуть, и только потом что-то перещёлкнет, переглотнет гулко в её нутре, и вздрогнет шланг. И хлынет, наливая пистолет жгучим спиртовым холодом, жилистая, прозрачная с отливом, струя. А бывает, не работает отсечка и тебя ещё и солярной ульет так, что и умываться не понадобится.

А раз он заночевал в «марке» на заднем сиденье и не смог выспаться: все слушал зачем-то сквозь сон звук двигателя, привыкал к дизельной вибрации. А потом часов в пять, изведясь и не отдохнув, превозмогая сонливость, полегоньку расшевелился, отпил чай из термоса. И не решаясь на рывок от сонной утраты к пилотной посадке за руль,

к подчиняющей обстановке приборов, переборол песок в глазах и сел на водительское место. И едва захрустели колёса—воспрял какими-то путевыми соками, и возвращаясь к шершавой дорожной правде, сизой, ночной, морозной—втянулся в неё как в реку.

## 3.

Так, вспоминая свой первый перегон, доехал Женя до Хора и переночевал в дорожной одноэтажной гостинице, у которой с улицы была кафешка, а с задов, выходящих под фонарь на стоянку—заход в спальную часть. Хозяев—пожилых мужчину и женщину он давно знал.

За ночь нагнало тридцатник. Встал отдохнувшим и, бодро выйдя под морозное небо, завёл с пульта «блит», и тот дружно и ярко моргнул поворотниками, и собранно вздрогнув, с шелестом запустился и окутался медленно клубящимся белым выхлопом. Умный, он и сам разок заволдился ближе к утру, и на капоте темнело талое пятно.

Выехал в темноте. Термометр в низинках показывал 32 градуса, а на перевалах 27. Хабаровск приближается со своим радио, хриплым и пропа-дающим, с молодым голосом, городящим глупости, острящим на один расхожий манер.

На въезде в город его остановили у поста. Молодой гаишник, вернув документы, спросил:

—И чо такой обошёлс?

—Четыреста.

—Ну. Оно так и есть. Чо там? Как там Зелёнка?

—Да стоит всё. Цены такие... И половина распилов.

—Да понятно. Перегонов-то нет почти... Вспомнишь, как раньше было... Один за одним... Только шоркоток стоял,—с досадой и недоумением до-бавил,—и чо добились?

—Ну. Хоть чо-то было у народа...

Подошёл пожилой гаишник, всё слышавший: —Здорово. Главное смотри—люди считай сами всю трассу оборудовали—и заезжки, и гостиницы, и кафешки... Пожалуйста—банька тебе, с дороги поди хреново! Питайся, ночуй, это ж... сколько народу при деле, пацанву кормить надо ведь... Не-а,—сказал-отсёк он отрывисто и горько. И махнул рукой.—Бесполезно...

—Да чо они там в Москве знают...

—Да ясно всё. Только они не понимают... Чо хреноголовость эта добром не кончится. Ладно, давай, счастливо.

Подъехал белый «одиссей» на транзитах, длин-ный и низкий как легковуха—сползло стекло и лыбящийся парняга сходу зазубоскалил с молодым патрульным. Тот отвечал:

—Ну ты, Корж, как обычно! Опять несёшься?

Корж, по-домашнему развалясь в тепле салона и облепив правой рукой руль, продолжал лыбиться и сиять. Решив переехать, он вывернул колесо и коротко шлифанул по льдистому асфальту.

Женя проехал через город и из новыхстроек последних лет отметил только пивзавод с вызывающей башней в виде бочки. На выезде перед мостом через Амур его остановили у поста. Гаишник без интереса просмотрел документы. Сверяя с фотографией Женино лицо, он взглянул на него мельком как на предмет, и спросил:

— Возьмёшь попутчика?

— Из вашей, — Женя подыскивал слово, — стаи?

— Ну. Сменщика.

— Докудова?

— До Смидовича.

— Давай.

Сел словоохотливый мужичок в чёрной куртке. Разговор повторился:

— Не распили?

— Да нет. И считай беспробежный. Кореш два раза по острову проехал. Крыло смял... х-хе...

— А обошёлся?

— Да нормально. Меньше, чем в городе.

Попутчик задумался, потом сказал, вздохнув:

— Нда... Натворили делов с этими пошлинами.

— Не говори. Главное был бы толк...

— Да какой толк? У нас раньше любой пацан мог машину купить. И уже на ногах — считай мужик... жениться можно... А теперь — сам говоришь... Цены-то конские. А что в замен? «Камрюха», которую мне теперь впаривают втридорога, только новую и деревянную, питерской сборки — тот же конструктор, считай. На хрен она мне упала за такие бабки... Я на них лучше «сотыгу» возьму... Если чо.

— Конечно. Понятно, что самим надо что-то начинать. Хрен с ним — для остальной страны и поднимайте пошлыны эти. Но оставьте для востока льготу такую, без права перевоза за Урал, если уж так вам — глядишь, и народ бы сюда поехал опять.

— Ну. Понятно, что русский Ванька что-нибудь придумает. Но распилы — это край уже... Это всё — дальше некуда.

— Ну, туши свет. Я ещё понимаю, если на раме — куда ни шло. А легкову?

— Да у нас тут «ипсун» в аварию попал — у него жопа отвалилась... Так и упрыгала по перекрёстку. А с виду не заметишь ничего — чётко делают. И всё равно это не выход, я считаю... Ты заметил — перегон-то нет почти?

— Да какие это перегоны? Раньше — да. У меня знакомый даже жену брал, летом, правда...

— Ну. Летом красиво. А я тут стою раз — баба подруливает на «шарике»<sup>9</sup>... Молодая... С Иркутска... «Можно постоять здесь? Отдохнуть».

«Ну ладно — стой...» Переночевала, уехала, — он

помолчал. — А, кстати, не слышал — есть же говорят баба-перегон настоящая.

— Ну есть. Я сам не видел, но мужики говорят.

— Про неё кто чо говорит. Что она только «скайлики» гоняет исключительно или «сливы» с «сайрами»...<sup>10</sup> Хрен её знает... У меня сменщик видел её.

— И чо за тачка у неё была?

Попутчик помолчал, потом сказал с холодным торжеством:

— Чёрный «сафарь»...

#### 4.

Много таких разговоров пережил Женя на своём веку и пропустил через сердце. И не один запомнился на всю жизнь, наложился на даль, проплывающую крепким пластом, и словно созданную для того, чтоб люди жили в ней вдумчиво и мощно. Выходило же ровно наоборот и поражало, что при нелепой беспощадности и беспричинности принимаемых государством законов, рушащих основы жизни, нелепость эту понимали вроде бы все без исключения от мальчишки до министра... С той лишь разницей, что простой человек просто ругался, а высокопоставленный говорил о происходящем, как о чем-то наружном и строил планы переезда в безопасное место.

Проистекавшее в ту пору в России одни считали целенаправленным и хорошо спланированным разрушением, сработанным извне, а другие обычным головотяпством, стихийным, животным и, дескать, «всегда свойственным этому пространству». Третьи же видели просто хорошо организованную набивку карманов... Но в одном все были едины, что одной из частей этого процесса является разобщение населения: как духовное и социальное, так и географическое — в виде подорожания билетов, закрытия почт и аэропортов и уменьшения числа рейсов, сокращения флота, умирания целых посёлков и так далее. Разобщение земли и унижение мужика, которому памятник надо ставить за то, что из последних сил теплит жизнь на дальних территориях, но который стал никому ненужным и сам оказался распилишем.

И тут совершенно стихийно возник Перегон, объединивший огромный аргиш от Новосибирска до Владивостока, и охвативший шесть тысяч вёрст горной тайги, болотняков, марей и степей и давший народу утерянное чувство хозяина и сопричастника. Десятки тысяч людей стали бороздить территорию, переобживать и пропускать через глаза и сердце. И не только желание заработка или тяга получить автомобиль, а сами чары пространства завладели парнями, и очарованными странниками стали вдруг половина сибиряков.

Дальневосточная часть населения спасалась от голодухи, везя машины и запчасти из Японии, сибирская — их перегоняла и открывала рынки. В полную силу работал флот, еле справляясь

9. «Шарик» — «мицубиси-шариот».

10. «Скайлик», «сайра», «слива» — знаменитейшие спортивные автомобили «ниссан-скайлайн», «тойота-соарер», «ниссан-сильвия». «Соарер» переводится с английского как парящий.

с потоком машин, которыми были буквально обвешаны паромходы и паромодушки, таможня получала сборы, железная дорога подпитывалась перегонами из Сибири и перевозкой машин... И как кустики тальника закреплялись по трассе кафешки, шиномонтажки, заправки.

Снова небывало сблизились и уплотнились вёрсты, сжались и запели расстояния, сдвинулись проложенные туманами горы, а города и посёлки вновь разглядели друг друга в морозной дымке. А парни, напиваясь дорогой, уже не представляли себя без неё, и никакие опасности не могли остановить и прибавляли только упорства — настолько хотелось силы и мужской работы. Так все эти Женьки, Влады и Геши становились вторыми Ермаками и Ерофеями.

Зиночек и Валюх из кафешек и гостиниц чувствовали через пол-Сибири, огни заезжек светили рулёжками, и заходили на них на посадку за тысячу вёрст. И сама трасса огромной рулёжкой судеб строилась в один понятный мир с родными и грозными названиями.

Что касается раскосых белокрылиц, то переполнившие Приморье и хлынувшие в Сибирь, они пронеслись победным потоком по горам и нагорьям, сорвались за Енисеем и Салаиром на равнину и с разгону долетели до Новосибирска, прожорливо-столичного и вольного.

Прочно в нём обосновавшись, языком сползли по Алтаю ко всяким Онгудаям, Турочакам и Усть-Коксам, а на запад разлились по низинам-плоскостинам до Омска. Дальше, увязнув в болотняках, разбрелись-рассыпались, ошалелым поределым остатком шарахнулись на запад, и, ударившись об Урал, откатились обратно в Ишимские и Барабинские степи.

Везде пришлось они по душе кроме самодовольной проевропейской Москвы, превращённой из русской столицы в город мирового мещанства и «никому не нужных понтов», как любил говорить Саня. Лишь здесь их сочли признаком беспорочности. Здесь же был рождён миф о неполноценности правого руля.

Великая рулевая симметрия, зеркальное равновесие, двукрыло простёртое от Енисея по сторонам было объявлено противостоянием. Вместо того чтобы сглаживать, его искусственно разжигали сверху, и то, что Женя считал выражением двуглавости и вечным напоминанием о выборе пути — служило лишь предметом раздора, то есть очередной формой распила.

## 5.

Неумолимо расшивает тугое пространство капот. Под ним бесстрастно и тихо пьёт ночную синеву мотор. Льётся женский голос, гибкий и сильный, с тихой зыбью придыханья, нежной воздушной вибрацией возле прекрасного рта...

Женя помнил, как на деревенском празднике пела полная женщина с лучистыми глазами, и все — и свои, и пришлые — весь вечер были во власти её голоса...

Она пела так чисто и щедро, что если приблизиться к её рту, трепетал и ватно зашкаливал в ушах воздух. И мурашки поползли по затылку, когда удалось вторить ей — тогда заслоилась комната пластами голосов и объёмно взвисла меж них согласная ликующая бездна. А она, сияя глазами, поворачивала лицо, направляя трепет воздуха, и те, кто сидел рядом, старались пометче подпасть под эту струистую судорогу...

Ночью в пути все слышалось это биение, и лился нежный голос, сплетаясь с образом женщины, которой через песню чудно ведомы и язык пространств, и многовековая привычка к дороге... Степной ли тракторной, кандальной ли ямщицкой, или этой, горно-сибирской, которая грозно вступала меж песен ровным и каменным гулом. А он съезжал в хрускоток обочины, вылезал протереть фары, и слышал доносящееся из машины слитное и гулкое оживление. Голос женщины был особенно живым и, казалось, когда он вернётся, она обнимет его и прижмётся к плечу.

Женя, будучи большим мастером по приладке музыки к местности, много размышлял о её воздействии, и знал, что сильнее всего на него самого влияет музыка именно вместе со словами. Из мирского набора это был женский голос, поющий русские песни. Он мог слушать их с неутолимой жадностью до бесконечности. Родниковыми тихими жилами они уходили в самые толщи памяти, а единство мелодии, смысла и голоса так приучало к трёхмерности, что инструментальные произведения казались неполными. Даже Мусоргский и Свиридов слышались ополовиненными без слов, и требовали наложения, и, получив его, потом уже сами и без дороги работали в полную силу.

Но песни оставались песнями. «Колокольчик», «Степь да степь кругом», «Ой, мороз». Соединённые с дорогой, они звучали как откровение.

И были ещё три: «Что стоишь, качаясь?», «Любо, братцы, любо» и «Лучина». Их Женя, глядя в чёрный тоннель ночи, пел вместе с той невидимой женщиной.

Кто-то попросил Женю назвать свой любимый участок трассы, и он бессильно запнулся, указав весь запад Амурской области и всю Читинку...

Как-то как раз на перегоне Чита — Улан-Удэ, пересекая между Тангой и Шара-Горхоном Яблоновый хребет, он слушал «Пугачёва»: «Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко...»

Было утро и над скалистым прижимом разгоралось на ветер рыжее небо, и неслись облака, рваные, как ноздри Хлопуши, и мурашки шли

сначала щепотками, а потом повалили сплошным песчаным ручьём, сухим и шершавым селом по ложбине позвоночника. И навсегда слился с чудными Есенинскими словами поворот и скала с надписью «Бийск Коля»...

И такое повторялось и повторялось, и вся трасса оказалась помечена родными вехами, и песни со стихами, гудко опетые дорогой, стали родными до мурашек и сама дорога окрепла певучей подмогой, светло отлилась в один немолчалимый замысел.

А что говорить о духовной музыке! О епархиальном детском хоре «София»! Первый раз Женя встретился с ними на пароходе, идущем по Енисею... Сначала он и не понял, почему девчонки бегали, не переставая напевать, по коридорам, умывальням, и душевым и, подумав, что они из команды, удивился её голосистости. Потом одной из них вдруг надели наушники и она, до этого спокойно идущая по палубе, несколько шагов проскакала зайцем. Позже на сцене они стояли разнорослой шеренгой, и та, которая проскакала в наушниках, всё дрыгала икрой и не могла спрятать улыбку — смех раздирал её буквально от всего. Другая, поставив косолапо ноги, чесала шею и косила глаза. Но удивительно преобразились они, едва регент повёл рукой и сосредоточенно, будто сам себе, набормотал ноту. Неземной красотой осенились их лица, когда классически кругля рот и подняв к небу глаза, они запели сначала Трисвятое, а потом стихиру «Земле Русская». Запели так, что целый зал взрослых людей сидел, утирая слёзы, а они не подозревали, что творят, и была в том их великая детская сила.

И снова стояла космическая чернота в зеркалах... И Женя выезжал на дорогу, и было всё, как бывает, когда снова ночь и снова внемяют Богу и пустыни, и Океан, и покрытые реденькой тайгой горы. И звёзды на морозном небе разговаривают так близко, что сам внемяешь и этом разговору, и этой земле, чудно доставшейся в наследство от предков, как общая любовь и ответственность, как испытание нашей нежности и твёрдости...

«А что мы о Ней знаем? — спрашивал сам себя Женя. — И что, вообще, такое Она? И что такое мы? И кто из нас кому необходимее?»

Женя выключал музыку, и его обступал ровный гул колёс по земной поверхности: «Ты понимаешь, что она будет молчать? Будет шуметь тайга, накатывать гулкой волной Океан и горы будут так же резать ветер на ремни из ясного воздуха... Но Она... Ты же понимаешь, что, если Её распилят на куски и растащат, Она нам ничего не скажет? И что это самое страшное...»

## Глава шестая

### Баба-перегон

— ... Красивая, говорит, зараза, — прищурясь, добавил попутчик.

Когда он вышел в Смидовиче, распогодило, а к полудню солнце ярко светило меж бегучих облаков и горело на белой от снега дороге. Сквозь снежную насечку пятнисто проглядывал асфальт, временами образуя продольную серую змейку, вольно гуляющую по встрече и обратно. Женя уже прошёл Биробиджан, и слева тянулась долина Биры, а за ней грядой сопки синел дальний отрог Хингана. По краю трассы ветвистые чёрные деревья казались извилисто врезанными в солнечное марево дали.

Справа мелькал лес с берёзами и тополями, и дубки шевелили чеканными листьями, побитыми морозом. Женя вспомнил, как парился в бане в Бийске, и там были дубовые веники — необыкновенно ноские и лёгкие. Их широкие, будто отутюженные листья, давали великолепный ветровой напор.

Потом думал об огромности этих мест, и о том, Бира — по эвенкийской реке, и вспоминал енисейские реки — бесконечные Биробчань, Биракчань, Бирамы и Бирами. Или брал слово «хариус», переводящееся, как «ниру» или «неругэ», и проводил родственность между якутскими Нерюнграми и енисейскими Неручачами. И, вспоминая Енисейскую гору Лочоко, означающее седло (оленья), жалел, что не нашёл нигде перевода посёлка Лондоко. И что соседняя с Лочоко гора Хаканачи перекликается с речкой Магдагачи, впадающей в Амур... И что вряд ли бы эвенки жили так широко, если бы пространство Енисея до Океана не было таким слаженным, единым, а главное, неделимым организмом.

«Какая здесь мягкая природа по югу, — всё не мог надивиться Женя, — и эти берёзы с шарами ведьминых метел, так похожие на вороньи гнёзда... И дубки, чеканно-игрушечные... О чём они гремят на ветерке?»

От солнечного, почти весеннего неба тало, нежно становилось на душе, и память отходила от ночного морозца, и сердце ныло, растревоженное разговором с попутчиком. И до дрожи вдруг захотелось встретиться на заезжке серебрянную «тойоту-вероссу», у которой бы оползло стекло, открыв Машино лицо... Он попытался представить, как бы это произошло.

Бывает, приснится человек, а его не узнаешь, настолько он тот и не тот, и так полон какой-то неведомой и далёкой заботы, и всё глядит мимо странно-чужим лицом. «Вот так же и она по-смотрит, и объята дорогой, унесётся, ничего не сказав... Нда... А интересно, на чём она ехала? Наверно всё-таки не на «вере», а на чём-нибудь мужского пола — каком-нибудь «сафаре», «лэнде»<sup>11</sup>

11. «Лэнд» — особо понтырский дальневосточный вариант названия «тойоты-лэнд-крузер» (наряду с ходовыми: «крузак», «крузер», «кузя», «кукурузер»).

или ниссановском супером седане, вроде «цедрилы» или «лавра»».

Он заехал на заправку и, увидел корму тёмно-зелёного «эскудика», стоявшего у колонки с дизтопливом. Он отметил, насколько соответствует слово «эскудик» крепкому мужичку-джипарьку, и вдруг с удивлением прочитал на нём надпись: «мазда-левантэ». Даже мелькнуло, что кто-то специально её прилепил, чтоб бударажить народ. Тут же вспомнил он эту версию «сузуки-эскудо» с шестицилиндровым дизелем под названием «мазда-просид-левантэ», и ещё раз подивился на японцев, разрешающим машинам так пребывать в разных именах и шкурах.

Сквозь грязное стекло еле виднелся транзит, в лючок был вставлен пистолет, а от кассы шла без шапки девушка в сине-зелёной куртке — были такие куртки с капюшоном, с кенгурячим карманом и будто замшевые, из модного в ту пору некоего «флиса». Тёмно-каштановые волосы лежали до плеч длинным и обильным, если это слово применимо к женщине, чехлом, плотной прекрасной ушанкой обрамляя лицо... Кожа была, будто загорелая — есть такие люди, от природы чуть смуглые, словно слегка оливковые. И вся какая-то хрупкая, нежная и чуть сутулая, с классическим, продолговатым лицом и серыми глазами.

Оглядев «блит», она не различила Женю и словно не утрудилась шагнуть взглядом сквозь стекло. Заправившись, пристроила пистолет и, сморщив от напряжения лицо, завинтила пробку. Потом отъехала и стала на площадке у выезда на трассу. Сидела в машине с загадочным видом — не то полная скрытого торжества, не то ошалевшая от дороги и чем-то сбита с толку, не то кого-то ждущая.

Всё это было настолько неожиданно, что и он остановился поодаль на трассе и дождался, пока грубоватый «эскудик», так чудно превратившийся в нежную «мазду-леванте», проехал мимо. Она была одна. Поравнявшись с Женей, она посмотрела вниз на что-то внутри машины... может быть на телефон. Он отпустил её подалее.

Так же тянулась долина с сопками, и так же вдоль дороги стояли берёзы с мётлами и дубки с железной листвой. Вскоре показалось любимое Женей кафе. Оно стояло по левую руку и называлось «Придорожное кафе» (квадратными буквами) «У Коляна» (крупной прописью). Было оно из новых, прямоугольное, обшитое синеньким, с черепичкой, с большими окнами в занавесках. На площадке с дальнего края растянулись две «сороконожки» «нины». У дверей кафе стояла «мазда-левантэ». Капот был открыт и водительница что-то под ним отвинчивала. Женя подъехал намеренно медленно, вглядываясь и целя правее «мазды». Девушка была без шапки, и в той же лёгкой курточке. Дверь в «мазду» она оставила

наполовину открытой. Ключ доверчиво торчал в замке зажигания.

Женя спокойно мог познакомиться с замечательной перегонщицей, найдя простейший повод, но почему-то решил применить особый способ знакомства с автомобильными девушками на дороге. Срабатывал он в единственном случае — если все двери машины были заблокированы, и только одна водительская открыта — с кнопкой, поднятой вручную, как некоторые почему-то делают на остановках.

Женя подъехал и стал рядом впрыток к приоткрытой правой двери «мазды». Девушка так же вскользь взглянула на него из-за открытого капота и продолжала доливать антифриз. Женя уже видел, что кнопки на трёх остальных дверях утоплены. Он изобразил попытку открыть свою правую дверь, и, покачивая головой, и кряхтя, перелез на левое сиденье. Затем аккуратно открыл свою левую дверь, насколько позволяла дверь чужая, и выбрался, *одновременно затворив дверь «мазды»*. Сделал он это совершенно открыто: взяв пятернёй за обрез и указательным пальцем утопив кнопку. И прикрыв дверь, отметив удовлетворённо, как мягко и чётко она прилегла. И бодро крикнув: — Девушка, добрый день, ничо, что я вам дверь закрыл?! Чтoб не скоцать...

Обойдя машину, он принялся возиться с правой дверью «марка», делая вид, будто та не открывается. Девушка задумчиво посмотрела на него своими серо-зелёными глазами и недовольно покачала головой. Закрутив крышечку радиатора, она закрыла капот, со смешным усилием даванув на него, чтоб посадить на защёлку, и подошла, держа канистрочку на отлёте. И вот... она потянула ручку, и Женя почувствовал, как повернулось её лицо. — Так! Вы что мне натворили?! — крикнула она, собрав меж бровок вертикальные стрелки. — А что такое? — недоумённо поднял голову Женя и ещё раз «подёргал» свою дверь. — Да ты ч-чо, собака!

— Ну всё! Копец! И сигналка в машине! — сказала она с отчаянием.

Затем крикнула ледяным голосом:

— Вас кто просил машину трогать?

— Да я прикрыл просто, что б не поцарапать! Кто ж машину открытой оставляет?! — он подошёл, подёргал, поглядел на кнопки.

— Ну да... Похоже закрылась. Девушка, ну извините! Пожалуйста! — говорил он покорной просящей интонацией. — Я не хотел... Так получилось... Правда... Штас что-нибудь придумаем... Меня Женя звать? А Вас как?

Она не ответила.

— А не помните, кнопка как была?

— Открыта, как ещё? Я что, на больную похожа?

— Ну не я же утопил её. Да Вы наверно спутали... Вспоминайте... Хотя какая теперь разница...

Она покачала головой:

— И телефон в машине! Блин! Я щас милицию вызову... У вас есть телефон?

— Есть... только не знаю, берёт здесь... Да не волнуйтесь Вы...

— Дайте телефон! Вы мне можете объяснить, почему она закрылась? Идите позовите кого-нибудь? Я здесь побуду...

Она засунула руки в кенгурячий карман, став чуть сутулей, и отвернулась, а потом резко повернулась:

— Почему Вы вообще рядом стали? В притирку такую? Здесь что, места мало?

— Да я, поверите ли, девушка, подъезжаю, смотрю вроде «эскудик», а на нём «мазда» написано, думаю, чо такое? Ну и решил разобраться...

— Разобрались,—бросила она и отвернулась.

В окне зашевелилась штора и показалась официантка. Девушка помахала ей рукой. Та вышла, и увидев Женю, обрадованно округлила глаза:

— Привет, Жечара! Давненько тебя...

— Привет, Вальчик! Как жизнь?

— Лучшее всех... Только перегоны кончились... Что случилось?

— Да всё нормально... Сигналка похоже сглючила... (на эти слова девушка демонстративно завела глаза). Да и я скосячил—вылезил и сдуру дверь девушке прикрыл, она антифриз доливала, а ключ снутри остался. Да тоже, красуля, дверь нарастопашку... заходи кто хошь... Ещё повезло... А если бы не я оказался, а проходимец какой-нибудь... Ща-ас,—основательно-хозяйски протянул Женя,—сделаем, скажи вон девушке, пусть не волнуется... — Да Вы не волнуйтесь, он... сделает... Идите погрейтесь пока...

Та отрицательно покачала головой и спросила: — Руководство-то здесь ваше? Пригласите, пожалуйста.

— Да вот сами ждём—в Бирку поехал, подъехать должен.

Когда Валя ушла, она спросила негромко:

— Вы точно не трогали кнопочку?

— Да Вы смеётесь что ли? Надо мной?—возмущился Женя.—Очень мне надо...

— Ць! Да как Вы с этой стороны-то оказались?

— Да, говорю, дверь примёрзла. Снег растаял на крыше, она и пристыла, а там прокладка слабенькая, я уже раз порвал такую. Да лан, успокойтесь, щас откроем.

— У них электрик по сигналкам есть? Там вон дальнобои стоят,—по-свойски сказала.—Может у них спросить.

Она сделала поползновение отойти, но осталась.

— Да откуда электрик? Садитесь, погрейтесь,—Женя решительно достал из машины термос и полил дверной зазор сверху.

— Да нет, спасибо!—она продолжала нервничать и поёживаться от холода.

— Ну что там?

— Всё!—Женя радостно вскрыл «блин», сел за руль и, открыв левую дверь, стал рыться в бардачке.—Садитесь. Пожалуйста... Заколеете же...

Девушка повела плечами и сказала с холодком:

— Я, наверное, воспользуюсь... Вашим предложением.

— Не бойтесь, видите же, что я не... жулик... Ну?—Женя улыбнулся.—Музыку Вам включу... даже...

— Даже...—она с недоумением повела головой и закатила глаза, словно обращаясь к какому-то справедливому свидетелю, и села. Женя достал пассатижики и железную приволоку, загнул её крючочком и убрал пассатижи в дверной карман.

— Кофе хотите?—спросил он, взявшись за термос.

— Спасибо, я пила только что...—девушка в упор посмотрела на него своими серо-зелёными глазами и спросила, неторопливо выговаривая слова:

— Вы перегон?

Глядя в её глаза, Женя отвечал, и чувствовал, как его голос звучит отдельно и далеко:

— Вообще-то я занимался... до этой канители... с пошлинами... А щас так... себе гоню...

— У меня сигналка сложная. Электрика надо по сигналкам...—обречённо сказала девушка. Рот у неё был небольшой и собранный. Когда она говорила, губы шевелились чуть медленно и немножко несимметрично, будто чуточку запаздывая и вдумчиво обарывая слова...

Большие серо-зелёные глаза были из тех, что через минуту кажутся единственными, и вокруг которых остальное лицо очарованно достраивается, обречённое быть достойным. Смотрели они с такой переплавляющей силой, что соединившись с ними, оставалось только бесконечно пропадать в счастливым бессилии.

Кожа лица была в еле заметных веснушках и его оливковая смуглость распространялась и на руки, ставшие особенно выразительными, когда она медленно сжала, сплела пальцы, чуть отведя большой с длинным ногтём. Кольца на безымянном пальце не было—был перстенёк с кусочком бирюзы...

И казалось высокая красота прежних лет чисто и пристально глянула сквозь годы, сквозь всю последнюю моду, кукольную, дутую, целлулоидную. И так честно отозвалась, дрогнула душа на эту худобу, на чуть заметную неправильность сложения, небольшую грудь... И так обрадовалась, что и до сих пор всё решают глаза...

— На спор, за две минуты открою? Меня Евгений зовут.

— В курсе.

— А вас?

Она сделала долгий пологий выдох, оценивающе посмотрела и сжалась, снизошла, сама дивясь своей щедрости:

— Ирина Викторовна,—пошевелились небольшие губы.

Вдруг она быстро подняла глаза на малюсенькую голую собачку, пробежавшую по площадке перед машиной и непонятно откуда взявшуюся.

Одновременно с этим отошло облако и залило машину слитным сиянием солнца и снега. И Женя видел, как сыграли навстречу свету её зрачки, как таинственно и великолепно качнулись, сработали с запасом, сжавшись до круглой точки, а потом отдали назад и, подстроившись, замерли. Замер и он: настолько это произошло независимо от неё, и такое было в этом святейшее биение жизни. Да и сами зрачки с их матовой чернотой ночного неба были настолько глубинно-бездонны, и так удивительно смыкали межпланетную глубь души и космическую темноту в зеркалах...

Женя очнулся.

— Смотрите, Ирина Викторовна, как это делается... Пошли!

Женя очень аккуратно поддел отвёрткой и отлепил чёрную пластмассовую накладочку, идущую по низу стекла. Обнажилось отверстие и идущая от кнопки вниз тоненькая тяга, за которую Женя зацепил провололочкой и потянул. Она подалась с вязким усилием, и кнопка встала на место:

— Опыньки! Пожалуйста.

— Ничо себе. Так просто?

— Конечно. Любой пацан откроет. Вот вам и сигналка.

— Нда... Лучше б я не знала... Ну, спасибо.

— Не за что. Ирина Викторовна... А Вы куда едете?

— Далеко.

— Понял,—быстро и покорно свернул любопытство Женя.—А я в Красноярск.

Они стояли около «мазды».

— Может... пойдёмте кофе попьем... за компанию...

Она взглянула на часы, покачала головой:

— Да нет уж. Поеду.

Она задумалась, застыла, держась за открытую дверь:

— Как дальше дорога?

— Ну вот всё щас и начнётся... И до самой Читы... такая хреновень... попеременно с асфальтом... Щас ещё ничего стало, а раньше вообще вилы...

— Ну чо совсем плохо ехать?

— Да нет, просто гребёнка... Увидите... А так... заправки везде, главное до пустого бака не доводите...

— А в смысле...—она замаялась, подыскивая слово. Он кивнул:

— В этом смысле как раз всё спокойно... Еврейка закончится—там вообще тихо... Это туда,—Женя махнул на восток,—бывает... Главное от Хабары до Бирки, ну до Биробиджана, в смысле. Да щас,—Женя махнул,—спокойно, это раньше... колпачили... Просто внимательной будьте... Двери,—выразительно повысил голос Женя,—не оставляйте открытыми... Ладно? Ну увидимся, давайте, аккуратненько...

— Ладно,—медленно и немного несимметрично пошевелились её небольшие губы, и она на мгновение задержала на Жене взгляд. Образовалась неодолимая пауза.

— Вы очень красивая,—вдруг сказал Женя, слабая и оседающая в неподатливости этих огромных слов.

— Спасибо,—ответила она с официальным и понимающим холодком и села в машину.

Зарокотал дизель, и запахло знакомым и родным зимним запахом, так сплавляющим все во едино. Габариты бледно загорелись на солнце, и машина плавно тронулась. Мотор работал мягко, и о наборе скорости говорил лишь нарастающий хрусто-шорох лопающихся мёрзлых комочков под колёсами. Казалось, он и был причиной хода и с силой втягивал в дорогу.

Включив поворот, она остановилась у трассы, и, пропустив фуру с Читы, проворно выехала. Женя проводил её взглядом.

— Чо, запал, бродяга?—в дверях стояла улыбающаяся Валентина.

— Да нет...

— Догонишь ещё. Давай, пошли перекусишь, расскажешь хоть... чо, да как...

— Барадыга ка Байкалу падаходи-ит...—заблажил Женя, пропуская Валю в дверь.

Он пообедал и, ловя себя на нетерпении, вышел к машине. Подъехали перегоны. Серебристые «филдер» и «ист» и зелёная «каринка». Колёсные арки были заделаны картонками, а у «фили» вместо брызговиков стояли жёлтые листы пластмассы. Загорелые средних лет мужики оказались иркутянами.

— Здорово, мужики.

— Здорово.

— Чо, как оно?

— Да нич-чо...

— Мало совсем машин, ага?

— Да куда на хрен... Вон гоняем всё, что до полторушки... А то вообще шмопсыки—«фиты́», да «вицы́»...

— Ну лан, давайте.

— Давай...

Сороконожки тоже готовились к дороге. Возле открытой кабины стояли парень и девушка. По комковатому, улитому маслом снегу бегала та самая голая собачка. Дрожа, она тянула поводок, пружинисто уходящий в пластмассовый барабан с ручкой, который парень держал, как рулетку, и казалось, собачка помогала ему что-то отмерять.

Дорога забиралась в невысокие сопки. Открылась панорама с изгибом дороги. Справа серел березняк, а слева подходил косой увал с корейскими кедрками. Каждый кедр темнел на сером фоне отдельной разлапистой кучкой. Вдали белобокими штриховыми треугольниками тянулась гряда сопки. Перед Бирой был похожий вид и стояла синяя табличка: «Чита 1885 Бира 1». И снова бежала под капот плитчато-пятнистая, снежно-асфальтовая

дорога и густел на подъёме сплошняк из кедров и аянских елей, широких и слоисто-распластанных.

И серо-зелёной прекрасной бездной стояли глаза Ирины Викторовны, и втягивали со всеми его дорогами и пластами земного и неземного. И он впадал легко и без задёвов и, не понимая, что творится, и только медленно и чуть несимметрично шевелились её небольшие губы, и вспоминался длинный и глубокий выдох, с каким она назвала своё имя. И всё шевелились её губы, и со страшной и какой-то звериной, забытой жадностью хотелось узнать, как пахнет её дыханье.

Слева подошёл Трансиб, и тянулся некоторое время вместе с составом цистерн, а потом снова надолго исчез. На подъёме асфальт кончился, и Женя притормозил у таблички, на которой белыми буквами по синему было написано:

«Строительство автомобильной дороги Амур—Чита—Хабаровск на участке 1906—1922 км. Заказчик ФГУ ДСД «Дальний Восток» Подрядчик «ООО Строительная компания №1» Адрес Биробиджан Миллера 26».

Пошла прибитая прессованным снегом щебёнка. Из-под встречного солнца камешки гляделись чёрными, и дорожное полотно напоминало гречневую кашу с молоком. Потом снова начался асфальт, дорога спустилась в долину, пересекла по мосту Трансиб и пошла вдоль него слева. Изгибаясь, она возвышалась над болотиной с травой, жёлто торчащей из-под снега. Женя проехал щит: стрелка указывала на Читу прямо, на Лондоко направо. Потом трасса снова пересекла Трансиб и, встав на место, облегчённо пошла справа. Впереди чернела гряда и замыкала её крутая живописно-горбатая сопка.

Трасса подходила к Буреинскому хребту. Начался подъём, сплошь снежный, в снежных бровках-отвалах. Пронёсся оранжевый «камаз». Косым ножом он взбрыкивал дорогу и поднимал снежный шлейф.

Дорога в коридоре леса шла с увала на увал. На перевальчике началась смесь снега со свежей рыжей щебёнкой, которую развозили самосвалы. Рыжиной горела и глина, скрытая с боковин. Открылся спуск и пятнисто-жёлтый подъём с кучкой строительной техники. Протрясаясь по нему, Женя оказался среди свежей щебёнки, лежавшей кучами. Её сгружали самосвалы, им помогал экскаватор, перегородивший дорогу так, что проезд был совсем узкий.

«Бедная, как она по этой гребёнке едет...» — думал Женя и представлял «мазду-левантэ», дробно трясущуюся по скальной крошке.

Снова понеслись километры трассы. Щит на мостике через речушку отсёк начало Амурской области. Она глядела с цветной карты огромной длинной кляксой и тянулась с юго-востока на северо-запад, поднимаясь по Амуру и огибая Китай. Трасса повторяла её восхождение и достигала северной точки в Сковордине, а откуда плавно

подавалась на скат, входя в Читинскую область и целя на юг Байкала.

Настал вечер и Женя долго ехал в темноте, пока в районе Белогорска не увидел «мазду-левантэ», стоящую у двухэтажного кубика гостиницы. Он завернул, остановился и вошёл в кафе — она сидела за столиком и ела из горшочка солянку...

— Добрый вечер!

— Добрый... — ответила она удивлённо-неопределённо, и было неясно, рада она или наоборот насторожилась, опасаясь новой неприятности.

— Да не бойтесь, я специально встал подальше...

— Сесть Вы тоже подальше собираетесь? — она всё-таки улыбнулась. Веки её были влажно-покрасневшими от дороги, нарумяненное солнцем лицо гляделось усталым и ещё более восхитительным.

— А Вы настаиваете?

— Нет.

— Вам что-нибудь принести? Вкусное...

— Нет, спасибо. Уж всё есть. Возьмите себе солянку, мне она понравилась...

Женя заказал салат из помидоров, солянку, блинчики со сметаной и вернулся за столик.

— Ну как Вы? Сильно устали?

Ирина Викторовна подняла глаза. На белке одного из них краснела крапинка лопнутого сосуда.

— Нда... Я не думала, что это может федеральной трассой называться...

— Подождите... дальше ещё веселей будет. Особенно граница с Читинкой и перед самой Читой.

— Мне понравилась плакат с картой... такой красивый...

— Да. Можно на выставку... Как машина?

— Да ничего. Едет вроде.

— Ну хорошо... Если что — скажите... проволочка всегда наготове... — Женя выжидающе помолчал. — А я тогда, правда, подумал что это «эскудик», а потом вижу «мазда», ну, думаю кто-то развлёкся. Потом вспомнил, что есть такая машина. Любят они маскрад.

— Ну. Это как «сузуки-свифт» и «шевроле-круз», — уверенно и спокойно объяснила Ирина Викторовна. Как многие сибирячки и дальневосточницы она разбиралась в машинах с трогательной региональной обстоятельностью.

— Или «дайхатсу-териоз» и «тойота-ками». Они как будто говорят: ну хочешь побыть «дайхой», да пожалуйста... побудь, главное едь... Это как, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Коля, Петя, да хоть самый Феоктист — главное, человеком будь.

— Да, это важно... — сказала она с задумчивой улыбкой. — А у меня был «тэрик»...

— А ещё у тебя какие машины были?

— А мы на «ты» уже?

— Ну, по-моему, да... если не возражае. Те... — Женя не очень справлялся с собственным новшеством.



— Ну ладно,—она пожала плечами со снисходительным недоумением и продолжила так же неторопливо:

— У меня... была «королка» полторушка, потом «ист», потом ещё «мазда-атенза», такая пуля была... Мне её разбили...

— Жалко. Хороший агрегат...

— А как твоя машина?

— Да нормально. С фичами только не разобрался.

— Ну разберёшься... Фичи это не самое главное.

Она так замечательно произнесла слово «фичи», что Женя еле отвёл взгляд от её медленно пошевелившихся губ. Фичами назывались непонятные обозначения в японском бортовом компьютере. Разбираться там действительно было с чем, например, расход топлива обозначался не в литрах на километр, а совершенно наоборот: водитель мог узнать, сколько проехал на литре топлива.

— Мне ещё нравится, что они берут, допустим, какую-нибудь машину и делают два варианта: дровяной и суперовый, и для каждого своё название. Как «пробка» и «сосед»... Даже имена сами за себя говорят, правда? Но главное, всё это на людей хорошо переводится. Вроде, какой ты есть.—и каким можешь стать, если постараться, да? Ирина Викторовна, а может мы... Ну, немного вина? Символически?

— Да нет, наверно... Я завтра не встану.

— Я Вас подыму, если надо.

— Спасибо,—сказала она выразительно.

— Ну давай... те. За знакомство... Я же должен как-то... ответить... за доставленные неприятности.

Она пожала плечами. Принесли вина. Она чуть отпила и поставила стакан:

— Я тоже из Красноярска.

— Вы? Да ты чо! А где ты работаешь?

— В банке.

— В каком?

Она молчала.

— Нет, если нельзя, не говори... Извини.

— Я работаю,—она длинно выдохнула,—это неважно...

— А ты мне дашь свой телефон? На всякий случай.

— Нет, не дам.

— Тогда мой возьми. Те. Мало ли что—дорога всё-таки.

— Говори. Те.—и она записала номер.

— А почему ты одна гонишь?

— Так получилось. Долго рассказывать. Должны были с братом. А он... не смог... А я настроилась. Короче неважно...

Чем больше они говорили, тем больше Жене казалось, что она знает об их общей жизни что-то большее, чем он, и чувствовал такую благодарность, что уже не могло быть и речи ни о каком-то соревновании между мужским и женским, никаких обид, ревностей и делений на сильных и слабых, а просто всё вставало на место с многовековой простотой.

— А я люблю дорогу...—сказал Женя.

— Я тоже...

— Столько всего передумаешь...

— О чём ты думаешь в дороге?—вдруг спросила она с какой-то ученически-художественной интонацией, будто они участвовали в спектакле.

— Ну...—Женя смутился,—Хм. Знаешь, бывает, столько хочется рассказать, а... р-раз—и... не знаешь с чего начать. Главное, что в дороге вообще думается по-другому. Лучше я расскажу: я когда тебя увидел... не то что удивился... Короче, есть такая легенда, ну или байка, про женщину-перегоня.

Она выпросительно улыбнулась.

— Ну вроде бы из Иркутска. Несусветная красавица... Гоняла машины. Дурила всех жуликов... И не то кто-то с ней гонялся и побился... Не то она сама... Или на неё «ховик»<sup>12</sup> наехал с лесом, ну вроде летом дело было, и он выезжал и из-за листвы и не заметил её. И что в районе Магдагачей,—Женя заговорил страшным голосом,—ездит и до смерти пугает перегоня её призрак в чёрном «самурае»... на «вишне» с двумя турбинами.

— На «вишне»?

— С двигателем «турер-ви»... Ничего, что я страсти на ночь рассказываю?

— Да нет. Наоборот, столько всего узнала. И ты подумал, что я эта женщина-перегон?

— Ну да... И что про чёрный «самурай» все брехня. И обрадовался. Ну давай! За твою удачную дорогу!

— Ну и за твою тоже...

Женя поставил пустой стакан и сказал задумчиво:

— А я даже мечтал кино снять про Перегон. Ну просто придумывал, в смысле... Сам для себя...

— Да? Интересно...—осторожно и внимательно сказала Ирина Викторовна.—И про что... твоё кино?—снова прозвучала эта интонация умения принимать правила игры.

— Про любовь, конечно.

Ему хорошо было говорить про любовь, потому что она сидела напротив, и, как живописец бы писал с неё, так он «с неё говорил», а она не знала или только догадывалась, и в этом была его сила, и она её чувствовала. Она посмотрела на часы и показала головой. Потом спросила осторожно:

— Ну так про что твоя картина?

— Про любовь, я же говорю... Знаешь, бывает, отношения в таком тупике, что людям больше нечего сказать друг другу. Лучше молчать. Ну и, в общем, герой у меня писатель и пишет про Перегон. И у него девушка и очень сильная любовь, ну и огромные сложности из-за того, что они слишком разные люди. И ничего не выходит. Кроме обид и раздражения. И, наконец, они поссорились страшно и позорно, и расстались особенно грубо и навсегда. И, главное, всё это было его затеей. А спустя пару

12. «Ховик»—китайский грузовик.

лет он стал писать книгу про их любовь, и пока писал, снова в неё влюбился. Представляешь? Причём по уши и окончательно. Настолько всё плохое ушло и выжило только хорошее. Меня это так потрясло, когда пришло в голову. Х-х-е. Самое смешное, что я как раз ехал по гребёнке между Бираканом и Облущем и меня действительно трясло.

Ирина Викторовна улыбнулась и зевнула, закрыв глаза и слотнув:

— Ой, извини.

— Засыпаешь? Я быстро...

— Да нет, я слушаю.

— Ну вот. А книга получилась отличная, и началась всякая всячина, премии там и прочее... И у него мечта: выпечить её на какое-нибудь награждение, может быть даже попросить кого-то, чтоб её туда ну... затащили под каким-нибудь предлогом. Потому что она с ним и не разговаривает и вешает трубку. А он хочет одного — встать и закричать на весь зал: «Вот она, моя любимая, смотрите, это всё она! Встань, милая!»

И она будто встаёт... А он: «Пригласите её на сцену!»

И она поднимается, а он рух на колени: «Прости, любимая, я был идиот», — и отдаёт ей все цветы и премии.

Это он мечтает, — негромко уточнил Женя, — а сам посылает ей книгу, уверенный, что она её прочтает или хотя бы вскрыет из любопытства. А если вскрыет, то и прочтает, в этом он тоже уверен. А бандеролька возьми, да и прийди обратно. И он суёт её в какой-то ящик, а потом натывается на неё нескрытую и с её адресом и — хоть в Енисей кидайся... И такая вот получается... фича — книгу уже тысячи людей прочитали, а она её и знать не хочет. Она даже до почты не соизволила дойти. И ему уже не нужны никакие почести-награды, потому жизнь пройдёт, а она его так и не простит. И всё вышло, как написал — что любовь главнее всего на свете. Нда... А потом я понял, что всё это полная ерунда.

— А что же не ерунда? — с недоумением спросила Ирина Викторовна. Усталые глаза её светились сочувствием.

— Сейчас скажу. Просто обычно герой книги — это очень хороший парень. И хоть и глупости делает, а автор его любит. Знаешь, почему? Потому что настоящий писатель всегда пишет про себя, ну только в улучше... в суперовом варианте — ну как «сосед». И возникает вопрос: не лучше ли чем писать книги, сразу... таким и быть?

Ирина Викторовна засмеялась:

— Интересно... Ну всё, Евгений, спасибо. Я пойду спать. Спокойной ночи.

Ранние утра всегда были особыми по какой-то новорождённости, по чуткости отдохнувшей

действительности и списанности вчерашних беспокойств, и было в этом обнулении одометра какое-то великое земное таинство.

Женя проснулся и через долю мгновения осознал, что есть Ирина Викторовна, и странен был этот порожний ход его памяти и напоминал запуск с толкача с горки, когда сначала катишься бесшумно с выжатым сцеплением, а потом отпускаешь педаль, и трактор встрясаётся запустившимся дизелем, с копотью простреливается выхлопом. И Женю потряс этот бесшумный кат памяти: что он уже проснулся, жил, но ещё не знал, как все изменилось, и главное, как изменился он сам. И это означало, что Ирина Викторовна ещё не стоит рядом так незримо, как Маша, что она ещё не пропитала душу настолько — и было в этом что-то справедливо-природное, из речной, ледяной, галечной жизни, где все заливания, притирки и заминания требуют величайшего трудового времени. Он уже не мог заснуть и, скручивая одометр памяти, представлял пору, когда Маши не было в его жизни. И несмотря на всю девственную свободу впереди, он горько жалел того Женю, как жалеют незнакомых вбогих людей.

С новой остротой, с прострелом по всем нервным веточкам он представил, как Ирина Викторовна спит, как лежит на подушке её лицо, заспанное волосами, и как она вздрагивает, когда сигналка, пискнув, включает на прогрев её дизель. И сонно посмотрев на экранчик, бессильно роняет его и укладывается поудобней, вминается, втирается в подушку щекой, глубоко и длинно вздыхая, и не подозревая, что он уже на ногах и готовит мир к её пробуждению. Он ещё раз поблагодарил дорогу, что она теперь сама ведёт их и не надо придумывать кнопочек...

Не в силах спать, он оделся и неспеша вышел на улицу в остроту морозного воздуха, которую особенно усиливала мятная жвачка во рту, в режущий свет прожектора, и вдруг, холодея, увидел, что её машины нет.

Какое-то время он смотрел на змеистые следы широких колёс, на пустое место рядом с маленьким «паджериком» и на измученный машинами снег в колючих гребнях, комьях и масляных пятнах. Прошёл сонный паренёк с ведром угля.

— Она давно уехала?

— Да час как уже.

— Ничего не передала?

— Да нет. Ничо, — с любопытством ответил парень.

Собравшись и отдав ключ, он с такой силой стеганул по педали, что «марк» зигзагом вылетел на трассу. В ночи светящийся экран с фичами косо отражался в правом окне двери, льдисто плывя где-то понизу за глянцевиной чернотой стекла.

Зею он пересёк на рассвете.

*Окончание следует.*

Василий Киляков

## Вкус охоты

Кто не любит охоты?

Впервые я почувствовал настоящий вкус к ней, когда вдвоём мы шли ночной порой по одной из многих рязанских дорог, шли долгое время сряду, не останавливаясь, не замедляя шагу, то и дело оскользаясь по грязи вдрызг раскисшими кирзачами.

Земля весенняя, как разомлевшая вдова, всё больше, день ото дня пьянела от вешних вод; целовала подошвы наших сапог, так нам слышалось жирное чавканье жижи.

В обочинах и колеях лежал прошлогодний, невидимый глазу хворост, наступишь на него — и сам вздрогнешь: треск на всю округу.

Была весна, та особенная русская весна, когда всё окрест: и трава, и деревья, и даже, кажется, самые камни — всё сладко пробуждается, начинает дышать каждой порой, заражая воздух дурманным ароматом желаний.

На охоту! По тетерева! Кто не знает эту приятную тяжесть ружья. Даже и легкого. Всем существом своим ощущая его налитую силу, стройность ствола за спиной, а ладонь ласково тискает холодную шейку патронника.

Оружие, будто царский скипетр, даёт власть над всем живым, делает человека мужественней, бодрей, злей, круче характером. Так и хочется вскинуть вертикалку-двустволку, рвануть пальцами по куркам, чтобы грянул внезапно его громовой голос, ахнул, оглушил, и кольцами, не вдруг, умер вдали. Но перемагаю себя. Смирненно топчусь за моим вожаком Якимом. «Дай бог, с полем», — гвоздём сидит в голове.

Весь наш поход кажется мне здорово привлекательным. Мозглые нахлёсты ветра, крошечная темь — всё нипочём. Ступаю утороплёно, излишне твёрдо, точно слепой без поводыря — такая тёмная дорога сквозь вырубку, что каждый шаг кажется последним. К пропасти. Промахнёшься ногой — и упадёт сердце; только кое-где, в лужах, как в глазницах, стала вода стылая. Тяжёлая, и светло отражает светящееся уже после непогоды и ночи небо.

Якима я давно не вижу и не слышу, он словно умер в этом рязанском урочище, — только едва слышу. Завидую его расторопности и едко думаю: и он потерялся, идёт без пути — без дороги, попросто дурочит меня.

Вдруг голос спереди приковывает к месту: «Вот он, загон. Тут и быть...»

Не удержался, с маху ткнулся в его шершавую тужурку.

Несколько дней отслеживал он пляски тетеревов, искал по ожимым помёт этих, как он называет «петухов», и вот соорудил это «нечто», этот «загон» — укрытие от дичи, связанное на живую руку убежище на расстоянии хорошего выстрела от токовища, среди озимой луговины. Дно загачено листовняной опадью, крыша же набрана так: с наветренной стороны — наглухо, с другой — настезь. Напролет, к звёздам.

Устроились, ждём. Сторожко, не вздынь, притаился Яким. А уж развиднело, и нет-нет, да и крутнёт мой охотник головой, и блеснёт тогда перламутром его цыганский, точно у испуганного жеребца, глаз, выхваченный светом. Видно по нему, хоть и бывалая кость, а душа играет, не на месте...

Время умерло навек в этом глухом заповедном мещёрском краю, и вот уже одубели коленки, и колет руки тысячами игл, но сладкое чувство, что сейчас, здесь, вот-вот на этой открытой как ладонь луговине вот-вот должно свершиться какое-то простое и прелестное чудо — тетерева — заставляет сидеть как замороженного.

Ясно проступает впереди опухшее болотце, сухие лесины о край него. Их уродливые сучья колят небо, и всюду, без переходов, несётся оттуда, насыщая слух, бойкая жизнь пробудившихся пташек: строчит не переставая погремущка-сорока, тенькает зорянка, с грустным безнадёжьем окликает кого-то кукушка, обиженно урчат вяхири...

Ещё никому не удавалось перехватить ухом первый звук разбуженной жизни. Действительно, что ж это было? Крик ли петуха в далёкой караулке, шорох ли озимых? Шелест ли деревьев, чутких, как нервы земли. А может быть стук моего собственного сердца? Да, да, конечно, стук на весь мир моего восторженного детского сердца!

Вдруг — вот оно — шум, свист, шепот — единым полным вздохом прокатился по окрестности. Яким направил мой взгляд на кровлю шалаша, и вижу: сквозь сетку сучьев — сидит — рукой дотянуть — тетерев!

Так же как и у меня — занялся верно дух и у сказочного Ивана из всеми любимой сказки, когда

тот заметил «Жар-птицу Золотое перо», и, верно, так же неожиданно являлись тетерева и в старые допотопные времена, неожиданно-негаданно взмывали они вверх, заставляли этой своей неожиданностью и вихрем звуков терять сердце даже и самых бывалых, отчаянной храбрости егерей. И... кто может поручиться, не шарахались ли от нашего безобидного «Терентия» кони под Тамерланом, Чингисханом, высокомерным Наполеоном...

Я смотрю широкими глазами... Мгновенье... протянул руку, весь напрягся как пружина, сейчас схвачу...

— Чу-у-фых,— сорвалось с кровли.

Потом ещё и ещё, бойко, строптиво, с соблюдением строгой очерёдности, будто бьёт в бубен, играет тетерев-косач. С дерзким призывно-восторженным бормотанием оттолкнулся он, и тяжёлым скоком пал на лужайку. Комом прокатился туда-сюда, красавец! И ещё сильнее, крепче. Веселей несётся полем:

— Чу-уф, чуф, бр-рр...

Различаю лирные косицы его хвоста, яркие, бруснично-красные, будто кровью налитые бровки... Перья—чёрнёное серебро и серые штанишки под острыми крыльями. Точь-в-точь средневековый латник. А уж боек-то!

— Бедовый петух... Хорош, Терентий,— дышит мне в ухо мой охотник.— Ну, стреляй же, целься. Чего ждёшь?

Я стиснул цевьё. Направляю. Нужно быть осторожным: ни звука...

Между тем, коротким боковым скоком, косач подкатил к вывороченному бурей корню ольхи у болотца, тут же с разгону ударил его клювом, и крылом, и опять клювом. Видно—принял пенёк за соперника! Разлетится снова—и хватить его с силой. Тут уж гляди: то ли сам разобьётся вдребезги, то ли пенёк пополам.

А с рассветного, настезь распахнутого неба, падают один за другим петухи: четыре, пять... И я уже не знаю теперь: то ли вихрь несётся надо мной, то ли с прорванного неба—несутся, собираются на шабаш древние, неведомые мне души оставивших мир существ.

А пляски тетеревов с минуты на минуту всё забавней: разминутся на бегу, повернутся круто чертя крылами, норовят сбиться грудью. Границы их владений не заметны моему нечуткому человеческому глазу, но попробуй переступи их—и не миновать боя. А то притворяться станут: с озабоченным видом чиркают друг перед дружкой клювами туда-сюда, будто и нет соперника рядом. Но каждый косит глазом, яро охраняет свой кордон.

В миг упала тишина на поляну, и замерли плясуны. В моховое горелое болотце опустилась на сухую лесину она, бесспорная царица этого рыцарского торжества—тетёрка. По кукушечьи

пестра, невзрачна. Забытой казацкой папахой на деревце сквозит она в сучьях. Минута, и так же разом, как смолкли—точно по взмаху палочки невидимого капельмейстера, ударил ток с удвоенной, удесятерённой силой. И всё здесь: радостный вызов первого ручья, проточившего проталинку, и тяжёлая память о мачехе—голодной зиме, и светлая надежда на жизнь, на праздное лето.

Опять чувствую: Яким не спускает с меня пристального взгляда, и не понимаю, отчего же не стреляет он первым. Или меня натаскивает, проверяет... Чувствую здесь какой-то подвох: чего он ждёт от меня? Наконец решаюсь, точно отрываю от себя что-то, навожу на луговину дуло. А там ещё пуще кутерьма...

Знакомый косач—он, видно, тёртый калач, заправляет сватовством. Токует он, а солнце встаёт над ним, за далёким увалом, за тёмным ещё перелеском. И вот уже не тетерев передо мной, а всемогущий шаман, призывающий в семью свою наше великолепное всесогревающее светило. Оно уже покинуло своё гнездо, и послушное его пляске, вздымается, будто в готовности слиться со всей его стайей. Осенённый его светом, хранимый самим солнцем, выплясывал колдун-косач. И любовался я.

То одевался он сталью травленных в чернь доспехов, то отсвечивал сизым, зелёным, палевым с искрой отливом... И каждое его движение меняло эту гамму полутонов, света,—он крутился там, на поляне, он ворожил, сладко изнемогал под бременем любви к солнцу, к движению, к самой жизни и своей возлюбленной, а моя рука упорно сжимала ружьё, и уже прочно и по-деловому, обыденно вдавливала приклад в плечо, чая хорошей отдачи, и чёрный немигающий глаз смерти уже лёг на эту поляну, и равнодушно-холодно, даже как бы с сарказмом смотрел на это пиршество счастья... Смотрел туда и я, и—даю слово—именно в этот момент, в этот миг я научился смотреть сердцем.

Я не понимал, что со мной, холодный рассудок не во власти над чувствами, когда они есть. Не вспомню теперь выражения своего лица, но Яким, я заметил, надо мной улыбается.

Утомлённые, рассыпались по полю косачи. Смахнула косым летом, протянула над озимями тетёрка. Припустил за ней красавец—шаман; всё дальше он, дальше... Вместе они летели к солнцу, уже открытому, полному. Они летели так, словно пели песню, песню торжествующей любви.

Я поднялся из шалаша, отряхнул колени молча. Я знал, что увидел тогда то, что не должно, не нужно видеть человеку, сокровенное, одно из великих таинств восхода солнца. И это не для праздного взгляда.

Согнувшись в три погибели, кряхтя, вылез за мной Яким.

— Охота смертная. Да участь горькая, ох—хо... — Что?

— Охота без выстрела—то же, что трубка без табаку, ай не так?—молвил он с подковыркой.— Упустил петухов, да каких! Не жалко?

— Жалко,—ответил я грубо.

Мне и впрямь было жаль. Жаль что он вновь напомнил мне о ружье. Напомнил в этот час, когда я думал о другом, как казалось, гораздо более важном.

— Добро же,—сказал он со смехом, и, ловко выхватив у меня тулку, упёр стволы в небо, вскинув приклад на колено. Кинул пальцы по куркам, они сыграли мягко, без выстрела. Заломил ружьё, дунул в патронник—пуст, и захохотал, точно бочку по полю покатыл.

— Живём на болоте, а тоже... не мхом поросли. Так-то, малый. И, улыбаясь, по-иному, как показалось.

Добрее, взглянул на меня. Может быть, показалось? И так стало ясно. Что это было бы, верно, страшней, чем себя потерять. Хуже собственной смерти—услышать сегодня сухой треск, раскат выстрела, и вместо весеннего запаха глотнуть пороховой гари.

И, всё ещё шутя, Яким дохнул, как кузнечный мех, плотоядно ляснул зубами:

— Эх и красотища. Красотища же, а? Так бы и съел всю природу! И берёзовым соком запил!

Воздух был густ и свеж, и в нём чудился запах распутившейся земляники, но она ещё и не думала зацветать.

И всё летела к солнцу пара больших и при солнце кажущихся рыжими птиц. И жизнь была чудесно хороша.

ДиН стихи

Максим Лаврентьев

## Из книги «Ветхие сюжеты»



Слишком близко подобрался к трону  
слишком легкомысленный Парис,  
а потом рванул с Еленой в Трою—  
не существовал ещё Париж.  
Завопил Приам на них истошно,  
проводив ахейского посла:  
«Влипли мы в историю!»—и точно,  
с той поры История пошла.  
Побежала, понеслась потоком.  
Не запомнишь, кто кого убил:  
Гектор ли расправился с Патроком,  
и с какого боку был Ахилл?  
Поглотил их целую плеяду  
азиатский гнусный городок.  
Впрочем, почитайте «Илиаду»!  
Я вам не Гомер, не Геродот.  
Мне за это денег не заплатят,  
орденов и премий не вручат.  
Нет, я не готов, друзья, заплакать,  
буду огрызаться и ворчать.  
Раньше я записывал все жертвы,  
но недавно прекратил подсчёт.  
Надоели ветхие сюжеты,  
вещие и вечные сюжеты—  
захотелось что-нибудь ещё.

### Конфуций у реки

К мелководной реке подойдя,  
обнаружил Конфуций, что мост  
смыт потоком во время дождя,  
а воды с человеческий рост.

Ждать пока обмелеет река  
недостойно того, кто в пути.  
И Конфуций спросил старика,  
где б на берег другой перейти.

Тот старик, что сидел за рекой,  
отвечал: «Чем же я помогу?  
Я не вижу проблемы, друг мой,—  
ты уже на другом берегу».

Все препятствия в нашем в уме,  
но за ними откроется путь—  
надо вовремя только уметь  
на себя по-иному взглянуть.

Алексей Антонов

## Ганзон

Ужас. Вот самое первое воспоминание в жизни. Я катаюсь на трёхколёсном велосипеде прямо под балконом у крыльца подъезда. Катаюсь себе, катаюсь, потом смотрю вверх, на балкон, в надежде, что бабушка оценит, как я тут катаюсь. И вдруг вижу, что облака не стоят, а ползут по небу. То есть всё поехало, сдвинулось, смешалось, потеряло устойчивость. И я прихожу в ужас. То есть меня охватывает такой абсолютный ужас, какого потом не было больше никогда. Или — пока ещё не было. Я бросаюсь домой, но и велосипед ведь жаль. Я втаскиваю его на крыльцо, а он — ну ни в какую. «Бабушка! — истошно кричу я. — Бабушка! Возьми меня отсюда!» Бабушка появляется на балконе и тут же на крыльце — с большим кухонным ножом в руке. Схватывает меня под одну руку, велосипед под другую — и вверх. Бабушке тогда 56. Столько же, сколько сейчас мне. Потом я рыдаю, уткнувшись в её колени, а она долго и громко смеётся. Потом она спускается за ножом. Ну да это я так, непонятно и к чему.

А вот ещё одно из ранних воспоминаний. Лето. Солнце. Наш двор, с четырёх сторон окружённый домами. С севера — райисполкомом, с востока и юга — нашим, с запада — судом и судейскими домиками. Двор огромный, как мир. Да он и есть пока наш мир.

Нас человек десять. Нам от четырёх до шести. Мы копаемся в своих песочницах или качаемся на своих качелях, или просто болтаем, болтая ногами, на лавочке под акацией. И вот появляется он — красивый, аккуратный, светловолосый. Он идёт, как всегда, быстро, глядя прямо перед собой. Он старше нас лет на восемь-десять.

Тут мы все вскакиваем и орём во все наши тонкие горла: «Ганзон! Ганзон! Ганзон!» Он скалится, как волк, бледнеет и бросается на нас. Но мы уже врассыпную и со всех ног мчимся к беседке, где играют в домино и тайком покуривают старшие пацаны. Беседка эта как домик. Мы влетаем в неё, и он сразу останавливается. Метрах в пяти. Старшие пацаны молчат и с угрозой смотрят на него. С ним нельзя разговаривать. Запрещено. Ему можно сказать только одно слово: «Ганзон». Но и бить его почему-то никто не бьёт. А могут запросто и Вовка Нестеров, и Виталик Егоров,

и Витька Сорокин. Или — все втроём. Но не бьют, будто как из безгильности. Или, может, дома велели не трогать.

А он тоже молча смотрит им в глаза, потом поворачивается и так же быстро уходит в свой «проход». И так почти каждый день. Только когда больших пацанов во дворе нет, мы отходим от него подальше и потом разбегаемся по своим подъездам. Но хоть и дразнили мы его, а боялись просто до ужаса. До тошноты боялись. Больше отцовских ремней.

Он живёт не в нашем новом сталинском ведомственном доме, а в ещё довоенном, одноэтажном, без удобств, с маленьким «южным» двориком, куда и ведёт этот самый «проход». А «проход» — потому что из дворика через незапирающуюся калитку можно пройти в милицейский скверик. Но мы туда пока ходим только с бабушками. Кстати, Ганзон мог бы спокойно попадать домой через эту свою калитку, но он почему-то упорно ходит через наш большой двор.

У нас у всех есть отцы, а он там живёт вдвоём с матерью. И мать тоже ни с кем во дворе не дружит, даже не разговаривает. Да и мать его не похожа на наших. Скажем, Серёжкина мать даже в молочный ходит в шелках и бриллиантах, которые Серёжкин отец, старпом китобойной флотилии «Слава», привозит ей аж из Индии. А Димкина мать ходит в театр. А Сашкина, вся крулый год в сером, служит в горкоме. А у Вадима отец вообще адмирал. Правда, на пенсии. А Петькин папаша, хоть и пьяница, зато Герой Советского Союза, защитник нашего славного города и может без очереди достать билеты в любое кино. А вот Ганзона мать всегда в одном драном халате вешает во дворе бельё на верёвку. Одно слово — мать Ганзона.

Мы не знаем его имени-фамилии. Для нас он — Ганзон. Мы не знаем, что значит это слово «Ганзон». Не знают этого даже старшие пацаны. Отцы и матери, конечно, знают, но мы знаем, что спрашивать их и нельзя, и бесполезно. Мы знаем только, что «Ганзон» — это невыносимо обидно. У него и в школе нет друзей. Старшие пацаны говорят, что он с первого класса просидел один за парты. Хотя он почти отличник, а с отличниками всегда сидят. Словом, в кличке этой заключена

какая-то страшная тайна. Страшнее, чем «еврей». Страшнее даже, чем в недавно усвоенном нами слове «пидор».

У нас во дворе так получилось, что во многих семьях было по два брата, причём с разницей лет в пять, а то и больше. Поэтому многочисленные в те годы дворовые пацаны естественным образом разделились на «старших» и «младших». Были, конечно, единственные сыновья и среди старших, и среди младших, я например. Но тем, у кого старшие братья, жилось не в пример веселей и вольготней. Особенно летом, когда все толклись во дворе. Они как бы узнавались, как бы опознавались старшими и нет-нет да и принимались в их компанию.

Они, например, иногда гоняли на братниных «Школьниках» или даже «Орлёнках», тогда как мы ездили по двору на переделанных из трёхколёсных великах с твёрдыми цельнолитыми шинами. Их, например, отпускали на море со старшими братьями, на все эти неведомые и недостижимые дикие пляжи, имена которых—Омега, Херсонес, Голубая бухта, мыс Айя—звучали для нас, безбратних, примерно как Африка или Австралия. Они, например, запросто спускались в Низуху и купались там в радужных от мазута водах Южной бухты, прыгали с бочек или возились в огромном бетонном ящике, куда для промышленных нужд выкачивали добытый с морского дна песок вместе с водой—эдакую кашу. Мы же в это время слонялись по опустевшему двору или ходили с бабушками в лягушатник на Приморский бульвар, что и тогда уже было униженно. А они, эти, возвращались уже в сумерках с вёдрами крабов-камышек, которых (обязательно в морской воде) варили у кого-нибудь из старших на электроплите, а потом выносили во двор на всеобщее съедение. И мы их сообща с хрустом съедали под хлебный бочковой квас—три копейки маленькая кружка.

А Ганзон, по-моему, вообще никогда не ходил на море. Да и с кем ему? Ходил всё лето в длинных наутюженных штанах и белый сам, как холодильник. Зато в бассейне плавал так, что ему отводили отдельную дорожку, да ещё возили на соревнования то «на область», то «на республику».

Потом мы чуть подросли, и тут Гагарин слетал в космос, а мы пошли в школу. Там у каждого появились свои друзья—у всех разные. Да и старших потянуло со двора в город, на танцы, к пивным палаткам, в бильярдную—кого куда. И мы как-то сами собой перестали дразнить Ганзона. Неинтересно вдруг стало. А однажды осенью он прошёл через двор в чёрной с золотом форме курсанта военно-морского училища, в скрипучих и сияющих ботинках. И стал появляться всё реже, а потом и вовсе пропал.

Потом мои родители купили машину, «Москвич-407», и мы стали по воскресеньям ездить хошь на Чёрное, хошь на Азовское. Вскоре, правда, они развелись. А потом у нас пошли девочки, четвертные и годовые контрольные, баскетбол на первенство ГОРОНО, экзамены, пиво с воблой, аттестаты зрелости, несбыточные мечты о столичных вузах. И в космос тогда уже стали летать регулярно. И Ганзон окончательно стёрся из памяти. А потом и вообще начались такие города и годы, такие былые и думы, такие живые и мёртвые, такая война и мир, что, как говорится, кому память, кому слава, кому тёмная вода.

А потом я как-то ехал на каникулы домой в поезде и попал в одно купе с капитаном 2 ранга Ганзоном. И я аж вжался в мягкую спинку мягкого вагона. И всплыл во мне тошнотой тот давнишний страх. Но он не узнал, нет. Ну а как иначе? Он был не один, а с красивой стройной брюнеткой. С такой с Кармен. И Кармен эта и говорит: «Вот сходим к маме твоей на могилку, а потом ты меня с друзьями своими познакомишь». А он ей: «У меня там нет друзей». А она: «А двор, а школа?» А он: «Потом как-нибудь расскажу». Так вот мы и ехали.

А вот ещё помню, сидел я как-то на спецкурсе по Достоевскому, который читал нам сам покойный Корягин. И вот Корягин стал вдруг остроумно, но и беспощадно потешаться над диссертацией Степана Трофимовича Верховенского (который из «Бесов») о всемирном и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау. И тут меня что-то зацепило. Что это, думаю, ещё за ганзеатическое значение? Но зацепило, прямо скажем, ненадолго. До первой, скажем, кружки пива. А потом, уже в следующем семестре, на лекциях по мировой истории нам всё доходчиво объяснили и про Ганзу, и про ганзейский союз торговых немецких городов. И тут я почему-то вспомнил Ганзона. Ну, как-то смутно связал. Где тот Ганзон, и где та Ганза?

А потом, как-то с утра, с похмелья, без денег, стал я чего-то вспоминать наш двор. Вспомнил в свой черёд и Ганзона. И взял включил свой лингвистический, аналитический свой аппарат. Ну, это уже тогда, когда я научился думать без помощи книжек. И вот, лежу-думаю, Ганзон ведь в буквальном переводе—сын Ганзы. Или—сын Ганса. Там s и z сталкиваются, и звонкая, как, впрочем, и везде, побеждает глухую. Интересно одно—как к очевидному Гансу я пришёл через малоизвестную Ганзу.

Ну ладно. Думаю дальше. Я родился в 1954 году, а Ганзон лет на 10 меня старше. То есть родился он как раз тогда, когда наш город был освобождён от немецко-фашистского ига. Тогда отмеряем 9 месяцев вспять. И что видим? Город лежит в руинах.

Из мужчин — только военнопленные красноармейцы, да и те — за колючей проволокой, да и те доведены бескормицей до импотенции. А его всё же как-то зачали. Значит, мать его, драная эта, была немецкая подстилка, а он — выблядок. Значит — на него-то и обрушилась вся ненависть наших родителей. Значит — и я туда подбавил. А и — как же иначе? Всё правильно. У моей мамы, например, там четыре брата полегло. И во дворе у нас вечерами в домино играли сплошные фронтовики. А тут он. А ненависть, настоящая, не теоретическая ненависть — чувство ведь конкретное. Ей подавай объект. А объект — вот он, рядом. То есть всё логично. Ну а он-то причём?

Тут я пошёл и занял денег на пиво.

Я сначала хотел закончить эту историю рассказом про то, как Ганзон до последнего подбадривал матросов на подлодке «Курск». Потом появился другой финал: Ганзон доказал своё германство, уехал на историческую родину. Теперь у него маленький спортивный магазин в Ганау. Но закончу по-третьему. Я больше никогда не видел Ганзона. Я не знаю, жив он или мёртв. Да и был ли Ганзон? Может быть, Ганзона и не было?

Я сижу у пруда в Екатерининском парке, между театром Российской армии и Олимпийским спорткомплексом. Пью пиво. Надо мной плывут облака. Но никакого ужаса. Никакого ужаса. Просто ужас как никакого ужаса.

Просто ужас.

ДиН лит

Олег Будин

## Русское де жа вю



Он не сказал ни слова про Чечню,  
Был молчалив и явно сдержан с теми,  
Кто, изучая в кабаке меню,  
Предпочитает «полевые» темы.

Он не сказал ни слова про гарем,  
Который предлагали в сделке первым,  
Чтобы мужчина телом не старел,  
Продав себя, Отечество и веру.

И можно было бы сойти с ума,  
Когда узнал он, что по ним палили  
Славянские отряды мусульман,  
Которых «духи» загодя купили.

Он не сказал... Молчал и про Христа —  
Не стоило кощунствовать из мести,  
И с шеи неприкаянно свисал  
На простеньком гайтане медный крестик.

Он не сказал, но не считал фигнёй...  
И бил по прошлому прямой наводкой,  
Сжимая огрубевшей пятернёй  
«Литровую», заряженную водкой.



Скоро пенсия. Скоро, вроде...  
Но морщины лицо сомнут,  
И бюджет в пенсионном фонде  
Разворуют за пять минут.

То дефолт, то особый случай  
Проверяют хребёт на гиб —  
От бодяги не станет лучше,  
Даже если втирать в мозги.

От реформы — шаги до гроба.  
Сомневаюсь, что доживу  
До бесплатного бутерброда —  
Это русское де жа вю.

Верить хочется, но не верю  
В благодушие бытия...  
Горделиво захлопну двери,  
За которыми только я.

И пошлю все надежды к чёрту —  
Прометей не порвал оков.  
Нате, клюйте мою печёнку —  
Что мне пенсия от божков.



Михаил Манасян

## Мирзо

Казарменные тапочки на босую ногу, изношенные костюмные брюки цвета хаки и майка: спортивная, свободная, чёрная. Он был ниже среднего роста, с короткой, густо заросшей бородой и выглядел намного старше своих лет. Жаркие восточные гены, тяжёлый труд и неполноценная еда что дома, что на чужбине давали о себе знать. Его предки явно были арийцами, но лёгкая примесь «монголоидности», как дар соседства, оставило на лице еле уловимый след.

— Послушай, брат, я правильно иду к мечети?

Он, не глядя на меня, кивнул головой.

— Да, пойдём со мной.

Ответственность придала его походке и взгляду некую ребяческую деловитость. Он принялся суетливо разглядывать здания на противоположной стороне проспекта, словно сама мечеть должна была выглянуть нам навстречу. Он так увлёкся этим процессом, что я подумал: о моём присутствии явно позабыли.

— Брат, как тебя зовут? Далеко до мечети?

— Нет, мечеть рядом, вон за тем домом.

Он назвал своё имя, но я успел уловить только самое главное и решил, что азиатская приставка к имени как «Джон», «Ака» или «Бек» наподобие арабского «Ибн» или французского «Дэ», не важна. Мирзо спрашивал и отвечал короткими фразами. Старался правильно оформить свою мысль, и это ему удавалось. Говорил он красиво: с мягким таджикским акцентом.

— Мирзо, у меня одна просьба. Я в мечети был лет восемь назад и не помню как надо себя вести. Ты поможешь мне? Я не хочу никому мешать.

Мирзо отечески улыбнулся и, видимо мысленно со всей любовью, принял меня в объятия. А я подумал про себя: «да; конечно, я твоя заблудшая овечка». Нет, нет, я не имел подлых мыслей. Мне и сейчас кажется, это безобидной шуткой-монологом.

— Ты русский?

Это было неожиданно. Русским или в лучшем случае обрусевшим как одолжение, типа свой, да не очень, меня могли назвать на родине моих предков. В Армении, даже спустя двадцать лет, репатрианты (гадко звучащее слово) так и остались пришлыми. Чья в том вина, плохо это или хорошо, я не знаю.

— Мирзо, я что, похож на русского?

— Нет, я хотел сказать, ты живёшь в Москве?

— ...Наверно да, уже лет двадцать, — потом, опередив следующий вопрос, словно самому себе продолжил, — Мирзо, я армэнин.

С людьми, владеющими скудным запасом слов, не ради издёвки, а просто для взаимопонимания, иногда приходится общаться как с заикой. Пока заика пытается выговорить первый слог, ты невольно произносишь за него чуть ли не всё предложение или же заканчиваешь начатый им вопрос уже ответом. Так легче, главное сохранить уважение к собеседнику.

Молчание сопровождало нас весь переход. Если в России, в её большей частью православном крае, да и в Украине, в Белоруссии могут с нескрываемым удивлением спросить: «А что, армяне христиане?», то среди исламских народов всё определено. Я не преувеличу, если скажу, что армэнин и христианин у многих народов ислама это синонимы.

В России тебя слушают — слушают и не понимают. Не понимают, потому что многие, многие обезоружены незнанием собственной истории и культуры. А ведь народ, он, как и человек: если ты не будешь уважать самого себя, как же ты поймёшь другого?

— Ты хочешь поменять веру?

Мирзо произнёс эти слова с таким глубоким понимаем и успокоением для себя, словно он получил вознаграждение за долгое терпение и уверенность в правоте своей истины, данной только ему и его братьям по вере. При этом, нисколько не унижая меня в моём решении. Он, словно заранее, уже своим расположением ко мне, благословлял мой путь.

— Мирзо, я к религиям, буддизму, христианству, исламу, иудаизму (иудаизм, это слово насторожило Мирзу, и он вопросительно посмотрел на меня), к джуудам, — съязвил я, — к джуудам, никакого, прямо-го, отношения не имею. Я историк, изучаю религии и хочу на практике ознакомиться с исламом...

Я историк — это единственное объяснение, что пришло мне на ум. Я историк — этот ответ немного смутил Мирзо, но реплика о евреях быстро восстановила наши доверительные отношения. Таджики, по праву причисляя себя к народу фарси, видимо,

не могут простить иудеям пролитую в древности кровь и, мало того, ежегодное празднование этого злодеяния — как праздник Пурим. Мардохаевская авантюра с его блудливой племянницей во всех красках разрисована в Ветхом завете. И кто бы мог подумать, что благородные отцы церкви назовут подобный текст святым писанием. Джууд — так мусульмане называют евреев.

— Там, — Мирзо показал рукой в сторону мечети, — мой друг, он больше знает об исламе. Я познаю вас.

На самом деле я надеялся на помощь в тихом единении среди верующих мусульман. Мне было необходимо побыть одному, а в перспективе, что не очень радовало, ожидала теологическая беседа с незнакомцем. Любая речь о религии неминуемо приведёт к спору или в лучшем случае, к непониманию. К тому же сегодня пятница 13-ое, выпавшая на рамадан. Искушать судьбу не хотелось.

Мирзо позвонил своему другу, с которым намеревался познакомить меня. Он обратился к нему на одном из тюркских языком. В начале, я подумал о туркменском, но, как оказалось это был язык узбеков. Чуть ли не на каждом шагу женщины предлагали какие-то бумажные свёртки, но он жестом руки останавливал назойливых соплеменниц.

Его друг узбек. Вряд ли два таджика будут общаться между собой на узбекском. И если Мирзо знает узбекский язык, то, скорее всего, он родом из Самарканда или же из Бухары. И ещё, вероятней всего, мой новый знакомый по паспорту зарегистрирован как узбек. Таджикское население Самарканда и Бухары разделило участь своих древних городов. Так или иначе, многие народы терпят подобного рода компромиссы.

Говорят, в Турции живёт около миллиона армян-алеви, принявших мусульманство. Может, они не смогли вовремя уехать, или же не захотели оставлять свою родину. А что чужая религия? Это та же вера в Бога. Лезгины, почему-то оказавшись со своим краем в западном Азербайджане, так же методично, уже не одно десятилетие, сплавляются в новый государствообразующий народ. Пути Господни неисповедимы! Разве что так можно понять происходящее. Может, это и к лучшему. Может, то, что в гнев своём породил Господь, может, то, что не доделал пророк Мухаммад, довершат сами народы, поглощая друг дружку. Пути Господни неисповедимы! Воистину, нет плохих народов... как и хороших. Когда мы с Мирзо проходили мимо рядов молящихся, я заметил, что у многих вместо молитвенных ковриков были те самые бумажные свёртки. Во мне снова съязвилась непрошенная ирония: одноразовые — прогресс налицо.

Я пытался шутить, чтобы хоть как-то удержать надвигающееся волнение. Первое впечатление, нахлынувшее на меня — это дух средневековья

в лохмотьях, втиснутый в наше время. Это униженное и оскорблённое отребье всех народов. Оно пришло сюда и станом раскинулось вокруг храма Всевышнего. Оно хочет измором призвать Бога к ответу за свою юдоль, потребовать справедливости, о которой слышали в преданиях старины глубокой. Откуда они пришли? Их нельзя было назвать представителями своих народов. Каждый из них был невинен по определению. Но именно эта простота, не имеющая основы и формы, внушала непреодолимую тревогу. Хрупкая добродетель, в которую они облачены, готова поделиться с тобой последним куском хлеба, но при малейшем подозрении в твоей «несамодостаточности», безо всякого угрызения совести, растерзать.

Мирзо представил меня своему другу. Мы наскоро поздоровались и, разувшись, заняли предложенное нам место в длинном ряду молящихся. — Мирзо, кроссовки не украдут?

Мирзо посчитал мои подозрения настолько неуместными, что не стал отвечать.

— Повторяй за мной, не отвлекайся!

Как же я мог, идиот, прийти в гости и спросить такое? Идиот. Но на раскаяние из-за подобных нелепостей времени не оставалось, и я вслед за ним и Каримом погружался в намаз.

С минарета на храмовый двор и окрестные улицы лилась молитва. На слух арабский язык воспринимается скорее как пение. Наверное, поэтому отцы ислама настаивают на том, чтобы Коран не переводили. Сладость речи и сакральность молитвы — это сильный эффект. Время потеряло всякое значение. Я не понимал ни одного слова, но молился так, как жаждущий пьёт воду и, усердно, совершая поклоны, призывал Всевышнего... на армянском, арабском, русском. Каждый из молящихся замыкался в самом себе и, таким образом, шёл к всеобщему единению. Никого, никакого посредника между тобой и Богом. Здесь ты можешь быть спокоен, что тебя не потревожат во время молитвы. Не упрекнут и не оскорбят грубым словом за то, что ты по незнанию поставил заупокойную свечу туда, где оказывается горят задравные. В мечети не вспоминают Христовых Апостолов, но знают и чтят великую истину, что в вере нет ни эллина, ни иудея.

Сдерживая натиск противоречивых чувств, я старался выглядеть спокойным. Сегодня моя душа вновь обрела чистоту и мне хотелось как можно дольше сохранить ощущение лёгкости и новизны весеннего ветра. Но, увы, нет плохих народов... как и хороших. Чувство первобытного родства и единения, сплотившее меня с моими новыми знакомыми, оборвалось самым глупым образом. Кто-то забыл отключить сотовый телефон. Карим был одет во всё белое. На хрупких плечах его голова казалась не пропорциональной. Сытое лицо скрывало большие скулы и если б не плешивая,

но ухоженная на манер испанки, борода, Карим походил бы на ребёнка-переростка. В отличие от Мирзо, Карим держался уверенно и не искал для себя дополнительной, психологической поддержки наивной улыбкой. Соблюдая весь этикет гостеприимства, Карим был прост и по-восточному вежлив. Но если Мирзо безо всякой причины готов был признать во мне брата, то Карим ничего не говорящим взглядом просверлил меня насквозь. Мирзо решил оставить нас. Видимо, для него религия имела социальную основу, и предстоящее показалось ему муторным делом. В затянувшейся паузе они обменялись примерно такими фразами: «Карим, ну я пошёл?», «Да, иди», «Я правильно поступил, что привёл этого армянина сюда?», «Да, всё нормально. Иди».

Ещё каких то десять лет назад, в поисках Бога, я мог бы безо всяких угрызений совести принять ислам за свою духовную основу. Если б не наличие в лоне этой религии Турции. Мне не чужда культура тюркских народов. И надо отдать должное их стараниям и тяге к просвещению. Но путь через сирийскую пустыню мной не преодолен.

После молитвенной эйфории ощущение реальности неожиданно стало подстёгивать на непонятную спешку. Мне пришлось нарушить затянувшееся молчание. К тому времени благодатный источник на минарете иссяк.

Сотканный молитвой огромный ковёр из людских тел медленно распадался на отдельные людские судьбы. И каждый из них уносил с собой свой «гордиев узел», который кому-то, быть может, удастся распутать. (Исламское единение расселось как дым). Этот поток из нехристианских народов так же, как и мы, обречён нести свой «крест». Покидая молитвенный двор, он уходил восвояси: в съёмные квартиры, в подпольные цеха или в дворницкие подвалы.

— Карим, а в мечеть мы уже не войдём?

— Давай подождём немного. Пусть народу станет поменьше.

Карим на удивление свободно владел русской речью. Кивая на приветствие прохожим, которых я всё время пытался определить по национальному признаку, Карим продолжал говорить, завлекая меня в свой мир. Мы говорили о братстве, о любви, о Боге. Об искренности ислама и чистоте помыслов. О святости души и долге перед Всевышним. О нравственных и моральных ценностях в жизни мусульманина. И единственное, что отличало его идею от евангельских писаний, это термины конфессионального толка и немного незнакомых мне имён. Мы говорили о любви, а мимо нас проходили люди такие разные и чужие.

Потом последовал тот же вопрос, который задал мне Мирзо при нашей встрече. Карим поинтересовался о причинах, приведших меня сюда, и я открыто рассказал ему о них...

Семь дней назад мне приснился сон, который послужил причиной моего прихода в мечеть. Я не суеверен и бывает, могу отличить провидения от механического тиканья часов.

Так вот, я очутился под опрокинутым на землю куполом, вдоль стены которого располагались несколько выгребных ям до краёв переполненных испражнениями. Купол был слегка смещён, как если бы находился на склоне холма и, к тому же, настолько огромен, что казался просторным помещением. Нас было несколько человек. Я говорю несколько, потому что видел только одного. Остальные всё время находились за моей спиной и потом вообще растворились из сна.

Голос спросил меня:

— Я хочу знать, когда ты вернёшься?

— Приду вечером.

— Вечером двери будут закрыты.

— Я успею.

— Смотри, вечером двери будут закрыты, — ответил голос и замолчал.

Незнакомец, которого я видел под опрокинутым куполом, был похож на рыжего клоуна, но уселся на восточный манер у края одной из выгребных ям и длинной палкой черпал фекалии, разбрасывая вокруг себя зловонную жижу. Помню, я долго стучался консервной банкой в какую-то деревянную дверь, неожиданно появившуюся на стене купола. Но она так и не отворилась. Откуда у меня в руке появилась консервная банка, я не знаю. Единственное объяснение этому и всему происходящему — сон. В отчаянии я начал кричать, сильнее стучаться в дверь, а когда устал и оставил её в покое, то обнаружил под куполом, между двумя выгребными ямами, лаз. Это разлило рыжего клоуна, и он размахнулся на меня палкой, запачкав мне куртку и брюки дерьмом. Не раздумывая и не задумываясь ни о чём, преодолевая выгребные ямы, я сразу же полез в этот лаз и очутился под новым куполом намного меньших размеров.

Стены второго купола были выложены мозаикой голубого цвета. Было много дневного света и дул мощный поток горячего ветра. Все стены купола и коридор, появившийся вместе с ветром, колыхались подобно лёгкой материи. Но ни одна мозаика или штукатурка в коридоре не осыпалась...

Запачканный испражнениями, я бродил среди уцелевших стен некогда большого здания. Жалкие отрывки мозаичной росписи пытались сохранить память о былом великолепии. Лёгкая лазурь, синий покой и изумрудная благодать переливались узорами. Я пил прохладу, приносимую новым ветром, и ни о чём не думал.

— Сима, ты здесь? — мне навстречу шла моя невестка, очень молодая, похожая на девчонку, словно из прошлого.

— Ашот, ты где ходишь? Мы тебя заждались. Иди за мной.

— Сима, мы что в мечети? Я вижу среди мозаичной росписи арабскую вязь.

— Да, ты ведь знаешь, что в той войне наш дом разрушили, а в этой мечети уцелела одна комната. Мы все переселились сюда. Ютимся в тесноте, но живём спокойно.

На двери русскими буквами было написано два слова: «Смирение и Покорность». Сима открыла дверь в уцелевшую комнату, и я проснулся.

Выслушав меня, Карим произнёс только одно слово: бярякят. Это тюркское слово, оно означает одно из двух: добро или благодать.

— Карим, я пришёл сюда, чтобы просто побыть наедине с самим собой. И попытаться осмыслить приснившийся мне сон.

Карим показал рукой в сторону хаотично движущейся толпы и сказал:

— Они и пяти процентов не знают от того, что ты рассказывал об исламе.

— Тогда зачем они приходят сюда? Даже в короткой паузе после заданного мной вопроса и его ответа я с трудом удержал тон важности моего интереса. Потому что сам знал на него ответ. Карим уловил напряжение и ответил просто.

— А разве миллионы христиан не поступают так же?

Я хотел возразить ему. Сказать, что христианство это уже не религия. Это символ. И что миллионы христиан конечно же идут в церкви к Богу, но они уже давно уподобили свои храмы синагогам. Церковь—это храм божий, но и символ национального определения. В лексиконе у православного обывателя христианин и католик—не одно и то же, и вообще, ничего общего по смыслу. Что священники, молясь Господу о благе всего человечества, так, невзначай (дабы Господь случайно не пролил зазря благодать на кого ни попадя), укажут Господу, что человечество—это непременно христианство. А христианство—это ни что иное, как православие... или католицизм, в зависимости от того, «чей» священник молится. Потом недвусмысленно напомнят ему, Господу, об одном из Его перегибов: мол мы тут не причём, Ты сам создал нации, так что, «плиззз», позаботься о нас—укрепи нам государство.

Я хотел ему возразить. Но как сказать, что вы моложе нас на шестьсот лет, и поэтому раньше времени не имеете право на подобное нравственное разложение? Моё состояние было похоже на тихую истерию. Карим, не дождавшись ответа, кивнул головой, приглашая пройти к мечети.

Нет Бога кроме Бога (взамен не переведённого Аллаха) и пророка его Мухамада... Кто же он? Кто тот человек, который не до конца перевёл фразу от которой так много значило и значит?

Старое здание напоминало ветхую старушку с посохом-минаретом в руке. Старуха не опиралась

на посох, а как бы указывала путь непослушно-му чаду. Но кто её слушал? Чадо беспокоилось о насущном.

Словно из ниоткуда появились попрошайки. Перед фасадом мечети разыгрался импровизированный восточный рынок. Продавалось всё что угодно: от видеофильмов о пророке до всевозможных языческих амулетов. Религия шла с молотка. Если б уставшая старуха-мечеть могла говорить «думаю», она обратилась бы к Иисусу со словами: «Иса, ты осуждал их за то, что они превращали храмы в вертепы. Ты позволил им распять тебя в надежде на то, что они узрят истину. Так погляди же, они до сего дня непокорны и невежественны. У них свой путь, своя религия, о которой мы не знаем».

Карим привёл меня в комнату для омовения. Прежде чем попасть в помещение храма, я, как и все истинные мусульмане, должен был соблюсти ритуал телесного очищения. Он заключается в следующем: надо помыть свои гениталии, ноги—желательно до икр, руки по локоть, шею, провести влажными руками по своей причёске, промыть ноздри и прополоскать горло. Ну и привести свою одежду в должный порядок. Я читал, что при отсутствии источника воды омовение разрешается проводить с помощью песка. А при отсутствии песка выполнить его условно.

— Карим, скажи, обязательно проводить этот ритуал, ведь есть исключения?

— Послабления допускаются тогда, когда в радиусе 5 км от тебя нет воды. Ты подожди меня здесь, я вернусь и объясню, что делать дальше.

Карим пошёл по коридору в поиске свободной кабинки. Комната для омовения—это ничто иное, как банальный сортир, ничем не отличающийся от многих привокзальных отхожих мест. Из-за большого скопления народа весь пол был залит водой, повсюду намешана грязь. Сортирные кабинки были расположены чуть выше основания пола; и это не изолированные места, а отгороженные друг от друга листами фанеры закуточки. Двери кабин похожи на те, что удерживают лошадей перед стартом. Одним словом, тебя видать чуть ли не по колено, а когда ты стоишь, то и выше груди. Карим быстро вернулся и, с чувством выполненного долга, предложил мне последовать его примеру.

— Карим, я знаю, что делать.

— Хорошо, и надо делать всё левой рукой.

— Знаю, ведь она у мусульманина считается нечистой, то есть харам.

В кабинке меня ждала Актафа. Это великое изобретение всех времён и народов—кувшинчик с длинным носиком... «на все случаи в жизни».

После унижительной процедуры, которую, слава Богу, мне удалось избежать, потому как до этой Актафы, на мой взгляд, было смертельно опасно

вообще приближаться, я, вслед за Каримом принимая всевозможные позы, попытался помыть ноги в раковине умывальника, затем руки по локоть; Карим почему-то настаивал на этом. Шею, лицо, ноздри. Прополоскал горло. Отряхнул мокрыми руками возможный прах с головы и направился к выходу. Удивительно, но вместо того чтобы возмущать человеческое достоинство, все эти оскорбительные условия напротив вдохновляли людей на ещё более сплочённое единение. Не знаю, может, это наличие казарменной атмосферы, или просто глупая привычка несмотря ни на что вести себя так, как заповедано?

У входа в храм Карим попросил, чтобы я вслед за ним, прочитал молитву. Молитва безусловно была на арабском языке, но о её содержании было не трудно догадаться. Думаю, она сродни с христианской молитвой, которую мы часто слышим во время крещения: принимаю Всевышнего, отрекаюсь от Сатаны и т. д. С одной поправкой: что у Господа ныне один пророк — Мухамад. Ведь по сути дела, ислам — это протестантское начало в христианстве.

Формирование Мухаада как пророка происходило не столько в противовес уже немощному язычеству, сколько необузданному размаху христианства, из-за чего для многих народов оно — христианство — оказалось сложным и неприемлемым.

Повторяя вслед за Каримом, я старался как можно меньше коверкать молитву своим произношением.

Просторный зал, устланный коврами и освещённый со всех окон светом. Стены украшены мозаикой и арабской вязью. Словно в раю — свободно и уютно одновременно. Ни одного взгляда с укором. Только Бог и ты. В этой тишине я вспомнил молитву одной арабки, жившей в IX веке, кажется, её звали Рабна. Я случайно наткнулся на эту молитву уже в Армении, перебирая уцелевшие книги после погромов в Баку: «О Господь! Если я буду молиться Тебе из страха за ад, то сожги меня в нём. О Господь! Если я буду молиться Тебе в надежде на рай, то изгони меня из рая. Но если я буду молиться Тебе в надежде увидеть Твою красоту, то не укрывай её от меня».

Я не заметил, как ушёл Карим, хотя точно помню, что попрощался с ним. И мы обещали друг другу, что созвонимся. В дальнем углу молитвенного зала, какой-то старик в грязном халате и тюбетейке, жестикулируя руками, вырисовывал вокруг себя непонятные мне мысли и образы. Кажется, он что-то пересказывал из истории далёких преданий. Говорил он на фарси. На языке великих царей и поэтов. Молодые таджики слушали его с умилением и не понимали, что возможно этот грязный старик и есть тот, кто держит их будущее за горло.

Карим ушёл к своим, а я в сторону церкви, расположенной рядом, на противоположной стороне, за олимпийским комплексом. Я очень устал. Не было сил думать о происшедшем. Снова хотелось тишины и одиночества. Знакомого мне одиночества, где не придётся искать своего места.

ДиН пародия

Евгений Минин

## Слезайте с ветки!

### Коряверзное

*Не грозит забвение мне, ни слава, —  
запоздалый отпрыск иной земли,  
я стихи научился слагать коряво,  
дабы предки вдумчиво их прочли.*

Максим Амелин

Я для вас сочиняю, милые предки,  
и сложить хочу покорявее стих.  
Верю, время придёт — вы слезете с ветки  
и корявость увидите в книжках моих.  
Я, конечно, страшусь, беру на заметку,  
что спугнуть может строк моих чехарда,  
вы тогда без оглядки вернётесь на ветку,  
и не слезете больше с неё никогда.

### Без головы

*Я исчезаю по частям.  
Вчера моя нога  
Не вышла ужинать к гостям,  
Лишившись пирога.*

Полина Барскова

То, что со мною сделал Бог  
Я ощутила вдруг:  
Хотела выйти — нету ног,  
Обняться — нет рук.  
Дела мои совсем плохи,  
Пропала я, увы!  
И стала сочинять стихи  
Уже — без головы.

## Александр Бобров Антибродский

### От Московии до Севера

В молодости на вопрос, что меня вдохновляет, я, непоправимый москвич (выражение Пушкина), повторял, что у меня три любви: Замоскворечье, дорога на Север и песня. С годами на подобный вопрос я стал отвечать и пафосней, и шире: памятная Москва, Русская дорога (что больше пространственного пути) и Славянство.

Все мои последние книги, очерки, песни посвящены этому. К 70-летнему юбилею я сумел выпустить диск песен «Русские струны души» по названию моей бывшей телепрограммы на канале «Московия» и три из написанных книг: «Все реки Московии и набережные Москвы», «Дорога на Беловодье» и, вроде бы, неожиданную: «Иосиф Бродский: вечный скиталец», хотя первоначально само издательство «Алгоритм» просило вынести в заголовок известный библейский образ...

Про первые две книги мне легко кратко рассказать, потому что большинство их глав читатели газеты много лет встречали на этих страницах как отдельные очерки и путевые заметки. Но, конечно, пришлось многое расширить и добавить: написать, например, про все 70 набережных Москвы, про более чем 150 мостов столицы и 400 рек Московии, которые пока не исчезают с карт. Так что как старый путешественник я многое сумел рассказать.

Себя хвалить неудобно, но ко второй книге — «Дорога на Беловодье» — успел написать краткое послесловие выдающийся журналист и прозаик, лауреат Ленинской премии Василий Михайлович Песков — «Книга, зовущая в путь»:

«Поэт и публицист Александр Бобров много путешествует по России, особенно влекут его те края, которые лежат к северу от родной Москвы — Тверская и Вологодская земля, Валдай и Карелия. Много лет я читаю живые и острые статьи Боброва в «Советской России» под рубрикой «Мой месяцеслов». В этой летописи современной жизни страны меня привлекает стремление писателя узнать, чем сегодня дышат русские люди в городах и весях, какие проблемы их волнуют, что за красоты и настроения открываются в бесконечном пути. Отсюда и родились многие книги автора — «Белая дорога», «Лечебные края России», «Москва-река от истока до устья», «Серебряный век Подмосковья».

Представляемая книга — о дважды пройденном пути на Север по московской, 37-ой долготе. Строго на ней, как по заказу, расположены старинные города: Дмитров, Талдом, Белый Городок, Кашин, Красный холм, Весьегонск, Белозёрск — форпост Московского государства на Севере, а неподалёку — Кирилло-Белозёрский и Ферапонтов монастыри — духовные оплоты Московии. Дальше на Север — Карелия, Кольский... Столько встреч и открытий, столько ярких и тревожных впечатлений! Я люблю его творчество за эту неуёмность, жажду познания».

В Карелии у путников есть такой обычай: на скалистом мысу зажигают ствол сухой сосны, чтобы он, как свеча, горел всю ночь и указывал путь или означал, что стоянка эта — занята. Думаю, каждая книга путевой прозы, увы, мало издающейся сегодня — такая свеча на скале.

Неутолима в народе  
Дума про чудо-житьё —  
Жажда страны Беловодье,  
Мы утоляли её.

Мы уходили на Север,  
Честно угодя края...  
Беды сегодня насели  
На обжитые края.

Рвался я к ним на свиданье:  
Это откликнулась вновь  
Древняя, словно преданье,  
Финно-угорская кровь.

Спутников жизни усталых  
Я укорять не хочу,  
Но зажигаю на скалах  
Ствол сухостоя — свечу.

Пусть она долго пылает  
На потемневшей реке,  
Всем, кто в пути — помогает,  
Таёт, напоминает:  
Теплится жизнь вдалеке.

С третьей книгой дело обстоит сложнее. Думаю, на неё будут рецензии и критические отклики, но я хочу сам рассказать, почему она вдруг родилась.

## Антибродский

*Бродский — великий маргинал, а маргинал не может быть национальным поэтом. Сколько у меня стихов о том, что придёт мальчик и скажет новые слова. А пришёл весь изломанный Бродский.*

Евгений Евтушенко

Три явных потрясения-повода побудили меня сесть за книгу о Бродском и иже с ним, чтобы разобраться в чуждом творчестве, отталкивающем образе мыслей и строе поступков, но не ради какого-то развенчания маргинальности, как сказал и отрёкся по тв от этих слов Евтушенко (понятно, что теперь развенчать не под силу любому автору, сми или творческому сообществу!), а во имя главного — приближения к разгадке его влияния на огромное количество не слепых почитателей (никогда — клянусь! — не слышал, чтобы кто-то с восторгом цитировал стихи Бродского в застолье или в литературном споре, напевал его стихи, положенные неисчислимыми бардами на скучные мелодии), а на современных апологетов и невольных эпигонов Бродского в поэтической среде. Это просто какое-то наваждение, общее место на пустом месте.

Лет десять назад Валентин Распутин пригласил меня на знаменитый фестиваль «Байкальская осень». В первое же утро, до всяких встреч и приёмов, прямо из гостиницы Иркутска я поспешил солнечным утром на берег Ангары. Передо мной открылось величественное зрелище. Могучая река несла свои тёмно-бирюзовые воды и струи её то свивались, то плавилась в сверкающем свете, а довольно-таки убогие строения на другом берегу скрашивались вереницей жёлтых лиственниц и синеющими всхолмьями да угорами, которые поднимались за городской чертой. Бирюзовое, золотое и синее — торжество любимых цветов Андрея Рублёва... Потрясённый этим завораживающим зрелищем, я вернулся к коллегам, и мы отправились в соседний Иркутский университет, на филологический факультет. Вошли в фойе и меня как громом поразило. На стене был прикреплен огромный плакат первой научно-практической конференции в учебном году: «Пушкин и Бродский». Не пушкинские мотивы и традиции в творчестве Бродского или (пусть так!) «Бродский против Пушкина», а чётко: «Пушкин и Бродский», как два равновеликих поэта, прямо — на брудершафт: Пушкин и Бродский! Я только развёл руками, а увидевший мою растерянность Валентин Григорьевич сказал: «Да, у нас вот так, Саша, на филфаке!»... Потом у многих авторов (они есть в книге) начала сквозить мысль, что Бродский выше Пушкина, что он «пошёл дальше». Ну, все шли дальше, а кто и куда подальше!

Второе потрясение — участие в программе Александра Гордона «Закрытый показ», откуда мне прислали СД с записанным фильмом «Полторы комнаты». Я в два присеста досмотрел эту тяготину, выписал некоторые цитаты из Бродского, у которого ни одной строфы не могу запомнить, кроме, конечно, известной и не осуществлённой: «На Васильевский остров я приду умирать...» Почитал даже дамские рецензии, они просто кишели восторгами. Так что, настроившись смотреть шедевр, я испытал страшное разочарование, но зятянутый фильм мне на многое открыл глаза. Прочитал книгу Людмилы Штерн о Бродском «Поэт без пьедестала». Более всего меня оттолкнула там одна фраза: «Мы были свои, мы были из его стаи». Всё-таки, согласитесь, Иосифа Бродского нам лет двадцать подают как общенационального, а не стайного поэта. Более того, великого поэта XX века, а великие — выше стаи, кагала, своей нации даже. Я с этим возвеличиванием порой письменно и устно спорил, но вдруг появился фильм, который не вызывает никаких сомнений насчёт моей правоты. Более нафталинового и антибродского фильма не снял бы и заклятый враг поэта.

В день телесъёмки была страшная жара, чувствовал я себя после бурного общения с друзьями накануне — неважно, но понимал, что выступаю у Гордона два раза — первый и последний, а потому без тени сомнений и дипломатичности ринулся в бой. Высказал всё, что думал. Я даже стал Бродского защищать от этой местечковости и кухонности, доказывать, что он — крупнее и державнее, что ли! Но ясно понял, что в нём ценят соплеменники, обожатели и подражатели — космополитизм, пофигизм, невнятицу, бормотание с претензией на многозначительность. Ну, в книге это есть...

Оставили в передаче, как всегда, далеко не всё. Тогда я решил опубликовать резкую рецензию на фильм, высказав попутные впечатления-размышления. Поразительно, что я нигде не смог её опубликовать — ни в патриотических, ни в либеральных сми... Табу!

Третьей причиной написания книги о вредоносности Бродского стала тоска по поводу наблюдаемого процесса «йосифления» современной поэзии. Прямым толчком стало участие во 2-м фестивале поэзии и песни «Во славу Бориса и Глеба» в городе моей армейской молодости — Борисоглебске. Мне как председателю жюри предложили подборки возможных лауреатов, в том числе, претендентки на гран-при фестиваля Натальи Рузанкиной. Она историк по образованию, преподаватель Общецерковной истории Саранского Духовного училища, член Союза писателей России с 2009 года, автор трёх книг и лауреат премии Главы Мордовии. То есть профессионально, конечно, опытней и выше многих конкурсантов. Начал читать заглавное стихотворение:

Я хочу от России очнуться внезапно,  
Где-нибудь в небесах, в васьиковом дыме...

И—всё, и пошёл сплошной Бродский—даже у православной просветительницы! Невообразимо—все ушиблены... Это литературно-мировоззренческие причины, но когда я прочитал в «МК», что уже вышло две книги по 700 страниц «Антиахматова», то понял как публицист, что надо писать свою книгу «Антибродский».

Ну и ещё несколько цитат из Бродского для ясности: «Польша—это страна, к которой я испытываю чувства более сильные, чем к России». Дело хозяйское, но как филолог дальше не могу принять: «Вы знаете, когда я начал чувствовать большую точность в западных языках? Это началась у меня даже с польского. Потому что по-польски—это уже точнее, чем по-русски». Почему точнее? Любовь будет по-польски *miłość*, а ложь—*fałsz*. Но ведь у нас в языке есть и милость, и фальшь, но это—оттенки, а по-русски оба слова звучат весомо и точно! Даже, например, в кабачке стал заказывать винегрет—по-польски это *salata*, но ведь салат—ко всем закуским размыто относится! Лишь бы унижить великий и могучий...

Несколько раз побывав в Литве, Бродский вдруг посчитал литовцев «самой хорошей нацией в империи». А вот русские, по мнению Бродского, страдают комплексом неполноценности: «Ибо наряду со всеми комплексами великой нации, русские имеют и комплекс неполноценности, свойственный маленьким народам». То есть—хуже некуда, но я утверждаю, как человек, хорошо знающий Литву: нигде не было такого комплекса холопа по отношению к пану. Там случился единственный казус в моей жизни, когда мне директор Литературного (!) музея поцеловал... руку, коль я высокий гость и пожаловал с высочайшим чином!

За что же тогда Бродский получил Нобелевскую премию? «За всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Как аморфно и невразумительно—интенсивностью: да, много написал, а Баратынский—очень мало! И что? Вот формулировка премии Шолохову в 1965 году: «За художественную силу и целостность, с которой он отобразил в своём донском эпосе историческую фазу в жизни русского народа». Какая сила и разница даже в определении!

Бродский судил о других беспощадно: «Существует, конечно, поколение так называемых военных поэтов, начиная с полного ничтожества—Сергея Орлова, царство ему небесное. Или какого-нибудь там Межирова—сопли, не лезущие ни в какие ворота. Все эти константины симоновы и сурковы (царство обоим небесное—которое они боюсь, не увидят)...» В стихотворении «На смерть Жукова», которое выдают чуть ли не за патриотическое

прозрение, он и маршала Победы, и его солдат тоже лишает царствия небесного:

Что ж он ответит, встретившись в адской  
Области с ними? Я воевал...

Это ведь встреча в аду тех, кто прежде всего выиграл Московскую битву! Но Бродский не дорос оценить их подвиг, если он «мог грубально пошутить о Москве»: «Лучший вид на этот город—если сесть в бомбардировщик». Только вот с этого бомбардировщика не увидишь уродливого памятника плюющему на Москву стихотворцу, потому что скульптор Г. Франгулян—автор надгробия Ельцину—сделал все фигуры композиции плоскими: с бомбардировщика они—сплошная серая черта. Памятник принципиальному немосквичу вперли на Новинском бульваре, напротив посольства США накануне дня рождения Пушкина к восторгу либеральной интеллигенции. Тоже символично!

Одна русская бродсковедша, давно живущая на Западе пишет в своей сиропной книге: «Бродский действительно своего рода Пушкин XX века—настолько похожи их культурные задачи... Он застигает горизонт. Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых».

Автор этой книги—из вторых. Из отринувших и твёрдо знающих, что Пушкин на все века—один.

Бродский признавался: «Я привык стыдиться этой родины, где каждый день—унижение, каждая встреча как пощёчина, где всё—пейзаж и люди—оскорбляют взор». Что ж, с этим как раз можно порой согласиться: памятник ненавистнику Москвы унижает коренных москвичей, заслонение Праздника славянской письменности и культуры и любого юбилея Шолохова 24 мая днём рождения Бродского в сми—пощёчина России, да и нынешний пейзаж, изуродованный заборами и особняками по берегам рек и озёр под обеими столицами—оскорбляют взор. Но даже это совпадение настроений ни на миг не позволяет признать Бродского «великим национальным поэтом». А ведь по его творчеству уже методички и учебники (!) для школы пишутся.

«Люблю я родину чужую...»,—написал И. Бродский. Национальные поэты—любят и выражают свою: «Я скажу: не надо рая, дайте родину мою!»

Вот что я хотел бы напомнить своей книгой, вышедшей к юбилею.

### Полтора кота, или Вредоносность Бродского

Так я хотел назвать книгу о Бродском. Но любимое издательство «Алгоритм» предложило назвать книгу прямо: «Иосиф Бродский—Вечный жид». Мне глянулось, я даже аннотацию переписал,



сославшись на библейский образ, не имеющий отношения к национальности — это понятие, метафора: оттолкнуть Христа и мучиться всю жизнь. Но издательство в последний момент испугалось, поставило смешное название: «...Вечный скиталец». Да все мы скитальцы, а Бродский — особая статья. Я её (не его! — равнодушен) — очень не люблю!

### Вздохи поэзии

В Москве, на Новинском бульваре, накануне дня рождения Пушкина, появился памятник Иосифу Бродскому. Он был отлит ещё в 2008 году, а решение о его установке было принято в 2009-м. Для того, чтобы страшную работу Г. Франгуляна — автора надгробия Ельцину — москвичи всё же увидели и ужаснулись, понадобилось несколько судебных разбирательств: вакантное место занимал пункт обмена валюты, который, несмотря на постановление правительства Москвы, удалось демонтировать только через суд. Уродливое (под стать памятнику) коммерческое препятствие, здравый смысл (при чём тут принципиальный немосквич Бродский?) и все архитектурно-эстетические соображения были преодолены, и на Новинском бульваре, недалеко от посольства США (где ж ещё!), состоялось торжественное открытие памятника поэту. Либеральные СМИ выразили восторг по поводу этого события, а на открытие пришли все свои — приятели и почитатели поэта. В топорной же скульптурной композиции можно увидеть две группы: не только друзей, но и врагов. Сам Бродский в дорогом костюме и элегантных итальянских ботинках победительно стоит, сладострастно закинув голову. Это не гонимый советской властью за инакомыслие ленинградский поэт, но торжествующий Бродский-американец, уже получивший Нобелевскую премию и всемирное признание.

«Это кто такой так встал? Это кто себе позволил? Это будет удар, вздрог! Здорово получилось! Два цветка... ему сейчас уже не нужно, да ему и никогда не было нужно, он смотрел в небо. Два цветка Иосифу и пять — тем, кто за него бился, кто так хорошо его «вставил» в Москву, что мимо не пройдёшь», — восклицал Сергей Юрский. Да уж — такой вздрог, так вставил... Мне подумалось, глядя на телеэкран, лучащийся восторгами: а почему у нас так стремительно ставят памятники Окуджаве, Бродскому, но никому почему-то в голову не придёт требовать поставить памятник на Софийской набережной, например, всенародно любимому Николаю Рубцову, который учился в Москве, состоялся здесь как поэт и написал лучшее стихотворение о Московском кремле, возвышающемся напротив:

Бессмертное величие Кремля  
Невыразимо смертными словами!

«Молод тот, кто ещё не солгал», — это замечательно точное высказывание французского писателя Жюль Ренана я часто повторяю своим студентам в Московском государственном университете культуры и искусств. Заочникам читаю курс «Сценарное мастерство» и даю перед экзаменом задание: написать телесценарий по двум стихотворениям на выбор: Рубцова «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны» или Бродского «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам».

Критик Лев Аннинский писал: «Тут в параллель с Рубцовым прямо-таки просится Иосиф Бродский. Там холмы и тут холмы. Пусть знатоки источников решат, кто кому обязан: то ли Рубцов подсказал лейтмотив Бродскому, то ли подхватил у Бродского...

С такими переключками вообще надо быть осторожными».

Но меня-то больше всего интересует сам выбор молодых и уже немолодых студентов. За три потока выявилась любопытная закономерность: все, кто уже отравлен современным тв и не разгал, все нерусские москвичи (питерцы имеют свой Университет культуры) и, напротив, пытающиеся провинциалы — выбирают Бродского; все, кто ещё не привык врать и верит в высокое предназначение журналиста, кто обладает более высоким и патриотичным творческим потенциалом, выбирают Рубцова. Тех и других — почти поровну, но выявилась ещё одна важная закономерность: сценарных поисков, находок и образных попаданий значительно больше у тех, кто выбрал стихи Николая. И это легко объяснимо, если сравнить хотя бы любую его законченную строфу с тягучими стихами Иосифа:

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,  
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,  
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...  
Отчизна и воля — останься, моё божество!

Помню одна архангелогородка весь сценарий построила через рубцовскую лодку, плывущую по северной реке — пустую, с отроком, с влюблённой парой. И впрямь, какой простор для образных решений, распахнутый ясной и сильной метафорой!

А вот холодная невнятица другого автора:

Всё равно — возвращенье... Всё равно даже в ритме баллад  
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат,  
даже если Творец на иконах своих не живёт и не спит,  
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт.

Никто не может ничего придумать «в ритме баллад», кроме копыт крупным планом, икону сквозь ельник. Но ведь у Бродского Творец «на иконах своих не живёт и не спит» (!!) — здесь привычная поэтическая размытость, мнимая многозначительность.

«У Бродского своя судьба, а у Рубцова — своя, — пишет Николай Коняев. — Незачем насильственно сближать их, но всё же поражает, как удивительно совпадает рисунок этих судеб. Одни и те же даты, похожие кары, сходные ощущения. Даже география и то почти совпадает. Правда, в 1971 году Рубцов не уехал никуда. Его просто убили. Но с точки зрения Системы, стремящейся избавиться от любого неудобного ей «образа мысли», это различие не было существенным...»

Мы уже давно живём в другой «системе» с маленькой буквы, и теперь ясно видим, как резко разошёлся посмертный «рисунок судьбы»: один стал лауреатом Нобелевской премии, героем либерального истеблишмента, любимцем ТВ, а другой — просто самым издаваемым и любимым народным поэтом без всякой информационно-телевизионной раскрутки. Поразительно! Да Коняев и сам это понимает: наверное, ни одна его книга не переиздавалась столько раз, сколько книга о Рубцове с вариациями.

Перечень «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, одобренный Министерством образования и рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению, вызвал яростные споры, умные или ядовитые комментарии, которые сводились с нашей, с русской, стороны к тому, что в списке мало почвенической, патриотической литературы (нет Василия Белова!) и слишком много книг антисоветчиков и западников — от Василия Аксёнова до Людмилы Улицкой. Правда, мне один литератор признался, что ему понравился список хотя бы тем, что в нём есть Николай Рубцов, но нет Иосифа Бродского. Наивная душа! Он не понимает, что, коль нет в этом списке, значит, он прочно обосновался в самой обязательной программе.

В мае 2010 года в Санкт-Петербурге, на факультет филологии и искусств СПбГУ прошла международная научно-исследовательская конференция «Иосиф Бродский в XXI веке». Учителей и методистов-словесников пригласили принять участие в работе круглого стола «Произведения Бродского в школьной программе (на уроках литературы)». Сообщалось, что участники секции «Произведения Бродского в школьной программе» вместо научно-исследовательских материалов могут присылать авторские учебно-методические разработки учебников по творчеству Иосифа Бродского. Понятно, наивные почитатели Рубцова? — уже учебники по Бродскому пишутся! Бедные школьники...

«Вспомним русскую поэзию, — пишет академик Всеволод Троицкий. — Какое слово в ней является ключевым? Конечно, слово любовь, люблю. Например: «Люблю Отчизну я...», «Люблю дымок спалённой жнивы...» (М. Ю. Лермонтов), «Люблю грозу в начале мая...», «Я лютеран люблю богослуженье...», «Люблю глаза твои, мой друг...», «Люблю

смотреть, когда созданье Как бы погружено в весне...» (Ф. И. Тютчев), «Люблю дорожкою лесною, Не зная сам куда брести...», «Люблю тебя, месяц, когда озаряешь...», «Люблю я горные вершины...» (А. Н. Майков) и т. д.

А теперь приведём несколько стихов О. Мандельштама, включённого в школьную программу: «...И Батюшкова мне противна спесь...»

Не угодил, видите ли, русский поэт Батюшков Осипу Эмильевичу! И ещё: «Я ненавижу свет Однообразных звёзд...» Или: «Как я ненавижу пахучие древние срубы...» Нелишне напомнить, что вся Россия была деревянной, и «пахучие древние срубы» — это типическая картина старой Руси, России, которая мила русскому сердцу и которую О. Э. Мандельштам (я не виню его в этом) в сущности, не сумел полюбить... Ведь он искренно говорил о себе («мы»): «Мы живём, под собою не чуя страны...» Не чуял. Можно ли за это осуждать? Нет. Но ставить как образец такое отношение — недопустимо...

Теперь о Бродском, которого так старательно «делают» гением и совершенно неосновательно сравнивают с самыми великими поэтами. Оставим в стороне его русофобские выпады и обратимся к его поэтическим достоинствам. Вот что пишет о его стихах лауреат Нобелевской премии, академик РАН А. И. Солженицын: «Бродский нередко снижается до глумления», «смотрит на мир... с гримасой неприязни, нелюбви к существующему». Чуждый «русской литературной традиции, исключая расхожие отголоски, оттуда выхваченные», этот поэт «почти не коснулся русской почвы» и т. д.

Так зачем же навязывать школьником беспочвенную поэзию? Нелишне учесть также, что И. Бродский, как выразился И. Шарыгин, «постепенно терял свой русский язык». Почему же такой поэт включён в школьную программу «взамен» настоящих классических русских поэтов? Ответ напрашивается сам: потому что его поэзия созвучна общему направлению современной культурной политики — вытравить русский дух. К примерам академика можно ещё добавить Александра Блока, который обращался к нищей России: «Твои мне песни ветровые, как слёзы первые любви». Снова пронзительная любовь даже к нищим избам. О, знал бы Блок, кто посмеет беспардонно судить о творчестве поэта, который боялся, «чтобы распутица ночная от родины не увела».

Вот диалог тех, кого распутица увела в США:

Иосиф Бродский:

— Блока, к примеру, я не люблю, теперь пассивно, а раньше — активно.

Соломон Волков:

— За что?

Бродский:

— За дурновкусие. На мой взгляд, это человек и поэт во многих проявлениях чрезвычайно пошлый.

Мало ли о чём могут гнусно трепаться два русофоба, однако это беспрерывно публикуется в журналах и книгах! Но вернёмся к поспешно возведённому памятнику.

Нобелевское лауреатство персонажа совершенно не при чём. Лауреатами не стали ни Блок, ни Ахматова, увековеченные в бронзе, ни Твардовский, но многие деятели культуры и даже еврейские вменяемые литераторы понимали, что просто неприлично открывать памятник Бродскому раньше многострадального памятника Александру Твардовскому, которому долго не находилось места даже рядом с редакцией «Нового мира» в канун 100-летия со дня рождения поэта и 70-летия начала Великой Отечественной, с дорог которой шагнул к читателю великий образ Василия Тёркина!

«Я не могу вам цитировать Бродского наизусть, потому что у него особая мелодия стиха и нужно просто быть профессионалом, но я очень люблю Бродского, много его читал», — оправдывался министр культуры Александр Авдеев.

Хотелось воскликнуть: «Ну, на худой конец, тогда пусть вспомнит хоть строчку из «Василия Тёркина» у памятника классика советской поэзии, если дождётся этого события на своём посту...»

Не дождался, дипломат. Тогда, может быть, ускорит позорно затянувшийся инцидент новый министр культуры — Твардовский, Бродский... Мединский. Но у последнего — другой стиль: либерально-публицистический и замашки, далёкие от ежедневной кропотливой работы.

После раздумий о столь удручающей картине современной культуры, после пейзажа, на котором разворачивается битва за русскую культуру, можно снова вернуться к немосквичу Бродскому. В журнале «Звезда» (1997, №7) появился небольшой материал Бенгта Янгфельдта с одним стихотворением из архива Бродского и послесловием о том, как Иосиф, несмотря на настойчивые приглашения, не пожелал приехать в Москву, которую никогда не любил и не понимал:

«Осенью 1990 г. готовилась в Москве телепередача с названием «Браво-90», куда пригласили Бродского. В Москву поехать он не захотел. Я тогда снял видеофильм с ним (в Швеции, где он в то время находился), который показали в телепередаче, куда пригласили и меня. Была также приглашена моя жена Е. С. Янгфельдт-Якубович — исполнять песни на стихи русских поэтов. Узнав об этом, Иосиф вдруг сказал: «Подождите, у меня есть что-то для вас», — и пошёл за портфелем (это всё происходило у нас дома). Со словами: «Вот это вы можете положить на музыку», — он дал ей авторскую машинопись стихотворения «Песенка о Свободе», написанного в 1965 г. и посвящённого Булату Окуджаве. Положенная на музыку моей женой, «Песенка» была впервые исполнена ею

в программе «Браво-90», показанной в начале 1991 года, но, по-видимому, нигде не напечатана.

Жена много говорила с Иосифом о песне, о том, какое значение имеют для неё стихи, положенные на музыку. Но она никогда не задавалась целью петь Бродского, зная, что другого просодического выражения, чем собственное, он не признаёт — он очень не любил, когда актёры читают или поют его вещи. Тем не менее, мелодию «Песни» она сочинила. Очевидно, поэт счёл, что именно это стихотворение, с его балладным настроением, подходит для такой жанровой метаморфозы».

Привожу начало этого «вздрыга поэзии» с дешёвым приёмом парадокса, не имеющего ни намёка на балладу:

Ах, свобода, ах, свобода.  
Ты — пятое время года.  
Ты — листик на ветке ели.  
Ты — восьмой день недели.  
Ах, свобода, ах, свобода.  
У меня одна забота:  
почему на свете нет завода,  
где бы делалась свобода?

Как это нет? Есть целые государства — заводы по производству свободы — США, Израиль, Латвия, где Юрий Лужков хотел получить гражданство. Да мало ли... Только вот памятники озабоченным любителям свободы ставят почему-то в Москве.

Яков Гордин написал в своём эссе: «Ленинград, Петербург был для него удивительным сочетанием пространства и времени. И, быть может, время играло в его восприятии города большую роль, чем пространство. В августе 1989 года Бродский писал мне из Стокгольма: «Тут жара, отбойный молоток во дворе с 7 утра, ему вторит пескоструй. Нормальные дела; главное — водичка и всё остальное — знакомого цвета и пошиба. Весь город — сплошная Петроградская сторона. Пароходы шныряют в шхерах, и тому подобное, и тому подобное. Ужасно похоже на детство — не то, что было, а наоборот».

Последняя горькая фраза многое объясняет. Ленинград был для него не столько тем, что произошло в реальности, сколько миром несбывшегося. Это был город юношеских мечтаний и потому особенно любимый... В юности Бродский стремился к слиянию с городом, ища в нём жизненной опоры.

«Да не будет дано умереть мне вдали от тебя...» (Ещё одно несбывшееся пророчество — А. Б.)

С самого начала и до последних лет жизни Петербург был для него не просто городом, который он любил, но средоточием всего самого важного: несчастья и любви, озарений и отчаяния, гордости и горечи. Бродский был великий путешественник, объехавший полмира. Но движение в пространстве — акт механический, движение во времени — творческий акт. Ленинград — Петербург

для Бродского существовал во времени ярче и явственней, чем в пространстве».

Но и Яков Гордин несколько не протестовал, чтобы первый монументальный, уличный памятник поэту появился в реальном московском пространстве. Хотя, конечно, ещё в ноябре 2005 года во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета по проекту К. Симона был установлен формально первый в России памятник Иосифу Бродскому. Но скульптура во дворе — это не парадный и вызывающий монумент! Кстати, место памятника в Питере выбрано не случайно. Сам Бродский рассказывал Рейну про желание учиться в ЛГУ: «Впрочем, я думаю, что у меня была некая аллергия, потому что, когда я видел какие-то

обязательные дисциплины — марксизм-ленинизм, так это, кажется, называется, — как-то пропадало желание приобщаться... Но всё-таки помню, как я ходил по другому берегу реки, смотрел алчным взглядом на университет и очень сокрушался, что меня там не было. Надолго у меня сохранился этот комплекс...»

Теперь, по Фрейду, комплекс вытеснен и компенсирован памятником во дворе. Но Москве-то совершенно незачем было комплексовать и отличаться. Я всегда был против сноса любых памятников — пусть стоят, напоминают, предостерегают, но *этой*...

Будь моя воля коренного москвича-патриота — снёс бы!

ДиН пародия

Евгений Минин

## От Кушки до Курил

### Сага о дробях

*...Я на треть казах, на две трети казак,  
Опять же — еврей на четвёртую треть...*  
Евгений Витковский

Я в посольство известной страны небольшой  
Документы принёс посмотреть,  
Где написано чётко моею рукой,  
Что еврей — на четвёртую треть.  
Вышел встретить посол,  
и, по виду добряк,  
Стал меня убеждать, между тем,  
Что в моих документах проблема в дробях —  
Словно нет у них больше проблем.  
Целый день мне посол объяснял — одуреть! —  
Что в Израиль не выйдет гастроль,  
Мол, хотя и еврей на четвёртую треть,  
Но зато в математике — ноль!

### Ай да Кушнер!

*Какие Кушнер пишет щас стихи!*  
Андрей Битов

Недавно Кушнер книжку подарил.  
Не чековую, нет, а со стихами.  
Он знаменит — от Кушки до Курил,  
Известен на Ямайке и в Панаме...  
Михайловским он сделал Ленинград!  
И пишет щас манерою неброской.  
И Пушкин несомненно был бы рад,  
Что Кушнеру является он тёзкой!

### Классическое

*Читаю прозу и стихам не верю,  
Почти не плачу — ни весной, ни до,  
И чувствую, как личную потерю  
«Вишнёвый сад», «Дворянское гнездо»...*

Анна Гедымин  
(из книги «Осенние праздники»)

Всю нашу прозу, следуя советам  
Перечитала поперёк и вдоль,  
Уже не плачу — ни весной, ни летом,  
Ни до, ни ре, ни ми, ни фа, ни соль.

Над книгами застыв в немоном укорё,  
Я классиков незримо обниму,  
Как личное воспринимая горе  
Трагедии «Каштанки» и «Муму».

### Разгадка мифа?

*Самсон, Самсон, спроси свою Далилу:  
куда ты на ночь, сука, собралась?*  
Лидия Григорьева

О чём я расскажу — для всех наука.  
Сказал Самсон Далиле вгорячах:  
«Куда же собралась ты на ночь, сука» —  
и тут же был острижен в пух и прах.  
А как ни вспомнить о похожем мифе.  
Какие, догадаетесь ли вы,  
словечки Олоферн сказал Юдифи,  
за что лишился сразу головы?

Галина Илюхина

## Тридцать третий трамвай

## Осень в Царском селе

Кончилось лето с щедрой его халявой,  
в небе кардиограммы прощальных стай.  
Скоро мороз прихватит рукой костлявой  
эти скупые болотистые места.

Жухлый листок сосновой иглой приколот  
к бледной поганке — так, видимо, им и гнить.  
Время бесснежья сулит гололёд и голод,  
в стылой земле угасает грибочки нить.

В дёснах аллеи пунктиры скамеек белых,  
редких, как зубы, изъеденные цингой.  
Дама в лиловом кормит линялых белок  
воспоминаний слипшиеся нугой.

Тихо мерцает прошлое в крошках мелких  
сладких страданий, счастья и табака...  
Жизнь на ладони подносит пугливой белке  
в старческой гречке худенькая рука.

Но грызунов не насытит духовной пищей,  
мелкой зверушке сущность не превозмочь.  
Белка с повадкой обиженной злобной нищей  
остро кусает руку и скачет прочь.



Прилепился, как жвачка к чужому столу,  
безнадёжно зажёванный жизни сюжет.  
Ты боишься смотреть в эту жуткую мглу,  
где скрипят зерновыми «ещё» и «уже».

Он пугает тебя, этот чёрный разлом,  
этот скрежет ночной тектонических плит...  
Спи, уткнувшись в ладони, за липким столом,  
что вином, точно кровью венозной, залит.

Спит в мешочке усохшего сердца червяк.  
Он один тут, пожалуй, взаправду живой.  
Хлопья пепла взмывает нездешний сквозняк  
и вихрится над бедной твоей головой.

## Первомай-2014

Сиреневый туман, кругом трава по пояс.  
Эх, наша степь да степь, колючки да бурьян.  
В заброшенном депо качнулся бронепоезд,  
и музыкант рванул заждавшийся баян.

Над родиною дым и гарь до горизонта,  
над тамбуром горит багровая звезда.  
Так пой же, инвалид бессмысленного фронта,  
безвременный герой сизифова труда.

О, как ты запоёшь, моя страна родная,  
под заржавелый ляг запасного пути!  
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает.  
Ещё один звонок — и паровоз летит...



Куда податься? догорели избы  
и рукописей жухлые листы.  
Неистребимый призрак шовинизма  
разводит заржавелые мосты.

Всё думали что пишем, что камлаем.  
Бог отвернулся, он от нас устал.  
Неистовый рысак под Николаем  
литым копытом роет пьедестал.

Вдыхает запад терпкий дух массандры,  
и бродит кровь, что виноградный сок.  
Но фыркает битюг под Александром,  
и облако уходит на восток.

Вползает морок в колыбель коллизий.  
Наш бедный всадник не убил змеи.  
Опять брести каналом бледной лизе  
и вглядываться в бездну полыньи.

Смотри — сквозь тектонические плиты  
сочась, бурлит болотная вода.  
Мы поневоле все космополиты.  
Теперь — куда?

### Тридцать третий трамвай

Забывай, забывай, ностальгию возьми в укорот:  
 тридцать третий трамвай отправлялся от Нарвских ворот—  
 шёл по Газа к Обводному. Я выхожу за мостом.  
 Закопчённые стены, кирпичный обшарпанный дом.  
 Там, в убогом подвале, ютился наш клуб ДОСААФ,  
 где мы преподавали собачникам клубный устав.  
 Особняк через улицу—бывший советский Райком.  
 Мы обедать в столовую к ним пробирались тайком:  
 три копейки салат, канапе с разноцветной икрой,  
 комсомольские бонзы—под семьдесят каждый второй.  
 Возвращались в подвал, в темноту, как дюймовочкин крот.  
 В клубе числилось ровно пятнадцать служебных пород.  
 Всюду стенды с портретами лучших собак и вождей,  
 не работал сортир, и крысиные норы везде—  
 под столами, у сейфа... А в нём небольшой арсенал:  
 из спортивных «пневмашек» по крысам палил персонал—  
 генералы блошиных подвалов, собачьи чины,  
 под портвейн мы стреляли по стендам с вождами страны.  
 Веселились наутро, дивились, что нам не слабо,  
 вынимая корявые пульки из ленинских лбов.  
 Ох, и пили! С размахом. И пофиг нам был дефицит—  
 забывалось, что он безраздельно и нагло царит,  
 что сидит он у всех поголовно в печёнках, в крови.  
 Нам тогда с перехлёстом хватало счастливой любви.  
 И на вечное «негде» тем паче плевали стократ—  
 прямо в клубе собачьем, на стол постелив дрессшалат...  
 Выходили в осеннюю сырость, чисты и легки,  
 и вдали, приближаясь, светились во мгле огоньки:  
 два—зелёный и красный. Ура, тридцать третий трамвай!..

Ностальгия, молчи. Забывай-забывай-забывай.  
 Забывай, не смотри, как в распахнутых створах ворот  
 прибывая, угрюмо гудит разномастный народ:  
 все пятнадцать пород одичалых советских бомжей.  
 Только рельсы разобраны. Некуда ехать уже.

### Энтомологическое

Ты вспомни—ведь всё не зря: какое-то января,  
 и в ратушном витраже кроваво горит заря,  
 и рвётся в лохмотья мгла, и вспыхивает игла,  
 что жертвенного жука проткнула и вознесла.  
 Распоротый скарабей гудит в небеса: «добей...»  
 Молчит энтомолог, глух к нелепой его судьбе.

Когда бы иметь в виду, что всем нам гореть в аду  
 за жадную волю жить и прочую ерунду,  
 за наш насекомый быт, за мелких жучков-обид,  
 за то, что от наших бед у бога в глазах рябит.  
 И помнить бы свой шесток, и то, что господь жесток...  
 Под линзой дымится луч, нацеленный на восток.

Ефим Бершин

## Пушкинская площадь



Бьёт по осени,  
как по лицу или в пах,  
опустившись с небес до пивного ларька,  
записным забудыгой, пропившимся в прах,  
то ли дождь,  
то ли снег,  
то ли Божья рука.

Бьют по осени,  
будто коленом под дых,  
или пьяным осколком свистят у виска.  
И усталое сердце, как тройка гнедых,  
разрывая поводья артерий пустых,  
разрывается,  
бросив в ночи седока.

Мне уже недоступна подобная прыть.  
И гнедою кобылой съедая покой  
недожжёванной жвачки,  
у ваших корыт  
помышляю о теле,  
чтоб душу укрыть,  
чтоб вконец не замёрзнуть на вашей Тверской,

где последний фонарь, догорая, горит,  
где безродным пришельцем из дальних миров  
я пытался заставить асфальт говорить  
миллионом моих индевеющих ртов.

И пока моё горло забито куском,  
и подвальной решёткою месяц распят,  
ваши улицы бредят моим языком,  
ваши окна моими глазами не спят,  
наблюдая, как корчатся церкви в крестах,  
как два бюста,  
сойдись голова к голове,  
задохнулись любовью в дрожащих кустах.  
Я один.

Я неслышно иду по Москве.

Я уже произвёл немудрёный расчёт.  
Я покорен, как облако или река.  
Но настойчиво гонит куда-то ещё  
то ли дождь,  
то ли снег,  
то ли Божья рука.



Ворвавшись в заспанный январь  
кульбитом,  
сумасшедшим салто,  
голубкой снега —  
на фонарь,  
пятном белил —  
на холст асфальта,

лежу на Внуковском шоссе  
и, разделяя участь птицы,  
гляжу на стынувшие лица  
в текущем мимо колесе.

А в небе,  
Богу вопреки,  
печальный пасынок России  
летает наперегонки  
покуда не иссякли силы.

Ещё не угадав судьбы,  
летит, выпячивая локти,  
туда, где пьяные столбы  
и жаркий дух ревущей плоти,

где, в небе пропахав межу,  
с отравленными голубями  
в обнимку  
я уже лежу  
в унылой придорожной яме.

Россия,  
сводная сестра,  
не сотвори себе кумира!  
Когда закончится игра  
в театре стынувшего мира,

тогда останутся в конце  
пути,  
где занавес закрыли, —  
зрачки, ползущие по крыльям,  
и мёртвый голубь на лице.



Умоляли пригорки, озёра и лес,  
задыхаясь под выцветшим сводом небес:  
если есть ещё кто-нибудь на небеси —  
воскреси!

Воскреси хоть заблудшую душу одну,  
воскреси опустевшую эту страну,  
эту прорву земли,  
это скопище вод  
воскреси!

Воскреси хоть на время!

И вот

воскресаем всем кладбищем —  
Боже, прости! —  
на какой-то фальшивой скрежещущей ноте  
воскресаем червонной монетой в горсти  
и кусками лоснящейся плоти.

Воскресаем, вздымая на крашенный крест,  
золотые пригорки, озёра и лес.  
И воскликнул Господь наш на небеси:  
воскреси!

### Пушкинская площадь

Как будто приход Тохтамыша,  
пропитанный гарью и пеплом,  
почуяв, аукнулись мыши  
и выползли в самое пекло

на площадь,  
где солнце до дна  
допило воскресную лужу,  
где давит на плечи вина,  
и хочется выплюнуть душу,

туда,  
где, за дело боля,  
газетной строкой бляя,  
в бесстрастную морду дисплея  
швыряют итог бытия,

туда,  
где на негра, в гранит  
сошедшего шагом мессии,  
из жирного зноя глядит  
высокое небо России,

туда,  
где, как серая мышь,  
на эти угрюмые зданья  
ложится тревожная мысль,  
ещё не имея названья,

где в наспех устроенном скверике  
на месте монашеского сада  
Москва задохнулась в истерике  
на чёрной груди Александра.



Выныривая из чужих ворот,  
теряя коченеющий рассудок,  
тону, беззвучный разевая рот,  
в аквариумах телефонных будок.

Твой голос, как спасительная дверь  
в страну покоя и в страну обмана,  
где голубь есть,  
где зеленеет твердь,  
взошедшая из бездны океана.

Но из-под ног уходят острова,  
срываясь, как трамваи из-под тока,  
хотя ещё безумствует Москва,  
не чуя приближение потопа,

хотя ещё твой голос по ночам  
несётся трелью телефонных линий...  
Но первая стекает по плечам  
вода сорокасуточного ливня.

Куда нам плыть,  
когда уже одни,  
когда уже и дни теряют числа?  
Я здесь пока.  
Я чист перед людьми.  
Но на ковчег уже собрали чистых.

И вот,  
почти не ощущая плоть,  
замороженный предпотопным действием,  
иду по суше,  
как ходил Господь  
по непокорным водам иудейским.



Наверно, и в нашем времени,  
разгрызшем свои удила,  
Мария была беременна,  
но так и не родила.

И не избежав искуса,  
чтоб сцена не вышла пуста,  
Иуды играли Иисуса,  
Иудой назначив Христа.



Гоша Спектор

## Обратный отсчёт

## Поколение уходит

Поколение уходит. Незаметно. Навсегда.  
Отплывают пароходы. Отбывают поезда.

На заплёванном перроне, у киоска «Спортлото»,  
Жмётся тощая фигурка в габардиновом пальто.  
И глядит подслеповато, сквозь туман прожитых лет,  
Уходящему вдогонку, уходящему вослед.

Свет немного потускнеет, выйдет ветер на поля,  
И кашне на тонкой шее, будто белая петля.

Вздёрнув худенькие плечи, и нахохлясь, как сова,  
Он всё время быстро шепчет непонятные слова.

Только в той скороговорке лишь сплошная ерунда.  
Поколение уходит. Отправляется туда,  
Где, в густом переплетеньи, райских троп и адских врат,  
Будет каждое мгновенье длиться сотни лет подряд.

Остаётся только почерк, фотография в альбом.  
Остаётся только ночью сокрушаться о былом.

И, завидуя немного, всем кто сам успел уйти,  
Между дьяволом и богом находить свои пути.

## Красавица, фурсетка, этуаль

Красавица, фурсетка, этуаль,  
Февраль ещё расплатится с тобою  
За это небо бледно-голубое,  
За лёгких строк прозрачную печаль.

Горячий чай, две пачки сигарет,  
И запах табака и бергамота.  
Лениво начинается суббота  
Лишённая пророчеств и примет,  
Лишённая привычной суеты —  
Возни детей и бормотанья мужа.  
Тебе пока ещё никто не нужен  
В том мире пустоты и простоты,  
Где можно на секунду замереть,  
На цыпочки вспорхнув, как на пуанты,  
И ощутить присутствие таланта,  
Как маленькую медленную смерть.  
И, завершив изящный поворот,  
Скользнуть лучом по выцветшим обоям...

Февраль ещё расплатится с тобою  
Грядущей безысходностью суббот.

## Скрип колёс велосипеда

Скрип колёс велосипеда.  
Сквозь поля по тропке еду.  
Нажимаю на педали.  
Напеваю: «Не догнали».  
Фляжка с пивом на боку —  
Много ль надо дураку?

Еду... еду... До обеда —  
Завезти посылку деду.  
И Марусе из продмага  
От инспекции бумагу.  
Ну а после в сельсовет —  
«Фрол Иванович, вам пакет».

Сколько времени я еду?  
Сорок лет, как нету деда.  
И Маруся постарела,  
Растолстела, одряхлела.  
Сельсовет давно не тот.  
И совсем другой народ.

Нажимаю на педали.  
Что родимые, не ждали?  
Будет праздник и потеха.  
Заводите патефон.  
Каждый раз хочу остаться,  
Но лежу я в третьей братской,  
Возле стенки, пятый сверху —  
Поселковый почтальон.  
Колоколья.  
Перезвон.

## Даждь нам днесь

Не спорь со мной. Все споры будут зря,  
Пока роняет свет на мостовую  
Кривой фонарь. И возле фонаря  
Какой-то парень девушку целует.  
Не ты, не я.  
Уже не ты, не я.

Им хорошо, наверное, вдвоём  
Парить незримо над ночным кварталом.  
Ты в детстве тоже изредка летала,  
Пока не стал похож на водоём  
Твой зыбкий сон, в котором одеяло,  
Как лёд, обратный путь перекрывало.

Немало дней прошло с тех самых пор,  
Когда с тобой мы целовались тоже.  
Но время шло, сужая кругозор  
До уровня гостиной и прихожей.  
И стал банален каждый разговор.

Отматывает память эпизод  
И возвращает нехотя к началу  
Иных времён, где нам предназначалось  
Совсем не то. Совсем наоборот.  
Там до сих пор не выключенный чайник  
Зовёт кого-то тихо и печально.

Там до сих пор прогорклы вечера,  
И воздух полон сигаретным дымом.  
Там нет того, что нам необходимо,  
И нечего утрачивать. Игра  
Ещё не обрела жестоких правил.  
Никто не служит и никто не правит.

Привычный быт творил свою игру;  
Гремел в кровати детской погремушкой,  
И оставлял на скомканной подушке  
Не оттиск страсти— слёзы и слюну.  
И постепенно обольщались души  
Желанием обидеть и разрушить.

Не спорь со мной. Всё будет так как есть,  
Мы здесь, сейчас, и выбор минимален.  
Невольно повторяя «даждь нам днесь»,  
Глядишь во двор из затемнённой спальни,  
Как Саваоф из сумрачных небес.

И подступает подленькая злость,  
И отвращение к собственному дому,  
Но личный страх перерастает в дрему.  
Пока не пелось— до тех пор жилось.

Не спорь со мной. Всё будет по-другому...  
Но только «по-другому» не пришлось...

## Приморский бульвар

Ты помнишь, Мария? Ты слышишь, Мария?  
Опять беспрестанно судачат святые,  
Опять ворошат погребённые кости,  
И ветер гуляет на дальнем погосте,  
Кривой листвою заметая Россию.  
Ты слышишь, Мария? Ты помнишь, Мария,  
Какие в двенадцатом шли листопады?  
И дождик в аллеях Нескучного Сада  
Выстукивал каплями в ритм оперетты—  
«Ах, Карамболина, ах, Карамболетта».  
Из тени и света, из знойного лета  
Мотив наплывает, и, кажется, где-то  
На грани прозрения, скуки и быта  
Звучит пошловатое «Ах, Рио-Рита».  
И шёпот вдогонку: «Стихи от стихии».  
Ты помнишь, Мария? Ты слышишь, Мария?»  
Она оглянулась. Лишь пёс шелудивый  
У грязной шашлычной. И волны игриво  
Стучат в парапет, словно молот Гефеста.  
Сегодня совпали и время и место  
Рождения демона русского сплина.  
«Но я не Мария— Марина, Марина...»

Отёки, бронхит и сутулые плечи.  
В приморский бульвар упирается вечность.

## Эпистолярный жанр

Эпистолярный жанр. И письма, письма...  
И марки экзотической страны  
И почерк, поспевающий за мыслью  
Лишь в частых многоточиях. Весны  
Ещё прозрачен горьковатый воздух,  
Ещё прохладны дни и вечера,  
И жизнь творит свои метаморфозы  
В бетонном многограннике двора.  
С утра знобит случайная простуда,  
Квадрат окна рассеивает свет.  
И ты живёшь и чувствуешь, покуда  
Есть лист, конверт, и пачка сигарет.  
Потом за всё отплатится сторицей,  
Ну а пока, близки и холодны,  
Созвездья нависают над столицей  
Далёкой экзотической страны.

## Обратный отсчёт

Ещё над Петербургом спит весна  
И коммуналки катятся в былое.  
В стакане возле тумбочки алоэ,  
И будущность до одури ясна.  
Сушняк с утра.  
Вчерашний день забыт.  
Знобит строку, смущает перегаром.  
И всем видна отягощённость даром,  
Покуда пьян, талантлив и не брит.  
Вот так братан,  
Я скоро буду крут,  
И все поймут и примут, как пророка.  
Налей же мне шампанского немного  
И бутерброд с икоркой не забудь.

Ещё над Ленинградом тщится бог  
Поправить ситуацию немного.  
Успеть бы выпить спирта на дорогу,  
Пока не подогнали воронок.  
Всему свой срок. И так тому и быть.  
Кому в Норильск, а после срока—в ссылку.  
Мы встретимся с тобой на пересылке  
И будем долго ночью говорить.  
Вот так-то сын.  
Мы выбрали страну,  
Хотя возможно было и иначе.  
Не плачь, родной. Ведь нынче много плачут,  
А после признают свою вину.

Над Петроградом снегом стыл февраль,  
И сквозняком скользил по половицам.

И с фотографий улыбались лица  
Тех, кто пропал. И бесконечно жаль  
Вдруг становилось собственной судьбы,  
Хотя точнее говорить—«судьбины».  
Мы встретимся когда-нибудь в Харбине,  
Осатанев от внутренней борьбы.  
Вот так-то друг.  
Пустеет длинный стол  
И не понятно кто удачлив боле.  
А если ты не ощущаешь боли,  
Так, видимо, безвременно ушёл.

Ещё над Петербургом тщится март  
Пробиться через снежные заносы.  
К чему вопросы, если на вопросы  
Ответ один—он тоже виноват.  
Но всё потом—отъезд и личный ад,  
И лизоблюдство как возможность выжить.  
Мы на сочельник встретимся в Париже,  
Чтоб подсчитать количество утрат.  
Вот так-то, брат...  
Их всех не перечтёшь,  
И сорок сороков не перемелешь.  
Пока живёшь, невольню всё приемлешь  
Но только лишь покуда ты живёшь.  
Покуда помнишь...

Полночь—не порок.  
Пророк уснул, раскинувшись в кровати.  
Ещё у мамы с папой всё в порядке,  
Ещё ни слов, ни музыки, ни строк...

## Забирая себя

Забирая себя из прекрасных, но смутных времён—  
Мутных стёкол оконных, ворсистого снега под ноги,—  
Вдруг на миг обернёшься, и слабо блеснёт Рубикон  
Где-то там вдалеке, за сто первым извивом дороги.

Поднимаясь всё выше по горному склону судьбы,  
Приближаясь стремительно к зыбкой черте окоёма  
Забываешь о том, что придётся когда-то отбыть  
Может в райские кущи, а может в уют глинозёма.

И становится грустно, и время торопит в загон,  
И реестр провинностей больше любого Талмуда.  
Ловко вертит обол в грязных пальцах худющий Харон  
И мотив похорон заглушает надежду на чудо.

Рубикон уже пройден. И доктор, конечно, неправ.  
Белый ангел-хранитель покинул пределы Сиона.  
Ничего не успеть. Горький запах лекарственных трав  
Провожает тебя и сливается с радужным фоном.

Мария Бушуева

## Юлия и Щетинкин

*И силой кроткой и любовной...*

А. Пушкин

В тринадцать лет Юлия спала с прищепкой на носу. Она хотела сделать нос уже. Ночи стали мучительными: на жарких простынях, то и дело, переворачивая раскалённую подушку, Юлия тяжело дышала открытым ртом, как наколотая на обломанный крючок рыба, жестоко выброшенная на горячий песок. С полгода назад она услышала разговор матери с учительницей Кушниковой, сказавшей проникновенно и удивлённо: «У вас такая красивая старшая девочка и такая некрасивая младшая». Юлия, разумеется, была младшей.

Никем кроме учительницы Кушниковой разница между девочками в полтора года совсем не замечалась, и Юлия, проводя всё своё время с сестрой Верой, беленькой розовощёкой тихоней, неосознанно отрицала её отдельность и считала голубоглазое личико всего лишь своим отражением, игнорируя тревожные сигналы, порой идущие не от домашней атмосферы, на вибрирующей ткани, которой то там, то здесь расцветали милые стезины улыбки, но от тусклой усмешки трюмо, притаившегося в углу материнской комнаты.

«...и такая некрасивая младшая!..»

Весь привычный мир вдруг потерял прекрасные округлые очертания, раздражённо сломав, как спички, ровные линии пространства, чтобы тут же пронзить Юлию ломаными кривыми, ранить острыми углами; яркие, насыщенные цвета любимой обыденности, словно заболев, потускнели, пообсыпались, и собственное лицо в зеркале, к которому, охваченная ужасом катастрофы, подбежала девочка, оказалось *чужим* и некрасивым лицом — в самом центре которого по-хозяйски разместился широкий курносый нос — грубоватая пародия на чуть вздёрнутый изящный носик старшей сестры.

«Девочка с таким именем, — раздумчиво прибавила учительница Кушникова, — просто обязана быть красавицей!»

А виноват в случившейся катастрофе был именно он, ужасный господин нос, властно вытесняющий за пределы любого внимания большие серые ясные глаза, тонкие брови и маленький рот,

который, приоткрывшись, мог одарить каждого лунным светом ровного, точно выточенного мастером, белого ряда зубов. Властвуя на лице днём, нос предпринял попытку отвоевать и пространство ночи, но здесь господство его было отвергнуто древними образами, в конце концов, превратившими и его в заколдованный холм, два отверстия которого уводили через сны в далёкие пещеры, где царствовали мрачные и уродливые подземные жители.

Шёл 1915 год. Волшебная палочка растущего ствола эстетической ринопластики переживала пока период младенчества, походя на робкую травинку и абсолютно не ведая, что в конце века тысячи отчаявшихся Юлий будут бежать под сень её разросшейся кроны, сверкающей серебристыми скальпелями вместо листы. И, спасаясь от затягивающего омута отчаянья, Юлия полюбила Сирано де Бержерака и навсегда отделила своё отражение в зеркале от своей души, приняв его как маску, которая зачем-то намертво приклеена к её настоящему, красивому лицу, и которую она вынуждена предъявлять людям.

Однако внезапное открытие собственной некрасивости склонило её к образованию (она стала читать всё, что попадалось ей на глаза) и к размышлениям. И первая мысль, которую она записала в дневнике своего сознания, на чистой клейкой странице пробуждающейся юности, было удивлённо-горькое знание о мире, в котором проявленное может дисгармонизировать с непроявленным, будучи зачем-то связанным с ним тайной совместного зарождения. Как связано её лицо с её душой.

Юлия и раньше подслушивала разговоры. Она не делала этого намеренно, не пряталась за портьерой, превращаясь на миг в подрагивающие частицы пыли, не затаивалась в шкафу испуганным смешным котёнком, — посторонние беседы и признания как бы сами находили её, проникая тонким дымком в любопытные уши и уже затем в тайник её души, в котором теперь кроме памяти о первой любви к светлокудрявому Павлику — младшему сыну отцова родного дяди Николая Петровича, поселилось горькое знание о самой себе, полученное от учительницы Кушниковой.

Павлик учился в Петербургской Академии художеств, но порой всё-таки приезжал в их пограничную окраинную глухомань, чтобы повидаться со своим отцом, скромным и очень добрым стариком-иереем, уже много лет служившим в небольшом миссионерском приходе. Это как раз Павлик и рассказал Юлии, как, ещё совсем маленькая, будучи у него, двенадцатилетнего, на именинах, она, балуясь, порвала, несколько страниц старинного Евангелия от Иоанна, вызвав гнев другого двоюродного деда, Павла Петровича, тоже иерея и тоже миссионера, в честь которого. Павлик был и назван, хотя всё равно не любил его: больно тот был резок с детьми и фанатически нетерпим к малейшему уклонению от церковной обрядности.

И тогда Павел Петрович дал болезненный шлепок девочке по руке и раскричался, бегая по комнате, как чёрная птица, подпрыгивающая, тревожно машущая крыльями, но почему-то не взлетающая. — Дурной знак — разорвать Священное писание! Не к добру это! Евангелие сие ещё пращура нашего. Он по нему остояков учил, когда с митрополитом Филофеем плавал по остояцким и вогульским юртам! — Павел Петрович приостановился и, сжав одной ладонью вторую, хрустнул костяшками пальцев.

— И все безобразия сии оттого, что Филарет причащает в доме старого шамана Кызласова, вот он-то и наслал на Юлю языческого беса! — Павел Петрович опять гневно взмахнул крыльями-рукавами, делая очередной круг по гостиной.

— Не дело это священнику с шаманом дружбу вести! Хотя и сам я в мартьяновский музей отправляю шаманские бубны и камни древние, но дух языческий легко может повредить нежную оболочку души младенческой, навек заразив её неверием или ядом чужого суеверия!

— И великих праведников бесы искушали порой, — тихо произнёс седовласый отец Николай, усадив плачущего ребёнка к себе на колени, — а что скажешь про малое дитя? Особоливо сильно нападает всяческая нечисть на священнических детей. И от врагов веры нашей нам пребудет польза, как Господь учит. Взыскующей душе отовсюду исходит помощь, а посему даже лютых врагов наших надобно благословить. А вот зла от сердечной дружбы не бывает. Кызласов и не шаман давно, его ведь сам Филарет крестил, и вовсе — не враг, а умом Бог его не обидел. А как уж играет он на чатхане — заслушаешься!

— Даже дружба с шаманом бывшим для православного священника — грех! И не верю я Кызласову — одной рукой крестится, а второй тайно камлает!

— Но сам-то ты, Павлин, не тисками же вырываешь у них алыптыг ныхмах, чтобы записать и сохранить для истории ценные сказания сего кочевого народа? Значит и ты водишь дружбу с язычниками!

— Сначала крещу их, причащаю, исповедую... Сейчас вот начал переводить для них мои воскресные проповеди, изданные в Епархиальных новостях в прошлом году. И псалмы понемногу перевожу. Архиерей говорит, орденом Анны третьей степени меня хотят наградить за переложение псалмов на урянхайский.

Павел Петрович успокоился, а, вспомнив про обещанный орден, даже повеселел. Когда он нервничал или сердился, то обычно хрустел костяшками белых пальцев, а когда радовался — подёргивал себя за редкую бороду. Вот и сейчас он ловко выдернул волос. Только чуть поморщился.

— А Филарет — музыкант, потому и нравится ему слушать, как хайджи Кызласов поёт да играет. Это ж точно сами Сундуки с нами говорят! И нет вреда от его музыки да сказок ни Филарету, ни детям, только радость. А Господь и учит радоваться.

— Не соглашусь никогда, Николай, я с тобой, — Павел Петрович скептически улыбнулся, — вон Евангелие порвано — и это всё оттуда...

— Да будет тебе, Павлин.

— Э, от этого, от этого! Всё от этого, и учительница к ним в дом неспроста зачастила — греховные чувства ею владеют, помняни моё слово, опутает паутиной своей душу Филарета! Небось, шаманы и наслали на неё страсть к русскому священнику!

Когда, будучи уже взрослой, Юлия прочитает «Попрыгунью», её воображение достроит смутный чертёж памяти, поместив учительницу Кушникову в центральный круг, отведённый для главной героини, перекликающейся даже звучанием фамилии со своим прототипом, — так часто случается с невыдуманными историями, в которых просматривается подспудный замысел. Замысел этот ускользает от обычного осознания и оставляет своё авторство неведомому. Отец станет доктором Дымовым, а золотистое мельканье его очков и мягкий прищур близоруких глаз покажутся тихим, домашним откликом на растиражированные снимки известного писателя. Только в сюжете произойдёт ироничная замена: хорошенькая попрыгунья превратится в щуплую старую деву и выберет не романтического художника, а молчаливого и кроткого труженика, отца... Юлия однажды услышит страстный её шёпот и тяжкий его ответ: «Не могу, Ляля, дети! И сан... сан...»

— Отдайте его мне! — крикнет матери Юлии одержимая тёмной страстью учительница Кушникова. — Отдай-а-айте!

И зарывает, упав между креслом и диваном, кусая артритные пальцы, забьётся на полу, как неровное пламя свечи, и внезапно погаснет, точно выплеснув себя полностью.

— Да, да, — скажет, опираясь на угол стола, чтобы сохранить равновесие, побледневшая мать, — отдам, конечно, конечно, отдам...

В этой безысходной страсти блёклой старой девы к отягощённому восьмью детьми скромному приходскому батюшке таилось что-то невыносимо мучительное для сторонней души, может быть, потому, что вырвавшееся пламя способно было прожечь дыру в замкнутых стенах обыденности, на короткое время выхватив из тьмы непроявленности и соединив, как ртуть, зябко подрагивающие персонажи, но не могло спалить серую обыденность дотла. Безбровая бестужевка, приехавшая учительствовать в Енисейскую губернию и одиноко гулявшая с рыже-белой крохотной собачкой, только подпалаила священническую семью, которая, вздрогнув, испуганно замерла под покровом старой чёрной рясы. Обугленный подол жалко волочился по огромному селу, поднимая пыль недобрых пересудов...

Увидела учительница красивого высокого диакона в красноярском Рождественском соборе, при свете множества свечей, которые, всколыхнув его тёмно-синий взор, зажгли и её сердце. А через полгода он был рукоположён в священники и, по собственному же прошению, получил приход в большом селе, бывшем когда-то крепким казацким форпостом на южно-сибирских границах, а позже местом поселения для всяческого пришлого люда, главным образом, крестьян-переселенцев и ссыльных, как политических, то есть тех, кто боролся против царя, так и просто уголовных. Много было в селе и военных, попавших под суд офицеров и солдат, отправленных в Сибирь за дурное поведение в полку.

По характеру щедрый, не умеющий извлекать материальной выгоды ни из какой деятельности, отец Филарет идеалистично решил, что именно в своём приходе, получая 300 рублей казённого жалованья, наконец-то удастся ему наладить спокойную безбедную жизнь, взяв за основу быта и для себя, и для своих семейных постоянный труд. Благо, несмотря на типично русское интеллигентское лицо, он мог равно заниматься и трудом умственным, и физическим. Подобно многим приходским священникам, барства он в быту совсем не признавал и никакого труда, даже крестьянского, не чурался. При церкви земли усадебной вместе с церковным погостом было 5 десятин, сенокосной — 52 десятины и пахотной — 245 десятин. Но последняя земля была пока лишь запроектирована и поэтому причт её не пользовался.

Сама церковь в селе была красивая, каменная, имелось в ней три престола: главный — во имя св. Апостолов Петра и Павла, другой — во имя Пресвятой Богородицы в честь Её иконы «Знамения», оба эти приделы построены были в 1852 году на средства прихожан. Третий престол — во имя св. Пророчицы Анны — в 1886 году выстроил на свои средства Томский купец Вяткин. Вполне достаточна и содержательна была и церковная

библиотека; к тому же недавно открылась читальня при сельской школе, чему Юлия очень радовалась.

Как большинство потомственных священников, был отец Филарет к тому же очень музыкален — играл на нескольких инструментах. И ещё в городе, в часы досуга, порой сам делал скрипки, но в селе надумал заняться и садоводством, возможно, с поэтической горечью увидев в плодовых деревьях, доставшихся ему вместе с белым, монастырского типа, каменным домом, и обвиваемых без ухода какой-то болезненной паутиной, почти погибающих, овеществлённые чувства своей души.

Этот, свойственный ему взгляд на реальность как на книгу, которую невозможно прожить, а можно только читать, разгадывая разбросанные между её строк тайные знаки, скорее всего, явился следствием потомственного многоколенного священничества, когда следующий из повзрослевших, вступая на ту же тропу служения, уже воспринимал, благодаря долгому ношению его родом ключа православного символа, и самую жизнь всего лишь как проявленное в материи внутреннее переживание, которое открывалось этим ключом для мира и им же снова закрывалось.

Но всё же и здесь, в селе, много чаще непривычного занятия садоводством, отец негромко играл на старинной скрипке, доставшейся ему от деда-священника, и по семейному преданию привезённой в Сибирь не столь далёким их предком — киевским учителем, которого позвал с собой на миссионерскую тропу сам Филофей Лещинский, принявший в Сибири постриг и ставший схимонахом Фёдором. Самодельные же скрипки отец Филарет предназначал детям. По вечерам устраивались домашние концерты — в семье пели и играли на разных инструментах все. На один из таких маленьких концертов и забрёл хайджи Кызласов.

Никакого обильного плодового урожая взрастить отцу Филарету, конечно, не удалось. Часть деревьев уже засохла совсем, на тёмных стволах других выступила густая коричневая плесень, и только в самом конце сада у калитки выводящей не в сторону близкой степи, а к видневшемуся за поворотом сельской дороги густому лесу, деревья в первую же весну занестились и осенью дали очень мелкие, но красные и сладкие яблоки.

Не умел он и собирать ругу, которую не отдавали батюшке со всего села целиком, как это водилось в старину и до сих пор практиковалось в некоторых зажиточных сибирских станицах, а приносили отдельно с каждого казачьего двора — кто немного куриных яичек, кто испечённый только что рыбный пирог или миску свежего творога. Казачки церковь сильно любили; но забытые ссыльнопоселенцы из крестьян не давали ничего священнику вовсе. И отец Филарет всегда стеснялся брать с них даже причитающееся ему за требы, да и для

остальных прихожан не назначал определённой цены, а, как-то неловко улыбаясь, вызывая у Юлии этой своей почти виноватой улыбкой самолюбивую досаду, повторял всякий раз, что любой может пожертвовать лишь то, что ему по силам, а если и не по силам вовсе, то и не надо.

К тому же, село, перестав быть полностью казачьим, заполненное теперь больше чем наполовину мало приспособленными ещё к Сибири переселенцами, удивительно быстро обеднело. Крестьяне из России тяжело приживались на сибирских землях, таких благодатных, но таких чужих, и удивлялись в этом крае всему, даже растущим на огородах маленьким, но очень сладким арбузам, из которых ловкие казачки давно научились варить варенье.

Бывшие офицеры днями напролёт пили или играли в карты, и внезапно протрезвев, являлись к отцу Филарету на исповедь, чтобы снова затонуть на полгода, а солдаты неумело крестьянствовали, нанимаясь иногда к священнику вскопать огород или поправить ограду, за что приходилось платить им. Ссылные же социалдемократы, порой даже наведываясь в музыкальный дом священника, чтобы послушать, как славно играет его струнный оркестрик, а порой и просто поговорить с самим отцом Филаретом о Достоевском или о Толстом. В церковь всё равно не ходили вовсе или бывали там только на Рождество да на Пасху, отдавая дань не до конца растоптанным семейным традициям. Только раз ссыльный революционер обвенчался с приехавшей к нему невестой, и то не здесь, а в соседнем приходе, где ещё в начале века служил отца Филарета двоюродный прадед, а псаломщиком был сильно попивавший и потому, наверное, рано умерший его сын, двоюродный дед.

Полутёмные домишки полунищих сагайцев, живущих в деревне неподалёку и приписанных к его же приходу, отец Филарет по двенадцатым праздникам, объезжал сам, часто не один, а с женой, матушкой Лизаветой, радуя узкоглазых детишек обычно съестными подарками.

А те из сагайцев, чьи стада овец и лошадей насчитывали сотни, даже тысячи голов или, приписавшись к гильдейскому купечеству, давно обрусели, и в селе бывали редко, поселившись в богатых городских домах. Посещали они центральный кафедральный собор, а не белую сельскую церковь Петра и Павла, или же, наоборот, сохранили верность шаманам и величали себя потомками княжеских родов Хоорая.

И снова отец Филарет едва сводил концы с концами и вынужден был прибегать к займу. Кредитором обычно выступал дядя Павел Петрович, относившийся к прихожанам с предписанной законом и вполне расчётливо им осознанной трезвостью, а потому живущий достаточно обеспеченно, но иногда помогал и тесть — управляющий железнодорожного завода, отец матушки Лизаветы.

И подолгу семья барахталась в неводе тяжёлых долгов, таком же прочном, как рыболовная сеть, сплетённая самим батюшкой и отданная кухарке Агафье для её брата, кормившегося продажей рыбы. — Спасибо, паба Филарет Ефимович! Хорошо, хорошо...

Она служила в семье священника уже три года, а до того была прислугой в аскизском доме миллионщика Кузнецова, и, увезённая, наконец, из города, очень радовалась возвращению в родные места. Ведь в недалёком Аскизе жила вся её родня. Готовила Агафья очень вкусно, особенно, Юлия обожала корчик — молочный коктейль, который кухарка делала из свежего коровьего молока, покупаемого у соседки-казачки.

— Хызыл нымыхра жду, еда будет: хийях, ит будет и палых, — Агафья, беря сеть, кивнула с преданной благодарной улыбкой.

— Да, скоро Пасха, наш улюкюнөн... — ответил отец, намеренно употребив хакасское слово «праздник». — И масло, и мясо, и рыбу — всё сможешь тогда готовить.

Агафья, переваливаясь, вышла и через минуту крикнула:

— Паба Филарет, пришли к вам!

Юлия, дверь в комнату которой была приоткрыта, увидела входящую учительницу Кушникову, долговую узкую фигуру которой обтягивали изысканная белая блузка и серая юбка тонкого сукна. Дорогую блузку учительница купила в Москве в магазине Мюра и Мерелиза, о чём не замедлила в прошлое своё посещение с гордостью сообщить матери, одевавшейся в самую скромную одежду, приличествующую, по её мнению, многодетной попадье. Матушка Лизавета пятый день недомогала и не выходила из своей по-монашески крохотной спальни.

Обида за мать захлестнула Юлию, она захлопнула дверь с такой силой, что даже книга на столике подпрыгнула. Гадкая! Зачем она ходит к отцу?!

— Болеет? Печально это слышать! — Запереживала учительница. — А ведь воздух здешний целебный, не хуже, право, швейцарского...

Из Швейцарии учительница вернулась ещё полгода назад, но вспоминала о курорте почти в каждом разговоре.

Охваченной ненавистью Юлии казалось, что сочувственные воркующие фразы, тут же оседая на половицы, проникали по-змеиному ловко в материнскую комнату, чтобы нанести болящей смертельный укус.

— Сейчас опять стали лечить пиявками, они оттягивают всю дурную кровь...

Нет! Слушать всё это, сидя в захлопнутой коробке комнаты, было невыносимо! И Юлия, с досадой отбросив на кровать раскрытые пьесы Гоголя, ловко вылезла в окно.

В прошлое воскресенье к радости зрителей (небольшой группки местной интеллигенции) две семьи — многодетная священническая и вовсе бездетная семья друга отца учителя Веселовского как раз разыгрывали пьесу «Женитьба».

Красивая пара Веселовских, приехавшая следом за отцом, сразу стала здесь центром культурной жизни. И совместный домашний театрик, сопровождаемый маленьким, но слаженным семейным оркестром, внёс жизнерадостное разнообразие в унылую жизнь долгого приграничного села, где самым частым и почти что единственным развлечением были тараканьи бега, устраиваемые инспектором по делам ссыльнопоселенцев усатым Гаврилкиным. Юлию тошнило от этого зрелища. Гаврилкина она презирала.

Обычно спектакли играли на каникулах, когда приезжали старшие дети, учившиеся в разных городах Сибири: сестра Вера, красивая, со светло-русой косой красная епархиалка — ей доставались милые роли юных лирических героинь, высокий розовощёкий Борис, отличник в реальном училище Барнаула, игравший обычно женихов, и учившийся в духовной семинарии Томска Женья, которому даже семинарские учителя прочили карьеру знаменитого певца — такой у него был сильный и красивый, удивительного тембра голос. Пели в семье все, но солировал только он и подруга Юлии Муся Богоявленская.

Порой присоединялся и самый младший брат матери, длиннолицый, неловкий, не очень привлекательный внешне подпоручик, отпущенный из полка в короткий отпуск. И даже приезжавший из Петербурга на летние этюды светлокудрявый Павлик тоже не отказывался от какой-нибудь небольшой роли.

Только упрямый иерей Павел Петрович считал все их представления «бесовым лицедейством», и напрасно убеждал его племянник Филарет, что театр в России почти целиком вышел из церковных представлений, а уж в Сибири без митрополита Филофея и открытой им архиерейской школы, откуда пошли и драматические спектакли, и даже малороссийский раёк, театрального искусства и вообще бы не было.

— Филофей сочинял пьесы только на религиозные темы, — кисло возражал Павел Петрович, — а вы с Веселовскими всякие гоголевские вольности на сцене вытворяете, хоть ты сам-то, Филарет, не лицедействуешь, а только тихохонько на скрипке им подыгрываешь, но и для семьи твоей не дело это! Накажет за это Бог!

И вчера невесту, конечно, играла сестра Вера, а Юлии, которую нарядили в старое бабушкино платье, повязав на голову кухаркин платок, скрепив по-мещански его концы надо лбом, досталась, как всегда, противная роль — хитрой свахи...

Юлия бродила недалеко от села, неотвязно думая об отце и учительнице Кушниковой. Вдруг, точно ветром принесло неуверенную мысль, которая забалансировала на проволоке горизонта, на границе полусферы сознания и колышущейся степи, ставшей неожиданно сине-прозрачной: а ведь учительница Кушникова сама жертва. Жертва вечерняя! И сквозь степь стало просвечивать сначала размытое, а потом всё более чёткое, давнее грустное воспоминание: быстрая и глубокая речушка, протянутый над ней старенький мостик, пугающе подрагивающий под детскими ногами. Он дрогнул сильнее — и из рук Юлии, облокотившейся о перила, выпала её старая кукла. Тут же, кружась, полетели вниз детские ладони, неуспевшие любимую куклу подхватить. И одна девочка по имени Юлия осталась стоять на нервном мостике, вторая же, обхватив куклу, барахталась в ледяной воде. Ватное тело куклы всё тяжело и только маленькие руки беспомощно подпрыгивали на злых мелких волнах... И сейчас Юлию снова настигло это странное чувство раздвоения. И тут же беспомощно заколыхались в тёмной воде худые плечи и тонкие запястья, обтянутые нежной тканью блузки от Мюра и Мерелиза...

Степь хмуро сгустила воздух, дурманно пахнула разнотравьем, заволновала ветром траву, отрывая головки сухих цветов, будоражила сухую почву. И воспоминание уже не просвечивало сквозь неё, оно быстро таяло где-то на заднике сцены души, превращаясь всего лишь в мысленный образ.

«Может быть, отец, уезжая из города, тайно надеялся освободиться от этой роковой страсти», — думала Юлия, используя сама для себя лексику и образность жесточких романсов, которые так эмоционально исполняла в домашних концертах. Даже кухарка Агафья, не понимавшая все слова, и та как-то не выдержала, сказала, покачивая крупной головой: «Хорошо поёшь, чахсы, чахсы!»

«...страсти, уже поймавшей его душу в своё огненное кольцо, сквозь которое безуспешно попытался прорваться, совершив прыжок отчаянья, его разум?»

Разум, точно в классицизме, породившем Правдиных и Добросклоновых, представился Юлии правильным мужчиной, одетым в строгий костюм, и его прыжок через цирковой горящий обруч сразу оказался невозможным: герой и жанр не совпадали!

Стало видно, что приближается сильная гроза: небо вдаль уже слепило тяжёлую сине-глиняную тучу, но всё продолжало прибавлять к ней тёмные комья, заполняя ими всё светлое пространство до фиолетовой линии горизонта.

...Но, выходит, именно щуплая учительница всё-таки виновата в том, что из города, переключаясь по вечерам весёлыми театральными



огнями, они перебрались в это пыльное огромное село, которое Юлия ненавидела! Ведь в селе не было ничего интересного, кроме церкви, школы и библиотеки-читальни, которой теперь заведовала Веселовская. Правда, недавно поселился здесь один географ, симпатичный, несколько рассеянный краснорец, высланный из города за публикацию статьи в большевистской газете. Он уже спроектировал свою маленькую метеорологическую станцию.

...И прыжок, и побег не состоялись! Одержимая страстью бестужевка, тут же уволившись из городской женской гимназии, кинулась за отцом Филаретом следом и устроилась преподавать словесность в маленькую школу, открытую в селе два года назад благодаря содействию родного брата матушки Лизаветы — Владимира, кафедрального протоиерея и енисейского благочинного.

Ветер с яростью рванул кусты, неистово захвихрил пыль на тянущейся от села дороге, словно издеваясь, заполоскал синюю юбку идущей по дороге женщины: это мать, победив недомогание, поднялась и пошла искать Юлию. На помолодевшем от тревоги бледном её лице брезжил розовый отсвет узкой струи света, только что пролившейся из тяжёлой тучи сквозь крохотное отверстие, уже исчезнувшее под новым комком сине-чёрной глины, причудливо вылепленным сверкающей молнией.

— Ю-ли-и-я!

Своим родным дядей Юлия гордилась: отец Владимир, брат, духовник и кумир матери, был антиподом отца Филарета, тихого и замкнутого священника. Несколько лет назад на миссионерском съезде расноярской епархии председательствующий на нём молодой протоиерей выступил с таким ярким обличением насильственного крещения хакасов и изъятия у шаманов атрибутов камлания, в особенности — бубнов, что отблески его речи до сих пор посверкивали в словесной воде местных газет.

Уже прославивший Минусинским и Красноярским златоустом, он казался Юлии факелом, громокипящим кубком веры, магнитом, собирающим вокруг себя полукружья людской толпы. Эрудит, знавший несколько языков, он всегда оказывался в эпицентре общественной жизни, волнами откатывающейся от него, когда в соборе на воскресной проповеди начинал звучать его красивый голос. Отец же был скромнен до застенчивости, предпочитая участвовать в жизни епархии только как приходской священник — и не более. Мать отца, бабушка Марианна Егоровна как-то показала Юлии старинную семейную икону.

— Там-то вот все росписи родословные на обратной стороне изложены, однако, за долгие годы поистерлись так, что не разобрать, прашур был

аж из самой Лавры, учителем потом служил в Тобольской духовной школе, был и певчим в архиерейском хоре, после послушником стал в Долматовском монастыре, но монашеский постриг не принял — женился, любовь земная, то есть оказалась сильнее! — встав с кресла бабушка глядела на внучку снизу вверх, поскольку росту-то была крохотного и всё посмеивалась порой, что на неё материалу Бог пожалел.

— И то ли сын его, то ли внук уже в семинарии получил новую фамилию— Силин, это не от силы физической, они и здоровья были все слабого, нет, что твой прадед по матери Лев Максимович, тот и в девяносто здоров, как бык, и ростом великан... — она помолчала, осуждающе причмокнув.

Вся родня невестки не вызывала у крохотной Марианны Егоровны никакой симпатии.

— А от чего «Силины» — раз не от «силы»?

— От воинства Христова, — бабушка вздохнула. — И почти все они подвизались на миссионерской стезе. Такой вот духовный род! И как один, от природы голосисты, видно, в того первого певчего... Но уж который век по церквам да соборам... куда ж священник без пения?...

— Ну, ещё расскажи что-нибудь, бабонька, — про-  
сила Юлия, обнимая за мягкие плечи и снова  
усаживая старушку в кресло, — ну, пожалуйста, а?

— И протопопами они были, и псаломщиками, а то и простыми парамонарями у отцов своих священников подвизались, женились обычно на поповнах, детей много— где им всем священнические места сыщешь? Денег вот только не нажили, все бессребреники, кроме Павла Петровича, у того и приход богатый, и несут ему казаки не жалея, к тому же, он ведь духовник одного из миллионщиков Кузнецовых... От этого безденежья вечного рано служить начинали, порой только училище пройдут и в церковь, и отец твой такой же, совестливые больно и купеческой жилки нет,—бабушка Марианна Егоровна покачала головой.—А был, однако, в роду и один епископ, то есть архиерей, академию он окончил в Петербурге, сестру его замуж за священника Баркова отдали, мать-то её в Институте благородных девиц училась, по бедности, видно, за диакона вышла, так ведь и я, ведь все мои деды да прадеды по отцу канцелярские чиновники, а архиерей-то был как его...

— Выходит, бабонька, ты священников не любишь?  
А тчего тогда всё по святым местам ездить?

— Сейчас, сейчас вспомню, — бабушка Марианна Егоровна точно не услышала, — э, нет, забыла, это брат твоей, Юлия, прабабушки. Его рисованный, кем не знаю, правда, портрет даже где-то у нас хранился, может, каким причетником или монахом, да вот затерялся, куда делся, ума не приложу. А на том портрете, сам-то он, говорили, был ростом высок и наружностью хорош, а на портрете отчего-то нос у него больно широко-о-ок...

УЮлии, тут же вспомнившей о хозяине своего лица. потемнело на душе—точно тень степного ястреба закрывала её...

Другую бабушку Юлии, Александру Львовну, высокую, сухопарую женщину, Марианна Егоровна сильно не жаловала, вполне серьёзно считая, что мать её невестки сушая ведьма. Да нет же, бабонька, ерунда всё это, возражала Юлия.

— Э-э, дорогая моя, тебе-то, откуда знать?!—Сердилась Марианна Егоровна.—И недаром мебель-то в их доме сама двигается! И всё старуха заранее проведает: мы только-только решили к ним поехать, а она уже на стол велит накрывать! И соседи её боятся, говорят—мысли она умеет провидеть, лет ей уже под семьдесят, а глядит сестрой своей дочери, а пошло это у неё от предка-шамана какого-нибудь, ей-Богу, ведь в Сибири все народности и все сословия перемешались, здесь бывший граф, а неграмотный, а тут вон сын разбойника с большой дороги, а Сорбонну окончивший!

Бабушка Александра наоборот гордится своим старинным русским родом, они же не сибирские воеводы, это отец её, Лев Максимович, сюда приехал, опять возражала Юлия, вот у дедушки, маминогo отца, и в самом деле в чертах лица есть что-то азиатское.

— И не приехал он вовсе, а выслали его сюда за то, что в полку набедокурил, в карты играл, всё телеграммы брату своему старшему отправлял: «Проигрался, вышли денег, а то застрелюсь!», тот жалел его и деньги слал да слал, а потом всё ж таки не выдержал, отбил ему: «Стреляйся, ракала!» Сейчас племянник, сын умершего его брата, дворянином пишется в Якутске, и знаться со своим дядькой не желает, ведь, то ли совпало, то ли осерчал Лев Максимович, но и правда вскоре с прапорщиком каким-то и со штабс-капитаном что-то такое они учинили, за что его в Сибирь и отправили, а полковника, который хотел всё дело это тёмное замять, ещё и оскорбил смертельно по глупому буйству своего нрава. А племянник его как в Сибирь попал, этого я сказать не могу, небось дурень-дядюшка и наплёл ему в письмах, что здесь золота да алмазов пруд пруди, вот, сам тот сюда и попросился... В общем, всю молодость Лев Максимыч кутил, промотал, что его честные родители нажили, Бог его и наказал—всего он в конце концов лишился, пробовал, правда, после уже, торговать китайским чаем, в гильдию купеческую записался, даже пароход арендовал, и, надо сказать, сильно вдруг разбогател, дома два каменных выстроил, кольца чистого золота полог над его кроватью держали, с прииском ему, дураку, повезло, но натуру ведь не исправишь, снова всё спустил, дома продал, кольца те так в одном и остались—не смогли вытащить, больно крепко их в потолок загнали. Разорившись, стал нищий

тюменский мещанин и свидетельство взял на поиски да на разработку золота и платины, но что-то, здесь не повезло ему, он в обер-штейгеры попал, там и с твоим дедом познакомился, который был тогда молодой помощник управляющего, и дочь свою Лев Максимович за него выдал, дед-то твой, хоть я не люблю его, Господь меня, надеюсь, простит, но не признать не могу, не в пример своему тестю, настоящий самородок, сирота казанская. Ссылные его русской грамоте научили, а уж местные наречия ему понимать сам Бог велел, ведь бабка его была, точно тебе говорю, минусинская татарка, как-то проговорился он, а может, наоборот, похвастаться захотел, мол, потомок он какого-то Хоран пига, великого хана тумена Хоорай, из которого потом все сагайцы пошли. То-то уж великие... Вот профессор Катанов—тот великий хакас, да, а про этого Хорана кто что знает, может и вообще выдумал он красивую сказку, чтобы бедную свою родню возвысить?!—Бабушка Марианна опять осуждающе махнула рукой.

— Предки его, мол, всё были высокие да светловолосые, такой вот древний народ здесь в Минусинской котловине жил, потом уж смешался он с пришлыми и почернели все волосами, тогда мне так сказал, а теперь давно молчит обо всём этом. Отец-то его из потомственных русских служилых людей, и дети боярские среди них были. Таштып ставили, Бирюсинский станец, Шардатский форпост, и простые конные казаки да пешие, как мужики крестьянствующие... Только многие из простых-то казаков давно переросли: в управляющие да в священники выбились, а то и в казанские дворяне попали,—бабушка опять осуждающе качала головой.—Но в общем, всё равно, для меня они—казатчина-азиатчина! Не то что Силины. Кроме учителя киевского все как один наши! И в Москве первопрестольной жили! И мои деды-прадеды Чернышёвы—чиновники, и орловские Чубаровы, тоже священники из однодворцев, и Барковы, и Покровские, и Ольфинские, эти тоже давно русские, хоть изначально, вроде, из шляхты, с которыми Силины породнились это по жёнам своим, и другие, кого не вспомнишь, а эти твои... ну, одно слово—казатчина-азиатчина!

— Это уже два слова, бабонька!—Юлия, досадуя на раскрывавшиеся семейные тайны, морщилась, точно от лимона.—И казаков ты не любишь, и Азию!

— А для меня это—одно!

Даже талант свата к делопроизводству не прибавлял ему достоинств в глазах гонористой Марианны Егоровны, и материнский отец, платя ей той же неприязненной монетой, за её спиной звал её исключительно старухой Миримьянихой.—И моей ноги у них век не будет!—кукольная старушка укоризненно поджимала губы.—Сват, сват да не свят...

— Дедушка очень много знает,— снова пыталась заступиться за материнскую родню Юлия,— он из столицы выписывает книги, какая у него большая библиотека, не перечитаешь всех книг, а журналы ему пересылают даже через Китай.

— А всё от того, что кровь смешанная, скажу я тебе, он и к языкам восточным способный,— бабушка говорила всё тем же критическим тоном,— Лев Максимович вон над китайским даже кряхтел, чтобы китайским чаем торговать, ну, разве так бойко заговорит, как с татарами твой дед? Ей-богу, толмач! И дядька твой протоиерей легко урянхайский выучил, даже по-арабски знает, а уж по-сагайски как говорит—точно на русском. Сам Катанов, наполовину сагаец, наполовину качинец, местным-то наречиям в Казани твоего дядюшку и обучил, чтобы тот в своём приходе понятные инородцам проповеди читал. А к чему им арабский, что Катанову, что дядьке твоему, скажи на милость? Ради миссионерства среди сагайцев, думаешь? Э, нет! Это всё их кровь. Ойрат есть ойрат.

— Но сагайцы—не ойраты, а минусинские тюрки, бабонька,—смеялась Юлия,—их Майнагашев описал, мне папа объяснял, что ойраты—это западные монголы, а вот Павел Петрович в Иркутской семинарии учил именно монгольские языки, потому что так полагается.

— Э, милая, азиатчина и есть азиатчина! Тянет их всех к своей праматери Азии, а Европа хоть и привлекает да всё чужими огнями светит. Ты погляди, как твой дед учительницу Кушникову ненавидит, а она культурная женщина, петербургская курсистка была, мать её немка из Каменец-Подольских дворян, и сама она немецкий преподаёт...

— Да не потомум он её не любит, бабонька, что она из Петербурга и что наполовину немка!

— А почему бы ще?—Марианна Егоровна подозрительно прищурилась.—За что хорошую учительницу свёкру не любить-то? Да и ты туда же: Филарет с полгода назад договорился, чтобы она обучала и тебя немецкому, но ты отказалась наотрез. И с чего бы?

— Не буду я у неё уроки брать!

— Не понимаю,—бабушка Марианна достала очень маленький шёлковый платочек с вышитой буквой М и коснулась им морщинистого кончика носа.—С чего бы?

У бабушки всё было крохотное: жила она то у старшего сына, то у них и всегда привозила с собой крохотный самоварчик, крохотный чайничек, такие же, очень изящные чашечки, точно для кукол. И сама, когда сидела в большом старом кресле, казалась совсем игрушечной старушкой, ноги её не доставали до пола и порой она ими по-детски покачивала...

— Из-за учительницы Кушниковой мама мучается,—всё-таки решилась сказать Юлия,—я однажды

разговор их случайно услышала. Учительница просила отдать ей отца!

— Филарета?

— Да.

— И что мать твоя?—Бабушка не казалась удивлённой, и спрашивала вполне ровным тоном.

— Мама сказала, что отдаст.

— Это что делается-то!—голос забугрился, пошёл волнами.—Он же не вещь, ей-богу!

— Не вещь,—повторила Юлия глухо.

— Вот, я их отстаю обеих! Что делается! А Филарет-то мой, ну, агнец!

— Ладно, бабонька,—Юлия уже решила, что напрасно пересказала фрагмент подслушанного разговора, бабушка проговорится, и виноватой окажется она, Юлия, а вовсе не долговязая учительница Кушникова!—Лучше пойдём, побродим по степи и ты мне расскажешь ещё что-нибудь!

— Да уж пойдём, хоть проветрюсь после такого известия!

Сердившаяся, когда её называли по-просторечно-му Маримьяной, объединяя в одном имени сразу два «Миримьяна» и «Марианна», крохотная чопорная старушка, всегда носившая строгий серый костюм и покрывавшая голову тёмной бархатной шапочкой-наколкой, очень любила гулять по недалёкой степи и плела и там вязь семейных легенд, паря вместе с внучкой над змеиными сопками, то, описывая белокурость и стройный стан своих орловских, разумеется, никогда не виденных ею, прапрабабушек, то, вплетая в зигзаги воспоминаний какого-то новокрещена, на дочери которого хотел жениться один из прапрадедов—священников... Отец её, местный князёк, сам-то принявший русское имя, дочери не разрешил окреститься, шаман, видишь, ему местный запретил, да ещё проклятье грозился наслать. А полюбила она попа нашего так сильно, что заболела и умерла с горя, когда ему отказали. И он долго страдал. Красивая, наверное, была, хоть по мне остяки все на одно лицо.

— Они на минусинских татар похожи?

— Нет, на родственников своих, енисейских остяков,—бабушка остановившись, наклонялась и внимательно разглядывала землю и траву у своих ног.

— Может, оттого-то с той поры и рождается у Силиных в каждом поколении один черноглазый черноволосый младенец, но никогда не выживает, ведь каждый младенец—это любовь... Вот та убитая любовь и отмирает уже два века...

— Так не бывает, бабонька,—возражала Юлия.

— Бывает, милая, всё в жизни бывает!

И снова разрывая нить, запутавшуюся в её памяти, она связывала её новым узлом неведомого прапрадеда, который написал икону, а она замироточила.

— Это в него у нашего Павлика талант к живописи, в него.

Юлия порой путалась в засохших переплетениях родовых стеблей и листьев. Вынутые из старинных страниц памяти, они тут же рассыпались, исчезая земной пылью в степной траве...

— Отец-то мой канцелярский чиновник Чернышёв сам попросился в службу в Сибирь. Написал он расписку за малограмотного купца на большую сумму денег, а тот возьми да сбеги от уплаты, нашли его да по суду, а отца начальник его спрашивает, как тебя наказывать за наивную твою доверчивость, может, в Сибирь поедешь служить, там и денег будет побольше, или уволить тебя, да на улицу? Он и поехал чиновником в Тобольск, заступиться за него было некому, знакомств с большими чинами он не вёл, и деревенька его подле Рязани досталась его сестре, так-так вот... Выходит, жизнь отца моего настоящая осталась где-то далеко-далеко, ушла в туман младенческих воспоминаний... забытая шкатулка с засохшими листьями русской берёзы, жизнь-то его... обрубленная ветка...

Бабушка Марианна вздыхала, сбавив шаг, и смотрела на далёкие облака, медленно встававшие над степью.

— И женился он здесь на дочке священника Зверева. Это моя мама, твоя прабабушка, ещё дед которого тоже священник был, видать, в семинарии больно баловался, вот и дали ему такую фамилию в наказание и назидание, а прадед, отец его то есть, матушка моя рассказывала, был, вроде, из Ельца, однодворец Чубаров, и вот орловскую Духовную семинарию окончил и диаконом стал, а вскоре и рукоположён был в священники. Дед мой священник Зверев в Иркутске ещё и Закон Божий преподавал, да бурятов русской грамоте учил, как вот наш иерей Павел Петрович детишек Минусинских инородцев обучает чтению, письму и Священному писанию. С декабристом Мозгалеvским был дед мой хорошо знаком, тяготел видать к ссыльным, ссыльные же почти все образованные и умные были, это не как Лев Максимович—буян, а которые против царя пошли, за то их и выдворили в Сибирь, отчего Сибири было, надо сказать, большое благо. И детей они учили, и музыкантами становились, да и торговля у них шла хорошо. И дедова-то жена, между прочим, была вдовой умершего здесь ссыльного шляхтича, тоже политического. Это за первое ещё польское восстание, она к нему, как декабристка, в Сибирь, приехала, а он и году с ней не прожил, слабый здоровьем был, хоть от каторжного труда поляков чиновники наши, сметливые да сердобольные, обычно стремились освободить. Напишут, бывало, в бумагах, что ходит в кандалах и работает на руднике, а на самом-то деле, возьмут себе в гувернёры. Дед мой его знал, и, когда тот скончался, стал вдове его помогать собираться обратно в Польшу, да у

них любовь случилась, так она злесь и осталась и, чтобы с дедом моим обвенчаться, перешла сразу из католичек в православные...

— Что-то совсем запуталась я, бабонька!

— Это родная твоя прапрабабка.

— То есть твоя бабушка?

— Так. Э-эх. Сибирь-матушка, кто к тебе попал да сразу не выбрался, навечно к тебе прикипает!

— Зато в Сибири не было крепостного права, бабонька,—подавала обиженную реплику Юлия.

Её самолюбие сильно страдало, что её родина—место ссылок и царская колония.

Но реплика, точно пичужка, пролетев мимо бабушки, не коснулась её вовсе.

— А вот, Евфимий Силин,—продолжала плести, как Парка, долгую нить рассказа бабушка Марианна,—за которого в двадцать лет я замуж вышла. Пение церковное русское сильно для меня хорошо звучало. Бывало, девочкой ещё, встану у храма и слушаю, и у деда своего, священника, была я любимая внучка. Все молитвы, службы, литургии наизусть знала, брату своему Егору Егоровичу завидовала, это когда были детьми, что его в красивый парчовый стихарь оденут и дадут прислуживать костыльным у архиерея. Правда, пошёл он в Чернышёвых—чиновником стал, учился он в гимназии хорошо, науки ему легко давались, на меня же вот счёт, письмо да география, да длинные стихи, которые надо было заучивать, скуку только нагоняли. А сын его сначала в красноярской акцизной компании служил, правда, чинами не выдался, ленив больно, а сейчас вот делопроизводитель в епархиальном училище. Евфимий же, муж мой, твой родной дед, был сначала при отце своём священнике—псаломщиком, потом диаконом и лишь перед смертью получил в наследство отцовый приход да так и не успел там послужить—лёгкие у них у всех слабые, так и у него...

В очертаниях вдруг быстрее поплывших облаков возникали и таяли парящие ястребы, а степная трава колыхалась от ветра, поднятого ещё копытами далёкой джунгарской конницы.

— В роду-то силинском,—повторяла старая Марианна, словно ящёрка—то прячась от взгляда Юлии, то показываясь над сопкой вновь,—а все они светлые, сероглазые...

...так вот оно как—в каждом-то поколении, Евфимий рассказывал, рождался всегда один черноволосый, черноглазый ребёнок, умиравший во младенчестве, может и точно, проклятье остяцкий шаман наслал за дочку свою, а может, как раз от того первого черкаса, митрополитом привезённого, может, и в него, хохлы, они часто чёрные да кудрявые, а вообще-то, милая, в каждом русском роду есть иль один ногаец, а то и сагаец,—Марианна Егоровна, сказав в рифму, хитровато улыбалась,

точно ей удалось раскрыть чей-то намеренный обман.

— А которые из сибирских казаков, так и вовсе каша-малаша, и наполеоновские французы даже среди них были, что в плен попали, и калмыки местные — мелких мурз потомки, а те казаки, что пришли в Сибирь с Дону, кого только в жёны там себе не брали, турчанок, знай, наворовали. Сибирь-матушка всех в русских перепланировала, и много золотого народа оттого вышло, но и пустой породы немало, которая только дикость да грязь...

Бабушка иногда странно подпрыгивала на сопке и тут же колыхалась возле её крохотных ног волнистая юбка.

— И фамилия-то нередкая: какой русский род не копни, одного либо зятя, либо свёкра с фамилией оной найдёшь непременно. Да только силушкой-то своей управлять надо умом да сердцем... — старушка-ящерка замирала, подняв голову к небу, где теперь неподвижно стояли редкие облака, казавшиеся Юлии размытыми отражениями древних менгиров.

— ...Первая-то моя дочка Магда с чёрными кудрями прямо и родилась, да не прожила и месяца. Тогда-то я поклялась: коли родится мальчик, станет он священником, как все Силины и как мой дед Стефан Зверев, а лучше, думала, чтобы стал монахом. В монашестве самая сердцевина православной веры. Молитва монаха мир очищает, оттого я хожу да езжу по святым местам. Вторым родился твой отец, Юля. Имя ему дали по святому Филарету Милостивому. Думала я, монахом станет, в архиереи или даже в епископы шагнёт, ведь ещё и в честь знаменитого московского митрополита, который самому Пушкину стихами ответил... Э-э, всё стирается из памяти с годами, вот и моё имя звучное «Марианна» поистерлось, как дорогое кашпо. Теперь у меня в доме такое служит лишь местом хранения булавок, ниток да напёрстков, и незаметно превратилась я в бабушку Маримьяну! Но ты смотри, терпеть я не могу, когда меня так зовут!

Миниатюрная старушка опять возмущённо подпрыгивала на сопке и тень её, тянущаяся по сухому ковылю, цепляясь за него и за острые камушки, шуршащие под ногами, становилась всё больше.

А два года назад то же случилось с младшей сестрой Юлии — черноглазой двухмесячной Наденькой. Младшие сёстры тогда плакали, оттого, что у них отняли живую куклу, а брат Юлик, от рождения калека, пытаясь найти внезапно исчезнувшую мать, тревожно метался по дому, как маятник, равномерный ритм которого сбив внезапным ударом. Аритмия его шагов вдруг передалась сердцу Юлии — она вырвалась из дома и торопливо пошла к церкви, в которой отпевал младенца сам отец.

Золотистый купол качнулся перед её глазами, как лодка, но был удержан на месте невидимым канатом. Ветер пробежал по сухой листве, сметая её к ногам. Сердце стало стучать ровнее, и Юлии вдруг показалось, что когда-то всё это уже было: угаснувшая двухмесячная девочка, мечущийся по дому хромоу брат, исчезнувшая мать... Она будто вспомнила, что точно так же стояла, глядя на золотой лист церковного купола и почему-то боялась, что он вот-вот будет жёстко сорван внезапной бурей, и красно-багровое начнёт неистовую бесовскую пляску, яростно вплетая её сумасшедший ритм в минорную желтизну осени.

Отыскали мать поздно вечером у степного костра далеко от села. С древней старухой-сагайкой, безмолвной, точно каменная Хуртуйах тас, сидела она, обратив застывшее лицо к огню, порывами падающему к сухой земле, как плакальщица, и, когда отец и Юлия подошли, не произнесла ни слова. Молчание её длилось ровно год. И никто в семье уже не верил, что душа её сможет вынырнуть из той глубины печали, в которую погрузилась.

Багряными отсветами степного костра мелькала и мелькала в их семье учительница Кушниковы.

Все тогда жалели закованную в молчание матушку Лизавету, кроме старой Марианны Егоровны.

— Казачье упрямство, — говорила она, поджимая губы. — То-то горе! Сами еле-еле концы с концами сводят, а о слепом котёнке страдают! Правда, я сама-то едва умом не подвинулась, когда Магду потеряла, черноглазого первенца моего... А Надежда последняя у неё... Ведь годики уже... И как не было у них счастья с Филаретом, так и не будет, а виноват во всём дед твой — азиат. Ведь просил Филарет отдать за себя не младшую, а старшую дочь, Глафиру, которая сначала с родителями жила, а потом вышла замуж за моряка, он на море, правда, только ревматизм ног нажил, а теперь вот, вроде, прииском управляет. Отказал наотрез! «Нет, — сказал, — бери, младшую!» И что про что? Упёрся и всё. Филарет ходил-ходил и согласился. А что было делать? Я-то бедная чиновничья вдова, вот он и женился. Небось, думал голубь, поближе к Глафире будет. А та уехала вскоре.

Её крохотные ноги утопали в звенящей траве, где могли затаиться ядовитые змеи, но бабушка знала заговор, и Юлия бродила вместе с ней по жёлто-коричневым сопкам, ничего не опасаясь: ни одна змея не смогла проскользнуть сквозь мысленную бабушкину преграду.

— Казачье упрямство, только и всего-то.

Приезжал старый иерей отец Николай, сидел подле молчащей свояченицы, держа её похудевшие пальцы в своей узкой мягкой ладони.

— Ничего, ничего, — говорил он, — всё образуется, обет молчания добрые силы души укрепит.

Юлия подходила, садилась с ним рядом. За-мкнувшаяся мать вызывала у неё тревогу.

— И тихость чувств, и любовь к Богу, и усердие в молитве,— всё это есть у матушки, не оставит её Богородица Заступница... А человек каждый—это прозрачный сосуд, Юлинька,—седой иерей, как всегда, мягко и как-то застенчиво улыбался.

Улыбки у них с отцом Филаретом были очень схожи. И поглядывал из-под белых бровей на внучатую племянницу, только ещё вступающую на тропу юности,—что в сосуд налито, таково и лицо! Светлая душа у Лизаветы. Блаженны непорочные в пути, ходящие в Законе Господнем.

Юлия сердилась, ощущая и свою душу открытой, словно у батюшки был к её тайнику магический ключ, но сердце её всё равно отзывалось на общение со стариком какой-то светлой радостью.

А бабушка Марианна Егоровна всё качала и качала головой, как китаянка, чьё бледное личико, проступив на дне фарфоровой чашки и подмигнув Юлии, почему-то не радовало её душу, а скорее пугало...

— Казацье упрямство, только и всего!

Заговорила матушка Лизавета на Рождество, ката-ясь со снежной горки. Простудилась самая млад-шая из детей—Галюша, она лежала, окутанная красноватым облаком сильнее-го жара, и, когда доктор Иван Викентьевич Паскевич, давний зна-комый отца, твёрдо пообещал: «Уж к Пасхе будет точно здорова!»,—матушка едва слышно прошеп-тала: «Спаси Господи!»

Она и сама родилась утром в Рождество; кре-стивший её священник, будущий муж двоюродной сестры Филарета Евфимовича, тогда ещё девяти-летнего мальчика, статный и седовласый иерей Иероним Покровский, в последствии протоиерей городского кафедрального собора, усмотрел в дне её рождения указующий перст: или монахиней станет или женой священника. И каждый раз на Рождество Юлии вспоминалась эта множество раз рассказанная ей и отцом, и бабушкой, и самой ма-тушкой Лизаветой, семейная история, потому свет-лый праздник слился для неё с милым и кротким лицом матери, даже казалось, именно в честь неё звучали радостные рождественские песнопения.

И даже белый рождественский снег, падающий на церковь, осаждающая золотистые купола, смеши-вающийся с их весёлым звоном, становился как бы материнским, точно душа матушки Лизаветы, расширяясь, окутывала и колокольню, а потом, поднимаясь к небу, проступала через облака, снеж-ным покровом обнимая землю. Рождество—это была она, только она...

В августовском Преображении, который в селе называли Яблочным Спасом, Юлии виделось тоже своё, особенное. Она всегда замечала, что старин-ные иконы при ярком дневном свете, обнажающие

рукотворность, удивляющие простотой красок и часто каким-то вроде совсем неправильным рас-положением частей изображения, при неровном свете свечей таинственно преображаются, оку-танные фимиамом, точно оживают, отделяясь от рукотворности, от деревянной доски, на которой воплощены, и, возможно, благодаря намеренной неправильности расположения, именно в зеркале души призванной таинственно преобразиться. Лики святых начинают проступать уже не на де-ревянных досках, а как бы на самом колеблю-щемся пространстве церкви, пристально глядя прямо в сердце... Это оживание и мистическое преображение икон Юлии как раз и виделось в августовском празднике.

Отец же более всего любил светлые Пасхальные службы, к которым загодя готовился, радуясь, если дети помогали ему.

— Пасха наполняет душу надеждой,—как-то ска-зал он,—и сама душа становится светом и звоном...

Перед Пасхой дети старательно украшали цер-ковь, порог которой верующий должен пересту-пать с трепетом, казался Юлии просто продолже-нием её собственного дома. Но всё же она знала, в отличие от домашних предметов, каждая вещь даже в сельском храме, будь то круглый дискос или серебряный старинный потир, покровцы, чаша для освящения воды с тремя свечами, дымящееся кадило—были не просто необходимой для про-ведения службы знакомой утварью, но и некими, навечно застывшими в янтаре времени ключами к той мистерии Таинств, которая пробуждённая верой вновь оживала на цветном экране янтарной тени каждого привычного церковного предмета. — Дискос круглый, а круг—это непрерывное дви-жение жизни, сама вечность, потому дискос и есть символ Церкви Христовой,—отец точно снимал с предмета его бытовую оболочку, пропылённую от долго и частого употребления, помогая высве-титься той его сути, которая и обладала протяжён-ностью сквозь время. Напоминает он и о Тайной Вечери. А вот потир—это святая чаша, которую дал Иисус на Тайной Вечере своим ученикам.

Православная символика была красива, пугали Юлию только «кровь и тело Христово»—ей совсем не хотелось причащаться таких странных даров.

Из всех церковных предметов сильнее всего её восхищало старое, ещё дедово, кадило, двойной серебряный сосуд на цепочке для воскурения благовонного дыма—каждения.

Отец порой разрешал ей зажигать древесные угли, на которых сгорали кусочки ладана, рас-пространявшие таинственно преображающий мир церкви благоуханный дым, чуть похожий на запах степного чабреца.

Даже цвет одежды, в которой совершалось богослужение, имел свою символику: белое об-лачение начала Пасхальной службы означало

Божественный Свет воскресшего Христа, а красный цвет Пасхальной Литургии—победу и торжество жизни.

— Зачем нужна такая старинная одежда?— как-то спросила Юлия отца.

Она стеснялась его будничной чёрной рясы, а праздничный парчовый стихарь воспринимала как театральный костюм—в похожих расхаживали по сцене оперные бояре.

Отец стал долго и грустно объяснять, что священник не волен в выборе своей одежды, потому что служит не себе, не жене, не детям своим, но Богу. Даже крестьянин, переехав в город, может надеть городской костюм и купец сменить сапоги на ботинки, хоть костюм у каждого слоя общества свой, однако, переход от одного яруса к другому открыт, пусть и требует умственного усилия. Но крой костюма или фасон женских шляпок меняется, всё в мире подвержено изменению и распаду, оттого-то церковный ритуал должен быть неизменным. Священник служит вечности, которая есть мир Горний, и покрой одежды его тоже не меняется веками, она ведь и отделяет его от суеты сует, от жизни бренной, показывая, что мир Божественного не подвластен смерти...

— Наверное, так жить тяжело?

Отец не ответил.

Юлию поражало, что мать внешне очень приветливо принимает у них в доме учительницу Кушникову. Та приходила к воскресному обеду, приносила всем большой пирог с яблоками или ягодай, испечённый хозяйкой-хакаской, у которой Кушникова квартировала, а для отца столичный журнал или какую-нибудь книгу.

Обычно матушка Лизавета сажала за общий стол и кухарку Агафью, к чему Кушникова относилась вполне терпимо и всегда вежливо благодарила её за вкусно приготовленную пищу.

Однажды она даже вступилась за Агафью, когда гостившая в доме сына бабушка Марианна отказалась обедать, сказав обидное: «Я с рабой за стол не сяду!»

— Вы, извините, настоящая ретроградка!—щёки учительницы Кушниковой заалели, глаза сверкнули.—Вы оскорбляете человеческое достоинство своим архаичным к человеку отношением!

Отец сутуло встал из-за стола, извинился перед Агафьей, относившейся к батюшке с любовной преданностью, обратно пропорциональной её ненависти к его матери, и, не спросив у жены, ушёл с Кушниковой.

— А ты что смотришь, соломенная вдова!—возмутилась тогда Марианна Егоровна.—Какая-то нищая курсистка ведёт себя в твоём доме как хозяйка и твою свекровь ещё имеет право отчитывать, а ты сидишь дурой!

— Я монашествую,—тихо сказала мать,—брат мой Володя отказался от половой жизни, приняв на себя подвиг девства, и я за ним следую. Он—великий человек!

— То ты год молчальницей была,—совсем вознегодавала Марианна Егоровна,—а теперь ещё из семейной постели скит делаешь!

Юлия чувствовала, что и отец понимает: неприемлемый для мирской жизни купол веры над его женой воздвиг её родной брат—фанатичный кафедральный протоиерей. Он окончил семинарию и прослушал вольнослушателем курс в Казанском университете, и, мечтая с юности о журналистике, уже будучи священником, публиковал в газетах и журналах свои статьи, скрываясь за псевдонимом. Знаток древней истории Минусы, попробовав он себя и в писательстве, издав повесть «Абыс».

Сильнейшее устремление к просвещению Сибири, притягивало его к лучшим людям края: он дружил с учёным-геологом Шнейдером, родственник которого Шепетковский был когда-то красноярским головой. Для крестьянина-философа Бондарева, состоявшего в переписке с Львом Толстым, делал, будучи ещё двадцатилетним, переводы с французского, часто встречался и с талантливым этнографом Степаном Майнагашевым, с которым был знаком ещё по Красноярской духовной семинарии.

— Дурной пример заразителен!—вдруг, перестав негодовать, фыркнула старушка.

Юлия не поняла—то ли это смех, которому она не дала выплеснуться, то ли возмущённое «фу». — Братец твой явно в архиереи метит, при живой жене монашествует, точно вдовец, а это грех, грех, она, бедная, всё это терпит! Для высокого церковного чину и монашеский постриг принять собирается, а ты-то куда?! Только Филарета мучишь! Жить надо по-человечески, а хочешь быть монахиней, ступай в монастырь!

Отец довольно часто уходил побродить с учительницей Кушниковой в степь, проходя сквозь ряды любопытствующих деревенских окон, точно сквозь строй, с застывшей мукой на лице. И Юлия, даже в отдалении от отца, чувствовала, что, выйдя из села на просёлочную дорогу, он сперва ощутит радость окончания пытки, а потом долго ещё будет возвращать себе священнический образ, поскольку, не сделав он так, сомнение в собственной чистоте недобрыми взглядами напластовавшееся на его сутулую спину, пригнёт к земле и его душу.

Юлия догадывалась и о том, что отец гуляет с учительницей Кушниковой только по открытому пространству степи, не уклоняясь ни на шаг в сторону леса намеренно, чтобы не дать древесной шепчущей тьме окружить его сознание и пробудить силу древних инстинктов, подтолкнув

их к прорыву, как Адама и Еву к злополучному яблоку. Прозрачность пространства охраняла его почти столь же сильно, что и молитва. После такой прогулки отчаявшаяся пробиться через его нравственный самозапрет учительница обычно не появлялась в их доме неделю, чтобы опять, с пирогом в руках, а порой и с полусухим букетиком степных цветов, явиться к воскресному обеду.

В один из таких дней она познакомилась с приехавшим из Петербурга Павликом. Уже окончивший курс живописных наук и ставший молодым мужчиной Павлик, однако, не утратил наивной голубоглазости и розовощёкости. Такими же безмятежно-светлыми были все его пейзажи.

— Подарите! — задержав в артритных пальцах его зелёный луг, попросила учительница Кушникова. — У вас, Павел, однако, талант!

Розовощёкость рассыпалась на неровные красные пятна в контраст к внезапной сильнейшей бледности отца. Если бы Юлия оказалась сейчас на его месте, она бы вскочила, взяла скрипку и доказала безбровый кокетке, что талант есть не только у приехавшего Павлика! Но ревность сказала отца: он ещё больше сгорбился, опустил глаза, чтобы не видеть оживлённого лица учительницы.

В дневнике сознания появилась новая запись: все чувства, которые испытывают люди, в сущности, одинаковы, набор их постоянен и соединённые этими одинаковыми чувствами, точно каналами, по которым потоки чувств перетекают от одного человека к другому, люди похожи на лес, корни которого, питаясь едиными соками, намертво переплелись. Или на систему ирригационных каналов, сохранившихся в Минусинский котловине и насчитывающих три тысячи лет. Но оттого так опасна взбудораженная толпа: чувство разрушения, несущееся по каналам единой системы, накопив колоссальную мощь, прорывает заграждения и вырывается страшным потоком, сметающим всё на своём пути!

Юлия была так горда своей «теорией чувств», что не удержалась и поделилась ею с дядей Володи. — Но если это чувство — любовь к Богу? — спросил он. — Рассказывают, что во время проповедей Иоанна Кронштадтского иногда под куполом собора точно огонёк загорается, один, потом второй, третий — и внезапно вспыхивает гирляндой единая цепь, объединяющая всех, молящихся в соборе! — Может и Святой огонь в Иерусалиме возникает так? Явление электричества, которое источником имеет человеческий магнетизм?! С другой стороны, существует ли такой магнетизм...

— Господи, спаси и помилуй, это не девочка, а какое-то горе от ума! — услышав конец их беседы, воскликнула встревоженная мать. — Все мои дочери как дочери, но Юлия!

Дядя Володя тут же вступился за племянницу, но как-то обидно для неё, подчеркнув её юный возраст и «будоражающие инстинкты».

— И огоньки эти, — пробормотала Юлия, — только отсветы свечей, вот и всё!

— Все мы отсветы свечей, вот и всё, — эхом отозвалась матушка Лизавета.

«Нет, ни с кем нельзя делиться, — вечером думала Юлия, чуть не плача. — Тютчев прав: молчи, скрывайся и таи».

По далёким волнам степных курганов гулял ветер, донося до села горьковато-сладкий запах разнотравья: ковыля, чабреца, полыни, пырея, типчака, овсеца, лапчатки, мяты, — запах, настолько любимый Юлией, что, втянув его в себя каждой порой кожи, она могла, ощутить себя счастливой, несмотря на любые огорчения. И сейчас, когда запах трав проник в комнату через открытое окно, Юлия села на постели, потому что её озаорило: у неё есть друг, с которым она всегда может поделиться и он не предаст её, не посмеётся над ней и не выкажет взрослой снисходительности, это — степь...

Назавтра она продолжила свои записи, начав пользоваться не только страницами души, но и клетчатými листами тетрадки, уже зная, что теперь никто о них не узнает.

«Но одно и то же чувство, — писала она, — вызывает у каждого человека *своё* действие, по-разному влияя на разных людей: например, для кого-то ревность — двигатель жизни, для кого-то — паралич воли. И потому, если мы примем чувство за основное человеческое свойство, мы обнаружим, что человека (и людей вообще) нет! — есть только волны чувств».

...Волны реки, волны степной травы...

В отличие от семей казаков, крестьяне-ссылно-поселенцы, немногочисленные старожильческие жёны и их дети, многие из которых имели уже явственные остяцкие или монгольские черты, — весь этот сельский, пришлый в Сибирь люд, часто совсем не по-доброму относился к красивому священнику, из окон чьего дома порой доносились звуки скрипки или романсы, и с неохотой посещавший церковь во все иные православные праздники. Пасху тоже любили: красить яйца, светить потом их цветные скорлупки, скрывающие жёлтую сердцевину — символ постоянного возрождения, о чём, разумеется, они и думать не думали, светить и только что вынутые из печей толстые куличи, которые они закутывали белыми платками, чтобы в них сохранялся остаток тепла. Было народу весело.

Церковный двор в канун Пасхи становился полон, и Юлия видела, что отец Филарет, сутуловато подходя то к одной сельчанке, то к другой, как-то остро и радостно ощущает эти минуты служения,



своё посредничество между двумя мирами — Горним и будничным, бранным.

Пасхальная литургия казалась Юлии волшебной. Небольшой церковный хор, в котором на Пасху пела и матушка Лизавета, и сестра Вера, и приезжавшая на Пасху подруга Муся Богоявленская, и сама Юлия, звучал чисто и красиво. А Юлии, к тому же, иногда дозволялось и дирижировать: в епархиальном училище давались азы музыкальной грамоты. Братья прислуживали, выполняя мелкие поручения отца и старого, но ещё очень видного, черноволосого диакона Никодима Пузыревского, отнормившегося тоже к потомственному клирикам.

Юлии больше всего нравились дрожащие в руках прихожан огоньки, полуночный ход вокруг белой каменной церкви и взволнованный возглас отца: «Христос Воскресе!» Первым этому радостному известию откликался старый пономарь, красноносый семидесятипятилетний крестьянин Трифон, потом диакон Пузыревский, и вслед за ним толпа подхватывала: «Воистину!»

Колокола звучали ясно, высоко, точно не на колокольне, а в самом небе.

На следующее утро ставили столы с едой, приходили Веселовские, обязательно заезжал к вечеру Павел Петрович, празднично парчово-атласный, и маленький хромой Юлик трогая красивую ткань, конец которой спускался к полу, с надеждой спрашивал:

— А на Юлика наденут?

— Отойди от деда Павлина, — приказывала кукольная Марианна Егоровна, — не трожь ризу!

— Не отойду-уу-у! — упирался он.

— Казачье упрямство! — сердилась старушка, тут же угощая подбежавших к ней младших девочек горячими пряниками. Она уже улыбалась и Юлику, и, крестясь на икону, сама шла пробовать испечённый Агафьей сладкий пирог.

Порой через сны Юлии прокатывались какие-то массивные жёлтые колёса; катились они вниз, с горы и тонули в извилистой бурной реке, из бурлящих волн которой начинал вдруг проступать чёрный крест. Юлия рассказала как-то сон бабушке Маримьяне, давно мысленно отделив бабушку Марианну, порой с гордостью вспоминаящую каких-то мифических орловских прапрабабушек и гонимую бабушку — вдову польского повстанца, от старой Маримьяны, путешествующей, монашески повязав голову чёрным платком, по русским святым местам и умевшей растолковывать любые сны. Конечно, и на сей раз бабушка быстро и многословно объяснила: жизнь мол девятилетнего Льва Максими́ча вот-вот закатится, а следом за ним и жизнь разбогатевшего его зятя — но не своей смертью кто-то из них умрёт...

Она припомнила старого попа Копосова, которому снилось, как загорелись окна в его доме,

а вскоре он заболел чахоткой, хорошо сын у него такой умный да смирный, взял сразу отцовый приход, тем и жизнь старику продлил, не дал ему утруждать себя службой и угаснуть раньше времени, они вот с Филаретом чем-то похожи: оба тихие да честные... Припомнила и другого знакомого силянской семьи — иерея из казаков Байкалова, о котором, уже совсем вроде и не кстати, рассказала целую историю, неожиданно завершившуюся тоже сном:

— И приснилось ему как-то, что приход его водой залит, он эту воду всё норовит как-то собрать, а она сквозь его пальцы течёт, и вдруг — раз! — и вместо воды цветы, кругом цветы! Это вот к чему было: прихожане его, качинцы, ну никак не хотели креститься, а он всё норовил их собрать вместе, нет, то кочуют, то ещё чего, совсем он было отчаялся, да вдруг как-то на Пасху приходит в церковь, а двор церковный — негде шагу ступить. Пришли все качинцы, приписанные к его приходу и сами попросили окрестить их! И кухарка твоей бабушки Александры у него же тогда окрестилась.

Юлия обеих бабушек равно любила, хотя к Александре Львовне чувствовало почему-то большее уважение: была в характере материнской матери какая-то однонаправленная молчаливая стойкость, хотя взгляд её, всегда устремлённый куда-то за пределы каждодневной озабоченности, казался нездешним. Юлия бы, наверное, почти не удивилась, узнав, что вести ей приносит скачущий по горным отлогам призрак древнего всадника, не того ли, о котором, переведя узкий взгляд с портрета Иоанна Кронштадтского в окно, в сторону Саян, где вилась и туманилась граница, говорил дед Иван Иванович задумчиво: «В самой Библии сказано, победит жёлтый конь», — весьма произвольно толкуя «Откровения Иоанна Богослова». И, едва дед произносил эти странные слова, на вершины сине-жёлтых гор наплывала облачная монгольская конница.

— Казачье упрямство, только и всего! — маленькая старушка, заклинательница змей, всё качала и качала головой, как китаянка на дне чашки — и чёрная наковка под взглядом наклонившейся за сухим цветком Юлии взлетала выше парящей степной птицы, а потом снова опускалась, чтобы в такт мелким шагам покачиваясь на тёмно-русых волосах, чуть серебрившихся под стальным степным солнцем, наконец совсем раствориться в потоке света.

Почему-то всё чаще Юлию охватывала то ли тревога с оттенком уныния, то ли уныние, но какое-то тревожное. Чем старше она становилась, тем меньше (она вдруг как-то отчётливо это осознала), ей хотелось быть дочерью священника.

Юлия стеснялась отцовской рясы, и ненавидела хватающихся за её подол грязными пальцами

нищих, всегда возникавших у церковных ворот в дни двенадцатых праздников. Ещё ей было мучительно жалко маму — матушку Лизавету, которая с кроткой и какой-то жалкой улыбкой принимала подношения прихожан за требы, кем-то приносимые с благодарным теплом, но кем и с почти не скрываемым раздражением.

Вот, служил бы папа врачом, как его знакомый доктор Паскевич, теперь зачистивший к ним, а раньше приезжавший редко, раза три или четыре в год, и всегда первым делом внимательно осматривавший и прослушивавший всех детей и взрослых, даже кухарку Агафью, и только после того садившийся за стол пить чай. Доктор так хорошо пел вместе со старшей сестрой Верой русские романсы, что подпевать им начинала вся семья, и, чтобы послушать ладное пение, оставались возле раскрытых окон поповского дома случайные прохожие. А как выразительно декламировал доктор стихи любимого им Фета!

Узнав, что Вера выходит замуж за племянника хакасского бая, русского по матери, даже образование получившего в Петербурге, Иван Викентьевич с грустью признался, что опоздал — оказывается, он мечтал на Вере жениться, хоть был и старше её на восемнадцать лет.

— Ну, ничего, — добавил доктор с лёгкой улыбкой, — уже подрастает Лулочка (так он звал Юлию), — я и её люблю, правда, пока больше по-отцовски.

А жених Верочки, ничего не скажешь, красив! — Чудесный человек доктор Паскевич, — часто говорила матушка Лизавета, — вот ему бы в священники.

— Так он матерьялист, — возражала бабушка Марианна Егоровна, — а значит неверующий!

Отец доктора был потомственным дворянином и штаб-лекарем, служившим в Иркутске. Лет десять назад познакомил отца Филарета с Паскевичем дядюшка Павел Петрович, который, учась в Иркутской семинарии, лечился у него, тогда практикующего студента, от воспаления лёгких. Юлии Иван Викентьевич очень нравился, и её, конечно, задело, что, оказывается, тот стал так часто у них бывать из-за своего серьёзного увлечения сестрой Верой. Правда, он уже не так молод... Но почему Юлии всё-таки не выйти за него? Ведь, в конце концов, сестру он забудет! Стать женой врача, разве плохо? Но лучше бы вообще родиться не в Сибири и жить, ведать не ведая, что существует где-то далёкие дикие горы, пугающие детей менгиры и невообразимые морозы!

Орловских прапрабабушек Юлия почему-то не могла ярко представить, может, и оттого, что русская орловщина не казалась ей столь романтической, как маленькая гордая Польша. А вот бедную вдову мятежного поляка, бабушку Марианны Егоровны она видела явственно: такая узколицая, с тёмными локонами вдоль бледных щёк. И что заставило её

первого мужа, этого глупого девятнадцатилетнего офицера, бунтовать? И почему она, овдовев и выйдя вскоре замуж за русского священника, не уехала вместе с ним на Родину, а осталась здесь, на окраине мира?! Юлия мысленно срывала со стены портрет прапрабабки, темнеющий в просвете родовой истории, пересказанной Марианной Егоровной, и топтала, топтала, топтала! Чего им там, в изящной своей стране не доставало?

Бабушка Марианна говорила: свободы им наш Царь не давал. Чушь! Дед прав: монархия это всего лишь порядок, а любой бунт — это просто выплёскивание неистраченной на полезные дела дурной энергии, та самая, скопившаяся в единой системе человеческих чувств, сила разрушения!

Кружилась бы сейчас Юлия на балах... Она, подобно многим юным девицам, представляла себя в белом платье с бледно-розовым цветком в волосах. А не ходила вместе с матушкой Елизаветой по бедняцким домам, раздавая пасхальные подарки, но встречая не только радостные улыбки детей и взрослых, но порой и недобрые быстрые взгляды. Отец в разговорах с женой объяснял эту странную неприязнь некоторых прихожан просто: не по своей воле попали они в Сибирь, и священник для них в каком-то смысле та же кабальная власть, которой как бы нужно отдавать дань.

— А для многих хакасов, — прибавлял он, — все мы навсегда не русские, а казахи, то есть казаки-завоеватели, знаешь, как приговаривает хакасская женщина, разлив молоко, а разлить молоко считается у них очень плохой приметой: «Пусть не мне, а казачке!». Редкие из хакасов последовали сердечно за аскизским князем, который так сильно уверовал в Иисуса Христа, что церковь на свои средства стал строить. А то, что священник и крестит, и венчает, и провожает в последний путь, у сознания неразвитого только зависть пробуждает: мол, почему это он приближён Таинствам, а не я? Чем он лучше — так же пьёт да ест... Такие же портки носит, а порой и победнее!

Отец улыбнулся и прибавил смущённо:

— Матушка, что делать, право, не знаю, нужно бы отдать в починку мои невыразимые (так отец интимно и полушутя называл свои кальсоны), а как-то неловко Агафье...

— Я почию, — отозвалась мать.

Порой рассказы бабушки Марианны Егоровны перетекали в сны Юлии, и через несколько дней грань между сном и рассказом совсем стиралась, тогда отцовское будничное служение начинало ей казаться всего лишь театральной игрой в каждодневном спектакле, поставленном по великому, но уже почти забытому и стёршемуся от многократного повторения, вечному сюжету, который всё-таки снова оживал, заполнялся красками и звуками, но теперь только в воображении Юлии,

дополнявшей тяготевшие к житийному стилю рассказы бабушки романтическими деталями.

...Они плыли по тёмной реке, над которой стояло хмурое небо, сквозь него едва пробивалось северное солнце, кое-где по берегам ещё виднелся чёрный не стаявший снег и замёрзшие остья в страхе и почтении взирали на светящееся пламя седых волос над головой митрополита Филофея, и на невиданное белое облако его рясы, вставшее, как колокол, над подплывающей к берегу лодкой.

Филофей Лещинский, человек одарённый и образованный, был и первым тобольским режиссёром: малороссу пришлось, и надо сказать, с удовольствием, поучаствовать в поставленных им спектаклях. Но мистерия, срежиссированная фанатичной верой Филофея, мгновенно стёрла из памяти учителя приятные воспоминания об обращённых к нему зрительских лицах. Музыкой в мистерии служил ветер, а декорациями небо и вода...

Позже на Филофея было покушение — местные князьки и шаманы, защищая своих древних идолов, хотели убить его, но в тот раз потрясённо взирая на митрополита, точно на самого Господа, язычники, как дети, легко отдали своих деревянных божков. И эта сцена — подплывающая к берегу лодка, узкоглазые остья, светящееся пламя седых волос, поверженные идолы — долгие годы снилась и самому тобольскому учителю-миссионеру, и его внукам, и его правнукам. А прадед Юлии порой видел боковым зрением странное белое облако, которое сопровождало его, пока поднимался он по холму и ветер трепал его чёрную рясу, и растворялось оно всегда возле ворот Покровского собора, где служил он настоятелем...

Что отмирало в каждом поколении Силиных вместе с черноволосыми невинными младенцами? Генная память о тёплой Малороссии или архетипный страх первых остяков, проникнувший по воле старого шамана в сердце окрестившего их Тобольского миссионера, страх того, что они не смогут выжить как народ в связи с приходом на их Землю русских и обречены будут исчезнуть?

Юлия часто задумывалась над смыслом, скрытым жизненной суетой от обычного взгляда, всего лишь скользящего тенью по тонкой поверхности событий на разбегающихся плавунцах ощущений. Не умом, а каким-то сердечным невидимым прибором угадывала она символику за пыльным стеклом быта и воображение её рисовало тайные знаки на полотне ежедневных забот большой священной семьи, трепещущей, как пламя, на ветру внезапной отцовской страсти к учительнице Кушниковой.

Юлии нравилось искать иной, отличный от обыденного, смысл явления ещё и потому, что он прибавлял к реальности, часто скучной и почти

невыносимой, глубину не оформленной в слова интуиции, уводящей за пределы конкретного жизненного опыта и тем как бы расширяющей пространство жизни. Смутно мерцающие, точно золотые россыпи во глубине сибирских руд, скорее угадываемые, чем осознаваемые символы человеческого бытия, которым служил отец, и свою собственную жизнь считавший только символом священнической жертвенности, прибавляли к имеющейся видимой трёхмерности, ещё одно — измерение, существовавшее, как ни странно, даже в шаманской мифологии. Дядя Володя восхищался профессором Казанского университета гением Лобачевским, возможно, именно за то, что его новая геометрия намекала как раз на тайное наличие других смыслов, способных открыться за неожиданным поворотом обычной просёлочной дороги.

Бабушкины семейные истории служили тому же: всё переставало казаться существующим только здесь и сейчас, а приобретало протяжённый сквозь пространство и время глубинный смысл уже родовой символики. Передавала Марианна Егоровна легенды и были мужниного рода увлекательно, часто внося в них мифологическую засужеченность, а романтические детали уже добавляла её, Юлии, собственная фантазия.

Видимо бабушка всё-таки любила мужа, думала она, если так хорошо помнит всё, что он рассказывал ей зимними долгими вечерами...

— А отец-то мой, я тебе говорила, был из потомственных чиновников Чернышёвых, правда, большими чинами они не выдались, но зато где только не служили: и в Москве белокаменной ещё до Петра Первого... И попов среди них отродясь не было... — добавляла вредная крохотная старушка, и вздыхала, и тут же сухонькой рукой крестилась. — А наш-то малоросс стал яро помогать Филофею в крещении остяков и вогулов, и в том деле благом так преуспел, что митрополит сообщил о его помощи аж царю Петру Первому и имел от него благосклонное указание: и самого помощника «из черкас», и его потомков определить отсель в духовное сословие. А ещё от митрополита Филофея получил он икону в дар, привезли её из Свенского монастыря. На обратной стороне изложили все родословные росписи, а потом, знаю, Евфимий рассказывал, появилась ещё и приписка, сделанная в 1751 году уже его, малоросса этого первого, внуком: «Дед мой по указу Петра Великого просветил святым крещением северной страны идолопоклоннических народов сот до семи человек, почему в награждение для утверждения православия велено ему старатца детей своих удостаивать в чин священнический».

— Как ты помнишь всё, бабонька!

— А что ж тут такого необыкновенного — это ж тебе не геометрия!

— А я люблю геометрию,— подавала реплику Юлия, улыбаясь чуть насмешливо. Но бабушка Марианна, заметив улыбку, совсем не сердилась. — Потом на иконе этой про Силиных всё пращур наш написал,— добавляла она. — А вот нищий прорицатель, старик-монах, живущий из милости при митрополичьем доме, предрёк: «Через два века разбросает ветер сей славный род, как яблоки с древа...» Только митрополит-то сам, потом постриг принял, стал схимонахом Фёдором, он и утешил:

«Была бы вера крепка, из семени новая яблоня взрастёт».

— Это притча, бабонька?

— Нет, быть... Так мне твой дед Евфимий Петрович рассказывал. А князьки остяцкие, между прочим, тогда за дорогой кафтан да за новые сапоги крестились! Свёкор мой Пётр Александрович, он даже с Географическим обществом переписку вёл, сильно инородцев любил, всё их сказки да легенды переписывал, обычаи изучал, языки их понимал. Где-то у нас сохранилась его тетрадка с какими-то языческими значками да перерисованными его же собственной рукою деревянными идолами. Оттого и сыновья его—Павел да Николай всё в мартьяновский музей древности всяческие ими найденные носят, а Павел Петрович, тот даже и в журнале свои заметки про сагайцев и качинцев публикует.

Бабушка умолкала и замирала в кресле. Только чёрная наколка на её седых волосах чуть подрагивала листом догоревшей бумаги, которая вот-вот рассыпавшись и вмиг разлетевшись, осядет лёгкими чёрными хлопьями на белом снегу забвения.

Щель, сквозь которую проникала в сердце Юлии какая-то смутная тревога, а порой и уныние, находилась именно в душе отца, к несчастью, ощущающего себя далёким священническому призванию. Сквозящий из щели узкий холодок, порой делал странный изгиб, чтобы задеть и её, Юлию.

После первого года горячей веры и вдохновенного служения, явилось отцу сомнение, привнесённое в его душу Марианной Егоровной, по воле которой он и выбрал духовное поприще, однако, часто ею же и низводимое до обычного заработка ради хлеба насущного, причём заработка невеликого. Другие-то живут получше, сокращалась она, а ты, Филарет, вечно беден, мышшь церковная, ей-богу, и то тебя побогаче будет!

Отец молчал. Почитая свою мать, он за всю жизнь не сказал ей ни одного резкого слова. Молчал он и когда Юлия читала вслух всей семье бабушкины письма: «...теперь опишу как я себя чувствовала в Минусинске. Я там была дорогой гостьей у 5 племянников. Жила у Сюты ходила к Нинке, она хорошо живёт. Ходила к Готе, к Насте и была у Мали и потом у знакомых в 6 домах. Всего

в 11 домах была. У Мамонкиных, у Боблишевых, у Бороновских, у Подюнчихи, у Васильевых, где стояла Клаша Смирехина, у Марусиных свёкров раза 3 была... Хорошие люди и все живут, можно сказать, богато. У Егора Алекс. квартира шикарная, а у Ендингера идёт табачная фабрика, вечером считают деньги с Марусей. Ну, я столько денег не видывала в жизни своей, тысячами ворочают... Нина тоже живёт хорошо, муж её в департаменте. Жалованья нынче получают большие, а у Токаревых сын Алексей служит в банке...»

Святость православия Марианна Егоровна находила только в русском монашестве, особо—в русском старчестве, которое называла славой Церкви, да ещё в старинных иконах, ради которых, и в память о муже, совершала нередкие паломничества. По всей епархии шла молва о схимонахе Филарете, настоятеле Знаменской обители, в которой хранилась Абалакская икона Божьей матери. Марианна Егоровна ездила и туда, а после опять сказала: «Вот, был бы и ты монахом, Филарет... Имя-то дали тебе такое ведь при рождении, а не как этот... Фёдор, кажется... Человек святой... умнейший!»

Побывала она даже в Киево-Печерской Лавре, но вот белое духовенство не сильно жаловала и вечно критиковала:

— Это ж тебе не воевать,— говорила она, поджигая тонкие губы,— и не чиновником спину гнуть, как Гаврилкин, исправник ваш, и не с заразой дело иметь как доктор Паскевич. Правда, хороший иерей—тот же врач, только души, а не тела, но сам-то он перед паствой своей обязан быть вовсе безгрешен, чтобы стать небесным ловцом человеков, а один поп—глуп, другой—как наш Павел Петрович, хоть и сильно умён, но, скажу я тебе как на духу, больно корыстолюбив и славу мирскую любит, да...

— Любый священник—всего лишь инструмент музыкальный для исполнения на нём Божьей воли,—тихо возражал отец Филарет,—просто, если инструмент хорош, звучит он чище, а значит, лучше Божье Слово до людей доносит. Но когда хорошего нет—и на неважном инструменте сыграть можно: чуткое ухо музыку небесную и на нём распознает.

— Что по мне, я бы в священники допускала только самых чистых душою, таких вот, как ты сам и есть!—не соглашалась Марианна Егоровна.

— Не таков я,—отец грустно смотрел в окно на поднимающуюся пыль: кто-то проскакал мимо на лошади.—Пойду, пора к вечерне.

— Папа усомнился в Христе,—прошептала Юлия, когда за отцом Филаретом закрылась дверь.—И я...

— Типун тебе на язык, глупая!—рассердилась Марианна Егоровна.—Не сомнение это у него, а с Богом самим исповедальным разговор!

Юлия угадывала за словами бабушки, критикующей клириков за любой, пусть самый малый

проступок, и жалующейся на скудный заработок сына, припрятанный даже ею от самой себя, вечный закон обычного обывательского приспособления, гораздо более живучий и аксиоматичный, чем теорема честного духовного служения в вакууме своего сознательного неверия, над которой мучилась душа отца. И ощущала интуитивно: отец не только и не просто зарабатывает семье на пропитание своим священничеством, но отстоит от обыденности и несёт служение, как крест, мертвое прибитый к его измученному сердцу.

Внезапное осознание того, что он вынужден прожить чужую жизнь, уронив свою как не развившуюся в росток почку в глубокие пески памяти, тянущиеся через столетия от его пращуров до неведомых потомков, и заменив свою отдельную жизнь протяжённостью символа, привносило в каждый миг его радости каплю обречённости.

Источник света утерян, думала Юлия, приближаясь к своему шестнадцатилетию и с болью наблюдая, как душа не ушедшего из семьи отца теряет свою золотистую пыльцу, но тень источника всё норовит возвратиться к нему, слиться с ним в своём обратном движении — не оттого ли в отце так явственна *тоска* по другой жизни? И отношение отца к своей жизни как к чему-то почти чужому в своей случайности попадания в эти обстоятельства, которые он вынужден и принимать и терпеть, усиливало обострённое и так у Юлии от рождения ощущение временности всего происходящего, присущее многим добровольным или вынужденным переселенцам, их внукам и правнукам, лишённым необходимого чувства крепких земных корней, правда, порой в замен, при сильнейшем душевном усилии, получавшим силу корней духовных.

Служить честно, стараясь быть честным во всём и всегда, но не Богу, а вере как таковой, полагая её спасением от озверения и падения человеческой души, великой силой противодействия распаду, той таинственной силой, которую дядя Володя называл «вечным одухотворением всего земного». Не имея возможности даже самой себе объяснить угадываемое понимание, Юлия чувствовала, что постоянным молчаливым самоистязанием отца Филарета была не столько отринутая им любовь к учительнице, сколько это мучительное душевное противоречие. Лишь порой сильнейшее усилие по преодолению собственного сомнения вытаскивало его душу из скудного помещения обывательской приспособляемости, из страдальчества несостоявшейся любви в святящееся пространство Литургии. Лицо его тогда на мгновение озарялось, и Юлии казалось, что это свет веры, которая вела его в самом начале священничества. Не оттого ли старшая дочь, Верой и названная, так красива, а Юлия — дитя зародившегося сомнения, искажившего черты лица старшей сестры до получения

некрасивости! А, может, красота детей объясняется просто: любовью или нелюбовью родителей друг к другу в момент зачатия? И Юлии была случайно приоткрыта дверь в жизнь в тёмную минуту родительского сердечного диссонанса?

И в дневнике появилась ещё одна запись, снабжённая несколькими вопросительным и восклицательным знаками: «Ясно одно: струя когда-то славного духовного рода, вскипев и вспыхнув последним всполохом (этот всполох — папин дядя Николай Петрович), отбрасывает нас, нынешних потомков, как слабую свою тень, если имеющую какую-то силу, то всего лишь силу выживания в человеческом лесу, ведь именно от латинского слова, означающего лес, образована наша фамилия! Так, неужели мы рождены не для жизни, а только для *выживания*?!»

Матушка Лизавета часто смотрела мужу вслед, когда, сняв рясу и надев обычный гражданский костюм и шляпу, уходил он со своей любимой собакой по долгой дороге пограничного села. Жене, наверное, тогда казалось, что муж не вернётся, и она или начинала метаться по дому, точно страхиная себя сор опасений, либо же, наоборот, застывала у окна, замороженная сильнейшим страхом. Чего она боялась больше? Обычной нужды, того, что останется с детьми без средств к существованию? Или необходимости выйти из-под прозрачной, но, казалось, нескрушимой сферы? Фанатичная религиозность матери порой даже печалила Юлию. Через веру было сложно пробиться, а так хотелось своей душой прикоснуться к материнской душе. Несмотря на восьмерых детей, и отец, скорее всего, ощущал рядом не любовь жены, а лёгкую прохладу идеально гладкой невидимой поверхности и чаще видел не живую улыбку земной женщины, а скользящий по дому святящийся вертикальный туннель, в конце которого, в центре сияющей сферы, колыхалось и мерцало лицо Небесного Жениха. «В лицо это *должны* верить, — однажды записал отец Филарет в тетрадке, куда обычно переписывал только ноты, — и я, священник обязан эту веру стойко утверждать, преображая своим служением лицо в *лик*. Но для меня самого и лик — всего только Образ, вокруг которого воздвигается театр Церкви, где главная цель каждого действия — упорное направление человеческой души в сторону подражания этому Образу, в сторону построения своего духовного естества по его подобию. Однако, в моей собственной душе Образ теряет свою зримость, растворяясь, как колокольный звон в гудящем ветре русско-сибирских пространств, уводящих во внезапную тишину. И сквозь ватную эту тишину начинает пробиваться любимое моё «Свете тихий»... Звучащее пространство, призванное воспеть Образ, в душе моей отделилось от первоцели и само стало Богом».

Юлия, часто наблюдая за молящимся отцом, так сильно любила его в эти минуты, удивительно красивого и печального, так сильно сочувствовала ему, что могла ощущать его чувства как свои и даже будто и думала его мысли... И много позже была потрясена, открыв эти отцовские записи, и найдя его мысли, *прочитанные* ею, почти девочкой только не на бумаге, а в его сердце.

— Иссушила отца Филарета напасть, — как-то промолвила кухарка Агафья, кинув выразительный взгляд в сторону учительницы Кушниковой.

Матушка Лизавета вздрогнула от её слов и уронила графинчик с вишнёвой наливкой. Он разбился.

Этой горькой, подсмотренной любви обязана была Юлия и не менее горьким открытием: заглянув в образовавшийся обугленный просвет, она обнаружила за серыми стенами ещё одну стену, такую же серую и долгую, упирающуюся в другую стену, за которой проглядывала перпендикулярно к ней прилаженная ещё одна стена, что заставляло предположить наличие за дырой непрерывного и запутанного лабиринта.

Отчаянье человеческой страсти, способной прожечь в стене отверстие, оказывалось цугцвангом: либо душа человека, станцевав танец страсти, падала подёнкой на дно обыденности и превращалась в личинку, либо прорвавшись через образовавшийся просвет, начинала свой долгий путь по серому лабиринту, не ведая сколь он долг и куда он ведёт... Так поняла урок учительницы Кушниковой шестнадцатилетняя Юлия, любившая шахматную игру.

Спасительную помощь Ариадны Юлия неосознанно отвергла сразу: кто может протянуть ей конец волшебной нити?

Сёстры? Младшие — очаровательные в своей детской непосредственности, ещё прыгают и резвятся в замкнутом и защищённом мире детства. А старшая вышла замуж...

Братья? Евгений учится в семинарии, но думает только о сцене. У него прекрасный голос; Борис, красивый, высокий, голубоглазый, вслед за братом матери — офицером, собирается стать военным и в следующем году будет поступить в Омский кадетский корпус. Самый маленький брат Юлик — калека. У него от рождения не разгибается чуть согнутая в локте рука и одна ножка много короче другой. Юлик — её второе отражение, потеснившее ангельский облик старшей сестры к самому краю материнского зеркала, отражающего все подводные семейные течения. Однажды по его тусклой поверхности вместо красивого зеленоглазого лица матушки Лизаветы проплыл безбровый облик учительницы Кушниковой. Тогда Юлия вздрогнула и оглянулась: позади стояла мать.

Впрочем, объективность любого лица Юлия тоже неосознанно поставила под сомнение после

драматического эпизода, происшедшего с ней и её подругой Антониной Лизогуб, один из предков которой, украинский полковник был отброшен в Сибирь на полвека позже гетмана Многогрешного, но по сходному обвинению. Возможно, именно какое-то смутное генетическое воспоминание о Малороссии соединяло Юлию и Лизогуб: где-то на дне их прапамяти кудрявый книжник и уса-тый вояка, встретившись на июльской дороге, неприязненно оттолкнулись, как разгорячённые металлические шары, чтобы вновь скатиться и стукнуться друг о друга уже в Сибири. И отголосок металлического удара до сих пор звучал и в душе Юлии, и в душе Антонины.

Раненый выжил, но след шаманской стрелы, пронизал неровными стёжками постоянной тревоги священнический род, растворивший в русской родовой реке и вольный украинский порыв, и гордый польский бунт, и горькую остояцкую слезу...

Только Юлии порой снилось бескрайнее, угрожающее, молчаливое пространство мрака и слабый огонёк одинокой церкви, пунктирно движущейся навстречу её взгляду, то появляясь, то исчезая за чёрно-белыми холмами. Сжавшись над книгой, Юлия слышала вечерами как превращается в тоскующую музыку скрипки горькая страсть к одинокой учительнице. Часто вместе с отцом музицировал и его друг, учитель математики, Степан Веселовский.

— Вам бы, батюшка, в музыканты надо было пойти, а не в попы, — сказал как-то один из его прихожан, наблюдательный сагаец, ещё прадед которого принял православие, приходясь то ли внуком, то ли правнуком князю Амзору, на свои средства построившему первую православную церковь в Аскизе.

— На всё воля Божья, — услышав его слова, отозвалась матушка Лизавета, стоящая неподалёку.

— Ерунда! — так подумала Юлия. И повторила мысленно трижды: «Ерунда! Ерунда! Ерунда!»

— Яблоки от яблони порой далеко катятся, а порой и гниют... — сагаец усмехнулся и Юлии показалось, что он умеет читать мысли.

— Было бы дерево крепко... — опять отозвалась мать.

Лизогуб — красивая, объёмная тёмнобровая девица, собирала открытки с фотографиями актёров и писателей. Она с ума сходила от красавчика Леонида Андреева, который то позировал рядом с писателем Скитальцем, то улыбался рядом с пролетарским культом — Горьким.

Вообще Сибирь звучала и гудела отголосками многочисленных ударов, отбросивших в дальний край тысячи таких же шаров судьбы, и Юлия, не смотря на какой-то молчаливый семейный запрет на тему *отличия* их Родины от России, всегда смутно слышала этот гул, который, складываясь

в Уральские горы, образовывал границу между миром свободных столиц и колониальным пространством Сибири.

Сочувствуя отцу в его затаённой страсти, просвечивающей сквозь его рясу, как пламя сквозь ладонь, и стремительно выжигающей в его душе чёрное дупло, Юлия, всё-таки, стыдясь самой себя, считала его неправильным священником, особенно по сравнению с добрейшим стариком-иереем отцом Николаем или с дядей Володей, вступавшим с отцом в яростные споры.

С волнением слушая эти споры, затаившись в своей комнате и подсматривая иногда в дверную щель, по рябому мельканию которой можно было угадать, что кто-то из спорящих движется по комнате, пытаясь движением утрамбовать до убедительности свои аргументы, она соглашалась то с одним голосом, то с другим, и они, при полукрытых глазах, вдруг обретали цвета, отчего весь спор начинал напоминать горячий цветной танец. В разговоре с отцом, тихая, речь которого, оттенков светлой охры, всегда тяготела к кусающему себя самого интеллигентскому сомнению, слова эрудита-протоиерея, опиравшегося то на латинские, то на французские афоризмы, звучали гораздо убедительнее. Его, вспыхивающая алыми, синими, зелёными брызгами безупречная логика, явно побеждала.

Часто к отцу и дяде присоединялся ещё и ярко-синий голос учителя Веселовского, который гневно осуждал царизм, глушащий все сибирские золотые ростки своим властным корыстолюбием. И тогда по синему бежали ярко-красные переливы. — Шапов, а затем Потанин и Ядринцев, сравнивая нынешнюю Сибирь с её возможным потенциальным развитием, полагали её положение бедственным! Мастерские Алтая были закабалены хуже крепостных крестьян, а ведь алтайские заводы были с 1745 года собственностью кабинета!

Сначала работников привозили с Урала, а потом взяли и просто приписали к заводам часть обычных небогатых городских обывателей, которые тут же потеряли все свои сословные преимущества, из свободных людей став почти что каторжанами! Сам посудите, на рудники отправляли работать заводских детей с 7 лет! Так относится царизм к человеку!

— Но всё-таки, Степан Степанович, вся остальная Сибирь, то есть огромная территория фактически никогда не знала крепостного права, — гудел дядя Володя, — приписные крестьяне и каторжане — тёмные пятна российской колонизации, однако, вся рабская сеть крепостного права до Сибири не доползла!

— Инородцев казаки покупали и продавали, записывая их себе в работники!

— Э, нет, не всё так дурно! Не прав ты, Степан Степанович, такие случаи — единичны, а сейчас

инородцы больше прав имеют, чем мы с тобой: через границу передвижение у них свободное без всяких паспортов. Это из уважения к их вековому кочевому образу жизни, рекрутов из них не берут, жёны и дети, их провожая, не рыдают. Это русский солдат — пушечное мясо! Да, конечно, попытки закрепить своих дворовых, и, между прочим, не только остяков или калмыков, принимались сибирскими первопоселенцами, но — безуспешно! Причём, и такие случаи всё-таки были редки. Не прижилось в Сибири крепостничество — дух воли его уничтожил на корню. А работники, которых потом держали сибирские зажиточные казаки и обыватели, всегда могли наняться к другому хозяину или начать жить свободно, занимаясь любым ремеслом. Заводы и рудники Алтая — остров государственной кабалы в океане воли...

— Вот, вот, Владимир, — кивал отец Филарет, — воля это в Сибири и есть самое ценное, такое же как богатство её недр. Так и народ здесь говорит: «Царь далеко, а Бог высоко»! Если бы Сибирь вовремя эмансипировалась — давно стала бы второй Америкой.

При делении минусового числа (отцовское неверие) на число правильное (материнская вера) всё равно получается минусовая дробь. Так Юлия оправдывала и своё «неправильное поведение», почему-то упуская из виду, что не подслушивай она, а выйди к спорящим открыто, выкажи свой интерес, они радостно воспримут это как доказательство общеродовой разумности, проявившейся в дочери и племяннице. Но разве так сильно привлёк бы Юлию спор двух священников и учителя, не будь он как бы запретным?

— Отделять Сибирь нельзя! — возмущался дядя Володя. — Только Сибирью будет сильна впоследствии Россия! Ломоносов был прав!

— Можно дать Сибири почти полную самостоятельность, но в рамках Российской государственности, — соглашался отец.

— Ну так-то правильнее! Полное отделение, как церковный раскол: его следствие — невинные жертвы и трещина единого русского мира, а главное, изгнание лучших, ведь протопоп Аввакум это алмаз русской духовной культуры! А вообще-то, Степан Степанович, ты во многом прав: царизм совершил ошибку, превращая богатейшую Сибирь в место ссылки: посадишь ветер, пожнёшь бурю! Помяни моё слово, придёт время — перенесут столицу, как Пётр сделал, за Урал! А то, неровен час, отхватит Сибирь у нас или Америка, вовремя от Англии эмансипировавшаяся, а того проще — многочисленный Китай, который тут же вспомнит Джунгарию и государство кыргызов!

— Австралия вон как быстро развивается, — пыхтел трубкой Веселовский, — а ведь это страна бывших каторжан. Но тебе, Владимир Иванович, дорога в депутаты — ты кого захочешь в чём угодно

убедишь! Недаром слывёшь Златоустом. Проповеди твои, знаю, имеют сильнейшее воздействие, люди плачут, многие исцеляются.

— Об отце Владимире идёт молва как о святом,— вдруг светло-голубой луч. Это голос матери.

В пространстве повисла пауза, отделяя предыдущую часть спора от последующей каким-то мгновенным временным провалом—луч сделал полукруг и исчез в нём.

— Культура Сибири—исключительно культура ссыльных,—подал реплику отец Филарет.

— Ну это ты под влияние моего свояка пана Галчинского попал!—возмутился горячий протоиерей.—Тебе ли—потомку долгого духовного рода, считать культуру Сибири исключительно ссыльной? Твои же предшественники составляли первые переписи, учили грамоте, переводили Евангелие на местные наречия, вся культура Сибири 17–18 веков, в сущности, была церковной. Митрополит Киприан оставил «Синодик Ермаковым казакам», архиепископ Нектарий «Есиповскую летопись», «Повесть о городах Таре и Тюмени», а театр Филофея Лещинского, в котором твой прародитель участвовал в качестве певчего? И вертеп, который появился здесь благодаря духовным школам?

— Но мало ли было неграмотных попов?

— А Словцов—историк Сибири, вышедший из духовного звания? Или химик Менделеев?

— Всё это капли в море.

— А культура служилых людей?! Один Ремезов, картограф, историк, архитектор чего стоит! У нас ямщик, обычный ямщик, мог написать «Сибирский хронограф»! В России же ямщик тогда грамоты не знал! И дворян таких в России было немало! Мало чем отличавшихся от крепостных мужиков по уровню своей образованности. Ты вон классиков перечитай! Только унижительную для культурного человека презрительность к народу и сохранивших! А здесь король не одряхлевший помещик, а сильный и предприимчивый купец. Возьми Сибиряковых, Бутиных или наших Кузнецовых—пообразованнее они многих дворян! Многие потомки шляхты по всей Восточной Сибири только торгуют да стригут! А они финансируют науку, морские исследования и экспедиции, дают деньги на гимназии. А Гадалов, у которого появилось в доме электричество раньше, чем за Уралом! Они попечители всех учебных заведений! Кстати, и мой отец стал попечителем училища в Минусинске.

— И всё ж таки самое мощное культурное влияние здесь исключительно от декабристов и тех же ссыльных поляков, которые учат, лечат, исследуют, а не только, как ты выразился, торгуют да стригут!

— Ты ещё скажи—от шведов. Одно время каждый пятый житель Тобольска был пленный швед, мать моя считает, что и в нас примесь их пленной крови, все мы рослые, крупные, стоит глянуть только на вашего Бориса! Настоящий северный

тип наружности. Некоторые из шведов, приняв православие и русские имена, пополнили сибирское военнотрудовое сословие, а порой и даже священниками становились.

— Вот ты как раз моё-то мнение и подтверждаешь: культура ссыльных влияла и влияет на Сибирь очень сильно.

— Но...

— Но вечно здесь будут мучиться каторжане, а господствовать всегда будет разбойник, наживаясь на убийстве несчастных бродяг-горбачей или на привычном грабеже!

— Разбойник везде таков.

— В Америке тот же разбойник, истреблявший местное население с гораздо большей жестокостью, чем это было у нас в Сибири, и тот уже окультурился, ощутив патриотическую гордость за свою процветающую страну, а наш ощущает себя на пространстве Сибири как временный хищник, ни за что здесь на отвечающий!

— Нет,—качал головой протоиерей,—посмотри на меня, Филарет, я же есть настоящий новый русский человек, соединивший в себе Европу и Азию, и я говорю тебе—судьба России и Сибири только в единении, но процветание возможно исключительно при освобождении сибирского самосознания от навязанной ему периферийности.

Чеховское «В Москву! В Москву!»—вот, что губит сибирское саморазвитие, принижает сибиряка, унижает его как личность, гнёт к земле его духовные порывы! И не даёт ему ощутить уникальность своей территории—слиянность культур Европы и Азии!

— Нет ничего здесь ценнее воли,—опять повторил отец.

— Что воля, что водка,—вдруг усмехнулся дядя Володя,—так мой отец говорит. Порядок нужен. Только порядок. И если без кнута порядок невозможен—нужен и кнут.

— Ну уж, позвольте! Это как раз крепостническая точка зрения,—возмутился Степан Веселовский.

— В разумных пределах, конечно...

— Нет, Володя,—сказал отец,—не соглашусь я с тобой и не тебе, организатору обществ трезвости, об этом говорить: только что помянул ты протопопа Аввакума, так вот, самые богатые, самые культурные крестьянские сёла—это сёла староверов, которые сами есть государство в государстве. И когда их, к примеру, начали насильственно приписывать к заводам Алтая, появилась в староверческих сёлах даже водка, которую, между прочим, до 18 века на Руси вообще не знали! Неволя для истинно русского человека, да и для любого другого, абсолютно губительна, как губительно для народа безверие—всё это и толкает к протесту, к бунту, к разрушению, к гибели. Сибирь только тем и ценна, что здесь всё-таки есть воля. И в этом самая большая загадка Сибири, её противоречие.



Попадание в сибирскую вольницу было для тысяч людей принудительным—это была их неволя! Порой к цели ведёт дорога, идущая прямо в противоположном направлении...

— Батюшка Филарет,— войдя, обратилась к нему Агафья,— учительница пожаловали...

— За мной тоже толпятся мироносицы,— иронично отреагировал на сообщение Агафьи дядя Володя.— Прохода от них нет.

«Порой к цели ведёт дорога, идущая прямо в противоположном направлении»,— записала Юлия.

С Лизогуб они вместе учились в красноярской гимназии. Преподавательница словесности, худощавая элегантная дама, как-то, войдя в класс, поинтересовалась в присущей ей манере говорить обо всём чуть иронично: «И кто у вас первая ученица? Конечно, Лизогуб?» Юлия под партой сжала пальцы так, что они побелели.

В епархиальном училище, где до этого Юлия обучалась, всегда первой ученицей признавали только её! Но из училища Юлию исключили за поведение. В озорстве ей не было равных! Чтобы не сдавать экзамены, она могла нарисовать на себе синим карандашом синяки, введя в заблуждение рассеянного старичка-доктора и солгав ему, что упала с карусели. А в ученическую форму однажды напихала подушек и вывесила в классе получившееся чучело епархиалки, закричав на всё училище, что повесилась одна из учениц и вызвав, конечно, страшный переполох.

Ей нравилось сотрясать ровные качели будней, стряхивая с них вместе с пылью и ставшие фальшиво-гладкими обезличенные человеческие чувства. Ведь её любимым поэтом на всю жизнь уже был молодой Владимир Маяковский, переписанные в тетрадь стихи которого дал почитать ей светлокудрявый Павлик.

И всё Юлии сходило с рук: в городе знали её родного дядю—кафедрального протоиерея, знаменитого своими проповедями, своей издательской деятельностью, организацией библиотек, борьбой с пьянством. Он сам писал и публиковал в собственном церковном издательстве брошюры, разъясняющие вред зелёного змия. К тому же Юлия была одной из лучших учениц!

Но как-то раз она вылезла через чердак на крышу жилого корпуса епархиального училища и, обрядившись в белую простыню, устроила при полночном свете полной Луны пугающее обывателей завывание. Она жестикულიровала на железной сцене, точно дирижёр, и автоматически передвигалась в такт своим диким руладам. Она чувствовала страх и восторг, вдруг мгновенно догадавшись, почему её так влекла поэма Лермонтова «Демон»: «Печальный Демон, дух изгнания, летал над грешною Землёй...»

Весь город был виден с крыши и слабое свечение маковок огромного кафедрального собора, точно раненый белый голубь, едва трепыхалось на центральной площади. Казалось, город можно было весь вобрать в ладонь и потом заново просыпать на Землю, не задумываясь о былом порядке...

Но вдруг Юлия остановилась: её пронзило воспоминание о матери, которая почему-то заплакала, провожая дочь в город. Зелёные, сверкающие слезами глаза матушки Лизаветы возникли так явственно, словно звёзды ночного неба, приближавшегося к лицу Юлии. В душе задрожала и затуманилась лента Саян, которую было видно в окно дедовского дома...

О странном событии сообщила местная газета, в которую подала сообщение кузина городского головы Красноярска чиновница Куприянова, принявшая фигуру в простыне,двигающуюся по крыше епархиального училища, за привидение. Однако, бойкий писак-журналист докопался до истины и дяде Володе пришлось срочно устроить Юлию в городскую гимназию. Не имея своих детей, он относился к умной, но озорной племяннице как к родной дочери, тут же выделил ей комнату в своём большом красного кирпича доме и прислуживавшую девушку—Стешу, которая была праправнучкой кузнецкого воеводы Синявина, оставившему, благодаря своей невенчанной кыргызской жене, целую деревню потомков—Орешково.

Так сибирская ирония легко меняла сословия, порой приписывая бывших столичных дворян к крестьянам-ссылнопоселенцам, а бывших крестьян, поработавших не только сохой, но и кистнём на сибирском тракте, наделяя миллионными состояниями, дворянством и петербургскими особняками.

Вместе с дядей Володей жила его жена, добрая, рано постаревшая брюнетка, Екатерина Юрьевна, закончившая, как и учительница Кушникова, Высшие женские бестужевские курсы в Петербурге. Именно напоминанием о Кушниковой она и не нравилась Юлии. В её присутствии нос выступал вперёд, как настырный нувориш, которому приятно восторжествовать над бедняками-соседями из привилегированных сословий.

— Говорю тебе, Филарет, не умеешь ты жить, всё сердилась на сына бабушка Марианна Егоровна, брал бы пример со Знаменского монаха, тёзки своего. Обитель его процветает, паломников туда идёт уйма. Или, вон дочь надворного советника Лаврентьева мне поведала, за что твой дядюшка Павел Петрович набедеренник получил. Муж-то её, четвёртый сын миллионщика Кузнецова, который художнику Сурикову помог, всё это в Красноярске помнят. Тоже прииск у него, да и театрал такой спасу нет, а тут с девкой-крестьянкой загулял, прижил там детей, опоили они его

каким-нибудь шаманским зельем, ей-богу, до того с ума сдвинулся, что от своей родной дочери стал отказываться: «Не от меня она, супруга моя, дочь надворного советника, потомственного дворянина, мне изменяла». Та в суд подала, в Духовную консисторию. Тянулось дело, тянулось, дочь её признали законной, а он свидетелей аж девять человек нашёл, заплатил им, конечно, да водкой напоил, чтобы они его оговор подтвердили, но суд признал, что жена невинна, дочь его собственная, а кроме прочих свидетельствовал против неверного мужа, что он с крестьянкой-то жил-поживал наш Павел Петрович. Ведь он был духовник кузнецовский—и не без выгоды для себя свидетельствовал. За награду, ей-ей. — Он просто честный, вот и всё,—тихо сказал отец, отчего-то грустно глянув на Юлию,—что знал, то и сказал. И духовником-то ему лучше было быть, чем против свидетельствовать. Но правду говорить—долг духовного пастыря.

— В благочинные он метит!

— Быть благочинным тяжело, обязанностей много и постоянные поездки по епархии.

— А я думаю, бабушка права,—подала голос Юлия,—отец Павел мечтал бы в архиереи попасть!

— Прекрати, Юлия, сейчас же! Дядя Павлин служит и живёт по вере!

— Ну, уж ты и закинула его на вершину горы,—усмехнулась Марианна Егоровна.—И не монах же он, забыла что ли, а семейный.

Юлия знала: отец никогда не кричит и не наказывает детей иначе, чем строгим взглядом, от которого становится на душе как-то мучительно, точно скорбно, значит, сейчас он и в самом деле очень рассердился. И поспешила переменить тему: — Ко мне подруга придет на каникулы, Антонида Лизогуб, можно?

— Лишний рот,—бабушка сморщилась, но тут же прибавила.—Однако, дружеское расположение важнее, верно? Хотя и имя у неё такое нелепое, точно оглобля.

— Пусть приезжает,—разрешил отец.

Юлии очень хотелось показать Антониде Лизогуб мать, казавшуюся всем силянским детям необыкновенной красавицей. Муся Богоявленская, любимая подруга Юлии, тоже восхищалась Лизаветой Ивановной. Правда, Муся была очень доброй—ей и нос Юлии совсем не казался безобразным. Обычный, ну чуть широковатый, утешала она подругу, он тебя совсем не портит. Ты вот посмотри на портрет графа Льва Толстого, у него-то нос так нос!

— Оттого-то он и с Церковью воевал!—Юлия сама удивилась такому странному выводу, а Муся расхохоталась. Точно колокольчики зазвенели.

Когда всей семьёй ставили домашние спектакли, режиссировал дядя Володя, а управлял небольшим семейным оркестриком отец, приглашали

участвовать в спектаклях и Мусю. Одарённая музыкально, она прекрасно пела—иногда и в церковном хоре городского собора, где как раз служил протоиереем дядя Володя, а иереем Мусин отец.

И Юлия, уже равнодушная к службе, присыпанной семейными бытовыми неурядицами, но по-прежнему любившая православные песнопения, иногда тоже, вместе с Мусей, пела в городском церковном хоре самое своё любимое—«Жертву вечернюю», оттеняя своим не очень сильным, но приятного мягкого тембра голосом, восхитительное сопрано Муси.

Слух у Юлии был абсолютный, да и артистизмом бог её не обделил, но поскольку в домашних спектаклях, которые раньше были лучшей частью их семейного отдыха, ей обычно доставались роли старух или свах, она, пожалуй, к своему стыду, была даже рада, когда новая затянувшаяся пьеса, в которой главные роли исполняли отец, мать и учительница Кушникова, внезапно положила конец их театрально-музыкальным вечерам. Но подруга Муся об их семейном пении очень тосковала.

В противоречии между материнской красотой и появлением в семье учительницы Кушниковой, заключался для Юлии, как ни странно, тайный намёк на её собственное возможное счастье. Так невротический страх ищет опору в навязчивом действии или почти абсурдном утверждении, противоположном по значению первичному источнику опасения. И Юлия, безумно боясь, что из-за хозяина лица—носа, никто её не полюбит, нашла самоутрачение в теории противоположности: если мать красива, а отец её не любит, значит, её, Юлию, которая некрасива, муж наоборот будет любить обязательно. Это «наоборот» выдвинулось в знаки судьбы, подталкивая к словам и поступкам, всегда всему и вся противоречащим—причём противоречие было первично и неважно, к чему оно относилось.

Недавним подтверждением «наоборотной теории» стала встреча с учительским сыном Алексеем Беспаловым, подарившим Юлии первый в её жизни цветок. Они гуляли вечером по Красноярским улицам, и Алёша, перепрыгнув через невысокую ограду центрального сада, сорвал влажную розу и протянул ей. Жаль, но больше они не виделись: он уехал на учёбу в Учительский институт. И засохшие лепестки розы как-то высыпались из альбома, в который Юлия переписывала любимые стихи, правда, сентиментальным лепесткам вряд ли соответствующие:

Послушайте!

Ведь, если звёзды зажигают—

значит—это кому-нибудь нужно?

Значит—кто-то хочет, чтобы они были?

Значит—кто-то называет эти плевочки жемчужиной?

— Талия у мамы 47 сантиметров, рост — высокий, волосы — густые, тёмно-русые, — гордясь рассказывала Юлия подруге.

Оспинки, портившие лицо матери, красивое чисто русское лицо, лишь зелёный цвет глаз выдавал примешавшуюся струю азиатской крови, Юлией совсем не замечались. Эти отметины грядущих трагедий резко отпечатаются потом на серой коже времени и свинцовыми ямами разрастутся по долгим дорогам двадцатого века, по которым разбредутся, рассыпятся, распадутся, раскатятся все Силины...

И в трёх крохотных, едва заметных ямках, оставшихся у Юлии на лбу от неприятной детской болезни, старуха-гадалка, пришедшая как-то с табором цыган к ним в село, усмотрит знаки судьбы: «Потеряешь трёх близких своих, есть у тебя дядька знаменитый, он далеко уедет и там вскоре страшную смерть примет, вижу его у чёрной стены, вижу кровь, и жену его те же звери растерзают, слышу страшный их рык, а отца твоего уже не так долго путь, а кто третий — не знаю, только старый вроде, сильно светлый человек, глаза мне слепит, как солнце, не могу лица разглядеть, только вижу, что мученик... в церкви будут его как святого потом славить... Но сама-то будешь жить долго... почти сто лет... — старуха улыбнётся и сверкнут её совсем молодые зубы. — Про себя думаешь, что ты несчастливая, а ведь наоборот!»

Табор через час снимется и пойдёт, пыля, вдаль. И в разноцветных лохмотьях будет трепыхаться на ветру это вечное «наоборот»: «...но сама-то ты счастливая...»

И только путанный лабиринт судьбы, который обнаружила Юлия, выглянув в прожжённую страстью дыру, порой будет всё-таки проступать из-под пепла и осколков, на миг зажигая на ушедших под землю стенах огоньки светящейся подземной нити. Сын епархиального старичка-врача, которого обманывала Юлия, рисуя на теле синяки, станет профессором в мединституте, в котором будет учиться дочь старшей сестры Веры, муж которой, хорошо знаком с театралом Кузнецовым, загулявшим с крестьянской девицей, выдаст свою племянницу за внука владелицы гимназии Рачковской, чей предок, тобольский сын боярский, когда-то жил по соседству с учителем-малоросом, вырванным неистовым Филофеем из Киева. Старший сын дяди Валериана и пани Гарчинской встретит уже в Шанхае дочь минусинского Ендингера, про которого писала в письмах бабушка Марианна Егоровна, женится на обедневшей девице, чтобы, овдовев, через несколько лет вернуться в Россию и сгинуть на Соловках, оставив сиротами двух маленьких сыновей, а третья младшая сестра Юлии — Люба, превратится из хорошенькой глазастой девочки в измученную очень некрасивую девушку, словно её лицо закодированное именем,

станет зеркалом, которое отразит всю драму смерти родительской любви. Ей придётся скитаться по свету, работать посудомойкой, где вместе с ней станет драить пролетарские тарелки бывшая чиновница Куприянова, та самая, из-за которой Юлии пришлось перейти из епархиального училища в гимназию, а потом Люба будет вынуждена наняться в няньки, и, наконец, выйдя замуж за Василия Бондаревского, нищего, узконосного потомка обедневшей шляхты, уедет жить на Украину и там, возле белой мазанки в саду, среди чёрных корней, закопает она со страху доставшиеся ей семейные фотографии: дядю-протоиерея, дядю-царского офицера, священника-отца и портрет красивой девушки-епархиалки с пушистой косой — Муси Богоявленской... И замкнётся родовой генетический код, закроется навсегда линия киевско-тобольского миссионера, как замок, к которому уже не подобрать ключа.

По вытянувшейся физиономии Лизогуб, заметившей только вмятины на нежных щеках, Юлия вмиг поняла: они видят разное! И чуть не умерла от стыда и жалости к матери. Для неё, Юлии, лицо её матери красиво, для Лизогуб — оно обезображено оспой!

Вбежала в комнату семилетняя сестра Галюша, девочка с фиалковыми глазами, как называл её Иван Викентьевич Паскевич.

— Какая хорошенькая, — Лизогуб улыбнулась лениво и снисходительно.

— У нас в гостях был на прошлой неделе алтайский художник Гуркин, — сказала мама тихо, — он был здесь проездом, сделал набросок Галюшиного портрета, а ведь он пейзажист, портретов почти не пишет...

И Юлия поняла: мама неосознанно пытается спрятать свои уродливые оспины за фиалковую прелесть младшей дочери.

— А совсем младшую. Калю, Калерию, наш друг — доктор Иван Викентьевич зовёт льянным ангелом...

Матушка Лизавета улыбалась, но в её глазах светились слёзы.

Конечно, Юлия тут же Лизогуб возненавидела! Застрявшие на перекрёстке давних дорог уса́тый полковник и кудрявый киевский книжник, наконец разминувшись в истории: взгляд ненависти брошенный полковником, вернулся к его прапраправнучке. Пока Юлия будет учиться в одном классе с Лизогуб, они ещё будут какое-то время видеть друг друга — книжник и полковник, порой оглядываясь и отмечая, что фигура другого становится всё меньше и вот-вот исчезнет совсем, но вскоре две траектории, выплеснув последнюю энергию связи, разбегутся в разные стороны, чтобы уже не встретиться никогда. Лизогуб выйдет

замуж за работника датского посольства и уедет из России навсегда.

Страдая за мать, Юлия долго плакала ночью. Но к утру ей стало легче и в дневнике появилась ещё одна запись:

«Проявленное всегда искажено непроявленным: восприятие меняет предмет и явление, потому нельзя сказать, что нечто, к примеру, твоё собственное лицо, объективно существует».

После этого вывода жить стало легче. И Екатерина Юрьевна, жена дяди Володи, стала казаться Юлии вполне добродушной немолодой дамой.

Однажды Юлия сильно огорчила мать. К ним приехал Павел Петрович. Награждённый уже, кроме скуфьи, набедренника и серебряной медали, обещанным архиереем орденом, он вот-вот должен был получить новое назначение: в кафедральный собор Тобольска. И ему очень хотелось скорее туда отправиться. Ожидание, составлявшее содержание его нынешнего существования, делало его нервным и нетерпимым, направляя душевное напряжение на жестокую борьбу с шаманами. Одно время заведовал он церковно-приходской школой, считаясь, кстати, в епархии одним из лучших учителей Закона Божьего, но дети коренного населения сильно его боялись, хоть и общался он с ними на их языке, а русские ученики — ненавидели: пример Иосифа Волоцкого, полагавшего, что утверждать веру нужно огнём и мечом, вдохновлял отца Павла всю жизнь.

— Вот, Юлия, будешь лгать (а Юлия, разумеется, порой лгала и, услышав его слова, вздрогнула) Бог не наградит тебя бессмертием в Раю, а низвергнет в Ад!

— Я не верю в бессмертие, — Юлия, глянула на отца Павла исподлобья.

— Адам и Ева были бессмертны, пока не совершили грехопадение!

— Нет, это неправда! Адам и Ева просто стояли в своём развитии на уровне животных и как животные не ведали, что жизнь конечна!

— Ересь! — отец Павел сузил глаза, сжал губы.

— Их природное незнание было их бессмертием!

— Ересь! — повторил он.

Но Юлия почувствовала, что край его души, озабоченной материальным и сугубо земным, явно задет и медленно начинает скептически колыхаться в такт словам Юлии. И отец Павел не знает, как избавиться от этого постыдного колыхания.

— Если верить в легенду, — продолжала Юлия упрямо, — надо будет принять, что познание всё от Змия — тогда и науки не должно быть, ведь наука пытается понять кто мы такие — люди!

Юлия встретила с дядей Павлом взглядом и поняла — он бессознательно уловил: девчонка догадалась, что ей удалось запустить в душу

деда-ортодокса ветерок сомнения. И вознегодовал яростно

— Лизавета! — отец Павел захрустел костяшками пальцев, гневно глядя на мать Юлии, привычно кутавшуюся в шаль, чтобы спрятаться в невидимом коконе невосприимчивости.

— Даром слова твоя дочь пошла в твоего брата Володимера, минусинского и красноярского золотуста, — дядя Павел родственнику-протоиерею несколько завидовал, — но в него же и червоточинкой. Разве можно в своей церковной газете публиковать статьи, критикующие помазанника Божьего — царя! Или елеем поливать память смутителя Толстого иудаиста Бондарева! Вы — раскольники! Отступники! И прихожан Володимер прельщает хитроумным внушением, а не верой Христовой! А ты, — дядя повернулся к племяннице и как-то пугающе один глаз, — ты — маленькая ведьма! Я-то помню, как в трёхлетнем бесовском неразумии ты порвала Евангелие! Тьфу на тебя! А ещё крест носишь! Больше в вашем доме моей ноги не будет! — А, крест это самый тёмный символ христианской истории — ведь на кресте мучился и страдал Христос! — выкрикнула Юлия, едва сдержав внезапно подступившие слёзы.

— Крест не только символ мученичества сына Божьего, — сердитый старый иерей застыл в дверях, — но и его воскресения. Смертью смерть поправ, даровал он всем нам веру в бессмертие!

— Так выбрали бы как символ что-то другое, крылья или просто фигурку Иисуса. Вот, как буддисты делают...

— Прав Анашевский, прав! Сильнее всего бесы искушают священнических детей! — выдохнул в бессилии отец Павел.

С ректором Красноярской семинарии Анашевским отец Павел был не просто знаком — их объединяли и похожие взгляды на нынешнее состояние православия, и почти братская дружба. И сейчас Павлу Петровичу, видно, самому не понравилось, что дорогое имя сердечного друга и покровителя пришлось сделать аргументом в споре с этой неразумной, своенравной, некрасивой девчонкой! Лицо его оттого сморщилось как-то плаксиво, а когда снова разгладилось, выражение его было уже не родственным, пусть и сердитым, а чужим, далёким. Но, решив всё-таки быть честным до конца, Павел Петрович прибавил:

— Это сказано им в связи с поведением моего младшего — Гавриила, который заявил недавно, что жизнь лишена смысла. И даже ответ митрополита Филарета нашему гению Пушкину ему прочитал.

Юлии захотелось связать, но имя митрополита её удержало: так мучительно нежно любила она своего отца.

Как ни странно, вскоре Юлии стало жалко отцовского дядю. Ведь только доброта и мудрость,

делают старость прекрасной! Вот, отец Николай мудр и добр, потому так и красив в своих седилах, а бедный дядя Павел так суетен в своей страсти к наградам и оттого раздражителен и некрасив... «но разве я сама не такова? Я... Я—много хуже!» — Как хорошо, что отец Павел к нам долго не едет! — сказала однажды Юлия матери, брезгливо поморщившись. — Он так безобразен внешне и так мерзко хрустит пальцами.

— Что ты, Юлинька, — мать заволновалась и покраснела, — отец Павел красивый и очень образованный. Но он как бы похож на дитя. Пальцы для него свои, что погремушки. Ибо душа его младенчески чиста.

— Все младенцы уродливы, а он ещё и зол!

— Что ты, милая, он просто робок, сагайцев вот боится, оттого их самих карой небесной запугивает: когда он только начал служить, в соседнем ему приходе шаман настроил хакасов против русского священника, они убить его задумали — тот чудом спасся!

— Значит, отец Павел не верит, что Бог его охранит!

«Ах, Юличка, Юличка, — шептала матушка Лизавета, склонившись перед иконой, — прости её Господи, прости...»

Но в дневнике сознания появилось ещё одна запись:

«Нарушение пропорции между материальным и духовным в сторону материального, объяснимое, а часто даже необходимое в молодости, искажает черты старости в сторону непривлекательности и даже отталкивания: так непривлекателен был бы гигантский младенец, жадно хватающий мира грудью хрустящими клешнями пальцев».

Юлия начала в тайне от всех пробовать писать стихи. И, подумав, всё-таки переписала из книги послание в стихах митрополита Филарета:

Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Бога мне дана,  
Не без воли Бога тайной  
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью  
Зло из тёмных бездн воззвал,  
Сам наполнил душу страстью,  
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!  
Просияй сквозь сумрак дум —  
И соиздается тобою  
Сердце чисто, светел ум.

Когда в их доме бывали священнослужители соседних приходов, вести беседы о Боге они предпочитали не с отцом, а с матерью. С дядей Сашей Байкаловым обычно приезжал его сын Серёжа, ровесник Юлии, тихогласный, очень верующий мальчик, временно оставивший семинарию из-за

болезни. А за диаконом Копосовым почти всегда увязывался смешливый и не сильно усердный в учении младший сынишка Миша, двумя годами моложе Юлии. Оба мальчика заслушивались её рассказами о брате Орфея — Лине: Лин — Си-лин, динлин рифмовалось в душе. Лина из ревнивой зависти к его искусству пронзил стрелой Аполлон. Ведь было и в отце что-то такое — будто носит он в себе обломок стрелы, может быть той самой, которой ранил второго в их роду Силина, тоже миссионера, мстительный родственник обрусевшего новокрещена.

Или она удивляла их историями о загадочной Атлантиде, захороненной где-то на дне океана. Мальчики нравились Юлии тем, что ходили за ней, как привязанные, и оба, под её влиянием, стали интересоваться не только книгами, но и раскиданными по степи менгирами и подбирать любые камни, показавшиеся вдруг «ценными древностями».

Гости у отца были иные: приходила вместе с учителем Веселовским очередные ссыльные, летом забредала на чай семья дачников Шнейдеров, с мужем давно был знаком по делам журналистики дядя Володя, а жена приходилась родственницей начальнице гимназии Рачковской. С их детьми, красивыми светловолосыми мальчиками, дружили младшие сестры. Бывал в гостях у отца сын потомственного вологодского священника, биолог Орлов, вскоре женившийся на одной из новых подруг старшей сестры Веры, милой девушке, приехавшей в Красноярск после окончания Петербургских естественно-научных курсов Лохвицкой-Скалон. Поступить на эти курсы захотелось и Юлии.

По-прежнему бывал и доктор Паскевич.

А мать плакала и молилась. Для матери вера была той сферой, под которой проходила вся её жизнь, отгородившаяся прозрачной стеной от пугающего земного пространства, где существовал муж, силуэт которого, то отчётливо был виден на выпуклой, чуть дрожащей поверхности, то слабо проступал и расплывался в тумане. Может быть, этот замкнутый купол, воздвигнутый над душой матери, её братом, обладавшим гипнотической властью фанатичной веры, и являлся первопричиной появления в их семье учительницы Кушниковой? Ведь матушка Лизавета любила брата так, как порой любят чистые душой прихожанки своего исповедника.

Нет. Юлия со своим же предположением не согласилась. Просто отец женился без любви, бабушка Марианна Егоровна права, вот и всё. И если в первый год брака что-то похожее на любовь у него и возникло — оно тут же и зачахло, как растение без влаги. А мать, наверное, не смогла забыть, что хотел он жениться не на ней, а на её сестре...

В тот вечер к ним приехали Пузыревские, брат диакона Никодима, священник соседнего села отец Иннокентий с хорошенькой азиатского типа женой, приятельствующей с матушкой Лизаветой, и некрасивая плечистая их дочь, ровесница старшей сестры Веры. Но направились они не к матери, как это обычно бывало, а в кабинет к отцу.

В прошлую ночь Юлия опять читала любимого своего Гоголя до пяти утра и оттого днём заснула с раскрытой книгой на диване в проходной комнате. Три соединённые фигуры возникли на сверкающем пространстве её сна, как чужеродная опечатка в романе, которую сделал её собственный нос (Юлия во сне знала это совершенно точно!), отделившийся от неё, точно в повести Николая Гоголя, и ставший широкоплечим человеком в кожаной куртке и галифе, заправленных в сапоги. И на краю сна тут же заколыхалось какое-то тяжёлое пламя, возникшее именно от чирканья спички-опечатки. Из подземных пещер рванулся тяжёлый чёрный дым, и мир во сне стал рушиться, как непрочные декорации горящего театра. Небо над церковью стало красным, и каменная глыба огромной тучи медленно покатила вниз, сминая под собой купола, каменные менгиры, бегущих в ужасе людей... Это он — выросший до гигантских размеров господин Нос столкнул эту губительную страшную глыбу с её вечного небесного пути!

Пунктир тревоги, который век пронизывающий силянский род, настиг, наконец, Юлию. Она проснулась от непонятного, очень сильного страха.

Пузыревские привезли отцу весть о революции.

В восемнадцать лет Юлия поняла, что мира, в котором она родилась, больше не существует. Шёл 19-й год. В губернии снова поменялась власть, мгновенно разрушив и сложив очередной узор осколков в кровавом калейдоскопе, выбрасывающем при очередном повороте следующие жертвы, точно пустые гильзы.

Записи следующих двух лет, появившиеся в дневнике её окаменевшей от страха души (писать на бумаге Юлия теперь боялась), совсем не походили на предыдущие:

«Мой дед убит: он играл в вист со старым другом Т. на первом этаже своего дома и получил выстрел в затылок. Вбежавшая в комнату бабушка увидела, что на столе между карт — сердечек и трефовых крестов лежит дедов вырванный пулей язык. Дед поддерживал атамана Сотникова, выступал против большевиков, был за монархию и порядок».

«Моя первая любовь — Павлик, приехал в Каратуз писать пейзажи, к несчастью, остановился он в доме старика-казака, бывшего казачьего офицера. К ним в дом ворвались красные. Среди каратузских красных и Мозгалевский, Павлик

с ним в детстве немного дружил, но в тот день Мозгалевский, он — потомок декабриста, уезжал в Минусинск. Красные зарубили шашками нашего Павлика и деда — хозяина.

«Алёша Беспалов, учительский сын, подаривший мне первую розу, тоже приехал к родителям из Петербурга, он, оказывается, наоборот стал красным, и его изрубили шашками колчаковские казаки, сначала закопав до половины в землю. Старший брат мамы Борис был схвачен и посажен в тюрьму. Он скрыл своё офицерское прошлое, но всё равно его расстреляли... Другой брат матери — мой дядя Валериан, преподаватель истории, но теперь офицер, принудительно мобилизованный в армию Колчака, пропал без вести и его жена пани Гарчинская плачет, что она с ним больше никогда не увидится.

Два брата мужа моей старшей сестры Веры, отказались идти в армию Колчака — их тут же повесили. Белые вешают всех, кого подозревают в сговоре с большевиками. Красные расстреливают всех, кого считают белыми или сочувствующими белым. Третий их брат, отдавший уже не белым, а красным всё, что имел, бежал в тайгу к атаману Соловьёву. Хакасов и русских, отказывающихся называть местонахождение соловьёвского отряда, безжалостно убивают».

«К учителю Веселовскому прибежала измученная, беременная, смертельно напуганная жена благочинного Урянхайского края протоиерея Алексия, она рассказала, что верховный Лама Урянхая повешен красными, убито несколько православных священнослужителей. К счастью, миссионер, отец Гавриил, средний дядя отца, вовремя отозван из Тувы Красноярским архиепископом и отправлен в Китай. Тувинцы начали убивать русских семьями, не жалея детей».

«А по Хакасии победоносно идёт партизанская армия Щетинкина. Многие приходы разграблены. Убит давний знакомый отца иерей Каргаполов: палачи вырезали у него на груди красную звезду и задушили его окровавленной оравью. Колокольню в его селе, сорвав все колокола, подожгли. Другая церковь, в которой служил друг отца священник Копосов тоже сожжена, сам он получил ожоги, спасая иконы, но жив».

«Дом деда в Таштыпе разграблен, его библиотека полностью уничтожена — частично тоже сожжена, остальные книги изорваны: шуршащие вырванные страницы доставали пробиравшейся сквозь них бабушке Александре до ключиц, она плакала и причитала: «Уж коли книги рвут да жгут, тьма страшная надвигается! Терять ничего не жаль, Юлинька, жаль, что лучшие русские головы летят!»

О Щетинкине говорили разное. Раненый царский офицер, два дня живший в их доме, а потом, переодевшись крестьянином, бежавший через Туву

в Монголию, с ненавистью и восхищением отмечал талант Щетинкина как военачальника.

— Полный георгиевский кавалер! Штабс-капитан! А ведь из крестьян!

— Я слышала, — подала тогда реплику сжавшаяся под шалью мать, — он вроде в церковно-приходской школе учился?

— Учился, — офицер кашлянул. — А Бога распял.

Мать Юлии за этот год сильно постарела. Сферу фанатичной веры, под которой она жила, пересекла огромная трещина, грозившая расколоть купол пополам пугающей вестью: её брат Владимир внезапно принял революцию. Учитель Веселовский как-то принёс листок с фотографией пролетарского вождя и Юлия увидела: дядя Володя и вождь чем-то похожи. В русском протоирее, наверное, заговорил его азиатский предок, и предок-азиат вождя притянул его к себе силой общего прошлого.

На одной из воскресных проповедей кафедральный протоирей призвал прихожан пойти вслед за Лениным! Даже священники-«обновленцы» посчитали сей призыв кощунственным.

Это был страшный удар для старика — иерея отца Николая.

— Что же это делается. Господи? — тихо вопрошал он, обращая к иконе измождённо-мученическое лицо. — Большевики-то исказили идею религиозную, посулив Царство Божие, которое воздвигнуть может только Дух Святой. Не узрели молодые горячие очи Володимира за всем сим волю и коварство Антихриста! Ленин он Антихрист и есть. Одно теперь упование на патриарха Тихона.

А отец Павел нервно хрустел костяшками белых пальцев. У Юлии даже озноб по коже бежал, так ей было невыносимо слышать этот сухой хруст, казалось разносившийся по всей округе и потом исчезающей в степи среди жёлто-сизой травы.

— Чувал я, чувал, что окажется он Иудой! Они со Шнейдером почти месяц возглавляли временное правительство Красноярска. А сейчас, говорят, их арестовали его же друзья-большевики! Ждёт его за его вероотступничество страшная кара!

— Нет, Павел, — по высокому лбу старого иерея бежали горькие складки, — злом зла не победить, только любви боится оно! Не суди его! Наступит время великого покаяния и всепрощения, и тогда даже Иуду Господь простит. И даже убийц Павлика моего... — отец Николай судорожно прикрыл морщинистыми ладонями веки и, справившись с горловым спазмом, продолжил. — А Володимер не Иуда, не прав ты, Павел, хороший он, и проповедник был прекрасный, сколько сердец благодаря его слову к православию приникли и это ему зачтётся. Просто прельстилась его степная душа ветром бури, полагая бурю спасением от косности и застоя души человеческой! Не нам с тобой его судить...

Кровавый kaleйдоскоп снова потрянуло, одни осколки выпали, другие поменялись местам: бывшего протоирея спас прокурор Лаппо, которому когда-то понравилась написанная священником повесть «Абыс», переданная ему знакомым отца Филарета географом, тем самым, что оборудовал в селе метеорологическую станцию. За географа, ставшего у красных начальником политотдела, внезапно вышла замуж наконец-то отправшая о силянской семье учительница Кушникова.

А через полгода нарочный привёз от дяди Володи письмо из Москвы. Он сообщал, что уже редактирует газету, что доволен этой своей деятельностью и окна у него с видом на набережную.

«Лиза, бери детей, и езжайте ко мне в Москву, — писал дядя Володя, — да, езжай скорее, тем ты спасёшь их. Я знаю, что от меня все отреклись, но хоть ты пойми, что, примкнув к большевикам, я, может быть, использовал последний шанс сохранить нашу веру. Ведь творится страшное. А будет ещё страшнее...»

А ещё через две недели был убит иерей отец Николай. Глумящиеся над ним палачи отвезли его на кладбище и сначала заставили старика-священника рыть себе могилу, а потом привязали его к берёзе и расстреляли.

— Он принял мученическую смерть за веру, — плача, сказал отец, которому принёс эту страшную весть диакон Копосов, уговаривающий отца бежать из прихода: армия Щетинкина приближалась. — Нет. Я останусь, — тихо сказал отец.

Мать взяв всех младших детей, по указанию отца, поехала сначала в Красноярск к старухе-свекрови, а через месяц решила ехать в Москву к брату. Позвала она с собой и Марианну Егоровну, но та категорически отказалась.

— У вероотступника спасения от красных портянок искать не стану! Здесь помру.

А в голове Юлии всё время звучал голос тёна Слоцова: «Не счесть убитых в каменных пещерах...»

К бабушке она не поехала.

В те же дни до села добралась измученная попадья Байкалова. Муж её, священник умер на пороге церкви, узнав, что единственного сына, служившего в соседнем селе псаломщиком, арестовали большевики и отправили в тюрьму.

— А ваш-то дядя, отец Павел, говорят, когда они ключи от его церкви потребовали, не отдал, не дал грабить... не дал... Избили его так, что он еле жив теперь, хакаса его выхаживает, она сказала, Майнагашевых всех перебили, и учёного Степана Майнагашева тоже, первого, его-то сразу и арестовали... Вот отец Павел у неё в доме.

Юлия отцу Павлу сначала не посочувствовала, объяснив его мужественный поступок его же и жадностью, мол, жалко было церковной утвари.

И тут же ей стало так стыдно, что она пошла к себе в комнату и легла лицом в подушку. «Ничего не жаль терять, Юлинька,— всплыли в сознании слова плачущей бабушки Александры Львовны,— жаль только, что лучшие русские головы летят... летят... летят... летят...»

Тонкий срывающий голос вдовы достигал её ушей. Он то вытягивал гласные, то дробил их. Согласные тоже искажались, иногда исчезая вовсе, точно люди, близкие и родные. Или голос спотыкался и падал, не в силах перевалить через очередной звук страшного бытия...

— Бегите, отец Филарет! Поп Александр из Орловского бежал и тем спасся! Бегите! Убьют!

— Нет,— отвечал отец тихо,— я останусь.

Юлия узнала его сразу: это был он, её нос, точнее человек, которым, отделившись, стал её нос и которого она видела во сне. Он был одет в кожаную куртку и в галифе, заправленные в сапоги. А его лицо оказалось даже привлекательным: brave усы под коротким носом, светлые смелые глаза, торжествующе яркие на загорелом усталом лице, открытая улыбка...

Ржали кони, шумели партизаны, вошедшие в село и бесцеремонно открывающие чужие ворота, калитки и двери.

— Паба Филарет!— дрожащим голосом произнесла кухарка Агафья.— К вам... Щетинкин!

— Накрывай на стол, будем обедать.

Отец, сутулясь, вышел к партизанскому командиру, кивнул ему, показывая рукой на стул, представился почему-то не по-церковному:

— Филарет Ефимович, а вы?

— Пётр Ефимович,— комдив улыбнулся.— Тёзки, выходит, были отцы.

Он сел на предложенный стул, рефлекторно втянув ноздрями запах пахнущего степными приправами свежего супа.

— А это моя дочь, Юлия,— отец глянул в сторону Юлии, стоящей в дверях своей комнаты на каменных ногах.

— Красивая.

Юлии показалось, что она ослышалась.

— У нас взвод женихов...

Агафья принесла разлитый по тарелкам суп, поставила свежий хлеб, нарезанный крупными ломтями, принесла на блюде посыпанную зеленью картошку, над которой вился лёгкий парок, точно над озером Горных духов на картине Гуркина-Чороса.

— Кушайте,— старуха так улыбнулась Щетинкину,— только зубы показала, быстро обернулась к Юлии, взглядом приглашая и её за стол.

Но Юлия, воспользовавшись тем, что голодный командарм от неё отвлёкся, скорее юркнула в свою комнату.

Сколько раз сквозь дверную щель она подслушивала споры отца и дяди!

Сейчас за окном поднялся ветер, заскользили тени веток по свежевывытым половицам, точно сметая к ногам сидящей на кровати Юлии, впавшей в полусон-полуоцепенение, обрывки разговора.

— Как же так получается, Филарет Ефимович,— гудел её Нос, похохатывая и выпуская из пещер дым,— что есть и такие священники, оставляют они свои приходы, когда узнают о нашем приближении? Не дело ведь это.

— Так убитыми-то быть никому не хочется,— отец говорил спокойно, так спокойно, что Юлии казалось— речь его уже звучит в далёком-далёком прошлом, над которым не властна красная огненная лава, выбрасываемая подземными пещерами. — Но поп должен быть там, где приход, иначе какой он пастырь, верно ведь, Филарет Ефимович? — Верно.

— Вот вы же не побоялись, не сбежали!

— Но семью я всё-таки отправил. У меня ж ещё четверо малых детей...

— Два шли бы к нам, к красным, Филарет Ефимович, не вернётся старая власть, уверяю вас. Я сам бывший царский офицер...

— Знаю.

— До сих пор раненое плечо порой напоминает об офицерском прошлом. А сначала окончил даже духовное училище, хотел, было пойти в священники, но потом в них разочаровался— и мнение моё о них только утвердилось— дворяне пили кровь народа и они тут же, под их боком! Я даже любимое своё Евангелие от Иоанна порвал. Всех попов нужно...

— Да ешь ты, окаянный,— не вытерпев, вмешалась Агафья,—эк, возбудился как шайтан! Ешь! Тебе бы только стрелять да вешать! Картошка вон тебя ждёт!

Шаги Агафьи простучали точно в пустоте. Потом стало слышно ржанье коней за окном. Зашипело что-то на плите.

— Ну, так вот я с каким предложением,— после некоторой паузы, прожевав,— опять заговорил Щетинкин,— было бы неплохо, если бы всё ж таки и священники переходили на нашу сторону... Народ бы тогда в массе своей поверил бы нам, а вождей наших возвёл к апостолам. И крестьяне активнее бы оказывали нашей армии поддержку... Переходите к нам, Филарет Ефимович, вы смелый человек, честный, я всё это сразу понял, такие и нужны нам...

Выпал из руки отца Филарета носовой платок, и Юлия каким-то другим слухом уловила почти бесшумный его полёт и невидимое падение.

— Отвечу вам откровенно, ничего не утаивая, Пётр Ефимович,— голос отца звучал всё дальше и дальше, точно уходя в чёрную пещеру.— Всю жизнь



я считал своим долгом нести веру как единственное спасение от озверения человеческой души, но сам не веровал... И вдруг недавно точно озарило меня: я поверил. Понимаете, Пётр Ефимыч, я—священник! поверил в Бога! И теперь...—отец точно всхлипнул и Юлия, до слуха которой неожиданно донёлся это слабый и какой-то стыдно-человеческий звук в пространстве бесчеловечной власти тёмных подземных сил, села на кровати, охваченная уже не страхом, а ужасом...

—Я верую. И идти с Вами потому не смогу,—голос словеса снова приблизился.

...ощущая себя бегущей по тонкой нити над пропастью...

...пропастью, пропастью, пропастью, пропастью...

...пастью.

—Что ж...—Щетинкин поднялся, задвинул стул, на котором сидел. С минуту помолчал. И эта бесконечная минута вдруг загорелась словом «Голгофа». Но—погасла.

—Оставайтесь. Спасибо за гостеприимство,—кашлянул.

—Мы в вашем селе на ночь не встанём, сейчас снимаемся и идём дальше, на Минусинск, так что, может, и не свидимся больше,—он едва заметно дёрнул плечом, и по лицу его прошла судорога боли,—отец Филарет.

ДиН стихи

Ирина Валерина

## Такое время

### Ева печёт лепёшки

День тих и светел,  
падают глухо яблоки в сонный сад.

В мире, познавшем грех, подрастают дети.  
Лепит из глины Авелю старший брат  
птиц легкокрылых, бегущих единорогов.  
Дует малыш, надеясь, но прах есть прах.

Тесто сминает Ева, вверяясь Богу,  
губы сухие шепчут: «...в Твоих руках...»

Время-река—глубоки и неспешны воды.  
Ева стирает детское, трёт песком  
пятна от винных ягод, а вот разводы  
тёмного времени будут потом, потом.

Вечер спускается многоголосым хором,  
пахнет молочным, пыльным и травяным.  
Солнце уходит, его принимают горы.

Ева целует мужа, сливаясь с ним  
в жаркое целое, чтобы зачался третий.

Мерно Господь вращает небесный свод.

Еве семнадцать.

В ближайшем своём столетье  
примет нелёгкую ношу и понесёт.

Ну, а пока ей мирно в руках Адама,  
смерть далека, не просыпан песок минут.

...Страшное видится—кровь на ноже и саван.

Ева зовёт чуть слышно: «Господь...

Ты тут?»



И не стой у окна, не смотри в закат,  
не любуйся буйством воскресшей жизни—  
остроклювые птицы на свет летят,  
в позабытые гнёзда свои летят,  
разрывая воздух и тишь, летят.  
Заверни в налистник  
с творогом тревогу—получишь боль;  
улыбнись беспечно—возьмёшь отсрочку,  
но придёт чуть позже просыпать соль  
на виски и раны хозяин точек.

...Увесны незрелой горчащий вкус,  
громогласен ночью её глашатай—  
бог кошачий—друг ходоков и муз...

Спи, страна, что хатой,  
простояла с краю,  
тебя хранит  
до поры, в которой откроют карты,  
статус-кво, что смерти души сродни.  
Спи, давно прикормленный спутник,  
отвернись от правды.

Сергей Кузнечихин

## Белый и пушистый туман

Он остановился возле бочки с квасом и услышал обиженный лающий голос Коли. Нетрудно было догадаться и о причине возбуждения — бедного поэта не пускали на борт прогулочного парохода. Выпив стакан любимого бодрящего напитка, он подошёл к трапу и увидел литературного урядника Гришу Тыщенко, вставшего поперёк дороги. Руки у Гриши были скрещены на груди, а Коля прыгал перед ним и дёргано жестикулируя, кричал:

— Да кто ты такой?

Одетый в парадный костюм, Гриша не спешил отвечать, видимо экономил энергию, чтобы не вспотеть. Коля рядом с ним выглядел оборванцем: линялая рубашка, серые от пыли стоптанные башмаки, из кармана засаленных брюк торчала сложенная пополам рукопись.

— На каком основании?

— Имеется список, утверждённый отделом культуры, тебя в нём нет.

— А кто его составлял?

— Допустим я.

— А кто ты такой?

Тыщенко презрительно усмехнулся, явно не собираясь опускаться до перечисления своих титулов и заслуг. Собственно и перечислять было нечего — рядовой писатель, выпустивший две книжки, а можно сказать и одну, потому что вышедшая в Москве повесть была переиздана в местном издательстве с добавлением ученических рассказов. Но скромненькую прозу предваряло напутственное слово живого классика, которому он оказывал всевозможные бытовые услуги.

— Ответственный за мероприятие?

— А для тебя и этого достаточно.

Он свернул на трап и уже из-за спины Тыщенко подал Коле знак, чтобы отошёл за квасную бочку. И ведь не пропустил, сохранил трезвый островок в половодье чувств, сообразил отступить в укромное место.

— Опять скандалишь?

— Не пускает, подонок. Членский билет ему нужен. Когда сдохнем, за мной понесут мои стихи, а за ним — членский билет.

— Я этого праздника, к сожалению, не дождусь. Но он по-своему прав. Списки утверждены и заверены печатью, а на тебе печать совсем другая.

— Хочешь сказать — каинова?

— С каиновой — для тебя бы люкс забронировали.

— Надо мне. Там критикесса московская.

— Нужен ты ей...

— Она мне письмо присылала, восторгалась.

— Наивный человек.

— Переговори с урядником. Он тебя уважает.

— Знаю я, кого он уважает. Просить бесполезно, но обмануть можно. Я сейчас брошу сумку, потом его отвлеку, а ты быстренько беги на нижнюю палубу, каюта будет открыта, ныряй туда и не высовывайся.

Первое, что пришло в голову, сказать Тыщенко, что его зовёт на корму помощник капитана для каких-то переговоров, а потом, когда тот никого не найдёт, отбрезаться, что не запомнил кому и зачем он понадобился. Но случай подкинул более надёжный сюжет.

Проходя мимо кают первого класса, увидел, что две дамы не могут открыть дверь, он попросил их не суетиться, никуда не уходить и пообещал прислать нужного человека. Упустить возможность лишний раз продемонстрировать свою рачительность перед столичными гостями Тыщенко не мог, покинул пост не задумываясь. Он попридержал пару минут изнывающего от нетерпения Колю и показал, в какую сторону идти. Потом прогулялся по палубе, заглянул в каюту к «спасённым» дамам, уверенный, что Гриша засиделся у них, но, не застав его, пообещал навестить попозже, заспешил вниз проверить, не заплутал ли «заяц». Не заплутал. И успел освоиться. Разложил на столике рукопись и сгорбил над ней, покусывая карандаш.

— Ну ты прямо стахановец.

— Да пришли кое-какие строчки, пока перед урядником сиротой стоял. Поэт не может состояться без унижений.

— Поэт должен быть голодным. Наслышан.

— Зря иронизируешь. Если голод принимать в расширенном смысле, тогда это можно принять за аксиому.

— Может быть. Но когда мне хочется жрать, все мои мысли забиты поиском пищи. Любой, даже самой примитивной и грубой. Но у вас, гениев, желудки отсутствуют.

— Я о другом.

— Разумеется. Вечером растолкуешь, а пока слушай инструкцию по технике безопасности. Сейчас я тебя запру и уйду разведать обстановку, заодно узнаю в какую каюту твою критикессу поселили. Когда отчалим, отведу тебя к ней.

— С какой стати поведёшь. Я сам.

— Как тебе угодно.

— Мне удобнее одному.

— Как прикажете.

— Я надеюсь на серьёзный разговор с единомышленником, а ты можешь всё испортить.

— Ладно, я пошёл. Если кто будет стучать, не отзывайся, замри как мышь.

— А вторая койка чья?

— Володька из универа собирался, но у него сменились планы, он утром позвонил, и я уговорил его не сообщать Тыщенко. Так что спать валетом не придётся.

Он поднялся на палубу. До отхода оставалось около часа.

Когда они познакомились, Коля уже ходил в гениях и не очень жаловал удачливых собратьев, но к нему, приехавшему из глухого леспромхоза, почему-то проникся. Потянулся к свежему человеку, потому что среди старых знакомых не осталось ни одного, с кем бы не поссорился. Может быть, надеялся обратить его в свою веру, сделать учеником, у которого можно всегда стрелкнуть на бутылку. Начинал он стихами о деревне, о полях цветущего льна, сенокосах и лошадях. Интерес к сельской лирике всячески поддерживался, и Старшинов напечатал в своём альманахе большую подборку новичка. С ней он поступил в литинститут, съездил четыре раза на сессии, послушался умных разговоров и разочаровался. В институте. В своих ранних стихах. Выпал из ереси простоты. Стал писать непонятные и принципиально нерифмованные тексты, презирая всех, кроме Геннадия Айги. Печатать его новые творения никто не хотел. Постепенно он становился всё озлобленнее и агрессивнее, особенно к тем у кого пусть и нечасто, но издавались книжки.

В глазах Коли он был преуспевающим членом Союза писателей. Первый интерес быстро остыл, но до серьёзной ссоры не дошло. Здоровались, разговаривали. Один задирился, другой снисходительно терпел петушинные наскоки. И однажды случилось оказаться в журналистской забегаловке. Он выпивал в одиночку, а Коля пришёл с компанией. Голосистые и не очень трезвые, уселись за соседний стол. О чём они спорили, его не трогало, но нарастающая громкость быстро утомила. Решил допить свой портвейн и пойти прогуляться по берегу. Он уже вставал, когда в компании кто-то ударил кулаком по столешнице. Оглянулся и увидел, как собкор центральной газеты, поднялся, схватил Колю за грудки, выдернул из-за стола и ударил с широким пьяным замахом. Колю

развернуло, и он завалился грудью на соседний стол. Победитель стоял, покачиваясь и подняв указательный палец, объяснял собутыльникам: — Нельзя позволять какому-то быдлу...

Он не дослушал. Шагнул к нему и ударил в красный губастый рот. Собкор упал. А он оттолкнул стул, оказавшийся под ногами, и вышел не оглядываясь. Всё получилось неожиданно.

Потом, сидя на лавочке возле реки, пытался понять, что же взбесило его, считавшего себя довольно-таки уравновешенным человеком. Самодовольная ухмылка на роже собкора была отвратительна, но мало ли таких рож подставляла жизнь за последние годы. Его всегда раздражала раскормленная спесь якобы умеющих жить людей. И всё-таки сильнее всего хлестануло слово. Быдло. На каких дрожжах пенится это надменное барство? Обыкновенный собкоришко. Выскочка. Приспособленец. Дешёвый бездарный халтурщик, заработавший газетной проституцией большую квартиру в центре города—единственное, чем может похвастаться. Слово и обожгло, и ослепило, и вышибло все предохранители. Оттого и удар получился на удивление хлёстким. Хотя последний раз он дрался в студенческие годы. Бил бездумно и тупо, но резкая боль в пальцах привела в сознание, и выходил из кафе уже осознанно, на случай продолжения драки, чтобы это позорище творилось без публики. Но следом никто не выбежал, и он побрёл на берег. За Колю он не беспокоился, уверенный, что отыгрываться на нём не будут, всё-таки не уличная шпана, известные в городе люди, можно сказать, уважаемые. И если уж совсем честно, то заступался он не за него, а за себя.

А Коля на другой день пришёл в гости, поблагодарил и попросил в долг. Дальше—больше. Где-то через полгода явился под вечер нервный и обиженный. Какой-то мужик отобрал у него паспорт и не хочет отдавать. Кому вырывать его, Коля не сомневался. Он долго не мог понять с какой стати паспорт оказался у безымянного мужика. Пострадавший явно чего-то недоговаривал и, скорее всего, привирал. Но нужда была крайняя. Подвернулась выгодная халтура в газете с командировкой в район, а без документа ехать нельзя. Пришлось одеваться и тащиться в другой конец города. С мужиком повезло, оказался вполне вменяемым. И уж никак не злодеем, скорее—наивным. Коля подрядился сложить печку на даче, взял аванс и сам отдал паспорт в залог. Класть печи он не умел, надеялся на знакомого обмуровщика, а того загнали в командировку. Но мужик-то не знал, что связался с подсобником. Коля естественно выдавал себя за мастера и выдумывал всяческие причины, чтобы оправдать волокиту и выиграть время. Пришлось выступать гарантом и показывать для солидности корочки члена Союза писателей. Обещать, что лично проконтролирует

качество работы. И ещё ему показалось, что большой радости спасённый паспорт не принёс. Наверное, Коля надеялся полюбоваться мордобоем.

Узнать в какую каюту разместили московскую критикессу можно было у Тыщенко. Гриша сразу насторожился.

— А зачем тебе?

— На всякий случай.

— Рецензию хочешь организовать?

— У меня последняя книжка выходила три года назад. О ней уже писали.

— Помню, хвалили.

— Да лучше бы обругали. Больше пользы.

— Не скажи. Там наверняка никто не обратил внимание, а здесь сразу же намотали на ус. Уважаемый поэт! В столицах замеченный. Кое-кто в нашем издательстве рад бы на дверь указать, да вынужден считаться.

Он понимал на кого намекает Гриша и, в который раз, удивился наивности его провокаторских интрижек: расслабить человека доброжелательным сочувственным вниманием, вызвать на откровенность, а потом, как бы нечаянно обмолвиться в присутствии заинтересованного лица и выдать с потрохами. Откровенничать он не собирался, но и подыгрывать не хотел.

— Захотят указать на дверь, укажут. И никакие рецензии не спасут. Просто хочется побеседовать с интересной дамой.

— А что, может и уговоришь. Мужик ты видный, в полном соку. А все они рвутся из дома с одной единственной целью. Это ничего, что старовата. Да ты её видел.

— Которые дверь не могли открыть?

— Они самые. А вторая зав. отделом поэзии. Жаль, что я со стихами завязал.

— Так развяжи, кто тебе мешает.

— Нет. Когда в армии почитал Рубцова, понял, что после него ловить нечего. Наше дело презренная проза.

— Не такая уж и презренная,— на всякий случай польстил он, уверенный, что Гриша примет это в свой адрес.

Теплоход наконец-то отчалил. На корме галдели девицы из фольклорной группы. Хлопнуло шампанское. К бутылке потянулись тонкие ручонки с бумажными стаканчиками.

— На молоденьких заглядываемся?

Хрипловатый женский голос заставил вздрогнуть. Машка-певица подкралась и гаркнула в ухо. Чувство юмора её частенько подводило. Они притесствовали давно и постоянно провоцировали друг друга, но греха так и не случилось, всё время что-то мешало.

— Напугала, шалава.

— А я специально, чтобы не зарился на чужой каравай, когда свой рядышком, стоит только руку протянуть.

— Брось ты. Я для них уже...

— Старый хрен. А всё туда же. У нас, кстати, в шестой тёплой компания собирается. Я за гитарой пошла, чтобы стол накрывать не запрягли, пусть Светка отдувается.

— Она же вроде не по этой части...

— Ничего, пусть попробует почём простые женские радости.

— Её возвышенная натура не оценит. Поздно.

— Лучше поздно, чем на панель. А ты не желаешь к нам присоединиться?

— Схожу в каюту за членским взносом и приду.

— А в каюте, случайно, не один?

— Нет, цыганёнок прибил.

— Жаль.

— И мне жаль.

Он спустился к себе. Коля уже нервничал.

— Я начал думать, что ты забыл про меня.

— Мы вроде договорились: я иду на разведку, а ты готовишься к серьёзной беседе с нужными дамами.

— Не могу я думать сидя под замком. Меня это убивает. Ты знаешь отчего умер поэт Веневитинов? Двадцать два года юноше было.

— Отчего?

— Оттого, что трое суток просидел в тюрьме.

— Но ты далеко не юноша. И не в тюрьме.

— Но под замком. И дышать здесь нечем.

— Иллюминатор надо было открыть.

— А я откуда знал. Мы к барским круизам не приучены.

Он показал, как открывается иллюминатор, потом достал из сумки бутылку. Увидев, что Коля повеселел, поспешил остудить.

— На деловую встречу надо идти с ясной головой, а то с пьяни лишнего нагородишь.

— Может чуток для храбрости?

— Ни грамма.

— Знал бы, что рядом такое сокровище, столько мучений избежал.

— Сейчас я тебя провожу, а сам пойду в шестую каюту. Закончишь переговоры и заходи к нам.

Компания приступила к трапезе, не дожидаясь его. Машка подняла гитару лежащую рядом с ней.

— Место для тебя забронировала, а на штрафную не надейся. Эти не нальют.

— Я знал, что ты не бросишь в беде.

— В биде она бросает другое,— скаламбурил кудрявый газетчик Саша.

Шутку не оценили. Университетская эстетка Светлана презрительно скривила губы. Представляться не было нужды: председатель клуба самодеятельной песни; поэт, бывший врач психиатр; бородатый прозаик, бывалый охотник и большой знаток природы—привычная компания, привычные разговоры, давно навязшие в зубах, но без которых никто не мог обойтись. Точно также курящие люди клянут свою дурную привычку, но освободиться от неё не в силах. Выпили,

посплетничали. Светлана предложила почитать стихи по кругу и кивнула в его сторону, уступая право самому маститому. Он догадывался, что они далеко не в её вкусе, хотя и писала хвалебную рецензию на последнюю книжку. Ничего свежего давно не писал, повторяться не хотелось и вообще не было желания читать, и он молча протянул гитару Машке. А та никогда не заставляла упрямиться. Пела свои хрипловатые песенки легко и с удовольствием.

— Что-нибудь сердцещипательное, Машенька, — подбодрил её прозаик.

— Могу новенькую показать. Если кого шокирует, не обессудьте.

Парни с белыми билетами,  
С вами сдохнешь от тоски,  
С золотыми эполетами  
Мне милее мужики.  
Оказался подлой словочью  
Гражданин солидных лет  
И взамен билета волчьего  
Выдал жёлтый мне билет...

Газетчик Саша азартно захлопал в ладони, остальные парни дружно поддержали. Но внимательнее всех слушала Светлана и, нарушая предложенную очерёдность, не удержалась от замечаний.

— Очень мило. Но ты, Мария, немного увлеклась. В русском языке существует идиома волчий паспорт, а волчий билет, это уже не совсем понятно. — Чего ж тут непонятного? — засмеялась Машка.

— Попробую объяснить. Если, например, о человеке сказано, что он «собаку съел» всем понятно, что речь идёт о знающем человеке. А если заменить собаку на другое домашнее животное, то человек, съевший кошку, вызовет крайнее недоумение. Согласны?

— Собачатиной меня потчевали открыто. А может, и кошку сподобился попробовать, — прозаик хмыкнул в бороду и, скорее всего чтобы разбавить критический укус, добавил. — А вы не обращали внимания, что на колхозных рынках торговцы крольчатиной оставляют одну лапу со шкуркой. Знаете почему?

— Чтобы руками за мясо не брать, — уверенно разъяснил бывший психиатр.

— Намного проще. Чтобы покупатель не заподозрил, что ему кошку подсовывают.

— Дяденька шутит.

— На полном серьёзе.

Но Светлану подробности рыночного быта не интересовали, она продолжала свой анализ.

— И ещё, Мария, ты поёшь о мужиках с золотыми эполетами. А в золотых эполетах ходили, как правило, не мужики, а дворяне.

— Какая разница, дворяне разве не мужики? — искренне удивилась Машка.

— В биологическом смысле, но не в кастовом.

— Это уже буквоедство. Машенька, не слушай никого и не вздумай переделывать песню. Пусть она радует нас, мужиков.

Бородатый явно стремился защитить певунью. И, как ему показалось, не совсем бескорыстно. И тут же взыграла ревность, надо было показать, что не случайно удостоен места рядом с ней.

— Светлана, ты же умная девушка. У песенного жанра свои законы. Если подходить с твоей меркой к текстам Окуджавы, можно наковырять кучу ляпов и огрехов.

— Умоляю, не трогайте Булата Шалвовича, это святое.

— Интересно, почему его нельзя, а Машеньку — можно? Хотя согласен, трогать её гораздо приятнее, — и он, облапив её за талию, придвинул к себе.

— Но я, к сожалению, не святая, — засмеялась Машка, гибко и покорно прижимаясь к нему.

— Не надо ни о чём сожалеть, Машенька, — успокоил прозаик.

Коля явился неожиданно даже для него. Заглянул в приоткрытую дверь и, ни с кем не здороваясь, плюхнулся на свободное место. Сам себе налил водки и хотел выпить, но Машка накрыла стакан ладонью.

— Подожди, сначала прочитай стишок, а потом все вместе выпьем.

— Я не пишу стишков. Это у вас...

— Не надо, Николай, не сердитесь. Она не хотела обидеть, — успокоила, а может и поддразнила Светлана.

Коля выдернул стакан из-под Машкиной ладони и выпил никого не дожидаясь.

— А я и не знала, что вы внесены в список.

— Я по личному приглашению капитана.

— Это и есть твой цыганёнок? — шепнула Машка.

Он кивнул. По рукописи, торчащей из кармана, и затравленной взвинченности было понятно, что разговор с критикессой не склеился. Оставалось только гадать, успел ли он вывалить на перепуганных дамочек богатый запас оскорблений или ограничился хлопаньем дверью. Если постеснялся чужих, со своими церемониться не станет. Надо было срочно эвакуировать.

— Пойдём ко мне в каюту, расскажешь.

— Я могу и здесь, — огрызнулся Коля, не в силах оторвать взгляд от бутылок на столе.

Он взял его за руку выше локтя и крепко сжал пальцы. Рука была тоненькая, костлявая, почти без мускулов.

— Ребята, мы пойдём переговорим, и вернёмся, а вы продолжайте.

По палубе шли молча. Коля, вяло передвигая ноги, плёлся рядом с ним, но возле каюты резко остановился.

— У них буфет работает? Надо же взять...

— Иди, бери.

— У меня денег нет.

— А чего тогда зовёшь. Ладно, пошли, у меня припрятано.

Коля не обиделся, сделал вид, что не понял. С безразличным лицом забился в угол и смотрел, как он режет колбасу и огурцы. Выпил без привычной жадности, отщипнул кусок мякиша и уставился в иллюминатор.

— Ну и чем тебя обрадовала критикесса?

— Стерва.

— А ты надеялся, что она станет сестрой милосердия?

— Она сунула мои стихи подруге, дескать, пускай для начала настоящая поэтесса посмотрит. Настоящая! Представляешь?

— Не оценила?

Коля скривился. Судорожно схватил бутылку и приложился к горлышку.

— Заявила, что подобную продукцию можно километрами писать. Продукцию!

— А критикесса?

— Глянула одним глазом.

— Но ты же уверял, что нежное письмо от неё получал.

— Успела забыть о нём.

— Ничего удивительного. Знаешь, сколько рукописей в журналы приходит. Написала доброжелательный отказ, чтобы автор не скандалил и села писать очередной, теми же словами.

— Она меня за сумасшедшего приняла.

— Не мудрено. Надо было меня взять, авось бы и нашли общий язык.

— Ты бы нашёл. Вам даже искать не пришлось бы, потому что на одном языке говорите. Продукцией обозвала! А сами за что гонорары гребёте? Беззубые рифмованные фельетончики. Рифмованные рассказы из жизни сельских тружеников. Или луна—весна, любовь—морковь. Можете эти розовые сопли на страницы своих книжек. Чем гуще, тем доходнее. Вы даже не представляете, что такое поэзия!

— А ты представляешь.

— Стерва эта зачитала стихотворение издевательским голосом и, кивая на меня, спросила, какая мысль скрыта в этом шедевре.

— Ну и что она ответила?

— Остроумие изобразила. Сказала, что мысль настолько высока, поэтому разглядеть её с поверхности земли можно только вооружённым глазом.

— Юморок не первой свежести.

— И я про это. Рассуждать о поэзии намного проще, чем писать настоящие стихи. Смысла не увидели! Логике им подавай!

— Всё правильно. Ты не обращал внимания, что ребята, которые сочиняют подобные опусы, единомышленники твои не забыли подстраховаться, диссертации защитили, кафедрами заведуют, вокруг них орава толкователей, их трогать нельзя, недоучкой прослывёшь.

— Причём здесь кафедры. Ты бы слышал, с каким издевательством она зачитывала.

— Могу представить. Ругать тебя можно не оглядываясь, и они с чистым сердцем высказали всё что накопилось, даже поиздеваться позволили над стихами, которые им действительно не понятны. И не только им.

— Я давно подозревал, что и ты с ними. Да кто вы такие, чтобы мне указывать? Ты знаешь, в чём разница между нами? Для вас поэзия средство существования, а для меня—среда существования. Улавливаешь разницу?

— Так чего же ты лезешь к нам, если мы такие поганые?

— Вот и проговорился. Дорвались до кормушки и отбрыкиваетесь, чтобы другие не объели.

— Это я от тебя отбрыкиваюсь?

— И ты тоже. Взял бы, например, и предложил, давай, Коленька, рукопись, я на неё рецензию напишу и в издательство передам.

— Так её всё равно зарубят.

— Почему обязательно зарубят? За что? В моих стихах нет никакой крамолы, но там есть поэзия, которой нет, у вас, так называемых членов. Потому и не подпускаете меня! Бойтесь и завидуете!

— Шёл бы ты, Коленька проветрится на палубу, пока...

— Что пока? Пока морду не набил? На это вы мастера.

— Всё, хватит, моё терпение лопнуло.

Коля увидел, что он приподнимается и, поняв жест по-своему, живенько юркнул из каюты.

— Гений, мать твою,—прошипел он вдогонку и завалился на койку. Устал, как после дороги по раскисшему осеннему просёлку. Вспомнил о Машке, но тут же отмахнулся—идти в компанию и слушать пустую болтовню о стихах—нет уж, после этого и на бабу-то не потянет, как-нибудь в другой раз. Но обиды на Колю не было, что взять с блаженного. К его истеричным наскокам он привык и давно не принимал всерьёз. И с тем, что поэты как дети капризны и неблагодарны, покорно смирился.

Лет пять назад он пытался помочь Коле. Отослал его творения добрым знакомым с хорошим вкусом и не самовлюблённым. Москвичу и пермяку. Выбрал не только заумь, но и внятные ранние стихи. Заумь отвергли оба, безоговорочно. В деревенских стихах москвич высмотрел некие свежие краски, а пермяку не глянулись и они, обвинил в декоративности и рабской традиционности. Получалось, что стихи отделённые от автора не воспринимаются и только присутствие несуразного и скандального мужичонки может вызвать интерес к ним. Нечто похожее может случиться если от забавной картинки отделить поясняющий текст. Картинку без пояснения можно истолковать как душе угодно, а текст без картинки кажется бессмысленным.

Когда в комнату постучали, не открывая глаз, он проворчал «не заперто» и повернулся лицом к стенке, чтобы не продолжать пустой и бесконечный спор. Но его не услышали и продолжали настойчиво стучаться. Окончательно проснувшись, он подумал: «Уж не Машка ли решила осчастливить?»

Поднялся, машинально задёргнул лежбище простыней и шагнул к двери. Стучался Гриша Тыщенко. Не обращая внимания на подчеркнуто трагическое лицо гостя, проворчал:

— Какого дьявола? Который час?

— Третий. Николай за борт выбросился!

— Куда?

— За борт.

— Давно пора. Пусть протрезвеет.

— Пойдём, там народ ждёт. Разговор есть.

— Не хочу я с ним разговаривать.

— Я же сказал, что утопился. Весь праздник, подлец, испортил. А говорить будем с тобой.

В кают-компании собрались только свои. Гостей тревожить не стали. Машка со слезами в голосе объясняла бородатому прозаику, который по всей вероятности пришёл незадолго до него.

— Меня девчонки из ансамбля позвали к себе песни попеть, одна и рассказала, что кто-то из наших прыгнул в воду.

— А почему сразу шум не подняли?

— Так они думали, что закалённый мужчина решил искупаться.

— Вот дуры!

— Так девчонка же из ансамбля.

— А во сколько это было?

— Темнеть начинало.

— И хватились только сейчас?!

— Так я ещё по каютам пробежалась. Нигде не нашла и отправилась к Григорию.

— Ну, поэты, мать вашу! Я побежал к вахтенному, надо срочно делать оборот и включать прожектор.

— Нельзя к вахтенному,—вскинулся Тыщенко, скандал будет. Позорище.

Бородатый отмахнулся и выбежал.

— Как Вам не стыдно, Григорий,—возмутилась Светлана.—Речь о жизни и смерти.

— О какой жизни? Вода ледяная. Он плавать-то умеет?

— Понятия не имею,—ответил, потому что Тыщенко задавал вопрос конкретно ему.

— Имей в виду, что смерть Николая на твоей совести. Ты во всём виноват. Сначала протащил его контрабандой, потом выгнал из каюты.

— Я его не выгонял.

— Как не выгонял, если он мне жаловался, да ещё и морду грозился набить,—выкрикнула Машка.

«И эта туда же,—подумал он.—Сейчас и Светочка не упустит момента».

И не ошибся.

— Я не удивлюсь, если скоро выяснится, что мы потеряли самого значительного поэта. Обязательно

найдётся исследователь, который сможет приоткрыть его тайну и объяснить толпе, о чём болела его душа. Я и сама попробую в меру сил. Хорошо помню первое впечатление. Приятельница принесла третью полуслепую копию на серой бумаге. Это был праздник.

— Интересный поэт...

— Не о том говорите,—возмутилась Светлана.— Он делал всё, чтобы не быть интересным. Вся его поэзия это бунт против пошлой завлекательности. Отважный вызов примитивной конъюнктуре. Аляповатая красочность, крикливая исповедальность, хитроватенький расчёт на слезу не очень умного, но sentimentalного обывателя—ему чужды были эти дешёвые приёмы, он брезговал ими.

Светлана обращалась вроде бы ко всем, но он был уверен, что говорится это в первую очередь для него, разложила по полочкам всё, за что хвалили и поменяла плюс на минус.

— А может это не самоубийство, а несчастный случай?—некстати засомневалась Машка.

— Какая разница.

— Разница очень большая. Самоубийство великий грех.

— Настоящий поэт имеет право на собственную трактовку греха,—осадила её Светлана.

— Пить надо меньше. А спаивать больных людей, не просто грешок, а преступление. И кое-кто за это ответит.

Тыщенко мог предать кого угодно, но себе не изменял, всегда оставался последовательным. Но не оправдываться же перед ним. Ему казалось, что весь этот балаган он уже видел на сцене и неоднократно. Встал и ни слова не говоря, вышел из кают-компания, услышав за спиной недоумённое «куда он».

Судно уже сделало полукруг и, шаря прожектором по чёрной блестящей воде, медленно двигалось против течения.

Машкины сомнения были не так уж и глупы. Пьяный Коля мог случайно свалиться за борт, но он почему-то сразу поверил в самоубийство, в желание разом оборвать надоевшую и никчёмную жизнь. Устал парень мыкаться в подполье. Сколько бы ни хабрился, но идиотом он не был и понимал, что загнал себя в тупик. Прикидываться блаженным не осталось сил, а возвращаться назад не позволяло самолюбие. И встреча со столичной критикессой стала не отрезвляющим ушатом ледяной воды, а всего лишь маленькой каплей. Но каплей, говоря высоким стилем, переполнившей чашу терпения. Коля сделал то, к чему с героическим упрямством стремился последние годы. И он впервые почувствовал настоящее уважение к нему, горьковатое с привкусом зависти. Уважение к нему и брезгливость к новоявленным плакальщикам.

Та же Светлана, завидев Колю, если не перешла на другую сторону улицы, то старалась

незаметненько прошмыгнуть мимо, чтобы он не заговорил с ней и не попросил на опохмелку, и не приведи Господь, что кто-нибудь из университетских знакомых увидит её с этим неопрятно одетым, нечѣсаным человечком мужского пола — со стыда можно сгореть. Даже в богемных компаниях она старалась держаться подальше от него и до разговоров о поэзии с примитивным недоучкой не опускалась. А с Тыщенко и того примитивней. Паренёк рвётся к власти и, разумеется, наслышан о том кого хотят избрать председателем, оттого и старается повесить на соперника всех собак.

Упрямая вода мощно противостояла судну. Казалось, что двигатели молотят вхолостую и они стоят на месте. Он смотрел вниз и первый раз в жизни задумался, так ли велико давление в одну атмосферу равное десяти метрам водяного столба. Представил этот столб высотой с двухэтажный дом. Но глядя в чёрную, насккивающую на борт, монолитную массу, засомневался, что эти столбы давят только сверху и готов был согласиться, что водяные столбы, вопреки законам физики, давят одновременно со всех сторон. Представил и почувствовал озноб. Передёрнуло словно от страха, но потом догадался, что знобит от холода. Надо было опускаться в каюту. Он уже собрался уходить, но увидел в свете прожектора прыгающую по волнам лодку. Мелькнула, потом потерялась? Или просто привиделась? Но судно резко сбавило ход, и он понял, что не ошибся.

Коля поднялся на борт вместе с широченным мужиком в энцефалитке. Оба громко смеялись. — Весёлый парень! — восторгался мужик. — Герой! — Ничего героического. Просто фарватер проходил возле берега, увидел костёр, и захотелось поговорить с настоящими людьми о настоящей жизни. Прямо-таки позарез! — Он так и сказал нам, что остохренели поэтические мордочки, хочу с настоящими большими мордами посидеть и посмотреть в честные браконьерские глаза.

— Браконьерами не обзывал, — взмолился Коля. — Я же с чистым сердцем.

— Так и мы с чистым сердцем бракушничаем на своей реке и порядочным людям завсегда рады.

И все почему-то засмеялись. Но «всех» было не так много. Народец устал скорбеть и разбрёлся по каютам. И он пошёл к себе. Надо было успокоиться, отлежаться, притушить обиду на героя. Да какой герой? Герошко. Фигляр. Оставалось только удивляться, почему так легко поверил в самоубийство. Нет, он вовсе не желал ему смерти. Сказать, что лучше бы Коля утонул, он не мог, не только вслух. Но превращение трагедии в фарс всё-таки раздражало. И чтобы как-то погасить это раздражение, стал искать причины, по которым Коля никак не мог пойти на самоубийство. Не из жизнелюбия — не за что любить ему свою жизнь.

Но была любовь к своим полоумным стишкам, причём очень нежная и воинственная, готовая безоглядно броситься на защиту. Точно так же любят матери слабоумных или убогих детей, зачастую во вред себе мыкаются, затравленно озираясь в поисках косых взглядов и выискивая насмешки в каждой фразе. Такая мать будет жить из последних сил, вопреки всему, лишь бы не оставить беспомощное дитя без защиты. Рассуждал вроде и убедительно и всё равно понимал, что до самого дна донырнуть не может. Перед тем, как лечь заперся на ключ, а когда через полчаса услышал, что кто-то дѣргает дверь, не отозвался, уверенный, что Коля приполз мириться.

Он не считал себя большим поэтом. Он вообще не примерял к себе звание «поэт». Всё получилось неожиданно. После окончания технологического института его направили в леспромхоз. Девушка, на которой собирался жениться, обещала приехать, но так и не собралась. Около года приходили нежные письма с мечтами о встрече. Потом перестали. И тогда появилась поэма переполненная ожиданием. Она писалась как приглашение в заповедник нетронутой красоты: в тайгу, на весенние поляны с пылающими жарками, на берег поющей речки с целебной водой и голубогривыми хариусами, в щедрые кедрачи и малинники с рясной ягодой. Соблазнял красотами, как заправский вербовщик. Рассказывал сказки о прирученных белках, которые будут приносить орешки в спальню, о медведях, охраняющих для неё делянки с малиной и брусникой, о волках репетирующих серенады к её приезду. Поэма писалась легко, без натужных поисков нужных слов, они приходили сами, случалось записывать даже на планёрках. Строчки сочинялись и по дороге на работу, и в столовских очередях, легко удерживались в памяти, чтобы вечером переселиться на бумагу.

Писал на отдельных листах, иногда на обратной стороне инструкций по технике безопасности и складывал в чемодан. Когда высказал, всё, что мог и хотел, купил школьную тетрадку в двадцать четыре листа и переписал в неё поэму аккуратным разборчивым почерком. Забывчивая невеста к этому времени совсем перестала отзываться, и ему пришла шальная идея отправить тетрадь в редакцию молодёжной газеты — пусть, мол, прочитает и это станет ей укором. Ответ пришёл быстро. Заведующая отделом культуры восторгалась пластичностью языка, свежестью образов, сравнивала его с Павлом Васильевым. Извиняясь, что газета может позволить себе публикацию всего лишь отдельных глав, просила разрешение переслать поэму в московский журнал. Потом уже его просветят, что в поэме одна тысяча триста двадцать строк, без малого — два авторских листа, что сердобольная дама из газеты не поленилась отстучать их на машинке, и могла бы потребовать



от него кругленькую сумму. Журнал напечатал поэму тоже, в сокращённом варианте, отсюда она перекочевала в издательство и вышла отдельной книгой, уже в полном объёме.

Всё прошло без его усилий, и он по наивности воспринял это как должное. Газетный гонорар его просто обрадовал, а журнальный — изумил, потому что был в три раза больше его инженерной зарплаты. К выходу книжки ему успели объяснить и о тиражах, и о расценках. Так он ещё и премию за книгу получил, и на всесоюзное совещание вызвали, а там приняли в Союз писателей. Его хвалили, ставили в пример городским мальчикам, не знающим о чём писать. Хвалили серьёзные дяденьки, а те же мальчики посматривали косо. Хватило ума трезво отнестись и к авансам, и к зависти, но домой вернулся воодушевлённый. Руководитель семинара настойчиво советовал не упускать момент и садиться за новую поэму. О чём писать, сомнений не возникло. За три года работы в леспромхозе ему «повезло» быть свидетелем страшного лесного пожара и большого наводнения. С крепкими ребятами пожарными-парашютистами не только выпивать довелось, но и видеть их в деле. А с наводнением и того проще. Когда безобидная, казалось бы, речка после дружной весны превратилась в неудержимую безжалостную лавину, в безумного великана с мутными глазами, крушащего всё, что попадётся на пути, его охватил ужас.

Та бессонная неделя помнилась до самых случайных мелочей. Хотелось заполнить ими стихи, но не складывалось. Яркие подробности на бумаге тускнели. Если на первую поэму он потратил меньше двух месяцев, то на две следующих потребовалось больше года.

К тому же пришлось читать много чужих стихов. На совещании наслушался молодых да ранних и понял, что он абсолютный профан. Даже Павла Васильева, с которым его сравнивали, не знал, не говоря уже о Ходасевиче, Гумилёве, Клюеве... Чтобы не выдавать запущенной дремучести в разговорах больше помалкивал, но вернувшись домой сразу же записался в библиотеку, богатство которой оценил только после того, как переехал в город. Выяснилось, что в захолустном леспромхозе можно найти то, чего не отыщешь в областном центре.

Когда не задумывался о том, как он пишет, слова сами бежали навстречу, весело, как резвящиеся пушистые зайчата, а теперь ползли, как скользкие улитки. Для повышения дисциплины и производительности труда пытался назначить себе ежедневную норму, но выполнить её не удавалось. Подсчитывая строки, подсмеивался над собой и корректировал план, совсем как на производстве. Обе поэмы сочинялись параллельно, и его очень удивила странная особенность: о том, что

сильнее зацепило душу, писалось намного труднее и медленнее. Поэма о наводнение измотала его до бессонницы. Мало того, она и в журнале шла со скрипом, раздражающим не только слух. Пришлось переделывать, сокращать, а главу о мародёрстве, на его взгляд самую интересную, вырезали уже после вёрстки. Зато «Пожар», который обжёт его значительно меньше, получил годовую премию.

Переезд из леспромхоза в областной центр случился без лишних переживаний. Когда писал заявление на получение квартиры, сказал, что собирается жениться. С невестой познакомился на совещании молодых, где ходил обласканный вниманием. Девушки героев любят. Вечные девушки-поэтессы — тем паче. «Кикимора из Кимры» — так она себя называла, впрочем, кокетничала. Вполне симпатичная девица, вздорная и склонная к авантюрам. Она и в Сибирь рвалась, только затем, чтобы издать книгу, уверенная, что в провинции пробиться намного легче. И добилась своего. А потом сбежала. Улетела сдавать сессию в литинститут, в котором училась уже восьмой год, и не вернулась. Но эта измена в новую поэму не выплеснулась. Принял спокойно, даже с благодарностью за облегчённое расставание. Исчезла, и как будто её не было.

Вспоминался единственный не очень благовидный момент. К нему приехал леспромхозовский товарищ. А он любил встречи с людьми из той жизни, с ними было уютнее и спокойнее, даже похмелье было легче. Сидели, выпивали, взахлёб вспоминали молодость, жена хлопотала на кухне, потом под села к ним и как бы между прочим, попросила помочь в невинном розыгрыше. От приятеля требовалась маленькая услуга: когда он вернётся домой, сходить на почту и отправить бандероль. Папку, упакованную крафт-бумагой, она передала на другой день и сама написала адреса. Он не слишком вслушивался в их разговор. А через две недели ему позвонила издательская секретарша и сказала, что на его имя пришли стихи, которые надо отрецензировать. Рукопись была довольно-таки объёмной, больше сотни стихотворений. Он пробежал глазами пяток страниц: серенькие ученические стишки. Заглянул в титульный лист и увидел фамилию своего приятеля, открыл рукопись заново и ошалел, наткнувшись на отрывок из своей поэмы, вспомнил про якобы невинный розыгрыш. Повышать голос на женщину, которая невинно улыбается не чувствуя вины, бесполезно и глупо. Оказалось, что заботливая супруга решила организовать ему побочный заработок. Увидела в издательстве стопку старых рукописей, приготовленных для сдачи в макулатуру и прихватила несколько папок для черновики, а потом её осенило выбрать из них страницы без редакторских пометок и состряпать рукопись для

друга. Его тексты попали в неё только потому, что совпал формат и цвет бумаги. Она и рецензию сама сочинила, весьма грамотную и щадящую. Для поддержания духа начинающего автора, посоветовала ему, как человеку с большим жизненным опытом попробовать себя в прозе. Подписываясь под рецензией, он зачитал жене её заботливое пожелание, и та утверждающе кивнула: да, мол, я и прозаической рукописью его зарядила, уверенная, что невинная шалость останется незамеченной, потому что мутный поток самотёка следов не оставляет. А деньги не пахнут.

Папка с прозой пришла через полгода, но жена к этому времени была уже в Москве, рецензию пришлось писать самому. Он и в леспромхоз позвонил, поинтересовался, не готовится ли очередной сюрприз. Приятель успокоил, сказал, что было только две папки, но сразу же заверил, что всегда готов помочь. Он отказался. Слишком сомнительное предприятие. Не бедствовал всё-таки. Книжки выходили регулярно, поэму о любви перепечатывали во всевозможных сборниках и поездки на встречи с благодарными читателями подкидывали рубли на хлеб и вино. Со стороны казалось, что жизнь удалась. Впрочем, не только со стороны...

После бессонной ночи, он вышел из каюты только к обеду. Сел за свободный столик. Ни обвинений, ни извинений слушать не хотелось, но знал, что в покое не оставят—пусть и не подводная лодка, но всё же судно—не сбежишь, особенно после дурацкого заплыва Коли. Первой подошла, разумеется, Машка, самая непосредственная из всей компании.

— Колька у нас в каюте прячется, боится тебе на глаза попадаться.

— А ты не боишься?

— Мне-то чего бояться?—не поняла она.—Я к тебе вчера стучалась, но ты не открыл...

— Надо было сильнее стучаться.

— Да куда же сильнее? Чтобы соседи услышали?

— В следующий раз предупреждай.

— Через час выступление в сельском клубе. Пойдешь?

— Нет.

— А мне придётся. Не отвертись.

— Удачи тебе.

— Спасибо. Ну, я пошла?

— Иди.

— Просто так идти или куда подальше?

— Куда сердце позовёт.

Но в клуб всё-таки пошёл. Потому что выступление входило в программу, и надо было отрабатывать, отдавать долги. По-другому он не умел. На пристани их встречали на двух машинах. Коля мялся в сторонке и выжидал, чтобы не оказаться рядом с ним. Так ведь ещё и на сцену вылез. Озадачил сельских тружеников своей невнятицей и заработал жиденькие неуверенные хлопки. А ему аплодировали долго, разве что «бис» не кричали. Но радости победы и, уж тем более, мстительного злорадства не было. Только жалость. Без намёка на снисходительность, ленивая и полусонная жалость.

В город они вернулись в сумерки. Дом его был сразу же за мостом, и он решил пройтись, размяться после долгого лежания в каюте. Над рекой медленно плыл туман, густой и мягкий. Хотелось назвать его белым и пушистым, и трудно было представить, что за ним скрываются тяжёлые метры водяных столбов. Когда подходил к середине реки, захотелось справить малую нужду. Он оглянулся—на мосту никого не было. Опёрся на перила и легко перекинул через них не успевшее одряхлеть тяжёлое тело. Туда, в белый и пушистый туман.

Евгений Эдин

## Уроки вокала

## Правда без трусов

Выгрузив бут на участке, я осмотрел днище машины, выматерился и подошёл к малине. У меня прорва малины у забора, и сейчас ягоды в огромных сладких каплях после дождя. Мы с женой густо рассадили колючие кустики два года назад, чтобы умерить любопытство соседей, и первые соседи вскоре съехали, и значит не зря мы садили малину.

Я съел три ягоды; из кустов с другой стороны забора просунулась маленькая рука, сорвала ягоду и исчезла. Я развёл кусты и увидел два серьёзных больших глаза. Щёки под глазами вдумчиво двигались.

— А, Летка-Енка. А я пробил пол в машине, вот и представь. И наделал аварию.

— Ну ты и врун,— сказала она, жуя, и, выпучившись, вытянула губы трубочкой.— Вру-у-унгель.

Мы подружились сразу, как только я переселился в дом на Мангазейской. Точнее, приехал жить и достраивать его, чтобы переселиться и забрать сюда тех, с кем хочу жить, либо замуроваться и обезопасить их от себя.

— Привет,— сказал я тогда, стукнув калиткой.— Ты кто? Как тебя зовут?— и легонько толкнул качелю, которую дед два года назад соорудил для Маши Маленькой.

Тут из соседнего дома, (звякнул китайский колокольчик) вылетела её маман.

— Лена!— вскрикнула она тревожно.— Я кому говорила, мерзость? Ну-ка иди в дом!

— Будешь Летка-Енка. Здравствуйте,— крикнул я и резиново улыбнулся в заборную щель.

— Здравсте... Лена, а ну-ка иди домой, говорят!— привизгнула маман, разглядев меня, убирая с глаза буюлю, и затопала карамельными платформами по узкой лестнице.

— Щ-а-ас!— рявкнула Летка-Енка мне в лицо, расширив огромные серые глаза, спикировала с качели и выдала рысь с взбиванием мокрой земли. Маман, приобняв, поддала ей коленом и толкнула к двери. Растянув пружину, Летка-Енка бросила на меня серьёзный упрямый взгляд.

Летка-Енка— правильный человечеще. Там на лавочке, на зелёной веранде, раскорячены её чудовищные трансформеры в рост лилипута, валяются машинки на пульте управления.

С её маман невозможно говорить осмысленно, с её отцом мы здороваемся по вечерам.

Он директор фирмы пластиковых окон. Он вышлёпывает сланцами из дома, выкатывает пузо линзой телескопа, подпирает поясницу и смотрит на город,— ужасный Дагон, выплеснувшийся на берег осмотреть владения. С нашей горы так хорошо, презрительно смотреть на город, откуда такой снисходительный вид.

Лоб Дагона до того высок, что от глаз до подбородка и от глаз до макушки одинаковое расстояние, и если бы повернуть лицо наоборот, не сразу поймёшь, что не так.

Дагон жмёт руку как токарный станок. На уровне моих глаз вздымается его седоволосая грудь.

Он густо презирает всех, включая меня и жену, маман Летки-Енки.

В первую встречу мы с ним поздоровались, во вторую перекинулись парой слов, а в третий я вынес и показывал ему фото жены и дочери, сам не знаю зачем. Он смотрел в альбом невозмутимо, и неопределённо похрюкивал, и что-то замечал, классифицируя меня, а на следующий день грубовато предложил свой мотоблок— вспахать землю, и помочь с пластиковыми окнами по дешёвке.

У маман дурной характер и тугие бриджи с низкой посадкой, открывающие ямочки выше ягодниц. Она выходит в пять и, выставив ножку на кармельной платформе, поливает из шланга кусты земляники. Сплюснув шланг, чтобы вода летела радужным веером, она может поливать часами.

Она не работает. То есть, работает на дому.

— Представляете, Нателла Борисовна, моя машина поскользнулась на арбузной корке и наделала аварию на триста машин,— говорю я вежливо, и она на всякий случай хихикнет с прононсом.

Она ещё не разобралась, что я за птица, и поэтому пока ещё здороваются и смеётся моим шуткам.

Однажды я объяснял Летке-Енке, почему я вру. — Я пишу разные истории. И мне нужно, чтобы они получались очень правдивые, Летка-Енка,— говорил я, мрачно сплёвывая и думал про своё, а она слушала, и у нас получался взрослый разговор по душам.— Иначе мне жаль времени. Поэтому мне нужна не просто обычная правда, а голая. — Голая!

— Абсолютно без трусов. И вот мне приходится, как бы всё время занимать у жизни, и в моей жизни уже валяется почти одно тряпье, Летка-Енка. Одни трусы от правды.

— Трусы!! Вот ты врун!—любое эмоциональное высказывание Летки-Енки обо мне трансформируется в это восхитительное слово.

— Что ты делаешь в своём домике?

— Я достраиваю его.

— А что ещё ты делаешь?

— Я сплю и ем.

— А что ещё ты делаешь?

— Я читаю книги и пишу книги.

— А ещё?

— Я бьюсь головой о стены.

— Вот ты вру-у-ун!—восторженно протягивает она.

Я набираю номер телефона, уходя в дом—в самую обустроенную, маленькую и недоступную для ушей и взглядов комнатку.

Я звоню по этому номеру часто, но не каждый день. Излишества портят правдивость прозы.

Я звоню, и когда поднимают трубку, рассказываю, что, например, сделал речный пол на втором этаже, а кухню только начал, зато закончил расшивку в туалете, и как хорошо, что мы купили стройматериалы ещё до кризиса, чтоб он сдох и разложился.

«Вам бы понравилось»,—говорю я оптимистично. Но, говорю я быстро, пока на проводе молчат и не возражают: «Разумеется, пока ещё никак невозможно переехать сюда, и ещё порядком не получится, а как там, кстати, Маша Маленькая? Очень скучаю, жаль, что не могу сейчас вас увидеть, но когда дострою, мы сыграем здесь такое новоселье,—воодушевляюсь я,—мы закатим такое...»

Какое?..

Что бы ты ни сделал, хорошее, плохое, настанет время, когда приходится делать следующий шаг, ещё что-то лучшее или худшее, потому что жизнь нужно забивать, как фанерный чемодан, и чем плотнее ты его забьёшь, тем меньше у тебя рук и памяти, чтобы держать в голове, что он непрочен и изначально пуст, и вот ты уже озабочен тем, как бы чего не вытащили на таможне.

Не получается, сделав что-то очень хорошее или плохое, перестать крутить педали.

Чтобы не упасть, нужно следующее нажатие, и легче жать под гору.

И поэтому в жизни я пока только врун и облако, а буду людоед и туча. Мне катастрофически не хватает правды. Мне срочно нужно небольшое преступление.

По ночам я тихо схожу с ума. Я был сторожем, актёром, помощником министра, конюхом, сторожем, актёром, помминистра, конюхом... эти слова—мои якоря, мои опоры, альфа и омега. Я развожу их налево и направо и упираюсь в них,

как в столбы Самсона, и они дрожат и не могут держать меня больше. Почему я так силен, что могу только ломать? Я не горжусь, что был журналистом и актёром, и бренчу на гитаре. Я горжусь, что был конюхом, и помощником министра тоже, прямо перед этим. Я горжусь, что у меня где-то дочь и жена. Я изо всех сил горжусь этим и кусаю подушку и тихонько постукиваюсь головой о стену. В панельном доме за каждой стеной сосед-пенсционер, а тут никого, только заборы и сады, внизу спит деревня, дальше город, и воют цепные псы.

А где-то там, на другой половине земного шара, начинается греть солнце.

### Уроки вокала чудовищной силы

— Я опять пошла на музыку,—сказала Летка-Енка.

— Я это безусловно одобряю,—сказал я.

— Ну-ка, ты, поднимай ноги,—сказала маман, ведя её за руку к джипу.

— Что вы проходили на прошлом уроке? Берёшь октаву?—спросил я.

— Мы проходили... Учительница сказала, что когда волчья пасть, то в голову может попасть еда!

— Фу, что ты говоришь?—возмутилась маман.— Гадости какие.

— А про Бетховена не говорила? Он был совсем глухой.

Маман укоризненно посмотрела на меня и, подсадив Летку-Енку, хлопнула дверью. Взревел мотор, машина, по-женски виляя багажником, выбралась из узкого кармана и умчала Летку-Енку на урок прекрасного.

С музыкой у меня свои счёты.

...Я взбегал на второй этаж, тщательно вытирал мокрый с мороза нос перед зеркалом в холле и заглядывал в её кабинет. Она заканчивала с учениками, поворачивавшими ко мне любопытные рожицы моцартов, и мы уходили в пыльный класс заниматься ма-мо-ми, лё-лё-лё и другими упражнениями для выработки голоса чудовищной силы.

По пути я говорил, как мне неудобно её отвлекать, она вежливо отвечала, что ничего.

У неё были простые руки с коротко подстриженными ногтями. Она любила свитера (в школе топили плохо) и длинные юбки. Она не пользовалась помадой и тенями. У неё был взгляд человека, говорящего неприятное в лицо, и суховатые, чопорные интонации негромкого голоса. И представлялось, что этот голос может поставлено взлетать и страшно звенеть в плафонах люстры, обрушиваясь на непослушных.

Но её любили—со стен кабинета, пахнущего мелом, краской и старыми нотами, смотрели коллективные фотографии; она стояла среди учеников, как солнце в лучах их улыбок, и улыбалась.

Я пришёл к ней в 2003 году, по совету приятеля, здорово поющего нью-метал, и был готов платить за уроки чудовищной силы вокала. Но она сказала,

что не возьмёт денег, так как не сможет заниматься со мной достаточно часто, а просто даст пару советов, это недолго. Присев к пианино, она сыграла несколько упражнений, я повторил голосом. — Неплохо, — бросила она безэмоционально. — Давайте попробуем это.

Я спел «Чистые пруды», натужно вписываясь в тональность, едва не пустив петуха на «и воды отразят знакомое лицо», но ей понравилось.

— Знаете, вы хорошо поёте. Я не совсем понимаю, зачем вам мои уроки. У вас вполне нормальный эстрадный уровень. Вы поёте со сцены?

Я ответил, что нет, мне не хватает уверенности и диапазона, и мне бы хотелось научиться петь с подключением резонаторов. Она покивала, облокотившись на вуаль пианино, сжав губы полоской и смотря снизу вверх умными ясными глазами.

Мы начали заниматься. Я пел, широко открывая рот, отстёгивая челюстные замочки и бешено артикулируя:

— Ма! Мо! Ми!

Она вскидывала голову:

— Ма! Мо! Ми! Ми! Голос должен лететь, Евгений. Ма! Мо! Ми!

— Ма! Мо! Ми! — вращал я белками, сжимая кулаки.

— Да-да! Именно. Модуляция, и-и...

За пару недель мы освоили пение «в маску», при котором от звуковой вибрации невыносимо щекотно губам, пение «в грудь» и «в голову», соединение резонаторов в одну трубу — потому что настоящий певец поёт всем телом.

Я не хотел быть настоящим певцом. После того как меня отчислили с иныза и я вернулся в вымерший Отчинск, я не знал, чего мне хотеть. Мне просто нравились её уроки, она была хорошим учителем.

Со словом «хороший» у неё были отношения. Она спросила, каких певцов я слушаю в последнее время. Я ответил: Беллами, Йорка, Фредди Меркьюри. Она коротко, как бы с удивлением, посмотрела на меня и сказала:

— Это хороший певец.

И отвернулась.

Она говорила «это хорошая песня», «это хороший поэт», вскинув глаза и отчеркнув поворотом головы, — так что эта констатация звучала высшей и конечной похвалой.

— А хороший певец Меладзе? — спросил я. И она ответила, что да, но она бы поработала над его верхами. Это не выглядело ни снобизмом, ни самонадеянностью. Это звучало достойно. Достоинство профессионала, посвятившего жизнь Настоящему Делу, было тем, что привлекало к ней.

## 2.

...Поднимаясь по узкой винтовой лестнице, я раздумываю, удастся ли затащить на второй этаж

обычный холодильник и хотя бы самый скромный диван, или нужно, чтобы они тоже были слегка перекрученной винтовой формы. Меня захватывает мысль, захлёстывает петлёй так, что я резко выпрямляюсь, глубоко и жадно дышу, и, опираясь на стену, прислушиваюсь к болтанке сердца.

Всё в мире взаимосвязано. Прошрое на поверхности спила содержит годовые кольца будущего, стоит сдуть опилки. И то, что отец строил этот небольшой дом в тотальной нехватке денег, хотя мы с женой работали на полутора-двух работах, строил, экономя на кирпиче, бруссе и пространстве коридоров и лестниц, — уже предполагало, что в будущий, достроенный дом не войдут большие вещи для большой семьи. А если войдут, что-то будет не так, неправильно, негармонично, сильно.

А тогда нам было лишь забавно, что наш дом маленький и *хорошенький*. Нам было чуть за двадцать. Мы пригибали головы, чтобы не стукаться головами о верх лестничного проёма, носились по этажам. Открывали узкие окошки, выглядывали друг друга и корчили рожи. Имели право — это *наш собственный дом*, на хрен арендодателей и ипотеку! Мы обманули арендодателей и ипотеку! Тесть, посвистывая, выкладывал печку, и иногда строго и негромко, но очень внятно говорил нам: — Маша, Женя, идите сюда. Так. В зале лавка. Берите, несите, забирайтесь, нужно, чтоб вы надавили вместе...

Здесь тогда всё было в лавках, верстаках, козелках, штабелях половой рейки вдоль стен и сложенном высоко кирпиче, в свежих опилках; а за домом — прозрачные деревья и прохладный упругий ветер. Он ерошил наши короткие волосы, и высоко краснели лэп на пригорках вокруг, как наши персональные Эйфелевы башни, и поэтому никто не догадался глянуть вниз, сдуть опилки и посмотреть на годовые кольца будущего.

Я вижу их сейчас, особенно ярко в темноте, когда я гашу керосинку и ложусь на сыроватую холодную односпальную кровать, пропущенную узкими коридорами и лестницей как «свою», по их тайному уговору в начале строительства.

В 2008 тесть, затосковав без работы в кризис, уехал к бывшей жене в Крым налаживать отношения. Всем нам урезали зарплаты, и дом не был достроен. Нас стало двое, потом трое, теперь я один. И я занимаюсь вот чем — расцарапываю старые болячки. Ещё одно, для чего был построен этот дом. Для чего он был предназначен чьим-то высшим произволом, хотя его строили наши руки. Вглядываюсь в прошлое, чтобы понять, где подвернулась моя лодыжка.

...У неё была дивная лодыжка, и когда нажималась педаль, чуть расходился разрез юбки, оголяя точёное колено в капроновом чулке.

Мы занимались вокалом месяц.

Песни, которые она выбирала для меня, не были сложными по диапазону, но она придавала большое значение простоте и тщательно выпалывала фокусы и красоты, к которым я привык. Исполняя «Strangers in the Night», я впивался взглядом в её туфельку на небольшом каблучке, мягко прикасающуюся к педали пианино. Я делал это без всякой мысли, концентрируясь — меня тянуло привычно задрать голову на верхах, а это было нельзя.

От пения чудовищной силы в голове пульсировало и сжималось. В ушах звенело. В груди плющил молот. Класс плыл, я едва не терял сознание, но это не было неприятно.

На тёмном стекле, за её головой, чуть двигавшейся в такт музыке, кудрявились белые узоры, примораживая желтоватые ноты, кипами лежавшие на растрескавшемся подоконнике. С крышки пианино хмурился гипсовый Бетховен, лохматый как рокер. Спокойно колдовали над клавишами простые красивые руки с короткими ногтями.

Она искоса поглядывала на меня, играя, и на её лице отражалась каждая правильно и неправильно взятая нота.

— Стоп! Евгений, мы о чём с вами говорили? Ну ладно, здесь можно это украинское «Ге», этот «подъезд». Но не надо его втыкать повсеместно. Это удешевляет, понимаете? Ещё раз со второго...

На меня опьяняюще действовало всё это. Близость умной и строгой женщины, красивой простой, чистой и вневременной красотой, её бескорыстие и цельность. Слаженная работа моих профессионально вправленных, соединённых в одно резонаторов. Лодыжка, изящная туфелька, жмущая на педаль. На меня накатывало — и я преступно задираю голову и выдавал ликующее «ля».

Я дважды провожал её до перекрёстка у «Карусели», где она переходила дорогу. Мне хотелось как-то отблагодарить её за потраченное время, хоть смехом, хоть историей про новый синтезатор и волны Маттерно, поэтому я придумал так делать. Мы выходили вместе и шли два квартала. Я смирял шаг, чтобы идти рядом; скрипел снег, что-то было в этом очень хорошее и покойное. Однажды нас обогнала парочка фриков в полосатых шарфах. Они покосились и прошли мимо, и это почему-то тоже было хорошо. Мы медленно двигались к перекрёстку, и вот уже понемногу она рассказывала, что делает ремонт с мужем, что у неё хронически больные связки, поэтому она не поёт профессионально.

Это было самое личное, что я узнал.

### 3.

Я пришёл и стал в полупустой церкви рядом с клиросом — кажется, это называется клирос. Я пришёл положить в ящик деньги за одно нехорошее дело.

Установив на пюпитре ноты, пели три женщины. Одна — старуха в чёрном, вторая — молодая девушка и третья — она.

Она была в сером платке и тёмно-синем платье; те цвета, что были на ней, это были цвета, которые она носила и в мирской жизни.

Чётко, размеренно она пела знакомым, но и незнакомым, не слышанным мной сопрано, своими больными связками; пела осмысленно, строго и чисто, поднимая голову. Девушка тоже пела чисто и хорошо. Старуха пела, как обычно поют все церковные старухи.

Под куполом в лучах солнца бултыхалась пыль, от руки священника и обратно с тихим позвякиванием летало кадило, расплёскивая голубой дымок.

Я даже не удивился, что увидел её. Не удивился, что она работает, то есть служит в церкви. Было бы более странно, если бы она по воскресеньям закатывала огурцы.

— Я слышал, как вы поёте в церкви, — сказал я смущённо-восторженно, когда пришёл на урок в следующий раз. Она подняла вуаль пианино и готовилась заиграть, поднимая руки.

— Случайно зашёл... Здорово.

Она опустила голову... И вдруг её лицо пошло красными пятнами. Я не знал, куда сгинуть — я то хотел как лучше, и сказал правду. Но сказал не только потому, что правда жжёт язык, а чтобы скромно приблизиться к ней — тем, что случайно узнал её маленькую тайну.

Она молчала, смотря на клавиши, пока её лицо и шею уродовали пятна. Так, словно кто-то грубо касался её невидимыми нечистыми пальцами.

— Ну, то есть... Вы были так красивы... — добавил я.

Она, наконец, справилась с собой. Даже сказала нечто вроде «спасибо» или «благодарю».

Мы начали урок. А на следующем занятии она сообщила, что уходит в отпуск, и что со мной может позаниматься другой педагог.

Она написала на листке имя «Любовь Ивановна», её телефон и сухо двинула мне бумажку.

— Можно, я вам позвоню после отпуска? Может, у вас появится время, можно за деньги? — спрашивал я отчаянно, запиная листок, эту чёрную метку, в задний карман.

И она сказала, что Любовь Ивановна — это *хороший* педагог.

Это было отлучением.

— Так. Давайте сразу определимся. Сколько с вас брала Полищук? — осведомилась Любовь Ивановна.

Я назвал серьёзную сумму. Мне было стыдно, что со мной занимались бесплатно, а потом выгнали, словно за подсматривание в душе.

Любовь Ивановна удивлённо подняла бровь, нагнула голову вбок как собака, и, пожевав щедро накрашенными губами, назвала свою цену.

Я заплатил за один урок ма-мо-ми, исполнил «Чистые пруды», и «Strangers in the Night», утонул в сиропе похвал и перестал посещать уроки. Я знал, что перестану, уже когда она сказала «Полишук». По тому, с какой интонацией она сказала.

Через пару месяцев, весной, я устроился на работу, и уже удивлялся, как мог тратить время на всё это, и так жаждать сблизиться с посторонним человеком, вдвое старше, явно не от мира, который поставил себе за правило никогда не улыбаться и не брать денег за урок. Я ругал её «странной» и пожимал плечами, но более, чем странной обругать не мог, и, наконец, забросил всю эту историю на помойку памяти подальше.

Но что-то в ней было, в этой истории, какой-то намёк на будущую, через годы подвёрнутую лодыжку.

— ...Моцарт умер в яме для бедных,—бросила вернувшаяся Ленка-Енка через забор. Маман включила сигналку джипа и пошла следом.

— А Бетховен не сразу стал глухой. Он влюбился!

— Я же предупреждал ещё утром,—напомнил я.— Тебе понравилась музыка, которую они сочинили?

— Да!

— А?

— Не очень!!!

— Да что ж ты орёшь-то мне в ухо?!—дёрнула её за плечо маман, конвоируя к двери.—Как эта... Прямо иди!

Мне в голову вдруг шарахнуло, как мне затащить наверх ореховый шкаф, в который поместятся платя, пальто и пуховик жены, и двуспальную кровать. Я буду разбирать половицы второго этажа—три-четыре широкие доски из лиственницы, пока ещё не прибитые наглухо, и втаскивать то, что мне нужно, минуя узкие повороты лестницы и мнение годовых колец будущего. Прямо, напрямую. Кто-то будет принимать мебель наверху, пока я корячусь внизу, борясь с законом тяготения?

— Ты, Летка-Енка?

...А вообще, Летка-Енка, если напрямик, не так уж комильфо, если ты понимаешь, приходить в церковь, чтобы увидеть, как выглядит в платке женщина, к которой ты ходишь на урок взять «ля» второй октавы и посмотреть, как нога в капроновом чулке с дивной благородной лодыжкой, таинственно оголяясь разрезом, нажимает на педаль расстроенного пианино.

Вера Зубарева

## Вселенная дождя



За сентябрём потянутся дожди,  
Размоют все пути и перепутья.  
От них бы затворить мне часть души,  
Чуть-чуть бездомней и бездольней будь я.  
А так — пускай поют себе навзрыд.  
Прошлѣпаю по праздникам и будням  
Под перебор ветров по древам-лютям,  
Под коими корней ковчег зарыт.  
А между звѣзд, качаясь на ветвях,  
Мечтает тихо дом, почти скворечник.  
Там пишет мальчик, словно второпях,  
В безбрежность обмакнув перо беспечно.  
Пузырит дождь, и пишет он легко,  
Как Лель свирелью капли выдувая.  
И облаком бушует молоко  
Над блѣсткой алюминьевого края.  
Он шепчет, как осипшая листва,  
И першит осень алая в гортани,  
И дождь кипит на ветках и устах,  
И небо разбивается на грани.  
А я иду — как будто нипочѣм  
Мне дождь его над дровом с колокольной,  
Как будто не свирель меня влечѣт,  
Как будто бы не я всего бездомней...



Вот и ветер задул в свой осенний гобой,  
И заплакала птица над стылой водой.  
И заплакала птица,  
И дрогнул листок,  
Оборвался,  
Поплыв с тишиной на восток.  
И светила ему на прощанье звезда,  
Пока он исчезал  
Навсегда, навсегда...

## Грани

1.

Осенью грань между воздухом и водой  
Размывается дождями. Осенью  
Люди-рыбы, связанные одной  
Беззвучной судьбой уносятся  
На берег жизни, в невод её, в сеть  
Из летнего мелкотемья.  
Осенью мирятся жизнь и смерть,  
Как пространство и время.

2.

Ночью встанешь,  
звѣзды в окне нашаришь.  
Слава-тебе-господи скажешь скороговоркой,  
Перекрестишь зеркало, чтоб не просквозило  
Твоѣ отражение в минусовом королевстве.  
Уснёшь. Проснёшься с тяжѣлым сердцем.  
Чего-то не нашаришь. Уснёшь с вопросом.  
И уже никогда на него не ответишь.

3.

Сегодня день её смерти. Впереди  
яркое солнце,  
пыльная площадь,  
базар голубей,  
памятник в бигуди,  
ветер,двигающийся на ощупь,  
перезвон трамваев,  
бешеные часы,  
пароход, поперхнувшийся нотой нижней,  
и арифметическая линейка взлѣтной полосы  
с сантиметрами  
оставшейся  
жизни.



## Стихи о волке

1.

Я думаю, ты всё же постучишься:  
Ближайшее соседство—за версту,  
А вечер погрузил моё жилище  
Почти по окна в темень и листву.  
Сползает со столба лианой провод,  
И в лампе на исходе керосин.  
И это ли не долгожданный повод,  
Чтоб постучать без видимых причин?

Невесело, запущенно и дико  
Мой дом произрастает из земли,  
И вытоптана кем-то ежевика,  
Которую собрать мы не смогли.  
Я слева от чернеющей дорожки  
Наткнёшься ты, когда придёшь ко мне,  
На скользкое негодное лукошко.  
Где ягоды подгнившие на дне.

Тут без труда я приручила волка—  
Всё оттого, что сходно с ним живу.  
Его глаза—зелёных два осколка—  
Пускай сверкают по ночам во рву.  
Хоть изредка скорблю, что не волчица,  
Но не ропщу. Что, думаю, с того?  
В конце концов, ведь кто-то постучится—  
В твоём обличье он, иль ты—в его.

2.

Уже декабрь. Тверда земля в саду.  
Её свело морозами без снега.  
Печально, у растений на виду,  
Замёрзло детство позднего побега.  
Все ночи так привычно холодно,  
Что забываю сетовать на холод,  
Как забываю многое—и город,  
И прежний ракурс ледяной луны.  
У маленького низкого окна  
Сутулюсь, сжав концы платка локтями,  
И мне то ночь безбрежная видна,  
То я сама в оконной дряхлой раме.  
Там продолжает комната моя  
Своё житьё-бытьё полупрозрачно  
И тонет в перспективе декабря,  
И в ночь произрастает многозначно.  
И в отражённый дом помещены  
Деревья, ров у сломанной калитки  
И тощий волк, что воет вдоль луны,  
Претерпевая полнолуныя пытки.  
И я сутулюсь посреди дорог,  
Озвученных той литургией волчьей.  
И в руки, плечи с каждой новой ночью  
Врастает серый подранный платок.

3.

Да, пишу. Негодная хозяйка,  
Я не запасла на зиму дров.  
Чаще стынет ручка-наливайка,  
Ставя кляксы на начала слов.  
В том ли грусть, что буква исказится,  
И дрожит чернильная строка?  
Ты ещё когда прийти решился,  
А всё медлишь, будто жизнь—долга.  
Что ж ты медлишь! Иль боишься волка,  
Что на перепутье двух миров  
С первобытным чувством злого долга  
Ни на миг не покидает ров?

4.

Волк бродил и бродил по обочине  
В поисках человеческих слов.  
На снегу следы многоточиями  
Огибали гибельный ров.  
Не писалось. Листы пустовали  
На чёрном дощатом столе.  
Первый снег, наконец-то, издали  
И слали, и слали к земле.  
Ты читал этот снег прошлогодний,  
Нам обещанный на год вперёд?  
Ах, какие погигли корни  
В тот, из снега изъятый год!  
Ничего, победила природа,  
Хоть слегка повредила в уме.  
И какая юродивость всхода  
Удивить нас готова к весне?  
Что-то я разболелась не в шутку.  
Не заводится в печке огонь...  
Погоди, не мерещься минутку  
И горячечный лоб мой не тронь!..  
Я твоя только в мыслях, а в теле—  
Тот огонь, что ушёл из печи.  
Поскорей бы прижились метели,  
Чтоб не слышать—кричи, не кричи.  
Отсырели проклятые доски.  
Израсходован зло коробок.  
Вы сегодня—читатели-тёзки,  
Ты и поиском занятый волк.  
У, как близко ты ходишь, как внятно,  
Как сухой распаляешь мой бред!..  
Только снег вами понят превратно,  
А листы—это белые пятна  
В родословной азов, буки, вед.

## Сергей Тенятников

# Крики камней

Памяти Е. А. Т.

напророчь мне судьбу фрау речь;  
 выдай мне визу, заполни анкету.  
 я был рождён в розовом восемьдесят первом  
 (между замёрзшей землёй и известковым небом)  
 в городе, о котором ничего не знал.  
 и поэтому ничем не отличался  
 от остальных жителей ойкумены:  
 кидал камни в птиц, держал за щекою монетку,  
 стоял на голове, бегал эстафету.  
 но как я от огромной реки не гнал, она меня догоняла.  
 и в карьем глазу противоположный берег  
 в заводском дыму рисовался тем светом.

я вырос в краю гулливерских сапог и беличьих  
 платиц, кочевал по пространству на ослице.  
 и солнце обжигало мою голову, как глину.  
 был голоден, но слишком молод, чтобы у меня за страну  
 что-то болело, которая сама себя трижды съела,  
 за её прошлое или настоящее, будущее жевавшее.  
 ходил вместе со всеми по одним тропам, болел  
 за компанию гриппом, пил из кружки ржавую водку.  
 в восемнадцать сменил постельное бельё, шрифт и взору  
 милые лица, моя память сделалась чёрно-белой сепией.  
 и хотя я так и не научился молиться... я благодарю  
 тебя за то, что ты по своему образу и подобию меня сотворила.

## Крики камней

мы были сильнее, грознее тучи.  
 мы приняли веру—веру кручи.  
 мы падали вниз, внизу было пусто:  
 ни дна и ни дня мы строили новое русло.  
 нам в каждый затылок светило солнце,  
 но только луна была нам лоцман.  
 мы башней служили, были убиты на пашне.  
 расправьте плечи шире, ступая по рёбрам нашим.

## Возвращение

мысль возникает так же  
 как крик сужается  
 мёртвая хватка камня  
 рождает змею-ужика  
 и тропа обрывается  
 где скелет зверя  
 врос в траву  
 Родины

## Звезда Рождества

в полночь всё замирает.  
темнота превращает рощу олив  
на склоне холма в мягкую мебель.  
огонь, согревая форму тела,  
делает жилищем любой сарай,  
где стены поднимают занавес  
театра теней.  
теней—пара,  
первая смотрит  
на плачущее пламя,  
вторая в ночь за поворот,  
туда, откуда обе пришли.  
огонь горит, тишина в хижине.  
ни ветерка, ни мотылька.  
вокруг ни души,  
и это уже праздник,  
но больше похоже на чудо.  
там, где лежит черепок азии  
от разбитого глиняного сосуда  
суши, в одном из позолоченных царств,  
от цивилизации также далеко как и от реки,  
вспыхнула Звезда Рождества—  
Младенца Крик.



я рос, и вместе со мной  
росли деревья, дома, дороги.  
я рос, росли памятники  
тварям божьим, облака ангелам,  
и над всем росла луна.  
я рос, и под моими ногами  
росли ботинки, насекомые, трава.  
я рос, и под всем росла  
история—эта мина замедленного  
действия.

Евгений Лесин

## Догадал тебя чёрт...



Ан. Н.

Два огаря сюда который год  
Летят весной с далекого зимовья.  
Из зоопарка, кто их разберёт?  
И кто их знает — вдруг из Подмосковья?

А здесь почти что четверть или треть,  
Но кто-то говорит ещё понятно.  
Тут хорошо на лавочках стареть  
Когда-то было, что невероятно.

Теперь здесь по ночам горит салют,  
Гирляндами деревья убивая.

...А памятник тебе — весь Чистый пруд  
И три маршрута местного трамвая.



Не говорите мне: свобода.  
Не говорите: Деррида.  
Майдан 17-го года  
Привел не тех и не туда.

Не говорите мне: держава.  
Не врите больше мне: страна.  
У вас Коломна и Варшава,  
А тут Лубянка из окна.

Живи уж лучше без азарта,  
А то заставят воевать.  
И все слова Рене Декарта  
Дели на 245.

У вас, наверное, излишек.  
А мы и вовсе из Москвы.  
И лишь одна Марина Мнишек  
Из-подо Львова, как и вы.

Не говорите мне: свобода,  
Кто ветеран и инвалид.  
Майдан 17-го года  
И до сих пор ещё болит.

Мы не выходим на рассвете,  
Эй, Мендельсон, играйте туш.  
Ловите, тятя, в ваши сети  
Остатки душ.



Юлию Гуголеву

Нельзя пытаться быть над схваткой.  
Грузовики уже пылят  
Дорогой горною и шаткой,  
И автобаном прямо в ад

Из века в век и год за годом,  
За эшелонном эшелон.  
И философским пароходом  
Опять командует Харон.

Расклад не слишком капитанский.  
Зато любой, конечно, рад.  
Буддистов шлют в магометанский,  
А христиан в китайский ад.

К чему идти навстречу шторму?  
Твой враг, травинку тебе,  
Стреляет в знамя или форму,  
А не в конкретного тебя.

В бой так и рвутся патриоты,  
Антифашисты там и тут.  
По всем каналам — анекдоты.  
И все танцуют и поют.

Идет на дно большое судно.  
Рыбёшке мелкой на беду.  
Мы здесь безвинно и бессудно,  
Шутили грешники в аду.

Понять Вселенную нетрудно:  
Не будь над схваткой — выбирай.  
Мы здесь безвинно и бессудно,  
Хвалили праведники рай.



Утки крикают крикливо.  
Да и яблоня в цвету.  
Я сижу с бутылкой пива  
На Очаковском пруду.

Водка плавает в стакане,  
Пропадает интеллект.  
Как бы выйти, россияне,  
На Мичуринский проспект?

● ● ●  
 Предрекают конец. Да ещё и смеются: бесславный.  
 А другие возможны в такой-то пучине побед?  
 Догадал меня чёрт, как когда-то сказал самый главный  
 И довольно успешный в коммерческом плане поэт.

Догадал тебя чёрт тут родиться с душой и талантом.  
 Можно думать, они хоть когда-то и где-то нужны.  
 Лучше город отдай трудовым толерантным мигрантам.  
 И пускай они режут баранов на благо страны.

Мир, как воля, давно потерял о себе представленья.  
 Лишь один Бонапарт по дороге идёт с кирпичом.  
 Буратины уже превратились обратно в поленья.  
 Догадал тебя чёрт, только чёрт здесь совсем ни при чём.

● ● ●  
 Кто в зоопарк, а кто на партсобрание.  
 А кто и в розыск — чтобы укрощать.  
 Легко сказать: не обращай внимания.  
 И очень нелегко не обращать.

ДиН пародия

Евгений Минин

## Душа в разладе и разброде

### Нет, я не весь верблюд

*Нет, весь я не верблюд!  
 Ещё душа под утро  
 блуждает за окном, отбрасывая тень.*  
 Ефим Бершин

Но я не весь верблюд!  
 Во-первых — я безгорбый,  
 а во-вторых порой я вижу свою тень.  
 По лужицам брожу с набитой словом торбой  
 и в старый Новый год, и в новый старый день!  
 Шататься по Москве — труд вовсе не напрасный,  
 шататься по Москве — полезный очень труд,  
 Таксист мне крикнул: «Эй, козёл, не прись на красный»,  
 и до меня дошло, что я не весь верблюд.

### Антиколыбельная

*Ночь застыла начеку, сжала кулачок.  
 Вытью стопку коньячку, лягу на бочок...*  
 Бахыт Кежеев

Быстро допишу стишок, лягу на бочок  
 И придёт на запашок серенький волчок.  
 Встанет дыбом волчья шерсть, убежит молчком —  
 Он меня не сможет съесть — пахну коньячком!

### Само собой

*Поскольку воздух сам себя не дышит,  
 а бог не хочет верить сам в себя...*  
 Виталий Кальпии

Душа моя в разладе и разброде,  
 От напряженья прошибает пот.  
 Смотрите — снег — он сам к себе не ходит.  
 Ну, а вода сама себя не пьёт.  
 И тишина сама себя не слышит,  
 Себя никак не вылечить врачу.  
 И стих такой себя сам не напишет,  
 Такое лишь Кальпиди по плечу.

### Инфекционное

*Не знаю сам во мне в тебе ли  
 Волошин шёл по Коктебелю*  
 Константин Кедров

Поехал как-то на неделю —  
 соскучился по Коктебелю  
 И был хотя обед роскошен  
 но чую — в животе урчит  
 подумал что во мне — Волошин  
 а оказалось что гастрит.

Алёна Вольф

## Непогода

А дождь всё шёл и шёл. Тяжёлые серые тучи уже почти сутки закрывали небо. Так бывает в последние дни августа, когда ещё не кончилось лето, а осень уже заявляет свои права. Небо всё чаще затягивают тучи, солнце не так, как прежде, нагревает воздух, и во всём чувствуется приближение осени.

Иван Ильич сидел на табуретке напротив распахнутой двери. Дождь барабанил по крыльцу, брызги залетали в сени, отчего отсырел вязаный кружок, лежащий у порога. Натруженные руки Ивана Ильича, сцепленные в замок, покоились на коленях. Глядя во двор, промокший от дождя, он вспомнил августовские дни своего послевоенного детства.

Жили тяжело. Страна, разорённая войной, понемногу приходила в себя. Но в деревнях ещё жили по-военному. Отрабатывали положенное на лесозаготовках, сдавали государству продналог. Себе оставалось совсем мало. Все так же ели крапиву, правда, хлеб уже пекли из муки с отрубями, а не из картофельных очистков с коноплёй и зерновыми отходами. Спасала коровёнка, чудом выжившая во время войны. На ней пахали поле, возили зерно и картошку в колхозные амбары. А в голодном 43-ем её молоко, такое жиденькое, синенькое, спасло маленькую Иришку, родившуюся в этом же году. Мать круглыми сутками работала в колхозе. Её и ещё пять женщин наравне с мужчинами отправили на заготовку леса. Иришке было всего два месяца. Дома остался малолетний Ваня и старая бабушка Аграфена. Бабушка была слепа на один глаз, но проворство в её худеньком теле ещё оставалось. Она управлялась по хозяйству, доила, кормила корову, даже в очень морозные ночи накрывала её своей старой фуфайкой. Молоко подогревала, наливала в стеклянную, оставшуюся ещё от той мирной жизни бутылку, с привязанной на горлышке тряпицей, и кормила малютку. Ваня, как мог, помогал. Носил воду из колодца в конце улицы, рубил дрова и щипал лучинки для растопки. Всё остальное время он нянчил свою любимую Муху (так ласково называла её мать).

Девочка была слабенькой, недоношенной. Она много плакала, едва слышно попискивая в пелёнках. Ваня брал её на руки, целовал в маленькое

красное личико, нашептывал что-то нежное, ласковое. То ли от тепла, то ли от тихого голоса мальчика, ребёнок успокаивался и засыпал, мелко вздрагивая, шевеля ножками. Но стоило положить сопящий свёрток в люльку, писк мгновенно возобновлялся. И снова только на руках она успокаивалась. Так прошли январь и февраль. Дело шло к весне. Скоро из леса должна вернуться Валентина.

Вот снег под окнами и во дворе просел, посерел, вокруг потекли ручейки, а с крыш свисали длинные сосульки. Солнце всё сильнее стало прогревать землю, и на пригорке показался круг вытаявшей земли с пожухлой травой. Бабушка Аграфена, крестясь на образа, прикрытые занавеской, приговаривала: «Ну, вот, слава Богу, и дождались Христова дня!» Так бабушка называла Масленицу. Иришка подросла, гулюкала, улыбалась беззубым ртом, тянула ручки к Ване, к бабушке и норовила вывалиться из люльки. Новая весна давала новые надежды. Тяготы жизни несравнимы с тяжестью ожидания. Уже полгода не было писем от Ильи (отца Вани и Ириши). Дивизия, в которой он служил, была переброшена под Сталинград. Бои там шли тяжёлые, кровопролитные, много солдат погибло. Оттого и ожидание было столь мучительным.

В воскресенье вернулась Валентина. Она вошла в дом похудевшая, с впалыми глазами на обветренном лице. Опустилась на скамейку у дверей, положив котомку с пайком рядом с собой. По щекам текли слёзы. Бабушка и Ваня бросились к ней. Ваня помог снять валенки и фуфайку, а бабушка обнимала, целовала и плакала, приговаривая: «Донюшка моя, доня!» Немного отдышавшись, Валентина подошла к люльке, где сопела недавно поевшая Ирина: «Муха, моя Муха, вот и мама твоя вернулась, миленькая моя, как же я тебя люблю. Каждую ночь, после тяжёлой работы, придя в избу, я мысленно обращалась к тебе, моя родная, я разговаривала с тобой, представляла, как тянешь ко мне свои ручонки, агукаешь, так я и засыпала с этим видением». Налюбовавшись на дочку, Валентина взяла со скамьи котомку, развязала и выложила на стол краюху серого, похожего на булыжник, хлеба, мешочек зерна, пять картошин,

кусочек мыла, узелочек с сахаром и горсть семечек. Сегодня праздник, можно поесть. Ваня с бабушкой уже истопили баню. Валентина подошла к сундуку, стоявшему у окна, достала из него чистое бельё себе и детям. Вдруг на её лицо набежала тень — она увидела на дне аккуратную стопочку треугольничков, перевязанных синенькой тряпочкой. Это письма от мужа с фронта. Она опустила её на пол около сундука, развязала тряпочку и буквально впилась глазами в ровные строчки, написанные химическим карандашом, вымаранные цензурой, отчего на бумаге растеклись коричневые пятна, похожие на засохшую кровь.

Илья писал что воюет, что «немцы прут, но мы им хребет ломаем», что любит, просил беречь детей и маму Груню, обещал вернуться живым. Слезы текли по щекам, не высыхая. Где же сейчас её любимый и милый Илюша, может, ранен и лежит в госпитале, а может... нет, не может. С ним ничего страшного случиться не может, его хранит её любовь. От этой мысли стало легче, слёзы высохли. Валентина поднялась с пола, положила письма обратно, закрыла крышку. Тут подала голос проснувшаяся Иришка. Она уже не пищала, а орала громко и настойчиво. Мать взяла дочку на руки, и крик мгновенно оборвался. Муха таращила на незнакомую тётку огромные серые глаза, пытаясь сообразить, кто это. Валентина прижала девочку к себе, нежно поглаживая по голове и спинке: «Совсем забыла свою мамочку, красавица моя!» Видимо, ребёнок, почувствовав родное, затих на плече у женщины. Потом была баня, а вечером праздничный ужин с варёной картошкой, хлебом и молоком (точнее кипятком, чуть забелённым молоком), на десерт были семечки. Жизнь потекла дальше.

В конце марта в двери Новосёловых постучала почтальонка. Она принесла казённую бумагу, в которой было написано: «Капитан Новосёлов Илья Петрович пропал без вести в бою за деревню Ивановку». И стояла дата 5 февраля 1944 года. Известие подкосило бабушку. Она очень любила своего зятя, и это «пропал без вести» забрали остатки здоровья. Аграфена слегла. Валентина ухаживала за матерью, Ваня приносил еду, воду, по слогам читал старую книгу «Хождение за три моря Афанасия Никитина». Иришка уже начала ползать, и за ней нужен был глаз да глаз. Мать работала допоздна. Скоро посевная, нужно было приготовить семена и плуги. Дни стали длиннее, солнышко уже светило вовсю, врывалось в окна тёплыми лучами, нагревая на полу половицы. По ним-то и путешествовала Муха. Ближе к лету бабушка начала вставать с кровати, медленно ходила по дому, варила еду, караулила внучку, пока Ваня был в поле. Дети вместе со взрослыми работали

на посевной, позже — на сенокосе и уборочной. Дороги были каждые руки. Работы хватало всем. Валентина замкнулась в себе, но в душе надеялась, что Илья всё-таки вернётся.

Наступил май 1945 года. Весть о победе принёс председатель. Он бежал через поле, запинаясь и падая, его волосы разлохматились, пиджак расстегнулся, пот тёк ручьями, он размахивал руками и кричал: «Победа! Победа!» Почти все жители были в поле — шла посевная. Ещё издали они увидели бегущего Макара Никитича, но понять, что случилось, было трудно. Но вот донеслось: «Беда! Беда!» Люди бросили работу и со страхом ждали председателя. Он подбежал, едва переведя дыхание, охрипшим голосом, хватаясь за бок, выдавил: «Победа!» — и без сил опустился на землю. На секунду повисла тишина, но потом люди бросились обнимать друг друга, целовали коров, трясали пришедшего в себя Макара Никитича, плакали и смеялись одновременно. Работа была оставлена, и все вернулись в деревню, а вечером собрались в конторе, где ещё раз прочитали правительственную телеграмму о победе над фашистами.

Бабы снова хлюпали носами, постоянно приговаривая: «Слава Богу, теперь мужики вернутся, заживём по-старому!»

Многие, скорбно поджав губы, вытирали концами платков слёзы, и каждая думала: «Ваши-то вернутся, а нашим вечная память...»

А после был праздник. Накрыли один стол, хозяйки принесли, кто что мог. Дед Ерофей притащил бутылку с мутной жидкостью, бухнул её на стол и сказал: «Всю войну хранил в сундуке, думал, сын придёт, встречать будем... Сёдня большой день, гуляйте и за Ваську мово тоже!» — и, смахнув слезу, пошёл к концу стола, где сидела бабка Дуся — дородная женщина с крупными чертами лица. Веселились до позднего вечера, девки плясали, пели под гармошку того же деда Ерофея. Жизнь продолжалась.

Скоро стали возвращаться домой фронтовики. Только в семью Новосёловых не пришла радость. Напрасно мать каждый день встречала почтальонку у калитки и задавала один и тот же вопрос: «Есть?» И, услышав отрицательный ответ, возвращалась в дом, плотно прикрыв за собой дверь.

Прошло два года. Однажды вечером, когда вся семья ужинала, в дверь постучали. Валентина пошла открывать. На пороге стоял немолодой, заросший щетиной, худой человек, в грязной фуфайке, разбитых сапогах, с тощей котомкой за плечами. «Новосёловы?» — спросил поздний гость. Женщина утвердительно кивнула, приглашая гостя войти. Мужчина вошёл, присел на краешек скамьи и медленно заговорил.

Он рассказал, что был осуждён в тридцать седьмом по доносу на 10 лет, отбывал на Севере, и там встретил Илью Новосёлова. Их, попавших в плен зимой 1944 года, освободили из концлагеря в начале 1945, а через месяц уже отправили на лесоповал. Поэтому не было писем. Валентина пригласила гостя к столу, хотя картошка уже остыла, а хлеба остался маленький кусочек. Всё это женщина подвинула к человеку, который сейчас вернул её к жизни. Илюша *жив!* Уложив детей спать, женщины ещё долго разговаривали с Фёдором Степановичем (так звали их гостя). Он рассказал, что жил в Новосибирске, работал мастером строительного участка. После работы собирались большой компанией у них дома, веселились, рассказывали

анекдоты. Вот за них-то и получил срок. Десять лет без права переписки. Отбыл срок. Сейчас пробирается домой к жене и дочке. Разошлись далеко за полночь. Фёдору Степановичу постелили на сундуке, около окна. Валентина до самого утра не сомкнула глаз. Теперь она знала, что муж жив и, хотя не скоро, но вернётся. Утром Валентина проводила гостя за околицу на дорогу, ведущую к станции. Вернулась домой, и как будто крылья выросли. Она накинула на плечи кофту, повязала голову платком и пошла на работу, не пошла — полетела. Ноги едва касались земли, лицо — сияло... Собравшиеся около конторы бабы заметили перемену в Валентине, начали расспрашивать, но она лишь отшучивалась, говоря: «Счастье нашло!»

ДиН пародия

Евгений Минин

## Что пьют лириканы с критиканом?

### Сигнатура

*Храни меня в сухом прохладном месте,  
Бери меня четыре раза в день...*

Анна Аркатова

В подсказке, милый, не ищи коварства,  
Как я — такую в мире не сыскать.  
Бери меня, как ценное лекарство,  
Четыре раза в день, а сможешь — пять.  
Конечно, опасаясь женской мести,  
Предупреждение вставила в строфу:  
Храни меня в сухом прохладном месте,  
Чтоб люди не застукали — в шкафу!

### Классическое

*Читаю прозу и стихам не верю,  
Почти не плачу — ни весной, ни до,  
И чувствую, как личную потерю  
«Вишинёвый сад», «Дворянское гнездо»...  
(из книги «Осенние праздники»)*

Анна Гедымин

Всю нашу прозу, следуя советам  
Перечитала поперёк и вдоль,  
Уже не плачу — ни весной, ни летом,  
Ни до, ни ре, ни ми, ни фа, ни соль.

Над книгами застыв в немом укорё,  
Я классиков незримо обниму,  
Как личное воспринимая горе  
Трагедии «Каштанки» и «Муму».

### Женские тайны

*Как пахнут морем и жасмином  
Мои латышские духи!  
И вот, чтоб нравиться мужчинам,  
Я ими брызнула в стихи.*

Марина Бородицкая

Тебя, читатель, знаю точно  
Мои стихи не утомят.  
Я придавать умею строчкам  
Какой угодно аромат.  
Порою брызгаю заразу  
В них —  
хлор и даже аммиак.  
Такие вслух читаю сразу,  
Когда привяжется маньяк.

### Лирическое

*В России живут лириканы —  
лирические великаны.  
Юрий Беликов*

В России живут критиканы,  
Они у нас словно вулканы,  
Такую вдруг выплеснут лаву,  
Что враз погружаешься в славу.  
Что пьют лириканы с критиканом?  
О том неизвестно пока нам,  
Но им подливает в стакан  
Известный мне пародикан!



Михаил Юдсон

## Благие берега

Вера Зубарева. Гавань.—Одесса: Фаворит, 2011

Не ахти положено начинать с обложки, но там же Белла Ахмадулина ворожит, вольно плещет неводом, и немедля приникаешь и проникаешься: «Сначала я увидела её стихи, изображение соотнесло их с морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и, несомненно, ранним мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря».

Я наскоро заглянул наугад—и сразу не то что бы встал на якорь, скорей, затянуло саргассово и повлекло по тексту.

Песок под ладонью—  
Словно ворох старых бумаг  
Из отцовского ящика...  
Всю ночь шелестят-говорят  
Эти строки зыбучие—слушай и слушай.  
В этом мире прибрежном  
Неизменны только моря.

К ним причалишь после скитаний по суше...

Воистину—в начале был причал! Слово у Веры Зубаревой несёт благую весть морскую, оно у неё из того семейного зона, когда отец-океан любовно покрывал мать-сыру землю.

Задача поэта обычно привычна—раздобывать разумное, доброе, отмерять вечное, изыскивать изысканное. У Зубаревой к этому вполне волшебным примешивается лов волн, курлыканье маяка, «со-люю пропахшее небо», «сплетения памяти-невода», вдобавок «раковинами имён тяжело обрастает корма» и «в склепах раковин, тёплой водою под-свеченных, только тени усопших моллюсков да йодистый траур»—и как благодарный траулер я тащу и тащу подобное, серебристо поблёскивающее, из глубин книги, повторяя благодарно: «Я иду и иду по осколкам закатного зарева. Волны катятся, словно пустые бутылки». Да точно ведь, глаза под ноги открылись—эх, сколько зим не замечал!

А дальше—больше, звуки семафорят, сигналият по-морскому, подают знаки, будто своему—«моллюск гигантский, полонивший сушу,

придумавший себе любовь и душу...» И это хорошо, и это такое славное:

И снова тени памятных страниц  
На многомирье расщепляют время,  
И нелинейный странник—мысль-Улисс—  
Судьбы-мигрантки множит направленья.

Постепенно сродняешься с книгой, не хочется покидать её обжитую гавань, тянет на приколы—и уже сама Вера Зубарева звучит как палиндром...

Кстати, вкратце о ней: писатель и литературовед, профессор Пенсильванского университета, автор многих книг поэзии, прозы и литературной критики на русском и английском языках, лауреат престижных литературных премий. Плюс романтически-русалочье обличье на обложке—в босоножий догон образному ряду под кожей книжки. Невольно тут читательски вскричишь—увиджу ль Пенсильванию до старости моей?!..

Сижу вот и по новому кругу гоняю гаммами гармонию:

То и снится, что аукнется  
В памяти, где мы—вчера.  
Где уводит к морю улица  
Чуть запавшей чёрной клавишей.

Или иное нотное, запавшее в извилины, к которому возвращаешься лунной дорожкой строк—«как одинокий движущийся берег, минуя погрузневшие дома, стоящие всю жизнь свою на рейде».

До-ре-минувшее периодически оживает у Зубаревой—недаром книга посвящена памяти отца, капитана дальнего плавания, журналиста и писателя Кима Беленковича. «Там сидим на побережье мы, временем не опечалены...»

Ну, неустанно можно вычерпывать—строчками и строфами, но вряд ли это впрок—стихию стихотворную таскать цитатным решето. Читайте сами—заходите в «Гавань», благо интернет раскинулся ныне широко.

Я створки сборника Веры раскрывал с надеждой и затворю, потихоньку бормоча полюбившееся: «Весло пера замешкалось в ладони...»

Евгений Мамонтов

## Парад уродов

*Скончался Х. Гигер. Его памяти  
автор посвящает эту заметку.*

Уродство ходкий товар на нынешнем рынке. С ним может тягаться только красота, и я не знаю, кто победит.

Если довериться известному выражению «Красота спасёт мир», то уродство, по логике доказательства от противного, — его погубит.

Таким образом, перед нами интересное соревнование, кто быстрее?

Красота спасёт или уродство погубит.  
Увлекательно.

Самое сложное в этой игре правильно выбирать фишки. Допустим, вы за красоту играете. И набрали себе пасторальных картинок с берёзовыми рощами, объёмных китайских открыток с водопадами и тиграми. А вам говорят — это пошлость и уродство. А ваш противник ради шутки взял, чего осталось, парадные портреты и всякой размытой мазни, и его вдруг хвалят, говорят — это шедевры, классицизм и импрессионизм. Тогда выходит, что победила дружба и у вас с противником одинаковый вкус. И вы дружно бьёте арбитра за то, что он ничего не понимает в прекрасном. Ваш мир спасён и осталось только выбрать весёленькие занавески для кухни.

Живописец Андрей Рублёв очень долго писал свои работы. А вот китайцы очень быстро изготавливают огромные объёмные открытки с Троицей, Богородицей и Христом. Вы скажите: Фу! Китайцы пошляки. Нет, китайцы буддисты, но в первую голову коммерсанты. Они не повезут товар, на который нет спроса. Ну, и кто же тогда пошляки? И я ни разу не видел на китайском базаре объёмного раскрашенного Будду на открытке. А то бы взял, честное слово. Просто в отместку.

Но оставим предметы религиозного поклонения и перейдём к предметам поклонения светского.

Как-то одного известного антрополога спросили: «Как вы отличаете мужской череп от женского?» Он улыбнулся и сказал: «Женский красивей».

Пару лет назад все наши подростки сделались его последователями. Вся тинэйджеровская одежда была украшена черепушками. Шапочки, варежки, шарфики, косыночки. А раньше череп считался

(по недоразумению) страшным, его рисовали на своих флагах пираты, пугая мирных купцов.

Безобразное, уродливое, страшное прописалось в нашей жизни на тех же правах, что и красота.

Вот я смотрю утром из окна, потом вижу людей в автобусе, оглядываю книжные полки в магазинах и обложки журналов в киоске, при этом невольно слышу окружающую речь, слушаю политические новости и музыку; и думаю — где же она притаилась, красота? И как она собирается справиться со всем этим вышеперечисленным. Если ей удастся столь малыми (что они даже незаметны) силами спасти мир, то это будет некое чудо военного искусства.

А, кроме того, ребята, не спешите улыбаться красоте. Ведь если она однажды придёт спасать мир — она уничтожит всех нас и всё, что мы привыкли любить. Вы на это согласны? Победа красоты это некий Апокалипсис всему нашему миру.

Впрочем, автору свойственно сгущать краски. Не бойтесь. Никто нас не тронет. Мы для чего-то кому-то нужны. Или на нас окончательно махнули рукой, живите, дескать, как хотите...

Интересно, откуда пришло уродство. Возьмём альбом с репродукциями античного искусства и современного. Начнём сравнивать. Сразу увидим, что греки и римляне бежали безобразного, у них был культ красоты и здоровья, физической радости. Есть место печали и страданию, но нигде нет уродства. Античное язычество пронизано светом, порой просто дурашливым легкомыслием. У них всё под музыку, всё в танце, даже трагедия. Танцующие, пьющие вино, красивые боги, умевшие терять голову от страсти, совершать глупости и сожалеть о них и совершать другие.

Падение римской империи, занавес падает, не до искусства. Крутом хаос. Когда занавес вновь поднимается в Средние века, мы снова видим танец, но уже другой — макабр.

Макабр становится самым популярным, самым тиражируемым сюжетом живописи. Пляска мертвецов на кладбище — любимая аллегорическая картина этой эпохи, смысл которой — мы все уже мертвецы, земля — это огромное кладбище, недалёк тот день, когда и ты займёшь своё место в этом танце на погосте. Взгляд, возможно и верный,

но слишком мрачный, имеющий своей целью изгнать плотские радости, предаться аскезе и самобичеванию, утопить всю весёлую природу бытия в чаше скорби. Никто не создал столько чудовищ, сколько католическая церковь, вдохновенно разрабатывавшая и тиражировавшая картину ада с его муками. *Monstrorum artifex* переводится с латыни, как создатель чудовищ. И главным достижением латинской христианской церкви в этой области было создание института Инквизиции, ставшей филиалом ада на земле.

Сегодня тёмное влечение к мрачному, некрофильскому, отталкивающему эмансипировалось от теологических догматов и обрело светскую резвость. Апостолом этого направления стал швейцарский художник Ханс Рудольф Гигер, прославившийся созданием монстра для фильма «Чужой» и получивший за свою работу Оскара. Монстру из этого фильма есть даже памятник во Владивостоке, собранный достаточно остроумно из автомобильных, велосипедных и прочих запчастей (думаю, Гигеру понравилось бы). «Чужой» — самое известное, но, на мой взгляд, не самое отталкивающее из творений мастера. Основной приём

художника — сочетание натурализма и механистичности. Основные темы — соитие и эмбриональное развитие. В сущности, мало кто обращает внимание, что Гигер активно продолжает один из христианских мотивов. В каждой своей работе художник показывает — плотская любовь это грязь, половые органы омерзительны, зачатие омерзительно, эмбрионы, плавающие в некоем розоватом студне омерзительны, акт рождения — апофеоз омерзения. Гигер популярен, есть фан-клубы, кафе, оформленные в стиле его работ. Правда, он уже патриарх, ему за семьдесят. Но какая армия молодых последователей! Проверая правильность написания латинского термина в этой статье, я обнаружил, что существует одноимённый сайт, с соответствующими картинками, которые уже давно выходят подборками и сериалами. До Гигера им, как до Луны, конечно, но общая тенденция к смакованию жути и уродства сохраняется ими свято. Я уже не буду говорить про сумерки разума, опустившиеся на киноиндустрию, помешавшуюся на вампирах, криках и бензопилах. Места не хватит. Да, потеснитесь, приличные господа, уродству тесно в нашем мире.

ДиН стихи

Тамара Сафарова

## По прихоти забывшейся весны



Стекала утренняя мгла  
По мокрым крышам.  
Я в дом на цыпочках вошла,  
Никто не слышал.

Но вопрошали зеркала  
В упор, как дети:  
Ты где была.  
Как ты могла  
Ему ответить?

Теперь глаза куда девать —  
Ну что за прихоть?  
Скорее бухнуться в кровать  
И там затихнуть.

Так одеяло натянуть,  
Чтоб глаз не видно.  
Легко и счастливо вздохнуть:  
Как мне не стыдно!



Пока рассвет пытается расставить  
Слова и вещи по местам своим,  
Мне человек с восточными чертами  
Так объясняет живопись «сё-и»:

Он говорит: «Смотри, всё очень просто:  
Вода и горы. Сверху мир размыт.  
Мы не видны с тобой, как утром звёзды.  
Но звёзды есть. А, значит, есть и мы».

Он кисть воображаемую крутит,  
— Какой смешной ненужный разговор!  
У человека ласковые руки,  
И мне немного грустно оттого,

Что среди тех, чьи души неразлучны,  
Чьи дни и судьбы переплетены,  
Мы с ним — приобретение «по случаю»,  
По прихоти забывшейся весны.

Евгений Минин

## Высшая элита

## Не сахарное

*Я, конечно, девочка не сахар,  
Из меня конфетку сделать сложно.  
Мария Ватутина*

Я, конечно, не из мармелада,  
И подавно, что не фунт изюма.  
И не так легко со мной поладить,  
Если что — не оберётесь шума.  
Жить не просто с женщиной поэтом,  
Стихотворцы — высшая элита.  
Лишь тому, кто болен диабетом,  
Я простой батончик из ксилита.

## О мелких рогатых

*По разным наездившись странам,  
По всем часовым поясам,  
Вернулся я к нашим баранам,  
С рожденья им будучи сам.  
Игорь Иртеньев*

В окно посмотрел утром рано,  
И слышу — в душе непокой,  
Поскольку — кругом все бараны,  
И я среди них же такой.  
Пусть многие так не считают,  
На наше правительство злы,  
Но те, кто меня не читают,  
Они ещё хуже, козлы.

## Об укусах не спорят

*Но, не кусаясь, Евтушенко с Бродским  
на книжной полке рядышком стоят.  
Евгений Евтушенко*

Идиллия, друзья, — на книжной полке,  
Где Дант, Софокл, Гёте и Сократ,  
Там Евтушенко с Бродским — не как волки,  
А как ягнята рядышком стоят.  
Всё с ними ясно, чётко, непреложно,  
И критики теперь за них — горой.  
Кусать — к чему, а покуситься — можно,  
Когда на полке рядом, и — живой!

## Искреннее

*Корабль плывёт, дельфины лают,  
судьба — вместилище трухи:  
как жаль, что нынче не ссылают,  
не убивают за стихи.  
Александр Кабанов*

Поэтов развелось повсюду —  
куда ни плюнешь — рифмоплёт.  
Лютует критик, бьёт посуду —  
а караван себе идёт.  
В литературу мы попали:  
кто — от сохи, кто — от станка.  
А так писать, чтоб убивали —  
у нас ещё кишка тонка.

## Соломенительное

*А я меж тем давно хватаюсь,  
Как за соломинку, за стих.  
Роберт Винонен*

Стихи — соломинки спасенья,  
Я не писать уже не мог,  
За жизнь свою на удивленье  
Понаписал огромный стог.  
И книжек разлетелась стая,  
Купить их можно без труда.  
Я представляю иногда  
За что вы схватитесь, читая...

## Мочальное-печальное

*На дуэли мочат Тузенбаха,  
Сад вишнёвый рубят на дрова.  
Александр Городницкий*

Нынче я не весел, но задорен,  
Чтиво лезет к нам со всех сторон —  
На арапа всех берёт Фандорин,  
Букер заголяет афедрон.  
Пипл схавал «Голубое сало»,  
А «The Тёлки» ищут сеновал,  
Ну, а тех, кто в рубриках журнала,  
Пародисты мочат наповал.

стр.  
116

Антонов Алексей Константинович  
Москва, 1955 г. р.

Доцент Литературного института им. А. М. Горького. Окончил филологический факультет мгу, Высшие литературные курсы и аспирантуру по кафедре литературы и литературной критики Литературного института им. А. М. Горького. Подготовил ряд учебных пособий по теории литературы. Основная сфера интересов—теория прозы, русский роман XVIII–XX веков, теория жанров. Как литературный работник печатался в журналах «Московский вестник», «Москва», «Литературная учёба», «Лепта», «Грани» и др.

стр.  
21

Беликов Юрий Александрович  
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой» и «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий—им. Павла Бажова (2008), им. Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии им. Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского 1-й степени. В настоящее время—собкор «Литературной газеты».

стр.  
133

Бершин Ефим Львович  
Москва, 1951 г. р.

Родился в Тирасполе. С 1974 по 1979 год учился на факультете журналистики мгу. В те же годы был участником знаменитой литературной студии «Луч» Игоря Волгина. Первая подборка стихов вышла в 1988 году в журнале «Юность». В дальнейшем стихи, проза, публицистические статьи регулярно публиковались на страницах всех крупнейших литературных изданий России—«Литературной газете», журналах «Юность», «Новый мир», «Дружба народов», «Континент» и др. Стихи вошли также в изданную Евгением Евтушенко антологию «Строфы века». Произведения автора переведены на несколько европейских

языков и напечатаны в США, Аргентине, Германии, Франции, Израиле. С 1990 по 1999 год работал обозревателем «Литературной газеты», где совмещал литературную публицистику с выездами в «горячие точки»—Приднестровье и Чечню. Результатом этой работы стала книга документальной прозы о приднестровской войне «Дикое поле». Автор поэтических сборников: «Снег над Печорой», «Острова», «Осколок», «Миллениум», «Поводырь дождя»; романов: «Маски духа», «Ассистент клоуна». Член СП России и Русского пен-Центра.

стр.  
124

Бобров Александр  
Москва

Поэт, публицист, бард, теле-радиожурналист. Выпускник Литинститута и Академии общественных наук. Работал в «Литературной России», в издательстве «Советский писатель», в телекомпании «Московия». Секретарь правления Союза писателей России. Автор 40 книг поэзии, прозы, публицистики. Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Московского государственного университета культуры и искусств, член-корреспондент Академии поэзии, член редколлегии газеты «Советская Россия» и журнала «Русский дом», лауреат премии им. Дмитрия Кедрина «Зодчий», премии им. Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи...», премии «Имперская культура» и «Слово к народу».

стр.  
118

Будин Олег  
Электросталь, 1961 г. р.

Родился в подмосковном Ногинске. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар С. С. Арутюнова) в 2011 году. Автор трёх книг. Печатался в изданиях: «Литературная газета», «Москва», «Подъём», «Переправа», «Литературная учёба» и др.

стр.  
138

Бушуева (Китаева) Мария  
Москва

Прозаик, автор нескольких книг, в том числе романа «Отчий сад» (2012), сборника (две повести и рассказ) «Модельерша» (2007), романа «Лев, глотающий солнце», публикаций в периодике («Московский вестник», «Юность», «Алеф» и др.) Несколько рассказов были включены в сборник избранных прозы (2007). Как Мария Китаева издала в региональном издательстве роман «Дама и пдд» (2006), публиковалась в сетевых журналах. Автор известной в кругу специалистов литературоведческой монографии «„Женитьба“ Гоголя и абсурд» (гитис, 1998). По первой профессии—психолог,

прошла специализацию как психотерапевт (неврозы), также занималась проблемами экстрасенсорного восприятия и парапсихологией.

стр.  
167

Валерина Ирина

Бобруйск (Беларусь), 1975 г. р.

В 2014 году в издательстве «Эйдос» (СПб.) вышла первая книга автора—сборник стихов «Держась за воздух».

стр.  
188

Вольф Алёна Викторовна

Минусинск

Родилась в Минусинске. После окончания Минусинской средней школы обучалась в Хакасском государственном университете на филологическом факультете. Работала учителем русского языка и литературы в родной школе. Позже, работая в Минусинском музее им. Н. М. Мартыанова, параллельно училась в Красноярском краевом колледже культуры и искусства на отделении «библиотекарь».

стр.  
28

Дубровская Ирина

Одесса, 1965 г. р.

Родилась в Одессе. Окончила филфак Одесского университета. Член СП России и Южнорусского союза писателей. Автор 10-ти поэтических сборников.

стр.  
9

Ермолаева Светлана Анатольевна

Алма-Ата, 1946 г. р.

Родилась в Якутске. Окончила Алма-Атинский институт иностранных языков. Публикуется с 1975 года. Автор 22 книг в разных жанрах, среди них: «Жители жёлтого дома», «Светлое настоящее», «Поцелуй Сатаны», «Продажные», «Нимфоманка», книга стихов «Мой Высоцкий», мелодрама «Мать Лилия», по мотивам которой на Одесской киностудии с участием российских и украинских актеров снят художественный фильм «Господи, помилуй заблудших!». Печаталась под псевдонимами Мощева, Горедева.

стр.  
182

Зубарева Вера Кимовна

Филадельфия

Родилась в Одессе. Доктор филологических наук, поэт, писатель, литературовед, режиссёр. Главный редактор журнала «Гостинная». Президент Объединения Русских Литераторов Америки (ОРЛИТА). Преподаёт в Пенсильванском университете искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики, режиссёр художественного фильма по мотивам пьес Чехова «Четыре незадачливых семейства». Лауреат международных литературных премий, в том числе Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010). Пишет и публикуется на русском и английском

языках. Первый поэтический сборник «Аура» (1990) вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной.

стр.  
58

Зурабов Армен Арамович

Москва, 1929 г. р.

Родился в Тбилиси. Прозаик, драматург, режиссёр, сценарист. Окончил Тбилисский Государственный институт инженеров железнодорожного транспорта, Литературный институт им. А. М. Горького и Высшие режиссёрско-сценарные курсы при Союзе кинематографистов. Работал инженером-мостовиком на Кубани, Волге, Урале, в Сибири. Автор сборников рассказов: «Маленькие новеллы», «Ожидание», известной телефильмы «Лица», романа «Тетрадь для домашних занятий», опубликованного в 1984 году в журнале «Новый мир». На Центральном телевидении в качестве режиссёра снял по этому роману трёхсерийный фильм-телеспектакль «Монолог Камо». Из других телевизионных работ им были сняты «Песни песней»—об Армении, «Трюк Симато»—о цирковой династии, «Час ученичества»—о Марине Цветаевой, 2-х серийный художественный фильм «Рождение». Член Союза писателей и Союза кинематографистов России.

стр.  
131

Илюхина Галина Александровна

Санкт-Петербург, 1961 г. р.

Поэт. Родилась в Ленинграде. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей. Редактор лито «Пиитер», зам. главного редактора литературного журнала «Зинзивер», автор и куратор литературных проектов «Город Мастеров», «Невская перспектива» и др. Один из основателей и организаторов ежегодного международного литературного фестиваля «Петербургские мосты». Составитель поэтической антологии «Аничков мост», посвящённой современным стихам о Петербурге. Финалист VI Международного литературного Волошинского конкурса (2008). Лауреат независимой литературной премии «Молодой Петербург» в номинации «Поэзия» (2009). Специальный приз СРП Международной Волошинской премии-2013. Входила в лонг-листы Григорьевской премии (2010, 2012) и в шорт-лист премии им. Н. В. Гоголя (2010).

стр.  
113

Киляков Василий Васильевич

Электросталь, 1960 г. р.

Родился в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе в городе Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт им. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия» и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии «Традиция». Член Союза писателей России.

стр. 33  
Ковалевич Александра  
Санкт-Петербург

Поэт, переводчик, критик. Родилась в Ленинграде. В Ленинграде окончила школу, строительный техникум и строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). В 2012 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Работает в строительной сфере. Автор сборника стихотворений «Ведьмина дорога» (2010). Публиковалась в газете «Поэтоград», в журнале «Зинзивер». Иногда печатается под псевдонимом «Александра Романова».

стр. 72  
Крупин Владимир Николаевич  
Москва, 1941 г. р.

Родился в селе Кильмезь Кировской области. Работал слесарем, грузчиком, рабселькором районной газеты. Служил в армии в ракетных войсках. В 1967 году окончил факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. Работал редактором и сценаристом на Центральном телевидении, в издательстве «Современник», был главным редактором журнала «Москва», преподавал в Литературном институте, в Московской духовной академии, в других учебных заведениях. С 1998 — главный редактор христианского журнала «Благодатный огонь». Автор более 30 книг. Широкую известность автору принесла повесть «Живая вода» (1980). Секретарь правления Союза писателей России. Многолетний председатель жюри фестиваля православного кино «Радонеж». Лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «За значительный вклад в развитие русской литературы» (2011).

стр. 168  
Кузнечихин Сергей Данилович  
Красноярск, 1946 г. р.

Родился в пос. Космынино Костромской области в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт (1969). Работал инженером в Свирске Иркутской области и в Красноярске, а затем — сторожем (с 1989). Печатается как поэт с 1977. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность». Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация. Повести и рассказы». «Омудёная бочка» и другие. Печатался в «Литературной газете», в журналах: «Дальний Восток», «Сибирские огни», «День и ночь», «Наш современник», «Зарубежные задворки», «Киевская Русь», «Арион», «Дети Ра» и других. Член СП СССР (1991). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981). Зам. главного редактора журнала «День и ночь». Член Международного Союза писателей XXI века.

стр. 3  
Курбатов Валентин Яковлевич  
Псков, 1939 г. р.

Литературный критик, литературовед, прозаик. Родился в Ульяновской области. Долгое время жил на Урале. Служил на Северном флоте. Окончил ВГИК. Выпустил книги о В. Астафьеве, гоголевском иллюстраторе А. Агине, М. Пришвине, В. Распутине, автор множества статей по русскому искусству, русской и зарубежной литературе. Член Союза писателей России, член жюри литературной премии «Ясная Поляна». Академик Академии российской словесности, лауреат премии Л. Н. Толстого за 1998 год, премий за лучшую работу года журналов «Наш современник», «Литературное обозрение», «Смена», «Урал», «Москва» и др.

стр. 115  
Лаврентьев Максим Игоревич  
Москва, 1975 г. р.

Поэт. Родился в семье дирижёра и композитора И. А. Лаврентьева. Получил среднее музыкальное образование. Работая кладовщиком в автомобильном техцентре, заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького (2001). Работал редактором в «Литературной газете», гл. редактором журнала «Литературная учёба», бренд-менеджером в издательстве «АСТ», зав. отделом литпроцесса в газете «Литературная Россия». Автор книг: «Немного сентиментальный путеводитель» (2008), «Поэзия и смерть» (2012), «Основное» (2013) и др. Публиковался в газетах «Литературная Россия» и «Независимая газета», в журналах «Волга — XXI век», «День и ночь», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Октябрь», «Дети Ра», «Зинзивер», в антологии издательства «Вече» «Русская поэзия: XXI век». Помимо стихов и редакторской деятельности пишет рецензии на творчество коллег, публицистические статьи, занимается исследованием предсмертного творчества русских поэтов XIX–XX веков. В 2014 году дебютировал как прозаик.

стр. 186  
Лесин Евгений Эдуардович  
Москва, 1965 г. р.

Поэт, критик, журналист. Родился в Москве. Учился в Московском институте стали и сплавов, в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар Татьяны Бек). Служил в Советской Армии. Печатался в журналах «Вопросы литературы», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Юность», «Дети Ра», «Время и мы», «Наша улица», в альманахах «Кольцо „А“», «Истоки» и т. д. Автор книг «Записки из похмелья» (2000), «Русские вопли» (2005), «Вулкан Осумбес и молодильные яблоки» (2010). Ответственный редактор газеты «Ex Libris-нг». Член Союза писателей Москвы и Союза писателей XXI века. Лауреат премий «Нонконформизм-2010»

и «Звёздный фаллос», премии альманаха «Кольцо „А“»: «За трезвый взгляд на литературу».

стр.  
29

Литинская Елена  
Нью-Йорк

Родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В 1979 году эмигрировала в США. В Нью-Йорке получила степень магистра по информатике и библиотечному делу. Проработала 30 лет в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Издала 5 книг стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» (2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную отдалённость» (2011), «От Спиридоновки до Шипсхед-Бей» (2013). Стихи, рассказы, очерки и статьи публиковались в периодических изданиях, сборниках и альманахах США, Европы и Канады. Член редколлегии сетевого литературного журнала «Гостиная», президент Бруклинского клуба русских поэтов, а также вице-президент объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА).

стр.  
192

Мамонтов Евгений Альбертович  
Красноярск, 1964 г. р.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1993 году. Лауреат премии им. Виктора Астафьева в номинации «проза» (2004). Публиковался в журналах и альманахах: «День и ночь», «Дальний Восток», «Октябрь», «Рубеж». Преподавал русскую и зарубежную литературу в Дальневосточной государственной академии искусств. В настоящее время живёт и работает в Красноярске.

стр.  
119

Манасян Михаил  
Москва, 1971 г. р.

Родился в Баку. Когда началась война, семья переехала в Армению. Сначала в Ленинакан, потом — после землетрясения — в Араратскую долину, в посёлок Покр Веди, расположенный у храма Хор Вирав. Два года жил в Украине. Позднее, уже в России, работал помощником ветеринара в передвижном зоопарке шапито. объехал всю северо-западную часть необъятной страны. Студент Литературного института имени Горького.

стр.  
123, 130, 187, 190, 194

Минин Евгений  
Иерусалим, 1949 г. р.

Окончил Витебский станко-инструментальный техникум. Служил в войсках ПВО. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе.

Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» — Россия и «Флорида» — США, а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» — Россия и «Секрет» — Израиль. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманахам «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов Писателей Израиля и Москвы, директор Международного Союза Литераторов и Журналистов (АРИА) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» г. Москва. Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта — Израиль, лауреат премии Поэт года — 2007 Международного Союза Литераторов и Журналистов (АРИА). Член судейского корпуса Международной литературной премии Серебряный стрелец (2008, 2009, 2010).

стр.  
41

Саввиных Марина Олеговна  
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), в еженедельнике «Обзор» (Чикаго), в коллективных сборниках и антологиях. Автор девяти книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного пен-клуба. Член Президиума Международного «Союза писателей XXI века». Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр.  
193

Сафарова Тамара Александровна  
Биробиджан, 1954 г. р.

Родилась в Саратовской области. В 1973 году окончила Хабаровское культпросветучилище. В 2011 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Жила в Одессе, Приморье. Публиковалась в журналах: «Дальний Восток», «Московский вестник», сибирской антологии «Слово о матери», антологии и хрестоматии писателей ЕАО. В 2007 году вышел поэтический сборник «Экватор дня». С 2008 года член Союза писателей России.



стр.  
135

**Спектор Гоша**  
Израиль, 1961 г. р.

Родился в г. Белая Калитва Ростовской области. Жил в Ростове, Таганроге, Мценске, Красноярске. Работал киномехаником, концертным администратором, могильщиком, заведовал актовым залом, обслуживал системы сигнализации, работал редактором эфира радиостанции «Авторадио» (Красноярск). Участник двух первых семинаров молодых писателей Красноярска. Публиковался в центральной и региональной периодике. С 1994 года живёт в Израиле. Главный редактор еженедельников «Семь дней» и «Коммерсант» (Ашдод), радиостанции «Северный маяк» (Хайфа), редактор альманаха «Долина» (Афула). Редактор сайта «Общелит».

стр.  
79

**Тарковский Михаил Александрович**  
Бахта Красноярского края, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «география и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, а последние годы — охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешёл на прозу. Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», а также «Согласие», «Ветер», «Литературная учёба». Лауреат премий журнала «Наш современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «XXI век».

стр.  
184

**Тенятников Сергей**  
Лейпциг, 1981 г. р.

Родился в Красноярске, обучался на инязе в КГПУ им. В. П. Астафьева. С 1999 году живёт в Германии. Выпускник Лейпцигского университета по специальностям: политолог, историк, филолог. Публиковался на русском и немецком языках в Германии.

стр.  
35

**Теплицкий Виктор**  
Красноярск, 1970 г. р.

Священник. Родился в Красноярске. Учился в Сибирском технологическом институте, служил в Советской Армии. В 1992 году принял крещение и оставил институт. Работал дворником, грузчиком, посещал церковные богослужения. Окончил Высшие богословские пастырские курсы в 1999 году. В настоящее время служит священником в храме Николая Чудотворца, возглавляя одновременно молодёжный отдел Красноярско-Енисейской

епархии. Печатался в литературном журнале «День и ночь», в литературно-художественном и религиозно-философском журнале «Новое и старое». Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат литературной премии всероссийского фонда В. П. Астафьева в номинации «Иной жанр» за драму «Королевское сердце» (2005).

стр.  
36

**Фомичёв Михаил**  
Москва, 1963 г. р.

Журналист, с 2007 по 2011 годы — специальный фотокорреспондент Российского Информационного Агентства. С 2010 г. по настоящее время — оператор Life News.

обл.

**Форостовский Сергей Викторович**  
Красноярск, 1966 г. р.

Художник. Родился в посёлке Ольга Приморского края. Закончил художественное училище (Владивосток) и Дальневосточный государственный институт искусств (руководитель В. Н. Доронин). Работал в творческих мастерских Российской академии художеств под руководством. А. П. Левитина (Красноярск). С 1998 года — член союза художников России. С 1995 года — главный художник Красноярского театра юного зрителя. Участник групповых, региональных, всероссийских международных выставок, его работы находятся в коллекциях России и за рубежом. Персональные выставки: Июкогама (Япония), Красноярск, Харбин (КНР).

стр.  
177

**Эдин Евгений Анатольевич**  
Красноярск, 1981 г. р.

Родился в Ачинске Красноярского края. Окончил ачинский филиал Красноярской государственной академии цветных металлов и золота. Работал сторожем, актёром, журналистом, радиоведущим, давал уроки игры на гитаре. В настоящий момент — помощник министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края. Публикации в журналах: «День и ночь», «Полдень 21 век», «Октябрь», «Новый мир», «Знамя», в сборниках Фонда Астафьева «Первовестник» (2008, 2009). Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2008 года в номинации «Проза».

стр.  
191

**Юдсон Михаил**  
Тель-Авив, 1956 г. р.

Литератор. Родился в Волгограде. Окончил педагогический институт, работал учителем математики. Автор множества критических статей и рецензий, а также романа «Лестница на шкаф». Печатался в журналах «Знамя», «Нева», «22». Помощник редактора журнала «22».

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР****Марина Саввиных****ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА***по прозе***Александр Астраханцев***по поэзии***Сергей Кузнечихин****ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК****Олег Наумов****КОРРЕКТОРЫ****Андрей Леонтьев****Мария Лалетина****СЕКРЕТАРЬ****Юлия Вятчина****РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ****Николай Алешков**

Набережные Челны

**Сергей Арутюнов**

Москва

**Юрий Беликов**

Пермь

**Вера Зубарева**

Филадельфия

**Валентин Курбатов**

Псков

**Андрей Лазарчук**

Санкт-Петербург

**Александр Лейфер**

Омск

**Евгений Минин**

Иерусалим

**Дмитрий Мурзин**

Кемерово

**Миясат Муслимова**

Махачкала

**Александр Петрушкин**

Кыштым

**Лев Роднов**

Ижевск

**Анна Сафонова**

Южно-Сахалинск

**Евгений Степанов**

Москва

**Михаил Тарковский**

Бахта

**Вероника Шелленберг**

Омск

**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ****А. М. Клешко**Заместитель председателя  
Законодательного собрания  
Красноярского края**Е. Г. Паздникова**Министр культуры  
Красноярского края**Т. Л. Савельева**Директор Государственной  
универсальной научной  
библиотеки Красноярского края**Т. Н. Садырина**Декан филологического  
факультета КГПУ им. Виктора  
Петровича Астафьева.В оформлении обложки использованы  
картины Сергея Форостовского.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

**ИЗДАТЕЛЬ**

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт 4070 2810 8006 0000 0186

в Новосибирском филиале

ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт

3010 1810 9000 0000 0762

Издание осуществляется при поддержке  
Агентства печати и массовых коммуникаций  
Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

**Адрес редакции:**

ул. Ладос Кедровели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: [www.krasdin.ru](http://www.krasdin.ru)

Подписано к печати: 18.08.2014

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.

в типографии «Литера-принт»,

г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10

эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577



Лестница, освещённая солнцем. Майорка | 64 × 80



Полдень. Кала-Фигера | 60 × 80





*Сергей Форостовский*

Свежий ветер, Балаклава. Крым | 80 × 80

На первой странице обложки:

После дождя. Крым | 80 × 80